Сергей
Никитин

PHOTOS BY ANDREY G AKA DONUT190

Сергей Никитин

Избранное

Рассказы
Повести

Москва
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1985

Р2
Н62

Художник *Г. Г. Федоров*

Никитин С. К.
Н62 Избранное/Сост. К. М. Никитина; Предисл. В. А. Солоухина.— М.: Сов. Россия, 1985.— 448 с., 1 л. портр.

В сборник избранных произведений известного советского писателя С. К. Никитина (1929—1973), тонкого лирика, мастера короткого рассказа, войдут лучшие повести и рассказы.

Глубокое знание русского языка, любовь к Родине, родной Владимирщине, к ее людям отличают эти произведения.

Р2

Н $\frac{4702010200-190}{М-105(03)85}$ 104—1985 г.

С любовью к земле и людям

За одними писателями навсегда закреплена их «малая родина», они как бы приписаны к той или иной земле, хотя они большие общероссийские писатели, в то время как для других, тоже больших и общероссийских писателей такое «закрепление» к родному краю не обязательно. Даже Тургенева, хотя бы по «Запискам охотника», мы можем считать, в определенной степени, орловцем, но Пришвин, родившийся на орловской земле, вовсе не орловский писатель. Яшин и Белов — вологодские писатели, а скажем, Тендрякова ни вологодским, ни вятским писателем не назовешь, хотя он родился в Вологодской, а вырос в Кировской области. Имеет значение, что Есенин родился и вырос на рязанской земле, но не имеет значения, что «певец» русской природы Паустовский — выходец из Одессы.

Сергей Никитин пришел в большую литературу через свою «малую родину», через владимирскую землю. Его также можно было бы назвать воспевателем нашей среднерусской природы: прекрасными пейзажными зарисовками, тонким чувством красоты природы, поистине сыновьей любовью к ней он вполне заслуживает это звание. Не напрасно упомянутые нами Михаил Пришвин и Константин Паустовский очень ценили первые тогда еще, но уже яркие «никитинские» страницы молодого писателя, студента Литературного института Сергея Никитина. Но уже в те ранние поры Сергей Никитин сразу же начал отличаться от своих учителей.

В отличие от Пришвина страницы его книг заселены десятками людей: кузнецами, строителями, плотниками, фельдшерами, учителями, инженерами, радистами, агрономами, егерями, бакенщиками, колхозниками, профессорами и просто — мужчинами, женщинами, детьми.

В отличие от Паустовского, у которого герои рассказов и повестей (исключая поздние мемуарные повести)

как-то немножко сочинены писателем и даны такими, какими их нужно было увидеть художнику, герои и персонажи рассказов и повестей Сергея Никитина взяты прямо из жизни, подлинностью и силой документа веет от каждого написанного Никитиным человека, и здесь он наиболее приближается к другому нашему великому предшественнику — к Антону Павловичу Чехову.

Сергей Никитин ушел из жизни до обидного рано. Еще много лет он мог бы радовать нас своими лиричными, душевными, овеянными любовью к земле и людям книгами, но и то, что он успел сказать, сказал по-своему. Страница его творчества легла золотой страницей в родную речь и останется в ней навсегда.

Вл. Солоухин

Рассказы

Даша

Рассвет застал меня на перевозе.

Плотный, тяжелый туман бродил над рекой; вода тихо плескалась о бревенчатые сваи причала. Кругом стояли грузовики и подводы; выпряженные лошади с хрустом жевали сено, а поодаль у костров, в ожидании парома, расположились шоферы, возницы и пеший люд.

— Перево-о-о-оз! — закричал я, сложив ладони рупором.

Звук моего голоса затерялся в тумане и упал где-то совсем близко, не повторенный эхом.

Ответа не последовало. Я закричал опять.

— Чего орешь? — окликнул меня от ближайшего костра окающий голос. — Нет перевозу.

Я подошел к костру. Сгребая палочкой раскатившиеся головни, возле него сидел старик с крупным рябоватым носом и косматыми бровями; из-под шапки-ушанки, сдвинутой на затылок, выбивались у него тугие кольца седых волос. Рядом кто-то спал, укрывшись узорчатой клеенкой.

— Нет перевозу, — повторил старик.

— Почему нет?

— Паром сорвало.

Он помолчал, оглядывая меня, и очень охотно стал объяснять.

— Лопнул канат и — понесло. Сказывают, километров за десять поймали, лошадьми теперь тянут. Мы тут с вечера ждем.

Я собрал сено, разбросанное вокруг, и присел на него у костра.

— Сам-то кто будешь? — спросил старик, осторожно кашлянув для приличия.

— Корреспондент, из областной газеты, — ответил я.

— Куда пробираешься-то? Не к нам ли в «Красный пахарь»?

— Да.

— Ну, знамо дело... — усмехнулся старик. — Колхоз на видном месте... Мимо не проедешь. — В голосе его звучало почти детское самодовольство. — А о чем писать собираетесь? Про махорку нашу али про свиноферму?

Думая, что из-за парома мне в этот раз не придется писать вовсе, я ответил, что собирался и про то и про другое, а в первую очередь хотел заехать к Дарье Прониной, чтобы написать о ней очерк.

— Господи! — всполошился вдруг старик. — Да ведь Дарья-то здесь... Вот тут она и спит... — Он потянул за край клеенки. — Даша! Слышишь, что ли! Из газеты человек тебя спрашивает. Вот чудеса!

Женщина, спавшая под клеенкой, легко вскочила на ноги, сдержанно поздоровалась со мной и сказала, обращаясь к старику:

— Поспал бы, дед, всю ведь ночь не спишь...

Спокойная ласковость была в этих словах, и в самом звучании голоса тоже чувствовалась эта спокойная ласковость.

Высокая, статная, почти величественная, она быстро и ловко, но без суеты, убрала клеенку, причесала длинные русые волосы и завязала под подбородком платок. Было что-то значительное и располагающее к уважению во всей ее фигуре, голосе, во взгляде ее больших серых глаз. Старик, и тот в ее присутствии присмирел и даже имел несколько виноватый вид, что, впрочем, тут же разъяснилось. Даша спросила:

— Лошадей понл, дед?

— Того я... — засуетился старик, — сейчас. Заговорился вот с человеком.

— Сиди уж, я сама, — остановила его Даша и подошла к подводам.

Дул сырой ветер. Три голых осокоря у самой воды трепетали тонкими почерневшими от дождя ветвями. Над рекой кричали стаи грачей, готовясь к отлету. И только ярко-зеленое поле озимых хлебов на противоположном берегу дышало свежестью и силой непреходящей жизни.

Старик вынул кисет и закурил махорку. Было слышно, как Даша громыхает пустым ведром, отвязывая его от телеги.

— Даша внучкой вам приходится? — спросил я.

— Внучкой. Только вот неудача у меня с ней, — ого-

Старик, очевидно обрадовавшись случаю погово-
— Жизнь у нее кувырком вышла.

Он оглянулся на Дашу и, понизив голос, продол-
жал:

— С войны всё началось. У нас в деревне бывал? Зна-
ешь, вторая изба от сельмага? Это наша. А рядом жил
Илюшка Пронин с отцом и двумя сестренками-двойняшка-
ми. Отец-то у них был того... плохой мужик, хворал все.
А Илюшка — известное дело, на работе. В дому, конечно,
печь не топлена, двойняшки не кормлены, корова не дое-
на — ходит по двору, мычит, томится... Только стал я за-
мечать — что-то у соседа вдруг все иначе пошло. Слов-
домовой какой добрый завелся... Чисто, бело, тепло, из пе-
дух сытный. Ребятишки веселенькие, чистые. И что ж ты
думаешь? Всё Даша! В общем, слюбились они с Илюшей.
«Когда же свадьба? — спрашиваю. — Подождем до мясое-
да что ли?» Говорят, сев закончим и — сыграем. Да... Сы-
грали... Да не так, как нужно... Все было хорошо — пред-
седатель машину дал, девчата цветами ее убрали, скамей-
ки в кузов поставили, собрались, значит, молодые в горо-
ехать, расписываться. А тут по радио сообщение — война
началась. Ну, понятно, ушли все из избы, машина стоит,
в цветах вся — кому они нужны? Даша спрашивает Илью:
«Пешком пойдем? Не до нарядности теперь»... А я говорю:
«Чего, мол, выдумала! Вдовой хочешь остаться?» А она
слабо-то все слышит меня, смотрит на Илью. Тот глаза опу-
стил. «Смотри, — говорит, — Дашенька, как бы в самом де-
ле плохо не вышло. Вдруг убьют меня». «Ну, видно, оста-
ться мне тогда вдовой, — отвечает. Упрямая, ее не пе-
респоришь. И любила его крепко. Проводил я их тогда
за околицу, гляжу, смотрю, рядом. И тут, идут, оглядут-
ся, помашут мне, опять идут...

Растроганный воспоминаниями, старик вынул из кар-
мана кисет, скрутил себе махорочную цигарку и вытер
глаза.

— Так. И пошла на фронт, — продолжал он, — и Ил-
юшка. Дарья осталась вместе. Для старика, две девчонки
и старуха. Намучилась моя Даша. В колхозе с утра до
ночи. В обед прибежит, всех накормит, все сделает и
опять в поле. Но — ничего... Только петь перестала. До
войны петь любила, а в войну перестала. Зато к работе
стала еще злее. Бывало она цветочек на махорке. Сам
знаешь, трудов в нее, в махорку-матушку, вложить
много. А Дарья тридцать пять центнеров с гектара сня-

К медали представили, слыхал, наверно? Теперь, говорит, пятьдесят центнеров сниму... Да...

Старик вдруг замолчал — к костру подходила Даша. Пошел мелкий дождь. Тучи спустились ниже. От нас на картофельных полях зажглось еще несколько костров: колхозники вышли в поле выбирать картошку.

— Загодились, — сказал старик. — Дашка б поправиться. Вот-вот заморозки ударят, а из мерзлой земли уж не картошка.

— Да, — подтвердила Даша. — Пропадет у них картошка.

— Сходить бы, что ли, с ведерочком к колхозникам, картошечки взять да испечь...— неуверенно сказал старик.

— Ровно дитя малое ты, дед, — улыбнулась Даша и взяв ведро, ушла.

— Ну, а дальше? — спросил я старика.

Старик помрачнел.

— Что дальше? Вспоминать не хочется, — махнул рукой, но все-таки продолжал свой рассказ. — Перед самой войну, вышел ей конец. Всем радость, а ей горе-злосчастье и случилось. Пришло письмо из госпиталя от Ильи. Лежу, мол, третий месяц раненный в грудь. Где госпиталь — неизвестно. Номер полевой почты есть и все тут. А Дарья ольо заладила: поеду да поеду. Письмо из Москвы прислала мне письмо: разыскала госпиталь. В Можайске находится. Посмотрел я в клубе на карту. Далеко, на самой границе. Ну, приходит она в тот госпиталь. Найти своего Илью. Врачи да профессора его там лечат. Уход и все такое. А она им говорит: «Я без него домой не вернусь». И что ты думаешь — привезла его к [illegible] весной.

Дед замолчал, задумался.

— А [illegible] — [illegible]

Старик молчал.

— Надо взять лошадей да помочь колхозникам этот [illegible]

— Как так помочь? — сердито возразил старик. — Колхозную лошадь на чужом поле мучить?

— [illegible] застоялись, — спокойно сказала Даша и [illegible] костер.

[illegible] и лошадям.

— Старательный у меня зав., — улыбнулась Даша. — И ре, только так... На самом деле он добрый. Пашу, умеете?

Пахать я не умел, но пошел на поле вместе с Дашей. Мне дали большие вожжи, чтобы я поглубже за плугом. Разомкнув плотный пласт земли черного цвета, я шел по целине. Спокойно колеи и лошади, вдыхая приятно [illegible]. Иногда я останавливался и смотрел на Дашу. Она быстро шла за плугом, что-то запевала что-то напевала. И мне казалось, что я еще [illegible] и больше, что узнал эту женщину и [illegible] по-новому любви к людям, которое живет в ней.

Пахали только и вечеру. Картофельное поле было уже убрано. Мы переправились через реку и медленно поехали по разбитой дороге. После долгого молчания Даша сказала:

— Если будете писать про наш колхоз, не забудьте песню [illegible] упомянуть. Никак у нас полей не отпускают.

Погода переменилась. Ветер упал. На ясном небе [illegible] и холодно мерцали первые звезды. А в лощине уже показались другие огоньки — теплые, веселые — огни колхоза «Красный пахарь».

1948

Осенний день на Мшарах

Мшары — это глубокое озеро с холодной прозрачной водой, синее в ясные дни и свинцово-серое в ненастье. Осенью оно бывает сплошь завалено сухими листьями дубов, рябин, черемухи, липы. [illegible] Лодка скользит по его поверхности с [illegible], мокрые листья липнут к ее бортам, [illegible].

Могучий дубовый лес стоит по берегам озера, [illegible] его от ветров, и оно всегда спокойно, точно [illegible] не водой, а тяжелой ртутью.

В густом подлеске особенно много рябин. Ветви, отягченные гроздьями ягод, гнутся к самой воде, в которой оранжевыми пятнами дрожит расплывчатое [illegible] ние.

В озере водятся юркие крепыши-окуни с белой на брюшке чешуей, темнеющей к спине до черноты, [illegible] ная серебристая плотва. Эта рыба охотно идет на [illegible], так что рыболов, пришедший на Мшары, никогда не бывает обречен на тоскливое созерцание неподвижного, словно умершего в глазь воды, поплавка.

В местном краеведческом музее красуется чучело щуки длиной в сто двадцать сантиметров и [illegible] килограммов. Она была поймана [illegible] Весной в Мшарах. Дело, описанное [illegible] точное же почти со всеми [illegible] в город.

Впоследствии пришлось убедиться, что такая крупная щука не единственная в Мшарах. Однажды вечером я сидел с удочкой [illegible] ряги, протянувшейся над водой, как [illegible] хватающая рука. Большой черный жук с лету [illegible] о корягу и упал в озеро, беспомощно барахтаясь на [illegible]. Вдруг со дна медленно поднялась громадная щука, спокойно проглотила жука и уставилась на меня [illegible] глазом. Она была видна мне вся, от [illegible] до чуть шевелящегося хвоста.

Постояв немного, она плеснула по воде сильным хвостом и скрылась...

Из года в год я бываю на Мшарах, но знакомые, вдоль и поперек исхоженные берега озера не надоели, не приелись мне. Напротив, я очень люблю выйти на то место, где был год, два, три назад, неожиданно найти там следы своего прошлого пребывания — заросшее травой кострище с посеревшими и мокрыми от росы углями, рогатки, воткнутые в землю, ржавую консервную банку, окурок — и, присев, подумать, вспомнить...

Обычно в такие минуты ощутимее становится бег времени. Приходит мысль о том, что трава у тебя под ногами уже не трава, что не те листья шелестят над тобой, не те облака плывут в небе, не та роса блестит на листьях, и сам ты уже не тот, нет и нет!

В этой мысли всегда есть капля грусти, потому что нам жаль каждой минуты, сброшенной со счета нашей жизни — горькая ли та минута, светлая ли, все равно! Но кто, будь это возможным, согласился бы остановить время? Лишь нищие духом себялюбцы, промышляющие мелкой охотой за личным благополучием, страшатся будущего, потому что видят там одну только смерть, а не вечное торжество жизни над ней.

Когда я впервые случайно вышел на Мшары, не нанесенные ни на одну карту этого края, я думал, что открыл новый мир, где еще не ступала нога человека, — такой первозданностью веяло от могучих дубов, от зеленовато-сумрачных глубин озера, от нетронутого обилия рябины, черемухи, ореха. Но вскоре я наткнулся на следы человека. На стволе одинокой прямой сосны, верхушка которой поднялась еще выше старых дубов, было вырезано имя: «Оля». Буквы располагались сверху вниз, первая и вторая довольно высоко над землей: должно быть, кому-то стоило немалых трудов вырубить их там. Со временем они заплыли смолой и теперь казались золотым тиснением по коричнево-медному фону.

Впоследствии я встречал на Мшарах и людей.

Так было и в тот осенний день, ничем, может быть, не примечательные события которого я хочу описать.

На озере, почти одновременно со мной, к озеру пришел рыболов в плащ-палатке с капюшоном, откинутым на спину. Вел он себя несколько странно для обычного рыболова: дождавшись утренних клев, ради которого рыболовы не спят ночами и в холодной росе, отдают себя на съедение

[illegible], он прокурил, сидя под сосной с именем «Оля», и уже не размотал удочки. Потом, когда [illegible] темнота растаяла над озером и в нем отразилось [illegible] светлое небо, он наконец закинул одну удочку, [illegible] пустив по воде поплавком и грузилом.

По узкому стоку, выходящему в реку [illegible] ке бакенщик дядя Вася. Он причалил лодку к [illegible] скрылся в лесу с корзинкой через плечо [illegible] ми грибами-дубовиками.

Вскоре он появился рядом со мной, [illegible] грибы. Ему, видимо, очень хотелось поговорить. С [illegible] посмотрев на мои поплавки, он спросил:

— Окуней ловите?

— Угу.

— А я вот тут лета два назад с дорожкой [illegible] щуку поймал без малого на три пуда. Теперь она в музее содержится. Не приходилось видеть?

— Ага.

— Я выехал ранним утром. На воде все лежал туман.

Рассказ дяди Васи о щуке давно уже утратил всю непосредственность. Виной этому была небольшая заметка в местной газете под рубрикой «Уголок натуралиста», бесталанно написанная сотрудником редакции от лица дяди Васи. С тех пор старик, повествуя о щуке, слово в слово повторял заметку.

Мне пришлось бы выслушать этот [illegible] рассказ, если бы не школьники, пришедшие на Мшары за желудями.

Они шумливой толпой вышли на берег, но увидя, что я ловлю рыбу, притихли, пошептались и сели у меня за спиной, затаив дыхание.

Несмотря на присутствие ребят и болтовню дяди Васи, клев был хороший. Однако, смущенный вниманием [illegible] маленьких наблюдателей, которые при каждой моей поклевке шипели «тащи», я волновался, дергал, дергал как попало и не заметил, как оборвал леску и крючок.

Между тем дядя Вася тихо спрашивал ребят:

— Зачем это вы желуди собираете? Свиньям?

— Что вы! — слышался в ответ ему сдавленный шепот. — Каким свиньям? Мы собираем для [illegible] Неужели не знаете?

— Ка-а-к не знать — [illegible]. Все [illegible] Вам [illegible] какая-нибудь есть, за желуди-то?

— Нам не надо, — стыдливо ответило шепотом сразу несколько голосов.

Вскоре ребята ушли.

— Попадутся грибы — несите сюда! — крикнул им вслед дядя Вася. Ко всему прочему, он был еще и лентяй, подтверждая этим известный анекдот о бакенщиках:

« — Бакенщик, лещ плывет!

— Жареный?..»

В полдень, когда я стал варить уху, а дядя Вася уже на куче палого листа, пришли художники с запачканными краской этюдниками.

Один художник был седой красивый старик, проницательно смотревший из-под нависших бровей спокойными насмешливыми глазами, другой — молодой, с длинными прямыми волосами и сухим лицом, одетый с нарочитой небрежностью в широкую блузу и выцветший берет.

Они расположились неподалеку от моего костра, вынув из этюдников палитры и натянутые на рамки холсты.

Я знал, что художники не любят, когда за их работой следит посторонний глаз, и поэтому старался не смотреть в ту сторону, где они сидели.

Уха была готова. Мне пришла мысль позвать к обеду художников, дядю Васю и рыболова, который все еще сидел на берегу, похожий в своей плащ-палатке на огромную уснувшую птицу. Подойдя к нему, я начал обычный разговор о клеве, о погоде, о рыбных местах. Он, казалось, очень обрадовался моему появлению, заговорил оживленно и доброжелательно; выбритое морщинистое лицо его приветливо заулыбалось. На предложение отведать уху он согласился просто, без церемоний.

— У вас, я видел, хорошо клевало, а я вот ничего не наловил. Так сидел, думал... Да и рыболов-то я от случая к случаю, — виновато сказал он, медленно наматывая леску на бамбуковую удочку.

Когда я появился за спинами художников, они [illegible] оглянулись на меня, явно демонстрируя свое пренебрежение к непрошеному зеваке.

Я свободно рассматривал их этюды.

У молодого был явно неуверенный мазок, чувствовалась [illegible] робость. Наоборот, старый художник [illegible] писал широкие сочные мазки, ничего не [illegible] свободно и непринужденно писал [illegible] живой природы.

— Не хотите ли ухи? — сказал я по возможности дружелюбнее.

Молодой художник нетерпеливо дернул плечом, словно говоря: «Вот еще! Ходят тут всякие [illegible] и мешают работать!»

— Ухи? — переспросил старый, продолжая изучать пейзаж перед собой.

— Ухи, — подтвердил я не без гордости.

— Как ты думаешь, Александр? — спросил старый художник.

— Я не пойду.

— А я... я, пожалуй, пойду, — с паузой, но твердо сказал старый художник, бросая кисть в этюдник.

Впрочем, и молодой скоро пришел к костру, но к ухе не притронулся, решив, очевидно, до конца быть принципиальным.

Шумя кустами, мимо нас прошли [illegible] с корзинками, полными рябины. Одна из [illegible] от подруг, внимательно оглядела нас и строго спросила

— Ты сейчас пойдешь, папа, или обождешь?

Рыболов в плащ-палатке махнул ей рукой.

— Иди, Настя, я посижу вот с людьми, потом [illegible] Оле зайду. А ты была?

— Только сейчас.

Я заметил, с каким откровенным любопытством [illegible] рел на девушку старый художник. Она была [illegible] стройная. В черных, гладко зачесанных волосах ее горела [illegible] гроздь рябины; синие немигающие глаза оглядывали нас холодно и бесстрастно. Вся она была как бы олицетворением молодой осени и, наверно, поэтому привлекла к себе внимание старого художника.

— Это ваша дочь? — спросил он рыболова, когда девушка ушла.

— Моя, — тихо ответил рыболов.

— Вы в какой деревне живете?

— В Выборках. Я фельдшер, там в больнице работаю.

Он помолчал, чертя красными веками без ресниц, потом вдруг так же тихо и просто рассказал нам:

— У нее ведь была еще дочь — Оля. Но когда в сорок [illegible] году здесь [illegible] гитлеровцы, она утопилась в [illegible] Они издевались над ней. И Оля не перенесла... Не [illegible] может быть, я некстати...

Последние слова он произнес совсем тихо и стал очень

пристально смотреть в чащу кустов, а рука его, точно ища что-то, судорожно шарила по сухим палым листьям.

Над нами в ветвях рябины возились жирные скворцы, лениво ощипывая сладкую, прихваченную первыми утренниками ягоду. На землю и на воду падали листья, наполняя лес едва внятным шелестом. Ветер, гулявший высоко над дубами, раскачивал одинокую сосну, на весь век ее отмеченную золотыми письменами. Она жалобно поскрипывала у корневища. Где-то за кустами смеялись и кричали дети, собирающие желуди. Этот веселый ребячий гомон быстро приближался к нам, и уже можно было слышать, как, откалываясь от него, звенел требовательный мальчишеский голос:

— Ольга, Ольга! Не бери, тебе говорят, гнилые!

Я невольно оглянулся на озеро, на лес, на яркое осеннее небо, на кусты и деревья, отягченные плодами, на весь этот тихий мирок, который только что казался таким недоступным для людских скорбей и в котором я, быть может, не в меру бывал занят думами о себе и жизни своей. Он остался как будто прежним, но вызывал теперь совсем иные чувства и мысли.

1952

Чудесный рожок

Осенью я охотился по берегам Клязьмы, на Владимирщине.

Пойма уже оголилась, вода в реке стала прозрачной и холодной; студеные росы падали по вечерам.

В один из таких росных вечеров, обойдя всю пойму, мы возвращались в деревню Мишнево на ночлег.

Свежие сумерки выстудили небо, и в нем — чистом, бледном, пустынном — уже теплилась, мерцая, крупная синяя звезда, первая предвестница ночи. В той стороне, где по отдаленному лаю собак угадывалась деревня, заиграл пастуший рожок. Тоскливая, протяжная песня без слов, полная скорби о чем-то несбывшемся или навсегда потерянном, становилась все слышнее и явственней по мере нашего приближения. Это был напев знакомой русской песни о человеке, не нашедшем своей доли.

— Матвей жалуется, — сказал мой спутник, местный колхозник Федор Тряпкин, и продолжительно вздохнул.

— Как жалуется? — не понял я.

— Слепой он, Матвей-то, вот и жалуется на рожке, — пояснил Федор, почему-то ускоряя шаг.

Я прислушался.

Доля, моя доля, где ж ты...—

выпевал рожок, и это действительно было очень похоже на жалобу обездоленного человека.

Мы уже подходили к деревне, когда песня тихо замерла, но через минуту вдруг снова потекла нам навстречу.

— Пойдем ближе, послушаем, — сказал я Федору.

— Ну его! Не слыхал бы, — нервично отмахнулся Федор.

Некоторое время он шагал молча, хмуря [illegible] брови, потом убежденно, строго и серьезно добавил:

— Ты иди, если хочешь, а мне — нельзя. У меня [illegible] черезинок, запой то есть, — понял? И от Матвея, [illegible] рожка я враз напьюсь. Так что не неволь, иди сам.

Затем, меж амбаров и сараев, я пошел [illegible] Было уже совсем темно, и я едва различал [illegible] плетнем, обрезным тесом, [illegible]

...ком, Матвея, сидевшего на лавочке спиной к врытому в землю столбу.

Рожок надрывался, плакал, повторял все ту же жалобу, все тот же вопрос или упрек кому-то:

Доля, моя доля, где ж ты?

Быть может, эта тоскливая песня была в слишком резком контрасте с умиротворением и тихой грустью, навеянными осенней охотой, но только мне показалось, что ее поет убогий духом, озлобленный человек, не сумевший превозмочь свое, пусть огромное, горе, понять доступную всем радость бытия и теперь в эгоистическом порыве мстящий людям, не зная сам за что.

Я отступил от плетня, чтобы уйти, но слепой, вдруг оборвав игру, спросил спокойно и внятно:

— Кто тут?

— Охотник из города, — ответил я.

— Ночлега ищешь, что ли?

— Нет, я у Тряпкина ночую.

— У которого Тряпкина, у Федора?

— Да.

— А тут пошто ходишь?

Я не ответил, он тоже молчал. Было слышно, как, шурша и постукивая о сучья, падали с яблонь сухие листья.

Матвей, одетый в белое, виделся мне бесформенно-мутной тенью. Меня поразил его голос, спокойный, доброжелательный. Ни тоски, звучавшей в песне рожка, ни озлобленности, о которой я только что мельком подумал, не послышалось мне в нем. Молчание прервал Матвей.

— Иди сюда, я тебе веселую сыграю, — сказал он.

— А вы и веселую играете? — спросил я.

Теперь не ответил он. Я перелез через шаткий плетень и сел на лавочку рядом с ним.

— Играете, значит, и веселую? — опять спросил я.

— А это как душа скажет, — усмехнулся он. — Я против души не играю.

— Жалуются люди, что от ваших песен тоскливо им, — сказал я.

— Кто это?

— А вот хотя бы Тряпкин.

И я рассказал ему о том, какое впечатление произвела его игра на запойного Федора Тряпкина. Я думал, это заставит его задуматься, может быть, даже обидит, но он только тихо засмеялся, говоря:

— Вольно ему напиваться, а только я не [illegible] веселить. Федькиным словам, если хочешь знать, [illegible] цена. В колхозе хлеб еще не весь обмолочен, а он, чай, с тобой на охоту шляется.

Эта мерка в оценке человека была неожиданной для меня. «Что это — наносное, чужое, случайное, как слово «нережиток» в речи Федора, или продуманное, некрикливое и свое?» — подумал я, а он в это время неторопливо продолжал:

— Душа, говорю. Против нее не сыграешь. Нет такого человека, чтобы всю жизнь веселый, а уж я и подавно. Сидишь, сидишь в темке, да и обнимет тоска. Кабы не видать мне свету, может быть, легче жилось. А то помню ведь! У меня это тоже вроде запоя. Налетит вот эдак на душу, она и стонет, жалуется. Говорят: береги пуще глаза, оно и верно. Хуже нет слепоты!

— А отчего слепота? — поинтересовался я.

— Трахома, — коротко ответил он.

Я нарочно стал раскуривать папиросу, чтобы лучше разглядеть Матвея. Оранжевый свет спички, отражаясь в неподвижных, стеклянных глазах слепого, ненадолго выхватил из темноты его лицо, в крупных чертах которого залегли глубокие тени, но я все же успел рассмотреть его. Это было корявое от старости лицо, вырубленное грубо и небрежно, как заготовка, с выраженем настороженности и какого-то напряженного выжидания.

— Вот ты пришел,— продолжал Матвей,— вижу, человек интересуется, мне как-то сразу полегчало. Душа отогрелась. Теперь и веселую сыграю.

Он поднял с колен рожок. Я со страхом ждал, что в веселой песне у него прорвется тот же мотив тоскливой жалобы, но — нет! Он играл долго, упоенно, [illegible] сказывая близкую сердцу, удалую разбойную быль, и не было в ней ни слова печали и уныния...

— Всяко, велико играешь,— [illegible] Матвея [illegible] песню.

— Нами свету-то повидано — ох, много... Тех уже и нет давно, я один остался...

Слова его перешли в пение [illegible] голову и, казалось, опять погрузился в свою печаль, забыв обо мне, но через минуту очнулся:

— Из рожки у нас было дерево разное — и береза, и [illegible], а покойный Кондратьев, Николай Василич, умел [illegible] . Дерево это прочное, тугое —

[illegible] не ровен, нехолит чистит, не [illegible]
Иванович он как ловко играл! Другой пос[illegible]
[illegible] играет, а этот свободно, легко наводит, точно [illegible]
[illegible] голосом поет. Да и голос у него редкостный. Теперь [illegible]
везде — гармонь, а раньше то на свадьбах, и на гуляньях, и на посиделках — все мы... Да. Умелец-то рожден был, [illegible] одна деревня перед другой хвасталась. Не всякий тебе сыграет. Тут, кроме умения, полагается силу и груди иметь, да на губе нужно мужур набить, мозоль эдакую, а то губа к рожку прилипает — с кровью рвешь... Про старину-то вы разве знаете!.. Под носом у вас вспашь, а в голове-то и не посеяно... Вот я расскажу тебе, расскажу...

Я долго еще слышал это невнятное бормотанье, но постепенно речь его прояснилась, и он заговорил словами веселыми, запоминающимися, точно брал каждое из них в щепоть и споро вкладывал его слушателю в ухо.

Чувствуя себя бессильным передать живой колорит этой речи, через которую впервые столь осязательно удалось мне прикоснуться к прошлому, я расскажу о нем так, как оно представлялось мне в рассказе Матвея.

В прежние времена по берегам Клязьмы шумели вековые дубовые рощи, сосновые боры. Но крестьяне и пришлые барышники валили лес без разбору, оттеснили его от деревень, и легла тут пашня, в клочья изодранная чересполосицей, истощенная и высосанная трехполкой.

От тех далеких времен осталось лишь несколько корявых сосен, которые не шумели под ветром, а как-то особенно звенели, словно между ними были натянуты невидимые струны.

Были эти сосны еще молодой порослью, когда вернулся в Мишнево мужик Фоня Тряпкин по прозвищу Безлемяй. По слухам, обошел он всю Россию, батрачил «в холодах», ватажил на Оке, на Волге, добывал соль на Каспии и денег привез — невпроворот.

Щедростью своей крепя в мужиках веру в эти слухи, обильно поил их Фоня водкой.

— На хозяйство будешь вставать? — спрашивали мужики, искательно заглядывая ему в глаза.

— Непременно,— отвечал Фоня.

Смотрел на Фонино лицо, овеянное иноземными ветрами, опаленное южным солнцем, молодожен Матвей Козлов, и в хмельном тумане сказкой вставал перед ним счастливый, сытый край, легкая — не в тягость, а в удовольствие — работа.

[illegible] его Мария пошла за него против воли родителей, [illegible] за ней не дали и даже отказали [illegible] от стола и крова. Отец Матвея, конокрад и пьяница, взял [illegible] к себе, но у него, кроме [illegible] [illegible] рук, ничего не было. [illegible] [illegible] барышников [illegible] из [illegible] [illegible] его, а потом мир нанял его пастухом.

Он взял кнут и [illegible] и пошел в луга.

В те времена по воскресеньям бывали в Суздале большие базары. Оставив стадо на [illegible] [illegible] толкаться там среди разного люда, прицениялся к товарам, но уходил налегке, как и приходил.

Однажды на выходе из города догнал [illegible] [illegible] Николая Васильевича Кондратьева. Пошли [illegible] На западе догорала спокойная, бледно-[illegible] [illegible] трещали [illegible] поздней весны был теплый, ласков и [illegible].

— Вольно, хорошо,— сказал Матвей, [illegible] пробудившейся земли.— Ты как думаешь, Николай Васильевич, насчет Фониных слов? Запали мне его побасенки в душу, дразнят. Хочется и мне удачи кусок.

— Фонина удача легкая, а может, и нечистая,— ответил Кондратьев, меряя дорогу спорыми, неторопливыми шагами.

— Жизнь тяжеленька,— вздохнул Матвей.— Баба [illegible] не несет от скудости харча. Приработок надо искать.

— Одному трудно,— сказал Кондратьев.

— Оно так.

— Артелью надо действовать. Я вот по [illegible] базарам, по кабакам пошатался, вижу — [illegible] хорошо слушают. Заведут там в кабаке [illegible] какой-нибудь искусник из пропойных артистов [illegible] [illegible], сейчас народ на песню, как пчела на мед, собирается. И плачут, и смеются, и [illegible] [illegible] задеты. Отсюда догадка у меня появилась: собрать из рожечников хор и играть в людных местах. Давать будут, особенно купец. Он [illegible]

— Сомнительное дело,— подумав, сказал Матвей.

— Как хочешь, я не неволю,— ответил Кондратьев.

Долго шли молча. На фоне темного, островерхого леса [illegible] мелькнул костер. Тихая, переливчатая песня рожка донеслась оттуда, и Матвей заметил, [illegible] [illegible] лицу Кондратьева про[illegible]

Эх, да и пойду я в степи...—

печально выговорил рожок, и вдруг Кондратьев подхва-тил сильным тенором:

Пощу там доли-и...

Рожок смолк, но через мгновение ответил тоскливой просьбой:

Матушка пустынная, приюти сиротку...

— Ну вот и спелись,— сказал Кондратьев, подходя к костру. — Здорово живете.

У костра сидел мужик с рожком в руках, другой — лежал на спине, закинув за голову руки, и смотрел в небо.

— Здравствуйте, прохожие люди,— ответил рожечник на приветствие Кондратьева.

— Чьи будете?

— Коверинские. Лошадей вот пасем, а вы?

— Мишиевские.

— Не Кондратьев ли?

— Он.

— То-то мы слышим, будто он.

— Много у вас в Коверине, кто умеет играть? — спросил Кондратьев, присаживаясь у огня.

— Почитай, каждый мальчишка дует, да только зря все это...

— С голодного брюха больно-то не заиграешь,— вставил мужик, лежавший на спине.

— Приятель у тебя, знать, сытый,— усмехнулся ему в ответ Кондратьев.— Хорошо играл.

Рожечник встрепенулся и оживленно заговорил:

— Это мне очень приятно от тебя слышать, Николай Васильевич, потому слава о тебе идет по деревням большая. Говоряг, великий ты искусник на рожке... А сытость наша известна.

— По ярмаркам с рожком надо идти,— убежденно сказал Кондратьев.

— А землю пахать кто будет? — спросил мужик, все так же пристально глядя в небо.

— Окупится.

— Ой ли?

— Я бы пошел,— вмешался в разговор рожечник,— один как пойдешь? Боязно.

— Зачем один? Хор соберем. Ты приходи в Мишиево, там еще мужиков, которые играют. Из Суслова придут

...ж, из Машкова... Сигровку устроим и пойдем с ...ами.

— У нас это дело обдумано,— сказал Матвей, заглянувший в затею Кондратьева.— Вы не сомневайтесь...

Так было положено начало первому хору владимирских рожечников. Долго они скитались по российским дорогам, по которым в те времена проходило много разного люда — кто в поисках куска хлеба, кто — истины, кто — приключений. Но на самом деле все искали одно и то же — простое человеческое счастье.

Однажды в избе Кондратьева появился человек громадного роста и необъятной толщины, назвавший себя по имени Антоном Картавовым, а по роду занятий антрепренером. С ним приехала жена Мотя — красивая брюнетка, маленькая и стройная, как девушка. Все дела вершила она; Картавов только отдувался и громко хохотал над своими же шутками.

Эта чета пригласила рожечников на гастроли в Москву, в Петербург и другие города, суля хорошие барыши.

Рожечники подумали и согласились.

Летом 1883 года они выступали в ресторанах и летних садах Петербурга.

Под жилье им отвели большой дощатый балаган в глубине парка, где их неожиданно посетил молодой офицер, окруженный сиянием блестящих пуговиц, эполет и аксельбантов. Он объявил рожечникам желание государя императора Александра III послушать их игру.

Рожечников везла в Петергоф карета, обитая внутри красным бархатом, и это было очень похоже на какое-то волшебное превращение. Рожечники торжественно молчали, гордо переглядываясь.

Император Александр слушал их на свежем воздухе, под липами Петергофского парка со всей своей семьей.

Матвей от робости и напряженного старания не сбиться видел лишь белую пену кружев на плечах великих княгинь да мужичью, лопатой, бороду императора.

Играли недолго.

— Кто же у вас le chef d'orchestre? — весело сверкая глазами и подходя к рожечникам, спросил император Александр. — Ты, Кондратьев?

Кондратьев выступил вперед и молча поклонился. Император, взяв у него из рук рожок, отошел к княжнам, все еще улыбались, постукивая ногтями по отполированному рожку. Потом император поднес рожок к губам и

...чно подул. Получился громки... ...

— А где же тут пищик? — удив..., ...тор, и глаза его опять засверкали.

Царь был веселый. Рожечники ...

— Пищика в этом инструменте не ..., ...ясняя Кондратьев.

— Вот как? — сказал император.

Потом он похвалил их и отпустил.

Обратно тоже ехали в карете. У себя в ... ...нетно открыли конверт, который им сунул ... ...стящий офицер, шепнув заговорщически: «От ...»

В конверте оказалось 150 рублей ассигнациями.

— Иной купец в ресторации больше отвалит,— ...нувшись, сказал Кондратьев.

В следующем году Картавов решил везти рожеч... за границу. Нашел переводчика, вертлявого, ...ленького и черного, как жучок, человека, который бойко болтал ... французском, немецком, английском и еврейском ...

В Париже переводчик водворил рожечников в ... гостиницу и пропал с Картавовым на несколько дней.

Картавов вернулся злой, мрачный, осунувшийся. ...тельно оглядев себя в зеркало, он неопределенно хм... и залег спать, а проснувшись, долго сидел, обхватив ... руками болевшую с похмелья голову, и причитал:

— Обобрал меня, сукин сын! Все дотла я спустил, ... братцы! Господи, Матреша-то теперь что скажет...

Он послал жене телеграмму, прося выслать денег, ... пока ждал их, все горевал и бранил переводчика. Но ... деньги прибыли в Париж, Картавов опять пропил их ... тайно от рожечников уехал в Россию.

На улицах парижане преследовали докучливым в... манием россиян, обутых в лапти, одетых в желтые ози... и высокие поярковые шляпы с пряжкой. Столичные фр... пузские газеты печатали групповые портреты рожечни... в «национальных костюмах».

Между тем Кондратьев настойчиво искал возможности ...ать несколько концертов, чтобы расплатиться за гости... ...ы и уехать в Россию. Наконец это удалось ему с по... ...ью какого-то русского графа, приехавшего в Пари... Рожечники собрались уезжать.

Неожиданно к ним зашел черняво... переводчик. Он ...вался в антрепренеры, звал в Лондон, но россияне не... ...ло тянуло на родину.

— Нет,— сказал Кондратьев,— будем уж домой пробираться. У меня от заграничной жизни двое с ума сошли.

Это было правдой. Два рожечника вдруг захандрили. Они молчали, уставившись пустыми глазами в стену, вздыхали, отворачиваясь, когда с ними заговаривали, или отвечали вяло, невпопад.

Матвей вспомнил, что он где-то слышал о болезни под названием «черная малахолия», которая бывает у людей от тоски по родине, сказал об этом Кондратьеву, и тот заторопился ехать.

В России, возле самого вагона их встретила чета Картавовых. Антон Картавов, под пристальным взглядом жены, клялся рожечникам, смущенно бормоча о том, что повинную голову меч не сечет, и снова приглашал их на гастроли.

Хищные зеленоватые глаза Матреши сверкали плутовской улыбкой...

В 1896 году рожечники выступали на знаменитой Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде.

Усталые, отупевшие от духоты, пыли и многолюдия, они сидели в тени эстрады, когда к ним подошел высокий тощий парень, которого очень старили усы и длинные волосы.

«Поп-расстрига», — сразу определил Матвей и отвернулся.

— Давно вы этим делом занимаетесь? — спросил парень окающим басом.

Интересующихся было много. Обычно с ними говорил Кондратьев, но сейчас он куда-то отлучился, поэтому все молчали, ожидая, когда заговорит старший по возрасту — Силан Вавилов из Маникова. Силан нехотя рассказывал, что играют давно, упомянул про покойного государя, про Париж и как-то невзароком свел на деревню, на землю.

— Стало быть, игра-то от нужды? — спросил парень и, видя понятный и близкий рожечникам разговор о крестьянской нужде

— Повидано ее, — согласно вздохнул рожечник — Мы сорок шесть губерний объехали, всего нагляделись. Что и баять!

Потом без просьбы решили сыграть парню «Долю», вышли на эстраду и взялись за рожки. А он стоял и слушал эту песню-жалобу, унылую и грустную.

Вернувшийся в это время Кондратьев подозрительно оглядел парня, спросил:

— Кто будете?

— Мишнов,— сказал парень. — Мастеровой [illegible]

Вскоре Матвей отстал от рожечников. У него начали болеть глаза, слипались воспаленные, распухшие веки, красноватая мгла дрожала, переливалась перед глазами. С каждым днем она становилась все непроницаемей, мутней.

Земский врач Лутошкин осмотрел Матвеевы глаза, вздохнул и сказал:

— Большой ты, дядя, а глупый. Сгубил глаза-то.

— Чего же теперь? — спросил Матвей.

— Чего же! — передразнил Лутошкин.— Лечить будем. А уж если не вылечим —не обессудь. Надо было раньше приходить.

Недели две он держал Матвея в больнице, потом, сняв с его глаз повязку, сказал:

— Ну вот, дядя, веки у тебя подсохли. Чешутся?

— Чешутся.

— Хорошо. Ну, а видеть не будешь. Я не колдун, ничего поделать больше не могу. Мертвые не воскресают. Гуляй-ка домой. Митька тебя проводит.

Митька — ленивый и грубый парень, служивший при больнице, довез Матвея до ближайшей к Мишневу станции, вывел на дорогу и, отбежав на безопасное расстояние, крикнул:

— Ступай прямо. Она доведет, дорога-то!

Матвей, вытягивая перед собой руки, высоко поднимая колени и шлепая по дороге всей ступней, двинулся к дерезне. По холодку, по особенной тишине, нарушаемой лишь невнятными шорохами леса, он чувствовал, что наступает ночь. И хотя в его положении это было совершенно безразлично, он испугался, представив, как плотная темень августовской ночи обступает его со всех сторон.

Руки внезапно встретили шершавый ствол сосны. Где-то в лесной чаще ухнул и захохотал филин.

— Господи, господи,— сказал Матвей, подняв лицо к небу.

Обняв ствол сосны, он съехал по нему на землю, ткнулся в холодный, росистый мох и заплакал.

Утром его нашли и проводили в Мишнево соседние истоминские мужики.

С той ночи Матвей впал в какое-то оцепенение.

Он жил теперь в избе умершего тестя; поутру уходил [illegible], к сараю, садился там на солнцепеке, мял от

жри и думал. К вечеру, когда [illegible] и [illegible] ...
...явились все запахи, его [illegible] ...
...рал рожок и начинал играть — уныло, тихо.

Мария подходила к нему и в сердцах кричала:

— Да будет тебе! Вон аж Шельма [illegible] от тебя...

гудок.

И, действительно, старая облезлая собака Шельма, ...
...слышав унылую песню рожка, начинала тихонько скулить, ...
...жалась в сенях к двери, просясь в избу.

Когда стало холодно, Матвей перестал [illegible] ...
и никто уже не слышал его рожка.

Весной вдруг рожок ожил и пронзительно [illegible] ...
...лую, озорную песню.

Случилось это так.

В мае Мария родила сына. Ослабевшая после трудных родов, она сидела в тени кустов бузины и держала ребенка у груди, покачиваясь из стороны в сторону и напевая вполголоса бессмысленную колыбельную песню.

Пришел состарившийся Фоня, сильно разбогатевший за последнее время. Он принес во спасение своей души подарки новорожденному и спросил, как звать ребенка.

— Ильей,— ответила Мария.

— Гм,— сказал Фоня,— пророческое имя.

Из негнущихся узловатых пальцев он состроил «фигу», боднул ком пеленок и задумчиво произнес:

—Нонче день постный, а ты, мерзавец, молоко лопаешь... Не резон.

Ребенок громко заплакал. В это время на крыльцо вышел Матвей с рожком за поясом.

— Плачет? — спросил он, подходя к жене. Вынул рожок, нагнулся к ребенку и, смешно приплясывая, заиграл ему песенку...

Занимался неяркий осенний рассвет, когда я уходил от Матвея. Все так же грустила синяя звезда, тускнел Марс на небе, и, глядя на нее, я думал о том, что стал несравненно богаче, чем был вчера, когда она возвещала о приближении ночи. Может быть, встреча с Матвеем принесла несколько живых, сообщающих аромат достоверности, подробностей к моим энциклопедическим сведениям о кладбищенском хоре владимирских рожечников; или материал для рассказа, который в ту пору я пытался писать; а может быть, заставила испытать чувство гордости за свой несомненно талантливый народ? Бесспорно.

[illegible] так и было. Но позднее я понял, что она обогати[illegible] [illegible] кем-то еще...

В моей городской жизни бывают периоды, когда неодолимо, властно, до тоски меня начинает тянуть к реке, к запаху луга, к дыму костра, к случайным встречам с такими же охотниками — бескорыстными и немногословными любителями природы,— с колхозными пастухами, бакенщиками, лесниками... С тех пор как я узнал Матвея, эта тяга усложнилась потребностью пожить иногда у старика день-два и вдохнуть тот «русский дух», который исходил от его рассказов, от песен его рожка, от всего его облика, какой, должно быть, принимали былинные богатыри в дни своей старости. Всегда он был за работой — в страдную пору даже косил, а зимой кустарничал — строгал ложки, гнул дуги, плел корзины, мастерил ульи. Чистоплотный, трудолюбивый и непоколебимо спокойный, он заставлял простить ему редкие приступы болезненной тоски, когда стонал и жаловался неразлучный с ним рожок, а он заводил излюбленный разговор страждущего русского человека о «душе».

У него была внучка, названная в память умершей бабушки Марией — худенькая белокурая девочка с печальными и добрыми глазами.

Матвей часто брал ее сильными руками, сажал на свое широкое плечо и нес куда-нибудь, заставляя рассказывать о том, что она видит. Девочка пугалась, но старик гладил шершавой ладонью ее босые ножки, ласково уговаривая:

— Не робей, тихоня, не робей.

Она рассказывала ему о плотниках, кладущих сруб фермы; о бабах, везущих с поля снопы на ток; о стадах, идущих с лугов, а он согласно кивал головой, и лицо его в этот момент теряло обычное выражение настороженности и ожидания.

Однажды я видел Матвея на полевой дороге, идущего с Марией навстречу ветру, огромного, седого, с высоко поднятой головой. Он был одет в длинную белую рубаху, перехваченную в поясе витым шнурком, и под ветром она облепила его грудь, ходуном ходившую от глубоких вдохов. Не шевелясь, затаив дыхание, я стоял у обочины дороги и, глядя вслед ему, думал о том, какую могучую [illegible] жизни и участия в ней сохранил этот старик. И [illegible] мне вспомнились его слова, прозвучавшие теперь, как заповедь:

— Я против души не играю.

Семь слонов

На пристани в З. я встретил своего недавнего знакомого — инженера Андрея Ильича Пеплова.

— Опять на стройку? — спросил он, когда мы пожимали друг другу руки. — А я из отпуска возвращаюсь, едемте вместе.

Предстояла длинная ночная дорога, я же выспался накануне в вагоне и теперь был рад этому приятному попутчику.

В сущности, я очень мало знал Пеплова. Впервые мы встретились на одном из совещаний, где он выступал по какому-то малопонятному мне техническому вопросу, но говорил так логично, стройно, чеканно, что я невольно заслушался. Впервые я подошел к нему, и мы разговорились, а потом лишь мельком встречались на строительной площадке, на совещаниях, в столовой. Неизменно он оставлял впечатление человека веселого, общительного и вместе с тем уравновешенного и трезвого. У него было умное, по-мужски красивое лицо — энергичное, сухое, с твердым взглядом и плотно сомкнутыми неяркими губами. Одевался он опрятно и всегда в новое — даже там, где грозила опасность быть измазанным в известке, глине или машинном масле. Я слышал, как на совет одеваться в таких случаях попроще он ответил:

— Люблю хорошую одежду, да и другим приятно смотреть на человека, когда он красиво одет.

Еще я знал, что раньше Пеплов работал на восстановлении Днепрогэса и был награжден орденом Ленина.

Мы купили билеты в каюту первого класса и заняли места.

— В этот раз я отказался от всех путевок и навестил своих стариков, пожил на родине,— сказал Пеплов, и в его голосе мне почему-то послышалась ирония.

Он с откровенным наслаждением потянулся на мягком диване, зевнул и прикрыл глаза темными маслянистыми

веки, какие бывают обычно у людей очень усталых. И ... у него тоже было усталое, небритое.

Он, очевидно, почувствовал на себе мой взгляд, встрепенулся и, проведя ладонью по щекам и подбородку, смущенно сказал:

— Замшел я в дороге. Спал мало... Мысленки, знаете, замучили, лезут в голову. Вот приеду — наведу лак... Вы с тех пор не были на стройке? Хо! Не узнаете теперь! У нас все меняется не по дням, а по часам. Был однажды случай, когда я уходил на работу по песку, а вечером возвращался домой уже по асфальту... Однако будет спать.

Спать не хотелось, но, чтобы не мешать ему, я погасил свет и добросовестно залез под одеяло. В каюте было жарко, простыня сбилась, и тело прилипало к кожаной обивке дивана. В умывальнике что-то сосуще чмокало, хрипело, хлюпало; пароход вздрагивал от ударов машины.

Пеплов курил, шумно выдувая дым и дугообразно чертя в темноте огоньком папиросы. Через полчаса он спросил:

— Спите? Жарко, черт возьми. Хотите, выйдем на палубу?

Я согласился. Мы оделись, вышли в холодную ветреную тьму и долго стояли, подняв воротники и глядя на огни города, все еще видневшиеся далеко-далеко за кормой парохода. Моросил колючий дождик и замерзал, покрывая тонкой ледяной коркой перила, спасательные круги, пол.

— А там уже снег, и я катался в санях,— сказал Пеплов, и опять в его голосе скользнула ироническая усмешка.

Часто за этой усмешкой люди прячут сильные чувства, укрывают ею свой интимный мир от постороннего глаза. Мне показалось, что ирония Пеплова именно такого свойства.

— Вы чем-то расстроены,— сказал я, имея в виду то, что ему лучше пойти в каюту и попытаться уснуть, но он понял мои слова по-своему и махнул рукой:

— Э, длинная история...

Пароход подходил к какой-то маленькой пристани, и когда исчезло ощущение движения, нам стало скучно, и мы вернулись в каюту. Пеплов лег, закурил. Опять было жарко и хлюпало в умывальнике.

— Хотите, расскажу? — спросил вдруг Пеплов и по-

смотрел на ... взглядом.

Я уже взя... чтение, но по... мо высказать...

— Все на... том,— сказал ... был из тех, ко... и мы, как гов... ческую скамь... классниками. ... Это небольшо... надцать — два... старых городо... Представлени... цах, многоэтаж... соответствуют ... водами. А цен... городка. Жите... тостью, любят ... по привычке с... лева, Опарина,...

В каждом ... ков столичных ... они знают друг... ками, в ясные д... играют в «дура... раются у кого-... Вот в такой-то ... Барышниковой. ... в город на кани... ще и преподав... катефон пришла...

До сих пор ... ...ня в ней. Она ... тихая, бледная, ...ей маленького ... (Спеть, даже се... ...ку, но и по ха... ...й, и было очен... ...ской спинкой ... И еще казалось, ...ало значить ...

смотрел на меня прищуренным, словно оценивающим, взглядом.

Я уже взялся за книгу, мне не хотелось прерывать чтение, но подумалось, что человеку, вероятно, необходимо высказаться, и я попросил рассказать.

— Все началось еще в те времена, когда я был студентом,— сказал Пеплов, закуривая новую папиросу.— Я был из тех, кому война помешала доучиться в свое время, и мы, как говорится, понюхав пороху, сели на студенческую скамью рядом с гонористыми безусыми десятиклассниками. На каникулы я приезжал в родной город. Это небольшой районный городок, где за последние пятнадцать — двадцать лет произошло типичное для наших старых городов смещение понятий «центр» и «окраина». Представлению о центре как об асфальтированных улицах, многоэтажных домах, театре, парках в них больше соответствуют окраинные поселки, выросшие вместе с заводами. А центр так и сохранил внешний вид уездного городка. Жители здесь до сих пор отличаются домовитостью, любят возделывать свой огород, держат скотину и по привычке старых лет называют магазины лавками Кулева, Опарина, Люлина...

В каждом районном городе найдется несколько десятков столичных студентов, приезжающих на каникулы. Все они знают друг друга, ходят по улицам и в парке группочками, в ясные дни с утра до вечера жарятся на пляже, где играют в «дурака» и фотографируются, а в ненастье собираются у кого-нибудь на квартире и танцуют под патефон. Вот в такой-то ненастный день и познакомился я с Тасей Барышниковой. Она не была студенткой и не приезжала в город на каникулы. Она окончила педагогическое училище и преподавала в младших классах, а танцевать под патефон пришла с подругой...

До сих пор не могу толком разобраться, что привлекло меня в ней. Она точно встала после долгой болезни — тихая, бледная, исхудавшая и с таким кротким выражением миленького личика, что никак невозможно было ее обидеть, даже если бы захотелось. Не только по внешнему виду, но и по характеру она казалась хрупкой, ненадежной, и было очевидно, что в обращении с ней, как с последней спичкой, нужна чрезвычайная осторожность. И еще казалось мне, что Тася очень нежна, ласкова, а это немало значит для человека, который протопал по войне несколько лет...

В тот вечер я провожал ее домой. Помню, накрапывал дождь, блестели под фонарями лужи, и пахло тополями. Потом через подруг я стал передавать ей записки, свернутые наподобие аптечных порошков, мы встречались, я провожал ее домой и часами простаивал с ней у ворот... Впрочем, об этом я не буду рассказывать. В жизни каждого есть такие ворота или лестничная площадка и такие аптечные порошки.

Пеплов засмеялся, но тотчас спросил, заглянув мне в лицо:

— Может быть, я грубо сказал? Извините. Я немного злюсь... Да, вот так. Тася всегда выглядела эдакой Несмеяной. Обычно задумчивая, грустная, она лишь изредка становилась веселой, хохотала и даже кокетничала, словно вспомнив, что молода и привлекательна. Обычная ее молчаливость казалась мне серьезностью, она много читала, но о прочитанном всегда отзывалась только так: «нравится» или «не нравится». Причем последовательности в этих оценках не было совершенно. Она не любила спорить и легко соглашалась со всеми, только бы ее не тревожили. Все подруги любили Тасю, и я никогда не слышал о ней плохого отзыва.

Со мной она действительно была нежна, ласкова, заботлива, часто писала мне в Москву письма. Теперь я понимаю, что это была все-таки очень пассивная любовь, я же всю жизнь хотел чего-то сильного. Но я ждал, что оно придет, и это вечное ожидание какого-то необыкновенного будущего удерживало меня возле Таси, и я очень любил ее, очень... Помню, я потерял нарукавные запонки, подаренные ею; этот пустяк показался мне неслыханным кощунством, и я несколько дней ходил сам не свой. Когда долго (а неделя считалась уже долгим сроком) от нее не было писем, я начинал беспокоиться, истолковывал ее молчание непременно в трагическом свете и забрасывал ее тревожными телеграммами.

Я чаще стал приезжать из Москвы, постоянно бывал у Барышниковых в доме. Это просторный серый бревенчатый дом в центре города, с большим двором, огородом, со всевозможными пристройками: курятником, сараем для дров и еще сараем, который звали омшаником, где откармливались два поросенка.

Глава семьи, Тасин отец, Петр Фомич Барышников, работал кладовщиком в промышленной артели, выращивал [illegible], цветы и, приехав, и принося домой так назы-

ваемые «концы» — отходы. Ими мать, Евдокия Тимофеевна, набивала множество подушек, подушечек, тюфяков и тюфячков — зачем, не знаю. Наверно, для продажи. Этими «концами» были завалены сени, чуланы, кухня, и пахло от них тряпьем и машинным маслом.

Петр Федорович был крепкий, сухой мужчина с синими прожилками на скулах и на носу, с рыжеватыми усиками, короткими и, вероятно, очень жесткими. Мне он частенько говаривал:

«Мы, товарищ студент, люди простые и живем по-простому».

А сквозь его цепкие, острые глаза так и глядел хитрый кулачок. И когда он ходил по двору или скалывал у дома лед точно от угла до угла, чтобы не задеть сторону соседа, то во всех его жестах, взгляде, осанке выражалось приятное его сердцу сознание: «Это мое».

Любил он поговорить со мной о коммунизме. И говорил всегда как бы с потребительской точки зрения.

«Вот ты — человек ученый. Растолкуй мне, пожалуйста, как все будет доставаться людям по потребности? — вопрошал он с недоверчивой усмешкой в глазах.— Они же тогда все растащат. Я вот, например, дворец захочу, а другой еще чего-нибудь похлеще. Как же?»

Разъяснять мне не хотелось, я вяло говорил что-то о высоком уровне сознания, усмешка в его глазах становилась еще более недоверчивой, а мне начинало казаться, что ему хотелось бы попасть в коммунизм именно с его теперешним сознанием — уж он бы тогда не растерялся!

Евдокия Тимофеевна выглядела довольно старой, дочь у нее родилась поздно, и рядом с Тасей она больше походила на бабушку, чем на мать. В сущности, это была простодушная и добрая женщина, но такая примитивная, что любой разговор непременно сводила к одной и той же теме:

«Раньше-то как! Фунт мяса — пятачок, фунт сахару — три копейки, французская булка — копейка».

«Вы лучше расскажите, как раньше жили», — попросишь ее, бывало.

И опять:

«А как жили! Фунт мяса-то стоил пятачок...»

«Ну, как, например, развлекались?»

«А как развлекались... Дадут тебе пятиалтынный, а раньше-то — фунт орехов...»

И так далее. Большего мне от нее не удавалось добиться...

Я тогда уже считался у них, как бы сказать, женихом. Однажды Евдокия Тимофеевна встретила мою мать на рынке, зазвала к себе и показала все Тасины платья, сорочки, пальто, а под конец вынула тяжелую лисью шубу и сказала, что предназначает ее мне в свадебный подарок.

В студентах, помню, жилось туго. Пока я и отец были на фронте, матери пришлось в крутые военные годы поистратить все «именьишко», и на мне были только шинель, брюки с пузырями на коленках да жалобно скрипящие сапоги, кончавшие свое существование. Не могу вам выразить, как противно было мне слышать про эту шубу.

Петр Федорович смотрел на меня оценивающим взглядом, словно старался определить, смогу ли я быть достойным продолжателем той жизни, которую создал он в своем доме, а мне хотелось только одного — поскорее преодолеть нерешительность Таси и увезти ее подальше от этой жизни. Но приходилось ждать, пока я кончу институт,— это было непременным условием ее родителей, переступить которое она не находила в себе сил.

Неожиданно Петр Федорович появился в Москве, у меня в общежитии. Приехал он купить кое-что, но мне показалось, он опять примеривается ко мне, ощупывает взглядом, прикидывает что-то в уме.

В общежитии он напустил на себя какую-то смиренность и, когда я предлагал ему чаю, говорил со вздохом: «Коль будет любезность, угощайте...»

А мне было противно это ломанье, я нарочно задерживался в институте до полуночи, но он терпеливо ждал меня и заводил разговоры, которых я стыдился перед товарищами. И еще было видно, что он глубоко презирает нашу жизнь, непонятную и чуждую ему.

Меньше чем через месяц после его отъезда я получил письмо от матери. Она писала, что Тася вышла замуж за военного врача, которого едва знала, и уехала из города.

Непонятно, правда? И я тогда ничего не понял. Было тяжело — вот и все. Я не приезжал домой целый год и только в конце августа, перед началом занятий, приехал на несколько дней.

И тут, как говорится, потянуло меня на пепелище. Случилось то, чего я не ожидал. Я стал внимательно прислушиваться к рассказам о Тасе, о ее новой жизни где-то [illegible] на востоке, проходил, будто невзначай, мимо ее

... бросал взгляды на окна, заселенные геранями, и, может, встретил Евдокию Тимофеевну. Она, кажется, обрадовалась мне, просила заходить; я сказал, что, может, быть, зайду, и знал, что зайду.

О Тасе она мне сказала:

«Живет хорошо, муж не пьет, не гуляет».

И это, очевидно, в ее понятии было основным содержанием семейного счастья.

Отправился я туда под вечер накануне отъезда в Москву. Помню, весь этот день в небе, точно приклеенная, стояла синяя туча с фиолетовыми подпалинами по краям и только к вечеру стронулась с места и ушла, не уронив ни капли и оставив в воздухе напряжение неразразившейся грозы. Оно сообщилось и мне. Я шел, ни о чем не думая, и только чувствовал, что сегодня мне особенно тяжко и нехорошо.

Во дворе Барышниковых ничего не изменилось: тот же крепкий забор, та же бочка под капелью, те же кусты бузины, тот же престарелый дворовый пес, который встретил меня, как своего, и лизнул руку. Я приласкал его, сказал:

«Ну-ну, старина, неужели узнал?»

И с этого момента впал в настроение, испытать которое вовсе не намерезался. Я вспомнил, как сидел на лавочке под бузиной и ждал Тасю. Было чистое, холодное и розоватое от заката небо. Тася пришла с купанья, свежая, пахнущая речной водой; полотенце, повязанное вокруг головы, поддерживало тяжелый узел мокрых волос. Я целовал ее в холодные губы, а она говорила:

«Какой ты теплый... хороший. Я озябла. Ну, поцелуй меня еще...»

Пеплов прервал рассказ и спросил:

— Может быть, вам неприятно слушать об этом? Знаете, иногда бывает как-то неловко от излишней и неуместной откровенности другого человека. Ничего? Ну, я буду продолжать...

Я так и не вошел в дом, посидел на лавочке и, не замеченный никем, ушел. Побрел к реке, долго стоял на мосту, смотрел на воду, ходил по улицам и чувствовал, как во мне зреет тяжелая обида. Я старался убедить себя в том, что глупо обижаться, если тебя не любят, но не мог.

Светало, когда я возвращался домой по главной улице. Фонари еще горели и были похожи на прозрачные пузыри. На широком подоконнике магазина сидел сторож с берданкой, он попросил у меня огня. Я закурил вместе с ним,

...ольник, и мы молчали, пока не докурили, ...ул хлеб, соль в круглой баночке и ...ел ...предложил мне, и мы так же молча ели. Я видел, как старик споро посыпает солью рваные куски хлеба, сует в рот, что-то в бороду, жует. И он казался мне каким-то близким, своим, бесхитростным и добрым, а сам я почему-то чувствовал облегчение...

На этом кончается, так сказать, первая часть истории. Никогда не думал, что будет ее продолжение, но вот случилось же! Приехав в отпуск, я узнал, что Тася уже два месяца живет в городе. Признаться, я испытал при этом известии только любопытство. Я люблю встретить человека, которого знал когда-то, говорить с ним и замечать перемены, происшедшие в нем.

Тасю я не застал дома. Не постаревший, а только как будто больше засохший и ставший крепче, Петр Федорович сразу узнал меня, усадил за стол, стал потчевать водкой и моченными яблоками, приговаривая:

«Мы, товарищ инженер, люди простые, и живем по-простому».

В доме ничего не изменилось. В кухне валялись «коники», от которых пахло тряпьем и машинным маслом, на окнах стояли герани, скрипела половица, скрипевшая и пять лет назад, и семь... И даже Тасин сын — сонный пухленький мальчик, которого с гордостью показывала мне Евдокия Тимофеевна, подкидывая его на руке и приговаривая: «Вот мы какие!» — не казался мне новым. Даже не верилось, что он Тасин; просто кто-то из соседей ушел в магазин и попросил приглядеть за малышом. Подумалось на минуту, что ничего не было, что только вчера мы расстались с Тасей, и, улыбнувшись, я сказал:

«А у вас все по-старому...»

Сказал как будто одобряюще и даже улыбкой постарался выразить это одобрение, но тотчас же с неприятным чувством стыда за свою неискренность подумал, что жить и не меняться, в сущности, очень скучно и глупо.

Вскоре пришла Тася. Она очень пополнела, была красиво одета и вся как-то блестела — блестели глаза, зубы, серьги, волосы. Наблюдая за ней в этот день и потом, я заметил, что у нее появилась округлая медлительность в движениях и привычка удобно усаживаться с ногами на диван или в кресло; говорила она плавно, грудным теплым голосом, какой бывает, если заметили, только у зрелых

женщин, счастливых прочным, долголетним счастьем. И держалась она не застенчиво и в уголке, как прежде, а свободно и даже вызывающе; отца звала папашкой, а мать — мамаем. Очевидно, ей было приятно сознавать свое новое положение независимого человека и щеголять им передо мной и родителями.

О себе она рассказывала очень скупо. Сказала, что давно уже не работает, очень скучала по дому, что мужа перевели в новое место и, пока там не устроено, она поживет здесь месяца четыре, а может быть, полгода.

Мы сидели в ее комнате, где всегда сиживали раньше. Тася навезла в нее массу безделушек — кружевных салфеток, флаконов, статуэток, картинок, а на подзеркальнике стояли полукругом семь слонов — традиционный символ счастья, причем самые маленькие из них походили больше не на слонов, а на свинок.

Я не удержался и спросил Тасю, почему она так скоропостижно вышла тогда замуж. Она улыбнулась, пожала плечами и нехотя сказала:

«Так уж получилось...»

Я подумал, что ей попросту захотелось вырваться из дому, ждать меня было долго, а тут подвернулась возможность уехать далеко с надежным, спокойным и солидным человеком, и она уехала. Да и родители, наверное, уговаривали ее, тоже полагая, что меня ждать долго, и неизвестно к тому же, что из меня получится.

Думать об этом было неприятно, но я каждый день приходил к Тасе, сидел, придумывая для разговора всякую ерунду, а мне, откровенно говоря, хотелось просто положить голову к ней на колени и ни о чем не говорить, не думать.

Бывала и она у нас. Однажды — уже вечерело — пришел мой отец и сказал, что едет по своим делам в колхоз.

«На лошади? — спросила Тася. — Возьмите нас!»

Она и раньше любила ездить с ним в санках по морозу, озябнуть, а потом греться у печки. Поехали. Отец обычно не брал кошоха, правил сам и на плохих дорогах неизменно пророчествовал:

«Вот посмотрите, следующая пятилетка обязательно будет пятилеткой дорог. Тогда мы станем королями!»

Он давно — уже лет двадцать — работал заведующим дорожным отделом райисполкома и ждал такую пятилетку с нетерпением.

Мороз был не крепкий, но мы озябли и пили в деревне
[illegible]ки. Тася тоже выпила немного и стала еще ярче, бле-
[illegible]ней. Отец отдал нам свой тулуп и пошел к председате-
[illegible]ю, а мы, согревшись, отправились кататься по полевым
дорогам. От бодрящего морозного воздуха и водки стало
вдруг очень весело и как-то бездумно. Пахло сеном, овчи-
ной пополам с Тасиными духами, и все казалось немножко
необыкновенным. У Таси и в темноте, очень-очень близко
от меня, глаза блестели зеленоватым звездным светом, и
вдруг она обняла меня и, жарко дыша в лицо, сказала, что
не хочет сегодня домой и останется со мной в деревне.
Прошлое, знаете, довольно-таки ревниво отстаивает свою
власть над человеком. И мне представилось, что к нему
еще можно вернуться.

«Хочешь ко мне... совсем?» — спросил я.

«Ну что ты! — почти испуганно воскликнула она.— Нельзя...»

«Тогда зачем же все это?»

Она ударила меня пальцем в перчатке по носу и сказала:

«У-у, какой праведник! Для детей, чтобы они не лазили в сахарницу, придумали, что от сахара портятся зубы, а они верят и упускают подходящий момент».

Она тихо засмеялась, глядя на меня, а мне вдруг в этих словах, в этом смехе открылось очень многое. Я понял, что она никогда и ни за что не вернется ко мне, потому что все у нее есть в жизни, и она счастлива — счастлива тем, что сыта, красиво одета, тем, что имеет мужа, и тем, что легко может изменить ему. Я понял, что в школе она была не воспитателем и педагогом, а просто отбывала тяжкую повинность, детей не знала и поэтому ухватилась за первую возможность бросить работу. И еще многое я понял. Мне стали жалки и смешны и она сама, и все, что связано с ней, — ее дом, ее родители, ее картинки, салфетки и семь слонов, похожие на свинок...

Когда мы вернулись в деревню, я накрыл лошадь попоной и пошел разыскивать отца, а она так и осталась сидеть в санях...

— Вот и вся история,— закончил Пеплов.— Наболтал так, что в горле пересохло... Пива бы сейчас... Который час? Давайте разбудим буфетчицу, извинимся. Или — неудобно.

Я сказал, что, пожалуй, неудобно.

— Жаль! — сказал Пеплов, но все-таки встал и вышел

Вскоре он
шенную тарань.
— Вот! К с
Мы уснули
э в сумерках
толпились пасс
гивали шен,
точно разбухши
Пеплов, пос
глядел на этот
пробирался бли
При выходе
жаном пальто у
для отчета по ко
— На морск
дил он неубедите
Пеплов, гром
— Вот сделае
И протянул м

1953

Вскоре он вернулся, неся несколько бутылок пива и сушеную тарань.

— Вот! К счастью, не спит, считает что-то.

Мы уснули только утром. Во сне минул недолгий день, а в сумерках пароход уже подходил к стройке. У сходен толпились пассажиры, и те, кто ехал сюда впервые, вытягивали шеи, вглядываясь в берег, усеянный крупными, точно разбухшими в сыром воздухе, огнями.

Пеплов, посвежевший, возбужденный и веселый, тоже глядел на этот берег и, не замечая, что толкает других, пробирался ближе к сходням.

При выходе отбирали билеты. Человек в потертом кожаном пальто умоляюще доказывал, что билет ему нужен для отчета по командировке.

— На морских пароходах и то не отбирают,— приводил он неубедительный для матросов довод.

Пеплов, громко смеясь, сказал:

— Вот сделаем море, и здесь заведут морские порядки.

И протянул матросу свой билет.

1953

Дальние родственники

На дубовой гриве, в землянке, выстроенной некогда охотниками-пастухами, выгонявшими на все лето скот в пойменные луга, ночевали охотники.

Днем было холодно и несколько раз принимался моросить дождь, но к вечеру облака растянуло; заря, предвещая хорошую погоду, раскрасила небо и остекленевшую поверхность полых вод в розовые и золотые тона, а когда совсем стемнело, ярко заблестели редкие весенние звезды. Стало очень тихо, лишь в затопленных кустах журчала и булькала вода да на гриве перекликались совы. Потом пролетели гуси. Их тихий говор, постепенно удаляясь и замирая, долго был слышен над плесами и перекатами...

Охотников было трое: колхозник Васька Лоскутов и два инженера из города — Алексей Иванович Потапов и Валентин Вахрушев. Они разложили возле землянки костер и готовились ужинать.

Вахрушев стоя, помахивая над огнем мокрыми носками, морщился от дыма, кашлял и изредка бранился. Он был среднего роста, плотный, широкоплечий; лыжный костюм делал его подтянутым и стройным, но полное бледное лицо, вялый, без блеска взгляд, жидкая улыбка на пухлых губах уже говорили о том, что он уже начал толстеть, мягок и медлителен. Недавний дождь нагнал на него уныние, и ему почему-то вспомнилось, как совсем еще недавно он шел по ночной Москве в компании веселых, возбужденных студентов, как они спросили постового милиционера, где в это время находится созвездие Кассиопеи, и потом дружно смеялись, и милиционер смеялся вместе с ними...

Как легко и беззаботно жилось тогда. Потом он окончил институт и был направлен на завод в город В. Вспомнила, что там у нее есть двоюродный брат Алексей Иванович Потапов; ему было написано письмо, и Вахрушев и его жену Наташу на вокзале

Шатапов неподдельно обрадовался племяннику, которого никогда не видел, теребил его, хлопая по плечу и с гордым изумлением говорил:

— Вот, черт возьми, какая молодежь растет! Значит, к нам на завод? Гоже!

Дома он достал из буфета бутылку с водкой и, открывая ее, покрякивал, причмокивал, приговаривал:

— Сейчас мы перцу в нее, перцу... Аня, где у нас перец? Наташа, достань в левом ящике... Привыкай хозяйничать, жить-то пока вместе будем.

— Зачем перцу? — осторожно спросил Вахрушев.

—Не пробовал?! — изумился Алексей Иванович. —Это для огня. Попробуй — душу выжигает. Гоже!

— Чародей! — сказал Вахрушев и выпил.

Ему хотелось понравиться дяде, потому что он знал по опыту, что если людям понравишься, то от них меньше беспокойства.

Выпив, Алексей Иванович стал еще разговорчивее. Опершись локтем на стол, он близко придвинул лицо свое к лицу Вахрушева и заговорил о себе, часто повторяя:

— Жизнь, брат, мудреная штука...

Был он уже немолод, лет пятидесяти трех, и самой заурядной внешности: высок, худощав, жилист и плохо побрит. Вахрушев уже знал, что у него четверо детей и больная жена, что он много работает на заводе, а потом бежит еще в вечерний техникум читать лекции, и вся его жизнь казалась Вахрушеву штукой вовсе не мудреной, а серой, будничной и неинтересной. Заметив на стене ружья, он спросил:

— Охотой занимаетесь?

— А как же! — сказал Алексей Иванович с оттенком удивления в голосе, словно считал охоту чем-то жизненно необходимым, о чем даже спрашивать не принято.

Вахрушеву опять захотелось понравиться дяде и он сказал, что тоже любит охоту. На самом же деле он был на охоте всего один раз, и с тех пор, вспоминая о ней, неизменно ощущал скуку, утомление и нечистоту, которые он испытывал тогда.

Алексей Иванович сейчас же стал показывать ружья, позвал гончую собаку и хвастался:

— Профессор на охоте, доктор! Высшее образование! Ты только послушай голос каков — симфония! Заливай, голос!

Гав, гав!» — ответила собака и ударила [illegible] хвостом по ноге.

С тех пор часто и много говорили об охоте, но [illegible] не скоро, потому что Алексей Иванович [illegible] занят. А когда наконец собрались, между ними [illegible] и тени прежних добрых отношений. Алексей Иванович уже не хлопал племянника по плечу, Вахрушев больше не старался понравиться дяде, но ни тот, ни другой из вежливости не высказывали своей неприязни и продолжали жить вместе, потому что Вахрушев все еще не получил квартиру.

На охоте Алексей Иванович как-то сразу и неожиданно преобразился. Его внешность уже не казалась такой заурядной: напротив, обутый в крепкие, с раструбом сапоги, одетый в стеганку и шапку, из которых клочьями торчала вата, он выглядел очень эффектно и был похож на древнего зверолова, жителя лесных избушек, шалашей и землянок — сильного, ловкого и мудрого.

Когда пролетали гуси, он нес к костру котелок с водой, остановился и долго, как зачарованный, стоял, прислушиваясь, потом вздохнул глубоко, радостно и сказал:

— На север полетели...

Все звуки были предельно чисты. И то же ощущение чистоты вызывали и колко-свежий воздух, и лучистый свет звезд, и тонкий, едва уловимый запах вербной пыльцы.

По всей повадке Алексея Ивановича — по тому, как он чутко вслушивался и даже вздрагивал при каждом звуке, как улыбался без видимой причины, как втягивал ноздрями воздух, как благоговейно и трепетно рубил дрова, разжигал костер, доставал из мешка кружку, ложку, соль, — по всему было видно, что ему не часто удается выбраться на охоту, что сейчас он наслаждается и до томления счастлив. Приладив котелок над костром, он хлопнул в ладоши, крепко потер их одну о другую и, видимо, опять обрадованный чем-то, весело сказал:

— Гоже!

К восторгам Алексея Ивановича Вахрушев относился невозмутимо, не находя ничего красивого в скопищах серых, точно мертвых деревьев и в оловянном блеске воды.

— Право, завидую я Ваське,— сказал Алексей Иванович, обращаясь к Вахрушеву. — Неделями тут живет. Ты только посмотри на него! Скиф! Дитя природы!

Васька сидел тут же и чистил, положив на весло

грушную шуку. Его лицо, обожженное солнцем, обветренное, закопченное, обросшее щетиной, казалось совсем черным, и только зубы да белки глаз красновато блестели в живом, беспокойном свете костра.

Ваську знали все охотники, бывавшие в этой пойме. Он жил неподалеку в деревне, которая днем была видна на противоположном высоком берегу реки, и каждую весну приезжал сюда охотиться и ловить крыленами и сетями рыбу. Он хорошо знал пойму, и все ее обитатели были для него словно добрые знакомые, с которыми он поддерживал свои короткие, интимные отношения.

— Сова кричит,— говорил он.— Надоела она мне, чертовка!

Или, заслышав в ночной тишине какой-то шорох по сухому прошлогоднему листу, кивал в ту сторону и объяснял:

— Барсучишка. Старик. Нора у него здесь недалеко. Осторожный, каналья!

Был Васька молод, красив, удачлив в охоте, всегда спокоен, и казалось, что в жизни для него все ясно, просто, понятно, устроено как нельзя лучше и что в ней он так же удачлив, как и в охоте.

— Рассказал бы что-нибудь, Василий,— попросил Алексей Иванович.

— Чего же рассказывать-то?— усмехнулся Васька.— Соловья баснями не кормят. Вот сейчас уха будет, а потом уж и рассказывать можно.

Пока они ели, Алексей Иванович не переставал любоваться Василием, толкал Вахрушева под локоть и говорил:

— Нет, ты посмотри, как он ест! Ты посмотри!

Ел Васька шумно, смачно, с хрустом и опять же, по мнению Вахрушева, вовсе некрасиво.

Опьянев от еды и усталости, охотники легли у костра. Пора было устраиваться на ночлег, но по всему телу растекалась неодолимая лень, никому не хотелось подняться, чтобы затопить в землянке печь, и все трое продолжали лежать, глядя на игру огня сонными глазами.

Алексей Иванович старался думать о предстоящей охоте, о том, где еще нужно поставить шалаши, где сесть сами, где посадить Вахрушева, но мысли не слушались его, и думалось совсем о другом — о том, что в природе, рождая обманчиво близкие звуки, совершается своя жизнь, богатая и прекрасная, и ему неожиданно пришли на память стихи:

[illegible] прошлогодний пробившись, теперь [illegible]!

И [illegible] чувство умиротворения, любви и нежности вдруг охватило его: ему захотелось быть добрым ко всем людям, ласкать их, жалеть и любить, любить бесконечно, и, уверенный, что Вахрушев поймет это, он взял и молча стиснул его руку.

— Постой! — сказал вдруг Васька — Кажется, кричит кто-то...

Охотники насторожились. До их слуха явственно донесись сначала удары весел о воду, скрип уключин, а потом долгий протяжный крик.

— Оп! Оп! — коротко отозвался Алексей Иванович.

— Плутает кто-то,— сказал Васька. — Ничего удивительного. Я всю пойму вдоль и поперек знаю, а тоже вот один раз закрутился ночью: куда ни ткнусь — всюду кусты. Напугался. Небо черпущее, вода бурлит... Большая в тот год была вода... Привязал лодку к кусту, так и сидел до рассвета. Продрог — аж все тело свело! А другой раз занесло в потемках на корягу. Ботничек легонький — кувырк, конечно. Купался, ружье утопил... Потом, когда вода маленько сошла, достал.

— Оп! Оп! — снова отозвался Алексей Иванович.

Казалось, что весла скрипели и плескались очень близко, но на самом деле лодка была далеко, и еще долго над поймой носились многократно повторяемые эхом крики — один протяжный, зовущий, и другой короткий, ответный: «Оп! Оп!»

Наконец совсем рядом, из-за кустов, женский голос позвал:

— Василь!

— Никак, моя баба! — удивленно сказал Васька, поднимаясь — Любка! — крикнул он.— Ты, что ли?

— Я...

— Кой черт тебя носит!

С лодки не ответили. Васька подошел к самой воде. Его острые глаза, очевидно, различали что-то в темноте, и он со спокойной насмешкой в голосе говорил:

— Куда ты через кусты-то ломишься? Вон чистое место. Правым! Правым гребани... Ну, завертелась, как на карусели. Давай двумя сразу!

Лодка ткнулась в берег, и, выходя из нее, женщина спросила:

— Не один ты здесь?

К костру она подошла несмело, поздоровалась и протянула над огнем руки, но было видно, что она и без того разгорячена и сделала это просто от смущения. Она была маленькая, круглая, все на ней казалось слишком узким, и даже голенища хромовых сапожек обтягивали ее ноги туго, как чулки. Она запыхалась, дышала часто и жадно.

«Ноздрями шевелит! Жизни в ней на три века!» — подумал Алексей Иванович.

Она вызывала в нем то же чувство восхищения, что и Васька, и он думал о том, что оба они — здоровые, молодые, свежие — взбудоражены сейчас весной, ее буйной силой возрождения, ее пьяным воздухом, и что это тоже прекрасно и необходимо, как сама весна, как жизнь.

— Пойдем-ка, брат, спать,— сказал он Вахрушеву.

В землянке они затопили дырявую печку и, оставив дверь открытой, чтобы вытягивало дым, легли в мягкое сено, собранное с прошлогодних стоговищ.

Алексей Иванович засыпал медленно. Словно издалека доносились до него голоса Васьки и его жены, споривших о чем-то, но смысл их слов не доходил до сознания, и с чувством недоумения Потапов думал сквозь сон: «Зачем они спорят? Ведь все так хорошо».

Но вдруг он услышал плач — по-детски громкий, всхлипывающий — и, поднявшись на локте, тряхнул головой, сбрасывая дремоту.

— Тише, не реви,— говорил Васька. — Люди услышат...

— Перед людьми тебе совестно! — говорила Люба. — А мне не совестно? Обо мне ты подумал? Я людям-то в глаза смотреть не могу...

Она замолчала и после короткой паузы заговорила, слезно причитая:

— Ах, Васька, Васька! Такой молодой, красивый такой, посмешищем себя сделал! Я на свадьбе с тобой рядом сидела, так меня радость под облаками несла... Люди «горько» кричали... Вот когда горько-то мне! Ох, горько...

— Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше, — пробормотал Васька.

— Лучше ли так-то, Вася? Если уж порыбачить да сетей не заказано. А ты ведь наловишь, настреляешь, продашь и начинаешь проклятую водку трескать, а потом — опять

По утрам бригадир проверяет выход на работу [illegible] спрашивает: «Васьки Лоскутова нет?» — Нет, [illegible] ему, не пер...» Смеются все. Васька! Се[illegible] в нашу бригаду председатель приезжал. Я как уви[illegible] его машину, так у меня сердце захолонуло. Сам за[illegible] строгий он. Разве я о том думала-мечтала, когда за [illegible] шла, чтоб бояться да стыдиться? За что ты меня обижаешь? За что?

— Спать пора,— устало сказал Васька, — скоро уже светать начнет...

— Да ты не слушаешь меня! — изумленно и с болью в голосе сказала Люба. — Каменный ты, что ли?

Алексей Иванович сел и толкнул Вахрушева:

— Слышишь?

— Давно уже слушаю...

— Вот подлец!

— Скиф! — насмешливо сказал Вахрушев.— Дитя природы!

В чуть светлеющем проеме двери показалась плечистая Васькина фигура. Он с натугой втиснулся в землянку и сказал шепотом:

— Приляг тут. Будет светать — поедешь.

Люба все еще не могла успокоиться, всхлипывала и вздыхала, а потом Алексей Иванович почувствовал, как нары стали мелко и часто подрагивать: она снова плакала, стараясь сдержать рыдания.

— Послушай-ка, Васька,— сказал вдруг Алексей Иванович — Я, конечно, не имею никакого права вмешиваться в твои дела, но, надо тебе сказать, ты поступаешь нехорошо.

«Не так я ему говорю,— подумал он.— Не так и не то!»

— Еще чего? — усмехнулся Васька.

— Вы не плачьте,— сказал Алексей Иванович Любе.— Тут слезами не поможешь, нужно с ним построже...

— Пристыдите его хорошенько,— сказала Люба, доверчиво подвигаясь к нему. — Поверите ли, извелась я через него. Он и в поле придет или на ток, так все равно немного от него радости: все шуточки-прибауточки, а работы из [illegible] не найдешь. На правление его вызывали, наставляли на путь — ну поработал в полную силу недолго, а потом снова...

— Не плачьте,— повторил Алексей Иванович и, протянув [illegible] руку, погладил Любу по плечу.

— Ох, горько мне! — вздохнула она.

— Развели тут мокроту,— буркнул Васька из темноты.

— Не сметь! — крикнул Алексей Иванович. — Ты у меня... Уходи прочь отсюда! Сейчас же!

— Оставь ты его,— вмешался Вахрушев. — К чему затевать скандал?

Чтобы высказать человеку горькую и суровую правду о нем, нужно мужество, которого у Вахрушева не было. Он выработал свой кодекс поведения, который гласил, что надо быть деликатным, то есть избегать бурных столкновений и не говорить людям обидных для них истин. Поэтому он, сдерживая Алексея Ивановича, настойчиво повторял:

— Да оставь ты его, оставь... Не станет он лучше от твоих внушений.

— Что же — молчать? — не унимался Алексей Иванович. — Прочь! Говорю тебе, прочь сейчас же отсюда!

— И то правда, уйду. Ну вас к черту! Все равно спать не дадите,— сказал Васька и, волоча за собой полушубок, вышел из землянки.

Некоторое время все молчали, и было слышно, как с потолка осыпался песок.

— Ну зачем этот скандал? — снова сказал Вахрушев.— Какое тебе дело?

— Ах, отстань, пожалуйста! — резко ответил Алексей Иванович. — Я знаю, что ты сам равнодушен ко всему, кроме своего брюха.

На минуту Потапов вспомнил недавнее пожатие руки и свое чувство умиротворения, но оно уже покинуло его и осталось только в памяти.

— Ты, милый мой, по ровной дорожке в жизни шагал, — с дразнящим презрением сказал он.— От няньки — в детский сад, из сада — в школу, из школы — в институт. И жил ты в Москве за батькиной спиной. Я вот в Москву-то пешком пришел по булыжной мостовой. А как учился! Днем — элементы высшей математики, а ночью — капусту грузишь и получаешь за это сырыми кочанами... Оттого ты и полагаешь, что жизнь, как эскалатор: встал на ступень-ку — и поднимает до высот. Как бы не так!.. А, — махнул рукой Алексей Иванович, — да тебе никаких высот и не надо. Сытно, тепло, спокойно — вот и на высоте. Скажешь, не так?

Вахрушев молчал. Все было именно так. Возвращаясь после работы, он еще с порога капризно кричал жене:

— Наташка, давай жрать!

А пообедав, обмякнув еще больше и подобрев, говорил:

— Давай-ка, Наташка, спать.

Жена его очень любила, он знал это и научился извлекать из этого мелкие выгоды. Она тоже работала и, кроме того, занималась всеми домашними делами, но считалось, что работает только он и для него должны быть созданы все удобства. А когда их не было, когда его тревожили, он думал, что к нему относятся несправедливо, и обижался...

Он и теперь обиделся, не желая признаться себе в том, что Алексей Иванович прав, и считая его слова несправедливыми и оскорбительными.

— Ты сам понимаешь, что после этого нам неудобно оставаться в одной квартире, — с достоинством сказал он.

— Э, полно! Не уйдешь ведь: беспокойств много, — отмахнулся Алексей Иванович. — А впрочем, как знаешь.

Снова наступило длительное молчание.

— Вот как все получилось... — тихо сказала Люба. — Поеду я.

— Подождали бы до рассвета, опять плутать будете.

— Выберусь как-нибудь.

— Ладно, я провожу вас.

Они вышли.

Костер уже догорел; возле него, завернувшись в полушубок, спал Васька. Было светло, потому что взошла луна, и на фоне посветлевшего неба удивительно четко вырисовывалась каждая веточка огромных черных дубов.

Алексей Иванович прыгнул в свою лодку и поплыл впереди Любы, выбирая путь покороче. На широком плесе, с которого было видно, как блестят при лунном свете крыши деревенских изб, он сказал:

— Ну, до свидания. Теперь уж не собьетесь.

— Всего вам доброго, — отозвалась она. — Хороший вы человек.

Ее лодка скользнула мимо. Алексей Иванович посмотрел ей вслед и повернул обратно.

1953

Бубенчик

1

В [illegible] одноэтажным домом, в глубине двора, густо заросшего кустами волчьих ягод, стоял флигель, оштукатуренный снаружи и похожий на украинскую мазанку. В одной из двух его комнат жила хозяйка — крепкая, бойкая и громогласная старуха Талантова, а другую снимал у нее аспирант сельскохозяйственного института Рязанов. Был это парень лет двадцати шести, крупный, широкоплечий, лобастый. В комнатах и даже по двору двигался он боком, с явным опасением задеть что-нибудь, опрокинуть, сокрушить, а садясь на стул или лавочку, недоверчиво ощупывал их рукой.

Когда он впервые пришел к Талантовой, она спросила его своим отрывистым басом:

— Как звать?

— Георгием.

— Егором, значит, — утвердительно сказала она. — Так-то лучше будет, проще.

И вскоре все, даже в институте, стали звать его Егором.

Во флигеле он занял маленькую комнатку с окном во двор. В ней было тепло, тихо, и казалось, будто она со всех сторон обложена ватой. Сначала Егору, привыкшему к суете общежития, было тоскливо и одиноко в этой тишине, но вскоре он познакомился с обитателями деревянного дома, и жизнь во флигеле перестала тяготить его.

Знакомство это началось довольно курьезно. Однажды Егор шел из института домой с группой знакомых студентов. Один за другим они прощались и сворачивали в переулки, и только Галя Орлова, маленькая красивая девушка, очень болтая, все шла и шла вместе с ним.

«Да не из тех ли Орловых, которые впереди живут?» — подумал Егор, приближаясь к дому.

Он давно спросить постеснялся, и только когда они подошли, а потом все-таки опять двинулись к одним воротам, то оба поняли и расхохотались.

Вечером Егор много работал и нечаянно уснул прямо столом. Его разбудил яркий свет солнца, бьющий ему глаза: он поднялся и, потирая затекшую щеку, распахнул окно. Через двор к флигелю шла Галя в ярком пестром платье, вся осыпанная солнечными бликами, молодая, красивая, и Егор, думая, что все еще продолжается сон, пробормотал:

— Здравствуйте, утренняя царевна...

Она засмеялась и, подойдя ближе, спросила:

— Можно посмотреть, как вы живете?

Егор смутился, начал лепетать о том, что у него не прибрано, но она уже сидела на подоконнике и бесцеремонно оглядывала комнату.

— Вы какой-то бука, молчаливый, — сказала она, словно пожаловалась, и даже надула губки.

— Я у деда на лесном кордоне вырос, там много не разговаривали, вот и привык, — сказал Егор.

— Страшно, наверно, в лесу жить? — спросила она.

— Ну! Кого же там бояться? — улыбнулся Егор.

— Талантова-то дома? — спросила вдруг Галя. — А то прогонит. Не любит она меня.

— Не любит! — с искренним удивлением воскликнул Егор, недоумевая, как можно не любить это милое наивное существо...

Впоследствии он вспоминал об этом лете как о самой красивой поре своей жизни. Во дворе распустилось много цветов, заботливо взращенных Талантовой, и она иногда разрешала ему рвать их. Этим разрешением Егор пользовался в дни Галиных экзаменов. Утром он терпеливо стерег ее у окна, чтобы подсмотреть, в каком платье она уйдет, а потом составлял букет в тон платью и дарил ей. А когда, сдав экзамены, Галя уехала на курорт, ему вдруг захотелось работать, и никогда, кажется, он не работал так спокойно и плодотворно.

Однажды он вошел во двор, и у него от радостного волнения застучало сердце. Загорелый, посвежевший после курорта, по двору расхаживал Дмитрий Сергеевич Орлов, в пижаме и сандалиях на босу ногу.

— «Нынче у нас передышка...» — пропел он, увидав Егора. — А посему давайте-ка, молодой человек, выпьем. Полдня уже томлюсь. Один, знаете ли, не привык, а баба, — кивнул он в сторону дома, — как известно, не материал для компании.

— Папа, нельзя тебе пить! — донесся из окна знакомый Егору голос, заставивший его вздрогнуть и улыбнуться.

Егору всегда очень нравилась эта его манера держать себя балагуром, простачком, рубахой-парнем. Основанная на сознании своего равенства со всеми большими и малыми людьми, она, очевидно, была усвоена им еще во времена первых комсомольских ячеек в деревне, когда его, секретаря ячейки, вызывали в город по серьезным делам, говорили ему «ты», хлопали по плечу, и он тоже говорил всем «ты» и тоже хлопал по плечу.

— Не понимаю, как можно пить в такую жару, — сказала жена Дмитрия Сергеевича, Анна Николаевна, вынося водку и закуску и ставя это на стол, врытый в землю.

Она очень любила принимать гостей. Муж и дочь относились к ее домашним хлопотам как к должному, и только гости могли в полной мере оценить искусство хозяйки и удовлетворить ее тщеславие. Следя за ее широкими округлыми движениями, Егор невольно залюбовался ею. Волосы у нее были маслянисто-черные, полные щеки огненно пылали, выпуклые глаза смотрели спокойно, с достоинством, и вся она — массивная, широкая, литая — была из тех, кому имя «царь-баба».

Вскоре вышла Галя. Она была в новом золотисто-оранжевом халате — яркая, улыбающаяся, освеженная южным солнцем. И рядом с ней Егор вдруг особенно ясно почувствовал, какой он большой, угловатый и неловкий. С досады он стал пить рюмку за рюмкой, голова его вскоре наполнилась тяжелым гулом, мысли перепутались, и слова не шли с языка.

— Вы что такой мрачный, молодой человек? — спросил Дмитрий Сергеевич. — Ну-ка, Галчонок, принеси нам еще живительного нектара.

Галя взяла графин и пошла к дому. Полный угрюмой решимости, Егор шагнул за ней.

— Ха-ха-ха! — засмеялась она убегая. — Ха-ха-ха!..

Егор догнал девушку в кухне, хотел обнять, но пошатнулся, а она, воспользовавшись моментом, выскользнула у него из рук, и где-то в комнатах рассыпался ее смех:

— Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

Не зная расположения комнат, Егор долго бродил по дому, а когда вышел во двор, Галя уже шла впереди него и, смеясь, говорила:

— Егор напился, ему больше не давать. Он гонялся за мной по всем комнатам.

— Э-э, слаб, молодой человек! — балагурил Дмитрий Сергеевич. — Смотрите на меня! Вот что значит старая за... ка — ни в одном глазе!

— Пойду, — хриплым от волнения голосом сказал Егор.

Он ушел к себе во флигель и, будучи не в силах отделить от вихрящегося клубка мыслей какую-нибудь одну, определенную и ясную, долго лежал на кровати, мрачно глядя в потолок.

2

В старом деревянном доме все располагало ко сну и лени: его четыре окна по фасаду выходили на тихую немощеную улицу, на заросшем дворе мирно клохтали куры и дремал в конуре черный пес Жук. Всякий раз, как кто-нибудь хлопал калиткой, он вылезал, начинал чесаться, гремя цепью, и было видно, что цепь давно уже не нужна ему: так стар, что никуда не уйдет, ни на кого не бросится. И когда Галя просыпалась утром в своей комнате, смотрела на солнечные лучи, просеянные сквозь кисею занавесок, слушала, как в кухне уютно журчал электрический счетчик, как лопались от жары пересохшие обои, то чувствовала, что — нет, она никогда не сможет, ну, просто не в силах уехать отсюда и, отказавшись от милых привычек и привязанностей детства, сменить свою теперешнюю жизнь на другую — неизвестную, которая казалась ей суровой, грубой и полной всяких неудобств.

Незадолго до государственных экзаменов в институте происходило распределение на работу. Дмитрий Сергеевич обещал похлопотать, чтобы Галю оставили в городе, но однажды вечером он приехал возбужденный, рассерженный, кинул через всю комнату портфель на диван и пнул подвернувшуюся под ноги кошку.

— Вот, дьявол, принципиальный, председатель этой вашей комиссии, — сказал он. — Уперся на Алтайском крае, и крышка. Битый час его уламывал, сошлись на Рязанской области. Все-таки поближе. А там, глядишь, придумаем что-нибудь.

С тех пор как Галя помнила себя, ее повсюду окружала любовь и всеобщее внимание. Маленькой девочкой, с большим бантом в светлых волосах, в пестром и ярком платье она походила на легкую красивую бабочку, и все наперебой любовались ею и говорили, что она очень милый ребенок. В юности она сохранила ту же мотыльковую легкость

и яркость, и опять все любовались ею, называя ласковыми именами: галчонок, птичка, бубенчик...

В начале войны, когда весь город готовился к эвакуации, она бросила школу. Дмитрий Сергеевич (он работал тогда коммерческим директором завода) говаривал ей:

— Учись! Рожей в жизни не возьмешь.

Но она, очевидно, твердо верила, что возьмет, любила фотографироваться и мечтала стать актрисой.

Войну она воспринимала как нечто отдаленное. Завод остался в городе, удерживая около себя людей, и редкие из них уходили на фронт. Появились продовольственные карточки и комендантский час, город был затемнен, здания выкрашены грязно-зеленой маскировочной краской, но прямой опасности не чувствовалось, и жители рыли во дворах и огородах щели со скептической уверенностью в напрасности этой работы. Иногда на завод приезжали военпреды из действующих частей. Они привозили трофейный коньяк, сухие галеты, концентрат пшенной каши с маслом — одна пачка на стакан кипятку — и, останавливаясь у Орловых, ухаживали за Галей. Потом на улицах города появились эвакуированные ленинградские студентки в лыжных штанах, и Галя, подчиняясь этой «моде», тоже надела лыжные штаны.

— Учись! — твердил ей Дмитрий Сергеевич.

Уступая его требованиям, она поступила в школу рабочей молодежи и, кое-как окончив ее, поехала в Москву держать экзамены в театральное училище. На экзамене все девушки, точно сговорившись, читали письмо Татьяны к Онегину, и когда Галя бойким голосом объявила, что будет читать то же самое, в приемной комиссии кто-то тихо застонал. Галя начала читать и даже сама чувствовала, что читает плохо, с однообразной ученической интонацией, и поэтому не удивилась, когда секретарь комиссии объявил, что она не допущена к экзаменам по второму кругу.

Вернувшись домой, Галя, недолго раздумывая, поступила в сельскохозяйственный институт, где был большой недобор и куда принимали всякого, кто хоть как-нибудь выдерживал экзамены.

Впоследствии она ни разу не пожалела о том, что карьера актрисы ей не удалась, — жить дома было куда спокойней.

И вот теперь приходилось покидать родное гнездо, заботливо свитое для нее Анной Николаевной. В это трудно

[illegible] Сначала Галя [illegible], [illegible] здравый смысл подсказал ей [illegible] простой выход — надо найти мужа, уж [illegible] от мужа-то не пошлют в какую-то там Ризанскую область.

Однажды Егор пригласил ее [illegible] открытие сезона. Играл плохонький оркестр, [illegible] сильно, по-весеннему, пахли душистым табаком, [illegible] казался жирным, и хорошо было только возле фонтанов. У Егора болело горло, и он с откровенной завистью, словно мальчишка, смотрел, как Галя ела мороженое. Она сбоку взглянула на него и рассмеялась, а он очень смутился, и это почему-то заставило Галю подумать, что он, несмотря на свою мрачноватую внешность, очень мягок, уступчив, непрактичен в житейских делах, и ей стало жалко его.

«А что, он был бы очень удобным мужем», — подумала Галя.

Несколько раз она возвращалась к этой мысли, и вскоре для нее уже стало потребностью подойти утром к его окну, поздороваться, подтрунить над его застенчивостью, пожаловаться, что одолела зубрежка. И так как в ее жизни было много частых и коротких увлечений, то, видно, пришла очередь и Егора. Теперь даже она сама верила, что поступает искренне, без всякого расчета.

На выпускном вечере Галя находилась в каком-то приподнято-возбужденном состоянии. Она танцевала, смеялась, пила в буфете кислое вино, пахнувшее бочкой, а когда начался концерт, взяла Егора за рукав и сказала:

— Пойдем на последний ряд. Там можно сесть поудобнее и закрыть глаза. Я люблю слушать музыку, закрыв глаза.

И когда они сели там и заиграла музыка, Галя оглянулась, увидала, что они одни, и быстро поцеловала его в плечо.

Было три часа, когда вечер кончился. Кто-то придумал идти к реке, и шумная толпа студентов, смущая постовых милиционеров, двинулась по городу.

Ночью был дождь, — повсюду в неверном свете утра [illegible] поблескивали лужи, на афишах оплыла краска, [illegible] крышами ветер носил мокрых взъерошенных грачей, [illegible] галок, и только сейчас, утром, было заметно, как их [illegible], и казалось, что люди ушли из города и эти нахальные [illegible] вьют гнезда в их квартирах. Усиливая сущест[illegible] шаги гулко отдавались в пустынных улицах.

и в воздухе после дождя пахло не жильем, а словно в поле — свежо и остро.

До реки так и не дошли; все уже устали, и едва пересекли площадь, начали прощаться.

Полупьяный от вина и неожиданного счастья, Егор вел Галю домой, бережно поддерживая под руку.

На стук калитки, как и обычно, вылез Жук и стал чесаться, гремя цепью. Уже проснулась Анна Николаевна; она была в курятнике, и оттуда слышался ее воркующий голос. Егор в замешательстве остановился посреди двора, отвязно, не зная, как теперь вести себя, но Галя уверенно подтолкнула его к флигелю и шепнула:

— Приходи днем.

В комнате было душно и пахло чем-то очень хорошим.

«Земляникой», — догадалась Галя, увидев на столе хлеб, молоко и тарелку с ягодами.

Она положила в рот несколько ягод, зажмурилась от наслаждения и, смеясь, закружилась по комнате.

— Цып-цып-цып... — воркозал за окном нежный мамин голос. — Цып-цып-цып...

3

На исходе летнего дня в запущенном деревенском саду сидел на траве Егор Рязанов и оглядывался вокруг с таким отрадным удивлением, точно неожиданно для себя попал с грешной земли прямо в рай. До сумерек было далеко, но по оцепенелому безветрию, по блеклой желтизне солнечных лучей было заметно, что день уже угасал. В небе стояли облака, розовые с одного бока и густо-синие с другого; в саду одуряюще пахло яблоками, поздними цветами, сеном, и была слышна издалека не то песня, не то игра на каком-то инструменте... А может быть, просто — слились в один звук зудение кузнечиков, крик перепела, говор людей, и он, этот звук, был похож на далекую песню без слов.

Приехать летом в деревню и жить в какой-нибудь полуразвалившейся замшелой баньке было давнишней мечтой Егора. Сколько раз представлялось ему, как идет он по какой-нибудь дороге с ружьем за плечами, и ветер — мягкий, пахучий — овевает его непокрытую голову, а где-нибудь далеко-далеко из синей тучки, блестя на солнце, брызжет косой дождь; на душе легко, и ни тебе забот, ни раз-

Уже давно была облюбована и банька, но поехать все как-то не удавалось, и только теперь он, наконец, выбрался вместе с женой.

— Чудные люди, ей-богу! Жили бы у меня в горнице, и светло и чисто, а то выдумали — в баню! — сказала хозяйка, бабка Ариша, и повела их в сад через крытый заплавоженный двор.

Банька, в которой было сумрачно, пахло мылом, вениками и застарелой сыростью, привела Егора в восторг.

— Отлично, — говорил он, потирая руки. — Не правда ли, Галя, отлично? Немного помыть, проветрить, и прямо апартаменты.

Галина Дмитриевна принюхалась к спертому воздуху, тянувшему из баньки, и поморщилась. Она была по-прежнему очень красивая, маленькая, кругленькая и с такой грациозной ленцой в движениях, что походила на сытую изящную кошечку, и всем невольно хотелось приласкать ее, погладить, сказать ей нежное слово. И бабка Ариша тоже ласково сказала ей:

— Ты, милая, не сумлевайся, у нас не обидят. Идем-ка в горницу, отдохни, а я приберу здесь. Идем.

И погладила Галину Дмитриевну по плечу.

Егор шагнул было за ними, но вдруг остановился, махнул рукой и сел на траву. И по тому, как грузно он садился, как медленно прикрыл глаза потемневшими веками, было видно, что он очень устал. Он был уже доцентом, часто работал дома по ночам, а утром шел в институт, там опять много работал, обедал не вовремя — часов в одиннадцать вечера — и теперь был рад, что, наконец, для него наступили безмятежные дни отдыха и упорядоченной жизни. И он долго сидел так в саду, прислушиваясь к этой, невесть откуда исходящей песне ликования и чувствуя, как ощущение глубокого, невозмутимого покоя постепенно овладевает им.

Вскоре в сад вышла бабка Ариша с ведром воды.

— Спит твоя-то, — сказала она Егору. — Накушалась молока и спит.

— А что, кроме тебя, помыть-то некому? — спросил Егор.

Бабка поставила ведро, сложила на животе большие морщинистые руки и охотно сказала:

— Некому, голубчик, как есть некому. Младший-то у меня в армии, на действительной. Две дочери — те замужем, в городе жи..т. За хороших людей вышли, ничего

не могу сказать. Живу теперь одна, в прошлом году вот квартирантку пустила, агрономшу из МТС...

— Она и сейчас у тебя живет? — перебил ее Егор.

— Живет, голубчик, живет.

— А мы не помешаем ей?

— Не сумлевайся! Женщина — ничего себе, смирная, совестливая. Да ее, почитай, и дома-то никогда не бывает. Она у нас на три колхоза.

Егор помог ей убрать баньку, натаскал туда сена, и когда кончил, то было почти совсем темно. Небо на западе еще розовело, но между деревьями уже легли густые тени, воздух похолодел, стало тихо, и когда падало яблоко, было слышно, как оно стукалось о землю.

Егор пошел в избу. Галина Дмитриевна спала в горнице, сжавшись в комочек на высокой несуразной кровати, похожей на катафалк. Бабка Ариша зажгла керосиновую лампу, и блестящие шары по углам кровати, увеличивая ее сходство с катафалком, засветились, словно свечи.

— Фу! — сказала Галина Дмитриевна просыпаясь. — Хорошо, что разбудили. Снилась какая-то гадость...

В это время в горницу вошла квартирантка бабки Ариши. Она устало протянула Егору руку и сказала:

— Здравствуйте, Воркуева.

Была она лет тридцати, узкоплечая, с некрасивым бледным лицом и прямыми жесткими волосами. От ее тяжелой походки звенела в шкафу посуда, словно она нарочно с силой ударяла каблуками в пол, и, глядя на нее, Егор думал:

«Воркуева... Какая нежная фамилия у этой некрасивой женщины!»

Галина Дмитриевна, свесив ноги с кровати, старалась попасть ими в туфли.

— Половина десятого, — сказала она зевая, — а делать уже нечего, и поневоле приходится спать. В городе в это время муж только с работы приходит.

Ужинали все вместе. Потом бабка Ариша взяла лампу и вошла доить корову. Галина Дмитриевна опять уснула, а Егор еще долго сидел на пороге баньки, курил и слушал, как на дворе тяжело вздыхала корова, журчало в подойнике молоко и где-то очень далеко всхлипывала гармонь.

И все тем же покоем веяло на него от этих звуков, от синего звездного света ночи, от легкой, кружащей голову прелести, которая уже охватывала его...

Жизнь в банькe пошла своим чередом. Егор вставал на заре, умывался колодезной водой, пил молоко и, захватив ружье или удочки, уходил на весь день. Галина Дмитриевна обычно еще спала. Она, как и в городе, просыпалась поздно, потом полуодетая лежала в саду на траве, грызла кислые яблоки и громко зевала, — ей было скучно и хотелось в город.

Иногда по вечерам в сад приходила Александра Сергеевна Воркуева. Егора очень заинтересовали ее опыты с люцерном, и однажды он вместе с ней ходил на отдаленный песчаный участок, где она их проводила.

По дороге они разговорились, и, как это часто бывает между двумя малознакомыми людьми, у одного из них вдруг прорвалось самое сокровенное, и в какие-то несколько минут была рассказана вся жизнь. С мельчайшими подробностями, которые в это время кажутся чрезвычайно важными, Александра Сергеевна рассказывала Егору о себе.

В институт она поступила в предвоенный год. Теперь вспоминала она, как стояла в заскорузлом ватнике под скользким скатом противотанкового рва и ковыряла лопатой упругую, тяжелую глину. Усталые, иззябшие студенты распевали сложенные тут же песни, и она пела вместе со всеми, а когда над ними пролетали к Москве вражеские самолеты, она тоже со всеми, припав к мокрой глине, с ненавистью смотрела в небо на серые крестообразные силуэты. Потом она заболела воспалением легких, и ей помогли уехать домой, а институт, как она вскоре узнала, эвакуировался в Среднюю Азию.

В родном доме о войне напоминало только то, что не было брата Володи, и мама все время ждала от него писем.

Потом ушел на фронт отец. От него пришло только одно письмо. Он писал, что сочинил стихи, посвященные дочери, но прислать их постеснялся. И было странно и трогательно читать такое письмо, написанное немолодым уже, серьезным человеком, бухгалтером промышленной артели.

О нежды — это было уже в мае — Александра Сергеевна увидела из окна почтальона, идущего к их дому. Почему-то она заранее испугалась, и у нее сильно застучало сердце. Ола выбежала навстречу почтальону, и когда мать читала извещение о Володиной гибели, ее [illegible] всего поразило полное написание его имени — Вла-

димир Сергеевич Воркуев. Она знала его просто Володей, юным, шумным, драчливым Володей, и теперь казалось, что погиб не он, а кто-то другой, возмужалый и суровый.

Два года она скрывала от мамы весть о его гибели, уверенная, что мама не перенесет этой утраты. Александре Сергеевне казалось, что если сделать что-либо исключительно трудное, правильное, полезное, то брат окажется жив. И она стала вставать очень рано, делала — теперь смешно вспомнить, но тогда это казалось важным, — гимнастику, взяла за рекой два огородных участка и обрабатывала их, выполняла работу по дому и, кроме того, работала в папиной артели на вязальной машине. Но среди этих забот властно врывалась в сознание неумолимо жестокая мысль: ведь он все-таки мертв, он не существует, его нет, нет... Приходила мама, и надо было смеяться, казаться веселой, и никто не подозревал, какая огромная внутренняя работа совершается в ней.

Институт она кончила уже после войны. Работала сначала в районном отделе сельского хозяйства и жила в Доме колхозника. Длинная неуютная комната очень напоминала такую же комнату в студенческом общежитии, и даже неудобства были те же самые: тот же чай из жестяной кружки, та же узкая койка со скрипучей сеткой, те же платья, смятые в чемодане, и тот же бутерброд, наскоро сжеванный в буфете.

Потом Александру Сергеевну назначили участковым агрономом в МТС. Колхозы ей попались неодинаковые: два были слабые, а третий, «Достижение», считался одним из самых сильных в области, и там она отдыхала душой от всего, с чем зачастую приходилось ей сталкиваться в двух других колхозах, — от долгих ненужных разговоров на заседаниях правлений, от бестолковых пререканий с бригадирами, от их упрямого нежелания понять то, что ей казалось бесспорным и очевидным, и от вечного беспокойства о том, что где-то опоздали, что-то не успели, в чем-то промахнулись, сделали не так, как нужно, или не сделали и совсем. Работать, конечно, трудно, но тем не менее интересно. МТС скоро даст ей квартиру, и она возьмет к себе маму, которая уже состарилась и пишет ей письма, кончающиеся словами: «Береги себя, милая детка...»

Когда Егор и Александра Сергеевна возвращались, было уже темно. С вечера пал туман, а потом вдруг потеплело, и за рекой, где тумана было особенно много, все

в движение. Ветер взвивал белые смерчи, и они, точно сказочные духи в прозрачных одеждах, то возникая, то исчезая, стремительно и беззвучно неслись на лунный свет.

— Ну разве можно не любить все это? — сказала вдруг Александра Сергеевна, останавливаясь и широким жестом показывая за реку.

Голос у нее дрогнул, она запрокинула голову, закрыла глаза, и Егор видел, как на ее ресницах блеснули слезы. Теплое чувство к ней вдруг охватило Егора, и он уже не замечал ни ее некрасивого лица, ни жестких волос, ни узких прямых плеч, а видел перед собой только умную, простую, трудолюбивую женщину с нежной и чуткой душой.

В эту ночь в саду шелестел дождь, и потом несколько дней держалось ненастье. Ветер трепал мокрую листву яблонь, проносил взъерошенных галок, дребезжал стеклом в окне баньки, и казалось, что уже наступила осень и больше не будет теплых солнечных дней. Набросив на плечи одеяло, Галина Дмитриевна шла через потемневший сад в избу завтракать, обедать или ужинать и всегда говорила одно и то же:

— Нет, это мученье! Это тоска. Когда мы только уедем отсюда?!

И Егору тоже было скучно. Надев дождевик, он шел бродить по окрестным дорогам, но и там все было серо и уныло: сыпал мелкий, как пыль, дождь; ветер гнал по реке темные волны с убором из грязно-белых кружев пены; в лесу пахло грибной осенней сыростью.

Александра Сергеевна мелькала рано утром и потом исчезала на целый день, успев только пожаловаться, что где-то оказались непокрытыми тока, где-то не подготовлены амбары или не отремонтированы зерносушилки. Однажды Егор встретил ее на дороге из Акулова; она шла усталая, измокшая, и когда остановилась поговорить с ним, то по лицу ее текла дождевая вода, и она не вытирала ее.

Вернувшись домой, Егор застал жену сидящей на пороге баньки. Она — в желтом халате, сколотом на груди огромной зеленой брошью, — уныло смотрела на мокрые деревья, жевала травинку и морщилась: травинка была горькая.

— Боже, какая скука! — пожаловалась Галина Дмит[illegible]

р молча прошел в баньку, но не удержался и скл-
туда:

— Черт тебя знает! Неужели ты можешь так жить? Неужели тебе решительно нечем заняться?

— Например? — с искренним удивлением спросила Галина Дмитриевна.

— Я уже не говорю о чем-то большом, на всю жизнь,— продолжал Егор, раздражаясь с каждым словом. — Займись хоть на время чем-нибудь, чтобы не скучать. Почитай. Подумай наконец! Деятельному и умному человеку никогда не бывает скучно.

— Да, я дура, — тотчас же обиделась Галина Дмитриевна. — И, наверное, поэтому не понимаю, зачем мы сюда приехали.

Когда ее беспокоили, осуждали, требовали от нее чего-нибудь, она думала, что ее обижают, не понимают, ей становилось жалко себя, и она начинала плакать. Так и теперь: на глазах у нее появились слезы, губы задрожали.

— Ты сам расхваливал мне эту деревенскую идиллию, а тут не с кем слова сказать, — продолжала она. — Ты или болтаешь с этой уродкой о люпине, или торчишь на речке со своими идиотскими удочками...

— Могла бы и ты найти себе занятие, познакомиться с кем-нибудь, — перебил ее Егор.

— Например?

— Что у тебя за словечко появилось?!

— Я спрашиваю, с кем бы мне познакомиться?

— Я знаю, что тебе нигде и ни с кем неинтересно. А между тем здесь много интересных людей.

— А мне неинтересно с ними.

— Вот как! — усмехнулся Егор.

Он чувствовал, что сильно раздражен, и если будет продолжать говорить с женой, то в конце концов начнет кричать, а она — плакать.

— Впрочем, ты можешь уехать, — сказал он, стараясь быть спокойным. — Тебя никто не держит.

Он лег на сено и, решив не говорить больше ни слова, прислушивался к шуму дождя и с сожалением чувствовал, что ощущение покоя, которым он недавно наслаждался, исчезло, отлетело, уступив место чему-то тяжелому и нерешенному.

В колхозе спешно строили риги, в них гулял продувной ветер и пахло мокрой соломой. На дом. с неожиданно кон... тишели; ночью сквозь жидкие текучие облака зачастили чистые звезды, а утром из тумана с речных болот под... нялось большое, точно разбухшее и теплой сырости, соло... не. И все обрадовалось этому погожему дню: река забл... стела, отражая голубой небесный свод; побежали к ней гуси, вытягивая шеи и размахивая крыльями в бесплодно... порыве взлететь; с конного двора, провожаемый сочн... руганью зазевавшихся конюхов, выскочил трехлеток и ум... рил вдоль улицы, ошалелый от счастья неожиданной сво... боды...

Егор вышел в сад, потянулся всем телом, вздрогнул от утренней свежести и улыбнулся: навстречу ему шла, сби... вая с веток капли, Александра Сергеевна.

— Егор Савельевич, кончилось ненастье. Теперь мы повысим сдачу хлеба, — сказала она самые обыкновенные слова и засмеялась.

И Егор обрадовался вместе с нею и тоже засмеялся.

Вёдро стояло недолго. Уже на следующий день появились признаки дождя. Было томяще знойно, душно; дым из труб стелился понизу, и всюду — в улицах, садах, огородах — плавали его тонкие синеватые пласты.

Егор, взяв ружье, ушел в лес и там нечаянно заснул под едва внятный шелест берез. Было далеко за полдень, и от деревьев уже протянулись длинные тени, когда он, тихо вскрикнув, точно от испуга, очнулся и сел. Голова кружилась, тело налилось тяжестью.

«Растомило меня... Гроза будет... Черт бы ее побрал!» — думал Егор, выходя из леса и глядя, как туча — лилово-синяя, драная, с багровыми подпалинами по краям — неумолимо ползет по небу, грозя проливным дождем. И уже ветер, пахнущий дождевой влагой, ерошил, мял кусты, обры... вая с них засохшие листья.

Дома Егор застал за обедом жену, Александру Серге... евну и бабку Аришу.

— Нет, скажите мне, — говорила Галина Дмитриев... очевидно, продолжая начатый разговор, — неужели вас удовлетворяет ваша жизнь? Скажите по совести, хочется вам обедать на чистой скатерти, из красивой посуды, в приятной компании, — хочется?

— Не знаю, не думала я об этом, — сказала Алексан... ра Сергеевна, и по рассеянному выражению ее лица бы...

видно, что она действительно не придавала этому значения.

И ела она торопливо, обжигаясь, желая, очевидно, поскорее покончить с обедом и снова идти куда-то, что-то делать.

— Все-таки скажите, — не унималась Галина Дмитриевна, — вы счастливы?

— Вот уж наивнейший вопрос! — нехотя сказала Александра Сергеевна.

— Нет, скажите! — упрямо повторила Галина Дмитриевна.

— Извольте, — пожала она плечом. — Думаю, что счастлива.

— Почему вы так думаете?

— Ну-у... я... Мне интересно жить, я вообще люблю жизнь, и она доставляет мне счастье. — Она отставила пустую тарелку, поморщилась и прибавила: — Простите, Галина Дмитриевна, я не умею говорить на такие темы.

Егору было совестно за жену и казалось, что Воркуева вместе с ней глубоко презирает и его за то, что он женат на этой праздной, эгоистичной, избалованной излишним вниманием женщине.

— Вы любите вашу жизнь! — с усмешкой продолжала Галина Дмитриевна. — Вы живете в глухой деревушке, летом, в самую прекрасную пору, работаете от зари до зари, мотаетесь с мокрыми ногами по бригадам, обедаете наскоро, выслушиваете брань мужчин — и эту жизнь вы любите! Неправда это. Не верю я вам!

Александра Сергеевна махнула рукой:

— Думайте, как хотите, но я своей жизнью довольна и своей работой тоже довольна.

Она поднялась из-за стола и стала надевать дождевик.

Егор ушел в баньку, опять лег там на сено и долго, с мучительным недоумением соображал, как могло случиться, что он — талантливый, трудолюбивый и на самом деле всю жизнь трудившийся человек — мог увлечься этой праздной, ограниченной женщиной и даже жениться на ней? Он работал изо всех сил — и для чего? Чтобы эта мещанка, пожиравшая его силу, ум, энергию, могла не работать, спать до полудня, наряжаться в разноцветные тряпки, и все это с сознанием своего полного права на это! Как мог он проглядеть, что она эгоистична, пошла и пустельга? И почему другие тоже не видят этого, считают маленькой, называют ласковыми именами — Галчонок,

птичка, бубенчик — и говорят, что ему повезло? Неужели только потому, что она красива? И если так, то неужели настолько сильно обаяние красоты, этого случайно данного природой преимущества над такими скромными и действительно достойными любви людьми, как, например, Воркуева?

Как никогда, ясно видел он, что его красивая, миленькая жена просто бездельница, что она — чужой и ненужный в его жизни человек, и он с ненавистью пробормотал:

— Птичка! Бубенчик!

6

Росы по утрам падали холодные и держались долго, иногда до полудня. Яровые поля побурели; над ними, собираясь в стаи, вились грачи и галки.

Галина Дмитриевна давно уже уехала, а теперь собирался уезжать и Егор. На станцию его провожала Александра Сергеевна.

Когда они вышли к утреннему поезду, было еще темно. Сзади, стараясь не отставать от них, шли женщины, едущие в город торговать молоком и яблоками, и жаловались друг другу, что все стало дешевле.

— Честное слово, мне жалко уезжать отсюда, — тихо говорил Егор. — Вы стали моим близким другом... Будете в городе, непременно заходите в институт, потолкуем, покажу вам кое-что интересное. Зайдете?

— Обязательно, — сказала Воркуева.

Когда подходили к станции, то сбоку, из-за леса, брызнули веером первые лучи солнца.

— Журавли! — сказала вдруг Александра Сергеевна и показала в небо.

Там в холодной утренней сини кружились большие ширококрылые птицы. Старый журавль обучал молодых строю. Они то рассыпались в беспорядке, то вытягивались в ленту, то выстраивались углом и жалобно, протяжно кричали, словно оплакивали уходящее лето...

И такая притягательная сила есть в этом последнем полете журавлей, что и Егор, и Александра Сергеевна, и женщины, шедшие сзади, остановились и долго следили за ними взглядом.

Дома все было по-прежнему, и когда Егор вошел во двор, из конуры вылез совсем уже дряхлый Жук и стал чесаться, гремя цепью. Галина Дмитриевна спала, уютно свернувшись в столовой на диване, и улыбалась во сне.

Приехал Дмитрий Сергеевич, привез вина и, балагуря,

время повторял кстати и некстати одну и ту же фразу:
— «И дым отечества нам сладок и приятен...»

Величественная, полная собственного достоинства Анна Николаевна угощала Егора обедом. Но он уже не мог, как прежде, любоваться ею и думал лишь о том, что она, в сущности, очень ограниченный и отсталый человек. С тех пор как Дмитрий Сергеевич начал занимать в городе ответственные должности и стал теперь заместителем председателя горисполкома, она, проведшая молодость в нелегком крестьянском труде, словно оцепенела от счастья. С каким-то жадным рвением занялась она домашним хозяйством и даже решительно восстала против того, чтобы переехать из своего старого дома в новую коммунальную квартиру.

— Смотри, мать, омещанишься! — говорил Дмитрий Сергеевич. — Погрязнешь в своих грибках, огурчиках да брусничной воде...

А сам аппетитно закусывал водку соленым грибком, крякал от удовольствия и, балагуря, восклицал:

— Нектар! Амброзия! Пища богов!

И Егор с чувством глубокого сожаления вспомнил теперь свою жизнь у Талантовой, когда было такое красивое лето с цветами, вспомнил свою комнату и то, что на столе у него, завернутая в серую промокшую бумагу, лежала селедка, и как однажды он угорел от дырявой печки, выбрался еле живой на улицу и долго стоял там, держась за фонарный столб... И теперь, в воспоминаниях, эти неприятные мелочи почему-то волновали его, и становилось жалко и грустно оттого, что их уже нет.

Он вышел и стал без цели бродить по вечернему городу, как любил делать раньше. Невзначай очутился он возле института, подергал запертую дверь, потрогал ладонью прохладную колонну, вообразил запах институтских коридоров, и ему было приятно, что скоро уже сентябрь и он опять окунется в любимую работу.

Потом ему захотелось выпить. Было уже поздно, и достать вина можно было только на вокзале. Там как раз отходил московский поезд. Егор с удовольствием толкался возле буфета среди возбужденных, деловитых пассажиров, и ему хотелось самому куда-то ехать, выскакивать на станциях с чайником, пить в купе чай с незнакомыми людьми.

Ночевал он у приятеля, а утром был в институте, шутил там с завхозом, с малярами, красившими стены, и домой ему не хотелось.

Пропасть

Поезд пришел на станцию Чигры в сумерках. Участковый финансовый инспектор Лабутин, зная по опыту, что подводу легче всего найти возле закусочной, не мешкая, направился туда.

К вечеру стало подмораживать: грязь на дорогах загустела, лужи подернулись морщинистым ледком, а на карнизах кое-где даже выгнало хилую сосульку. Но тем не менее здесь, за городом, весна была особенно ощутима. И даже облупленный вокзальчик с деревянной платформой и деревянным пакгаузом был тоже как-то особо, по-весеннему, грязен, замусорен и темен от сырости.

В вагоне у Лабутина озябли ноги. Ему хотелось разуться в сухом теплом месте, и, думая теперь о предстоящем пути по бездорожью, он невесело пробормотал:

— Жизнь...

Ему шел тридцать седьмой год. Девять лет назад, вернувшись с войны, он начал работать участковым инспектором в райфинотделе и с тех пор все ездил по колхозам. Там уже привыкли к нему и, завидев издали долговязую фигуру в короткой зеленой шинели, говорили:

— Вон Иван Василич идет.

Сам он сначала думал, что останется на этой работе недолго. Но потом, когда вызнал, кто в деревнях портняжничает, валяет валенки, режет ложки, набивает кадки, и научился мало-помалу извлекать из своей должности кое-какие выгоды, то решил, что лучше работы и не найти. И если роптал теперь на свою кочевую жизнь, то это всегда было вызвано каким-нибудь преходящим поводом — дождем, распутицей, морозом или просто дурным настроением.

В закусочной он, как и предполагал, нашел себе попутчика.

— К нам теперь только одна дорога — через Черкутино,— затягивая подпругу, говорил ему колхозник из села Ярки.— Беда, как воды много! Опраги — те сплошь залило,

и в лесу под снегом вода. Кабы не распутица, тебе, Иван Василич, до Черкутина-то рукой подать, а теперь дадим крюку километров восемь.

— А ты как знаешь? — спросил Лабутин.

— Эко! — удивился колхозник.— Да кто же тебя не знает!

— Это верно,— не без тайного удовольствия согласился Лабутин.

— А я, значит, Федор Мешков из Яров. Был на базаре, сметаной от колхоза торговал... Известное дело, выпил...

— Мешков? — вспомнил Лабутин.— Это ты валенки валяешь?

— Нет, это брат мой, Евсей. Тоже в Ярах живет. А я — Федор.

Когда они выехали, было уже темно. Высоко над головой, на фоне неба, мелькали зубчатые верхушки елей. Лес, который начинался прямо за станцией, был полон звуками текущей и падающей воды, и вскоре ее плеск послышался под ногами лошади.

— Хоть бы луна скорей вышла. Того гляди, угодишь в какую-нибудь чертову яму...— болтал словоохотливый Мешков.— И что за нужда тебе, Иван Василич, таскаться по деревням об эту пору?

— Нельзя дома-то сидеть — работа...— нехотя отозвался Лабутин.

— Это так. Волка ноги кормят,— согласился Мешков.

Лабутин насторожился, но, приняв во внимание дружелюбный тон, каким была сказана эта обидная пословица, решил, что Мешков присовокупил ее просто так, к слову.

Лес все тянулся и тянулся. Он был пронизан запахом талого снега и мокрой коры — тем волнующим весенним запахом, который будоражит кровь, пугает мысли и заставляет невольно вздрогнуть от каких-то смутных, неясных желаний. Но все это было в жизни Лабутина множество раз, он разучился ценить такие мгновенья и думал теперь лишь о том, как бы поскорей приехать на место, чтобы перестала подпрыгивать под ним эта телега и не толкали его со всех сторон какие-то тюки, бидоны и ящики.

Лес неожиданно кончился. Круто повернули влево и поехали по высокому берегу реки. Пойму уже всю залило, в спокойной воде отражались звезды, и, глядя вдаль, где в е, кроме звезд, тонуло во мгле, нельзя было разобрать, где небо, а где вода.

— Не нынче-завтра перекроет тут дорогу,— сказал

Мешков.— Большая вода идет. Помню, в двадцать шестом году было...

Но в это время копыта лошади стукнули обо что-то твердое, под телегой треснуло, и она глубоко осела передними колесами. Лабутин, чтобы не скатиться, прыгнул наугад в темноту, поскользнулся на каких-то бревнах и почувствовал, что в сапоги ему наливается ледяная вода.

— А, черт! — выругался он.— Едешь без разбору... Болтаешь только попусту!

— Мост подмыло,— растерянно бормотал Мешков.— Новый мост... Доротдел строил... Строители!.. Измок ты, что ли, Иван Василич?

— «Измок»! — передразнил его Лабутин плачущим голосом.— Измокнешь с тобой!

— Да ты не серчай. Тут недалечко бакенщик Ермилин живет, ступай к нему, обсушись. Метров триста пройдешь, и будет эдак на взгорочке его домушка. Ступай. Я заеду за тобой.

Чувствуя с каждым шагом неприятную мокроту в сапогах, Лабутин пошел, не разбирая дороги. Ему пришлось пройти значительно больше трехсот метров, прежде чем он увидел слабый рыжеватый огонь керосиновой лампы и услышал лай собаки. Избушка бакенщика бесформенным сгустком тени темнела у самой воды. На стук вышел Ермилин, прикрикнул на собаку и, подняв над головой фонарь, сказал:

— Эка темень! Не вижу, кто тут...

Лабутин, уверенный, что его узнают по зеленой шинели, шагнул в полосу света.

— Пусти, старина, обсушиться. Ухнул по колено.

— Ну входи. Тесно только у меня,— предупредил Ермилин.

Нагнувшись под низкой притолокой, Лабутин полез в избушку.

Оказалось, что Ермилин был не единственным ее обитателем. У дальней стены, положив на стол полные руки, сидела женщина, и Лабутин в упор встретился с ее большими темными глазами. На вид ей было лет тридцать пять, и по этим полным рукам, по круглым плечам, по тому, как над серой шелковой кофтой ровно поднималась и опускалась ее грудь, в ней угадывалась крупная, сильная и спокойная женщина.

— Здравствуйте,— сказала она густым певучим голосом.

И у Лабутина мгновенно сжалось сердце,— так бывает всегда, когда вдруг увидишь наяву то, о чем долгое время лишь мечтал. С тех пор как у него умерла мать, он неотступно думал о женитьбе. В мыслях он видел своей женой зрелую, но сохранившую в себе неистраченную силу любви женщину с мощной фигурой неутомимой работницы, ясную в мыслях, простую в желаниях, и теперь ему казалось, что перед ним именно такая женщина, и он смятенно топтался у порога, забыв даже поздороваться.

— На-ка вот, надень,— сказал маленький сутуловатый Ермилин, кидая к ногам Лабутина разношенные валенки.— Где это тебя угораздило так ухнуть?

— А Николая все нет,— вздохнула женщина, у которой вид мокрого, озябшего Лабутина, очевидно, вызвал беспокойство о ком-то другом, кто блуждал сейчас в этой темной сырой ночи.

Она поднялась и, окутав голову пуховым платком, пошла к выходу. Одета она была красиво, со вкусом, и когда проходила в дверь, то до Лабутина донесся тонкий запах духов. Очевидно, даже Ермилин почувствовал, что ее присутствие в тесной избушке бакенщика требует объяснений. Едва она вышла, он кивнул на дверь и сказал:

— Дочь. Сегодня приехала.

— Навестить?

— Да как тебе сказать...— замялся Ермилин.— Вроде бы по нужде. Разошлась с мужем и сразу отца вспомнила. Бывало, в полгода раз открытки дождешься, а теперь, значит, нужен стал... Ты смотри, виду не подай, что знаешь.

«Вот бы...» — мелькнула у Лабутина мысль.

«А что,— думал он минуту спустя, подсев к огню и вытягивая ноги, изнывающие в сладкой истоме,— женщина в горе, ей бы сейчас только приблудиться к тихой пристани. А у меня — дом. Работенка — ничего себе...»

Он не был ни в чем уверен, но женитьба на ней показалась ему хоть и далеким, но вполне вероятным делом.

— Нет ли у тебя, старина, водки? Я бы заплатил,— весело сказал он.

— Не в плате дело,— неуверенно ответил бакенщик. Есть у меня, да сын должен вот-вот с охоты вернуться, ему берегу.

Вошла Зинаида. Она зябко передернула плечами и прижалась к печке.

— Вода такая жуткая, темная... Беспокоюсь я о Николае.

Бабьи страхи,— проворчал Ермилин.— Заночевал где-нибудь на гриве, хочет еще одну зорю отсидеть. Выбрется разъединственный раз из города, так уж рад-радешенек. Пускай тешится на доброе здоровье. А ты лучше собирай-ка ужинать, чем без дела-то томиться.

На дворе вдруг неистово залаяла собака, и голос Мешкова позвал:

— Иван Василич!

Лабутин вышел на крыльцо.

— Ну как ты там, пообсох? Поедешь? — спросил невидимый в темноте Мешков, предварительно обругав за что-то лошадь.

— Нет, ну тебя к лешему! Утром пешком доберусь,— отозвался Лабутин.

— Счастливо, значит, оставаться! Будешь в Ярах — заезжай. Ко мне или к брату — все одно. Брат у меня...

Не слушая его, Лабутин хлопнул дверью. Зинаида накрывала на стол. Ермилин вдруг махнул рукой и, вытащив из-под кровати бутылку водки, решительно бухнул ее на стол. Сели ужинать. Выпив, Ермилин сразу захмелел, глаза у него сузились, заблестели, и в них появилась хитроватая стариковская усмешка.

— Вот так, значит, и ходишь? — спросил он Лабутина.

— Так и хожу,— сказал Лабутин.

Он тоже размяк в жаре, откровенно смотрел во все глаза на Зинаиду, и ему хотелось привлечь чем-нибудь к себе ее внимание.

— Так и хожу, старина,— повторил он.— Каждому свое. Ты вот тут сидишь, у своего дела, а я за своим хожу. Главное в любом деле — выгоду найти. Так я говорю?

Это, казалось, вызвало одобрение Зинаиды, она более внимательно посмотрела на него, и ему показалось, что между ним и ею возникают, наконец, нити взаимной заинтересованности.

— Я человек одинокий,— многозначительно продолжал он,— мне много не нужно. Сыт, одет, обут. На черный день имею. На моей работе плохо-бедно можно зарплату сохранять в полной неприкосновенности...

— Туманно что-то выражаешься. Это как же? — поинтересовался Ермилин.

— А так, что пока кустарь не перевелся, нам жить можно,— засмеялся Лабутин.— Вот и смекай, если голова на плечах.

Он говорил «нам», потому что, имея сделки с кустаря-

ми при обложении их налогом, он не мог даже представить себе, что эту возможность упускают другие. По его мнению, поскольку такая возможность существовала, ее нужно было, не рассуждая, использовать.

— Не похвалят за это в случае чего,— сказал Ермилин, очевидно, догадавшись о чем-то.

— Кто дознается? Тут вроде игры в третий лишний.

— Ловко! — покачал головой Ермилин. Выгодная, стало быть, должность?

Лабутин небрежно пожал плечом:

— Кормит.

Он заметил в углу вороха сетей, и перед ним блеснула новая возможность расположить к себе Зинаиду.

— До тебя вот я никак не доберусь, старина,— серьезно сказал он.— Сети, наверно, на продажу плетешь, лодки долбишь. Так, что ли?

— Не-е-е, меня не укусишь,— усмехнулся Ермилин.— Мне это ни к чему. Было прошлым летом дело, продал старый ботничишко студентам за полсотни. Пристали — им, вишь ли, вздумалось по реке путешествовать. А сети — нет, ни к чему мне это.

— Все вы так поете. Только ты, старина, не бойся. Я пройду — глаза закрою. Не думай, что я прижимала какой-нибудь,— сказал Лабутин, метнув взгляд в сторону Зинаиды.

— Чего мне бояться? — нахмурился Ермилин.— Не тот разговор ты, парень, затеял, ну тебя совсем!

Ужин кончился. Ермилина клонило к сну, он едва держал голову и один раз даже громко всхрапнул. Зинаида, закутавшись в платок, опять вышла. Лабутин подумал и тоже вышел.

Вокруг все чудесно изменилось. Над поймой висел прозрачный, точно подтаявший серпик луны; вода металлически блестела; голые кусты просвечивали, и в них была видна каждая веточка.

Женщина неподвижно стояла спиной к Лабутину и смотрела в сторону поймы.

— Все брата ждете? — спросил Лабутин.

— Да,— сказала она и быстро пошла вдоль берега.

«У, дикая»,— подумал Лабутин.

Он шагнул с крыльца за ней, но вспомнил, что на ногах у него валенки, и вернулся.

Ермилин дремал, сидя за столом.

— Ты уж разреши мне до рассвета у тебя погостить,— попросил Лабутин.

— Там, за печкой, топчанок есть — ложись,— предложил Ермилин.

Поджав ноги, Лабутин лег на короткий топчанок и укрылся своей шинелью. Он даже не знал, спал или нет,— сладкая дремота колыхала его, как на волнах; он то проваливался в беспамятный сон, то вновь просыпался. Он слышал, как Зинаида хлопнула дверью, накинула крючок, видел, как по избушке от переставленной лампы метнулась изломанная на углах тень, а потом вдруг очнулся оттого, что вся избушка сотрясалась от чьих-то тяжелых шагов и веселый сочный голос громко говорил:

— Если бы не луна, пришлось бы мне почевать в лодке. В такие дебри заехал, что черт ногу сломит. Зато — смотри!

Не поворачивая головы, Лабутин видел, что посреди избушки стоял высокий грузный человек, очень похожий своей монументальностью и открытым лицом на Зинаиду, и торжественно держал в поднятой руке связку нарядных весенних селезней, краснобровых тетеревов, и от них по всей избушке пахло пером, порохом и еще чем-то непередаваемым — чем-то ветреным, солнечным, снежным...

«Это же Ермилин, директор радиозавода! — вспомнил Лабутин.— Как это раньше не догадался? Известная личность...»

— Люто есть хочу, Зинка. Дай чего-нибудь. Отца не буди, не надо,— говорил между тем Ермилин-младший.— Вот не ожидал видеть тебя здесь! Из твоего письма я ничего не понял, думал, приедешь прямо ко мне... Почему не приехала?

— Я твоей жены стесняюсь,— сказала Зинаида.— Она не любит меня.

— Ерунда. Она всех любит. Расскажи-ка толком, как у тебя получилось... получилась эта катавасия.

— Что рассказывать! Просто все эти три года он обманывал меня. У него была другая семья, и теперь его потянуло, как говорится, на пепелище... Там дети... Вот и все.

— Мерзавец! Морду ему набить!

— Ты все такой же взбалмошный,— с ласковым укором сказала Зинаида.— Садись ешь.

Он хотел сказать еще что-то, но, очевидно, уже сунул в рот кусок и только невнятно замычал.

— Я хочу снова вернуться на наш завод,— сказала Зинаида.— Ты знаешь, когда я оправилась после этой, как [illegible], катавасии, то почувствовала неодолимое не-

лание работать. Мне показалось невероятным, что три голода прошли у меня без работы. Промелькнули они как го незаметно, и теперь даже не за что зацепиться, чтобы вспомнить о них. Я никогда не подозревала, что может охватить такая тоска по работе... Как у тебя сейчас с квартирами? Строите много?

— У меня жить не хочешь?

— Не хочу.

— Ладно, устрою тебе комнату.

— Нет, без всяких «устрою»,— сказала Зинаида.— Оставь мне, пожалуйста, дорогое для меня право быть со всеми равной.

У Лабутина затекли ноги, и он шевельнулся.

— Кто это? — тихо спросил Ермилин.

— Не обращай внимания,— тоже тихо ответила Зинаида.— Так... дрянь, какая-то. Все своими махинациями тут хвастался. Противно слушать...

Они еще долго говорили о своих делах, потом Ермилин велел Зинаиде вынести дичь на холод, кинул через всю избушку сапоги к двери и погасил свет.

Лабутин пролежал остаток ночи без сна. Он знал, что на этом обрывается его мечта о Зинаиде, что не было да и быть не могло никаких нитей, будто бы связывающих их,— все это он выдумал,— что между ним и этими людьми лежит непроходимая пропасть; и когда в потемках избушки, наконец, прорезалось маленькое оконце и бросило на пол крестообразную тень рамы, он встал, тихо откинул крючок и вышел.

За ночь погода успела перемениться. Ветер натащил сырых облаков, тонко свистел в прибрежных осокорях, и через реку, словно черные хлопья, летели стаи грачей.

«Фу, как нехорошо...» — думал Лабутин, шагая по грязной дороге и глядя, как полая бутылочно-зеленая вода катится через затопленные вербы.

Он пробовал думать о другом, говорил себе, что все пустяки, что нет большой беды в том, что его обругала баба, но нехорошее чувство не проходило, и ему было одновременно и досадно и скверно.

Вдали показались избы Черкутина, над ними вились серые, растрепанные ветром дымки. Лабутин перешел по скользкому бревну через канаву, обогнул раскисшее озимое поле, стал подниматься на гору и все нес в себе неприятное чувство, от которого никак не мог отделаться.

Старики

I

День разгулялся, было солнечно и жарко. На веранде, куда после обеда вынесли Игната, душно пахло прогретым деревом, пылью, мышами, и он попросил перенести его в сад.

Вскоре приехал доктор. Это был старенький доктор из заводской поликлиники, который вот уже тридцать лет ездил по городу к больным, и за все тридцать лет не было случая, чтобы он кроме всех лекарств не прописал еще морковный сок.

За всю свою долгую жизнь Игнат ни разу не лечился, если не считать ранения, полученного им в гражданскую войну. И теперь он с недоверчивой усмешкой наблюдал, как доктор каждый день проделывает над ним одни и те же манипуляции — ищет пульс, выслушивает сердце, щупает ноги,— наблюдал и думал:

«Слушай, слушай, брат, щупай! А я вот возьму да помру, и останешься ты с носом».

Но сегодня Игнату было не до шуток. Ночью ему приснился сон, будто сидел он на закрайке большого сжатого поля, а по стерне к нему шел другой Игнат — молодой, в длинополой солдатской шинели, с котомкой за плечами. Неяркие лучи осеннего солнца согревали все вокруг мягким необжигающим теплом, и в душе у обоих Игнатов разгоралось тихое, примиряющее со всеми тяготами жизни ликование. Не доходя несколько шагов, молодой Игнат сел на землю и стал выкладывать из котомки на плоский белый камень хлеб, печеные яблоки и все улыбался, кивал, звал к себе.

Все утро Игнат был под впечатлением этого сна. Ему грезился кисловато-винный запах печеных яблок, он силился вызвать в себе то ни с чем не сравнимое ликование, но не мог и тосковал.

— А что, Иван Евдокимович, скажи, помру я? — спросил он доктора.

Доктор ничего не ответил, проделал все обычные манипуляции, велел греть ноги, пить морковный сок и, удалившись в дом, долго разговаривал там с женой Игната Ва-
сильевной Марковной.

Игнат лежал, смотрел, как в вишневых кустах дерутся воробьи, и от нечего делать вспоминал разные случаи из своей жизни. Вспоминалось почему-то одно только хорошее, и поэтому вся жизнь казалось очень правильной и красивой. Был Игнат крестьянским сыном — пахал землю, а потом подался в город на заработки, и теперь в памяти живо воскресло, как уходил он из деревни, как увязалась за ним чья-то лохматая собака и шла, не отставая, до самого города. Он кидал в нее сучьями, шишками, а она все шла и доверчиво засматривала ему в глаза. Настала ночь, в траве по обочинам дороги засветились голубоватые огоньки «ивановых червячков», а когда Игнат вышел на поляну, к озеру, то увидел в тумане почевавшее стадо. Большая луна низко висела над озером; на пне сидел пастух и играл на рожке.

— Прими собаку, милый человек. Не напужала бы она мне стадо,— сказал он и снова заиграл, а Игнат пошел дальше.

В городе он поступил слесарем на железную дорогу в ремонтные мастерские и, как только завелись у него деньжонки, купил себе охотничье ружье с витыми стволами дамасской стали. Однажды тропил он зайцев и забрел в незнакомые места. Стало задувать, ветер шуршал соломой в одинокой скирде, и, кроме нее, ничего не было видно сквозь белую кружащуюся мглу. Игнат измучился, лазая по глубокому снегу, и ему уже то чудился собачий лай, то вдруг вставала впереди темная изба, а был это свистящий на ветру куст, и приходилось идти дальше, проваливаясь выше колен в сугробы. Наконец уткнулся он в какие-то сараи, нашел прогон и, пошатываясь, добрался до первой попавшейся избы. А через несколько минут уже сидел в кухне на лавке, разморенный теплом и усталостью, и видел сквозь туман, как возле печки, вздувая самовар, суетилась девка — с непокрытыми темно-рыжими волосами, красивая, зеленоглазая, бойкая, словно огонь. В избе она была одна. Игнат догадывался, что по случаю воскресного дня все уехали в город или ушли на посиделки, но от усталости не мог даже заговорить с девкой и уснул, прикорнув на лавке, раньше, чем поспел самовар. Долго ли он спал, не знает, а проснувшись, почувствовал, что девка

рядом и гладит, перебирает его волосы. Было это похоже на чудесный сон, и, затаившись, Игнат долго лежал, не открывая глаз... Уходя, узнал он, что звали дезку Василисой.

Когда началась война 1914 года, у Игната уже было двое детей — Аким и Ольга. Воевал он без малого восемь лет, а вернулся — дети уже большие, Аким кончил школу, а Василиса — такая истомленная, заработавшаяся, что сердце зашлось жалостью у лихого, бывалого взводного и стало стыдно за грешки походной жизни.

Новая жизнь в железнодорожных мастерских началась с возни двух тисков, с выделывания зажигалок, замков и горелок для примусов. Но уже в первой пятилетке на месте тесных закопченных мастерских выросли корпуса нового завода. По выходным дням рабочие часто устраивали загородные прогулки. На них ели винегрет, крутые яйца, пили дешевое красное вино, а потом запевали «Ермака», «Коробушку» и «На муромской дорожке».

Выпив как следует, Игнат говорил:

— Я посплю, мать.

Он клал свою красивую вихрастую голову Василисе на колени и притворялся спящим. А она, охмелевшая от вина, от его близости, от лесного воздуха, перебирала его волосы и нежно шептала:

— Горе ты мое, мученье мое, радость моя полынная...

В дни пуска второй очереди завода Игнат, читая газету, увидел свое имя в списке награжденных орденом Трудового Красного Знамени. Тогда на торжество съехались все дети — их было уже пятеро,— а младшая, Зоя, привела из школы своих подруг. Игнат смотрел, как молодые тоненькие девушки, забыв о виновнике торжества, кружились под музыку, и почему-то слезы потекли у него по щекам, по бороде, и он поскорей вышел в сад... Да, много хорошего было в жизни, всего и не вспомнишь!

В то, что он умрет, Игнату до сих пор не верилось. Но сегодня, то ли от ночного сна пахнуло на него чем-то невозвратимым, то ли почувствовал он себя хуже, но только в голову назойливо лезли мысли о смерти. Он опять посмотрел на содомных воробьев, которые так и кипели в густой листве сада, и подумал, что все это в любую минуту может навсегда кончиться для него. Лежать ему стало [illegible] и сел. Сердце тотчас же отозвалось на это усилие [illegible] и скоро затихло, забилось ровнее.

Ах, какой день разворачивался после затяжного не на
ня! Где-то в синей вышине свободно гулял ветер, комкал
тугие белые облака, а здесь, на земле, было тихо и деревья
стояли, точно восковые. Серебристая паутинка и та отвесно
свисала к земле, лишь маленький паучок слегка колыхал
се, спеша куда-то по своим делам. А свет! Сколько света
лилось в этот полуденный час на землю, и, право же, был
он не белый, а чуть-чуть фиолетовый, особенно если раз-
глядеть хорошенько тоненький луч, пробившийся сквозь
листья и, точно спица, вонзившийся в землю.

Игнат обвел взглядом сад и через щели в заборе увидел соседа Якова Стручкова, который поправлял в своем огороде гряды, размытые дождем. Игнат и он были ровесниками, но Яков вот ходит, работает, крепок на вид и даже играет в заводском клубе на трубе и, наверно, еще сыграет на похоронах Игната. Заметив, что Яков тоже смотрит на него, Игнат с умешкой сказал:

— Ну, лезь сюда, потолкуем.

Яков воткнул лопату, отодвинул в заборе какую-то дощечку и пролез в сад. Жили они недружно, встречаясь, не кланялись друг другу, и теперь сосед двигался по чужой земле неуверенно, точно по иной планете. Был он небольшого роста, длиннорукий, с тяжелым, неподвижным взглядом из-под низкого лба. И когда подошел и присел на край кровати, то Игнат отвернулся от него.

— Вот, смотри, Яков, помираю,— сказал он.— Скоро будешь на моих похоронах в трубу дуть.

Он ждал, что сосед начнет ободрять его, разуверять, но тот только глубоко вздохнул и сказал:

— Все там будем, Игнат Данилыч.

— Ну, от этого мне не легче,— усмехнулся Игнат.— Тебе, может, и не понять, разные мы с тобой люди. Ты вот всю жизнь морщишься, точно уксусу хватил...

— Не вздорил бы с людьми перед смертью-то! — тихо перебил его Яков.— У каждого свой курс, а смерть всех сравняет.

— Ну и врешь! — сердито крикнул Игнат.— По-твоему, значит, вся жизнь не в зачет. Так себе, пуль. Вот тебе, видел?

Он сложил из худых пальцев сухой угловатый шиш и протянул Якову.

— Безобразничаешь, Игнат Данилыч. Нехорошо,— спокойно сказал Яков и пошел к забору, повторив на ходу: — Нехорошо.

Умер Игнат на другой день. И случилось так, что видел это только Яков Стручков. Когда он вышел в огород, Игнат сидел на кровати в той же позе, что и вчера, и опять позвал его к себе. Яков сначала отказывался, но потом все-таки полез в дыру. Когда он приблизился к Игнату, тот хотел что-то сказать, но язык у него замолол несуразное, а сам он стал валиться вперед и, обхватив тонкий саженец груши, подмял его под себя.

— Игнат Данилыч... Игнат Данилыч... — звал испуганный Яков и силился поднять страшно тяжелое, обмякшее тело соседа, и почему-то яснее всего ему запомнилось, что в бороде Игната запутался и бился, жужжа, черный с оранжевой спинкой шмель.

2

Яков пришел домой, ничего не мог делать, и целый день у него дрожали руки. И спал он плохо: перед глазами ворочался черный шмель с оранжевой спинкой, и казалось, что Игнат сейчас поднимет руку и, выругавшись, вытряхнет его из бороды.

Днем Яков вышел в огород, но работать опять не мог — так и тянуло все время посмотреть на забор, в сад соседа.

Вскоре туда вышла младшая дочь Игната Зоя, стала рвать цветы. И было странно видеть, что она одета в черное платье, а рвет такие красивые, такие белые цветы. Яков не выдержал и пошел к соседям. В кухне сидела Василиса Марковна и рассказывала что-то незнакомой женщине. Встав у порога, Яков тоже стал слушать.

— Помню, придет он в воскресный день, спрячется где-нибудь на задах и свистнет,— рассказывала Василиса Марковна.— Я уже смекаю. Сейчас, будто за надобностью за какой, выбегу из избы — и к нему. Он всегда с ружьем приходил... Так оно до сих пор и висит в спальне на стенке... Вот и бродили мы с ним по пойме-то. Дождь пойдет — нам ничего, под стогом спрячемся. Устанем — на траве полежим. И чтоб шалость какая-нибудь с его стороны — боже упаси! Вот, словно вчера, помню — осень была. Чистая такая, воздух будто звенит, приморожденный. Идем мы бережком, а через речку стая уток летит. Выстрелил он и убил одну. Ее течением подхватило, понесло. А мы все идем за ней да идем. Потом глядим, кто-то на лодке едет. Он и говорит: «Милый человек,— говорит,— я уточку убил, достань, пожалуйста...» А тот смеется: «Уточку

[illegible] И Игнат смеется. «Был,— говорит.— [illegible]
[illegible] не могу... Я села [illegible]
[illegible] не могу. Уж больно хорош стоял [illegible]
[illegible] и ушла к нему из родительского дома...

Василиса Марковна начала плакать. [illegible]
[illegible] что у порога стоит Яков. и повернулась к [illegible]
— Ты проститься пришел, Яков Захарович? [illegible]
малость. Не убрали еще его мы как следует. Пр[illegible]
голубчик.

Яков вышел и, не зная, что делать, открыл [illegible]
достал со шкафа трубу и стер с нее пыль. Это заняло [illegible]
несколько минут.

«Как ладно Василиса рассказывала... Уточку убил...» — подумал он.

А потом, до самых похорон, не находя себе места, [illegible]
спотыкался из дома в город, из города к соседям, от соседей опять домой.

Прощаться с Игнатом приходило много народу, — все [illegible]
знакомые Якову заводские люди, и узнал он только [illegible]
доктора — Андрея Поликарповича Смановникова, которому [illegible]
шил костюм. Перед выносом стоял почетный караул, [illegible]
играла музыка. Яков тоже дул в свою трубу, и когда [illegible]
снимал от нот глаза, то видел плачущую Василису и вспоминал:

«Уточку убил...»

Ничего похожего в его жизни не было. Об этом он думал и вчера и позавчера, но так и не нашел ни одного светлого случая, которым эта жизнь была бы озарена. Женился он из-за того, что у невесты был дом. А еще раньше служил он подмастерьем у портного и мучительно завидовал всем богатым, в том числе и своему хозяину, которого ненавидел и был бы рад спихнуть при удобном случае. Но был он за уничтожение не всех хозяев вообще, а только над собой, потому что сам страстно желал стать хозяином. Из-за этого он поссорился со своим сыном Петром. Случилось это в то время, когда Яков был уже компаньоном своего бывшего хозяина. Петр навсегда остался в его памяти худеньким, зеленолицым реалистом, тихим и скрытным. Однажды Яков нашел у него в ранце какие-то прокламации, очень испугался и пообещал выгнать сына из дому, если он посмеет еще раз принести их. У худенького мальчика, очевидно, была крепкая воля, он с отцом уже не жил дому, и Яков слышал, что Петр живет в губернском [illegible] зарабатывая на пропитание тем, что готовит [illegible]

сына начальника тюрьмы, а потом куда-то исчез только в двадцать шестом году прислал письмо из Ленинграда, где работал на заводе. Письмо он прислал матери, отцу даже не поклонился. С тех пор мать несколько раз писала к нему, рассказывала, что живет он в квартире из шести комнат и ездит на работу в автомобиле. Об отце не спрашивает — видно, не простил. А вот Игната Потехина дети любили и помнили. При жизни они часто приезжали к нему, писали письма, присылали деньги, звали к себе в гости на дни рождения, на свадьбы, на родины, и теперь, когда он умер, все — и Зоя, и Нюся, и Александр, и старшие — Оля и Аким,— все шли за гробом и плакали.

Кладбище было далеко, но Яков, занятый своими мыслями, не чувствовал усталости. Вспомнилось ему и более позднее время. Своего ремесла он не бросил, но о мастерской, конечно, нечего было и думать, пришлось податься в кустари. Доходов от портняжной работы ему казалось мало, тогда он занялся еще огородом. Яков не любил это дело, и каждую весну, когда жена говорила, что нужно копать под огород землю, он с сердцем восклицал:

— Будь он проклят!

Но все-таки копал, поливал, убирал, а потом продавал на рынке огурцы, помидоры, лук и выручку клал на сберегательную книжку. Денег накопилось много, но что с ними делать, он не знал: тратить было жалко, да и некуда, потому что ему со старухой требовалось очень мало, а сын все равно от денег отказался бы. Однажды Яков подумал, что мог бы на свои сбережения напоследок пожить широко и весело. В буйном настроении он взял в сберегательной кассе сразу тысячу рублей, пошел в столовую, заказал водки, икры, пряников, выпил, съел, заплатил шестьдесят рублей, а что делать с остальными деньгами, так и не придумал и отнес их назад в сберкассу.

И теперь он спрашивал себя: зачем же он и его жена трудились в огороде, зачем копались в грязи свинарников и курятников, зачем? Руки их черны, спины согбенны, а счастья нет. Видно, в каждом хозяине сидит раб — раб перед копейкой, и эта рабья жилка осталась в нем на всю жизнь...

Вышли за город. Над землей дрожал горячий воздух. На каменистой почве, сбитой в твердый камень, стояло несколько сухих, почерневших дубов. Но уже в полукилометре виднелся лес, и вскоре он встретил прохладным шумом берез, запахом мха, цветов, травы.

Как давно Яков не был в лесу! Кажется, с самого детства. Но воспоминания об этом смутны, а может быть, их нет совсем, и есть только уверенность, что когда-то он все-таки приходил сюда. И пока над могилой произносились речи и закрывали гроб, Яков все старался вызвать в памяти что-то похожее на этот лес, на этот чудесный запах цветов и травы, но там, позади, было все пусто и серо...

Музыканты сыграли последний раз и стали уходить. Якову не хотелось идти с ними; он свернул на глухую кладбищенскую тропку и выбрался через другие ворота к полотну железной дороги. Высокая насыпь пересекала огромную долину, по обе стороны рос березовый лес. Очевидно, недавно прошел поезд; его дым запутался между деревьями, и они стояли точно овитые голубыми лентами, колыхающимися на легком ветру. Лес был редкий, но от этого он казался еще более прекрасным, потому что насквозь — каждая его веточка, каждый листик — был пронизан необыкновенно ярким светом солнца.

«Уточку убил...» — снова вспомнил Яков.

Вся его серая, однообразная, безрадостная жизнь, загубленная по его собственной вине, предстала перед ним, озаренная этим светом. Он подумал, что мог бы, как Игнат, стоять над рекой и смеяться, любить, ласкать детей, работать и, заслужив этим почет, быть с честью похороненным. Но дело даже не в этих загробных почестях, а в том, чтобы прожить интересно и красиво. От него же все заслонила копейка. Добывая ее, он не задумывался, что живет не так, а вот, когда жизнь подходит к концу, вдруг задумался, но уже поздно и изменить ничего нельзя.

Что-то надломилось в нем; он взвалил на плечо ставшую вдруг очень тяжелой трубу и побрел домой, оставляя позади этот мир, залитый чистым светом летнего солнца.

1960

Гости

В пять часов утра директорская дача вдруг наполнилась стуком дверей, собачьим лаем, шарканьем ног, и негодующий бас домработницы Нюты возвестил:

— Андрей Поликарпович, вставайте! К вам гости приехали.

«Какие-нибудь подгулявшие друзья-рыболовы... Черта бы им поперек дороги»,— подумал хозяин, натягивая пижаму, и вышел из кабинета.

Было одно мгновенье непроизвольной радости, когда Андрей Поликарпович едва не бросился навстречу гостю, стоявшему в дверях столовой, но вдруг на столь же мимолетный срок ему показалось, что он совсем не знает этого человека. Незнакомыми были и впалый рот, и нос, слегка припухший и покрасневший, и жирная грудь, обтянутая узким пиджачком,— словом все, чем каждого с безжалостной щедростью награждает время. И все-таки это был, несомненно, он, генерал Пухов, старый боевой друг.

Растерявшись от столь быстрой смены противоположных чувств, Андрей Поликарпович кисло улыбнулся и шагнул вперед. Они троекратно поцеловались со щеки на щеку.

— У тебя три собаки? — спросил генерал, обнаруживая этим вопросом, явно неуместным в первую минуту встречи, свое волнение.— В вашем городе чертовски трудно найти такси... Я ведь к тебе всем семейством... Порыбачим с тобой... Познакомься, пожалуйста. Этот вот — старший, а эта — младшая.

Дети Пухова — Максим и Лариса — пожали хозяину руку. У самого Андрея Поликарповича, который женился поздно, была только трехлетняя дочь, и он с доброй завистью смотрел на детей генерала, казавшихся ему, в обаянии своей молодости, такими безыскусственно красивыми, [illegible] и полными какой-то грациозно-упругой силы.

— А вы роскошно живете,— сказал Максим, молодой человек с длинным красивым лицом и крупными прядями темных волос, падавшими ему на лоб и уши.— Батька, когда он выходил в отставку, дали полгектара земли, а он, черт, даже сарая до сих пор на ней не поставил.

— Не понимаю,— развел генерал руками.— Государство, сам, Андрюша, знаешь, не обижает нас, старых боевых коней, пенсию я получаю порядочную, а денег все время нет. Иногда даже боржом мне не на что купить. Жить, что ли, не умеем...

— Это давно известно,— усмехнулась Лариса.

Максим, стоявший у открытого окна, вдруг лег животом на подоконник, перегнулся и сломил большую ветку цветущей липы.

У Андрея Поликарповича перехватило дыхание Эти деревья он сам посадил вокруг дачи, пятый год заботливо ухаживал за ними — подрезал, опрыскивал,— и теперь, при виде сломанной ветки, ему хотелось крикнуть: «Что же вы делаете!», но он сдержался.

— Восторг, как пахнет! — сказал Максим, пряча лицо в липовый цвет, обрызганный росой.— Лорка, понюхай

Лариса с усмешкой отодвинула ветку.

— Ты, я знаю, и в письма не брезгуешь класть засушенные цветочки, слюнтяй.

— Ты дура,— без обиды сказал Максим.

— А где же Людмила Ивановна? — всполошился вдруг генерал.— Люда, где же ты?

— Нет-нет, я не покажусь, пока не приведу себя в порядок,— послышался из кухни голос, принадлежавший, очевидно, женщине молодой, здоровой и крупной.

Андрей Поликарпович понимающе усмехнулся.

— Ну, нам здесь делать нечего, старина. Пойдем-ка в сад,— сказал он, обнимая генерала за плечи.

Когда в прихожей они проходили мимо зеркала, Андрей Поликарпович невольно задержался и сравнил свою тяжеловатую, но еще стройную и осанистую фигуру с висловатой фигурой генерала.

«А все-таки я еще молодцом»,— с удовольствием подумал он.

Друзья вышли в сад и сели там у врытого в землю стола

— Вот так-то, Андрюшенька ..— сказал генерал.

— Да-а-а,— вздохнул Андрей Поликарпович.

Разговор у них явно не клеился. Выручила английская

Пестра. В то время как гончие Угадай и Заливай

...чающейся деликатностью и вообще ...тельностью
...совершенно игнорировали гостя, она, с присущей ей
...рядке нежностью, тронула руку Пухова холодным носом
...ожидая ответной ласки, положила голову к нему на ко-
...ено. Заговорили о собаках.

— А ты, помнишь, как баловались охотой, когда стояли под Оршей? — спросил генерал.— Помнишь мою Сильву? Говорят, у каждого охотника бывает единственная собака, которая всеми статьями ему по душе. У меня вот Сильва была такой.

— Ну и врешь! — возмутился Андрей Поликарпович, непримиримо щепетильный во всем, что касалось собак и охоты.— Твоя Сильва была вислоуза и к тому же ленива, глупа и прожорлива.

— Верно, дрянь была собака,— серьезно сказал генерал.— Все на расстоянии-то кажется лучше, Андрюша... Помнишь, как отсиживались по болотам в окружении? Темень, мокрота, стужа. Уткнемся мы с тобой лбами над котелком и хлебаем сухарное месиво на ржавой водичке. А вот теперь вроде уж и жалко тех дней.

— Нашел о чем жалеть! Помнишь моего ординарца Аверьяна Галаева? Ну, матерый такой русачище, с усами? Тот, бывало, говорил: «Приду с войны и все, что похоже в избе на ружье, поломаю. Пусть ухват — и тот поломаю».

— Я не о том. Кто станет жалеть о войне! — сказал генерал.— Не понял ты меня...

— Эй, друзья-ветераны, завтракать! Где вы там? — послышался за деревьями голос с какой-то звонкой, молодой задоринкой. Из плотной зелени сада выпорхнула маленькая стройная женщина в спортивных тапочках на босу ногу и сразу же протянула генералу руку.

— Здрасте! Нина.

— Жена,— подсказал Андрей Поликарпович.

— Извините, а по отчеству? — спросил Пухов.

— Да не надо,— засмеялась она.— Меня по отчеству только мужчины подхалимы зовут.

Генерал тоже рассмеялся и, вдруг как-то очень по-молодому щелкнув каблуками, предложил Нине согнутую в локте руку.

За столом уже все были в сборе. Людмила Ивановна — полная, красивая сочной и грузной красотой тридцатипятилетней женщины — монументально возвышалась над ...ом, помогая Нюте перетирать чашки.

— Муж так много мне рассказывал о вас, что однажды

...ме,— улыбнулась она Андрею Поли-

— ...к деньгам,— насмешливо сказала Лариса.

— А ...я знаю, без предрассудков,— пошутил генерал, — ...ков детей по графину с водкой.

Андрей Поликарпович покачал головой.

— Это Нина по случаю твоего приезда расстаралась. ...е нельзя,— он многозначительно показал на сердце.

— Ну, Смаковников! — возмутилась Нина.— В честь генерала. За вас, товарищ генерал!

Андрей Поликарпович смутился и подвинул жене свою рюмку, чтобы она налила ему виноградного вина.

— Ну, а мы, отец, конечно, этой выпьем,— сказал Максим, из предосторожности завладевая графином.

Завтрак еще не кончился, когда за окном пропела сирена автомобиля.

— «Победа»,— безошибочно определил Максим.

— Ну, оставляю вас на попечении Нины,— поднялся Андрей Поликарпович.— Располагайтесь как дома...

В этот день он постарался вернуться пораньше, и, как только появился на пороге дачи, Нина радостно закричала:

— Вот и хорошо! А мы придумали ехать рыбачить на остров. Это же преступление — сидеть в такую погоду дома. Ночи комариные, спать не придется,— и наплевать.

— Я согласен! — встрепенулся генерал.

Людмила Ивановна, Лариса и Максим отказались.

Эти теплые июньские ночи и впрямь было жалко проводить во сне. Река словно остекленела, лишь на середине ...кой протоки, отделявшей остров от берега, где торча... галька, песком коряга, вода была взрыта рядами мелких волн. Справа на высоком берегу сквозь прозрачный туман забились огни города, но шум его не доходил сюда, и вечерняя жизнь острова наполняла тишину своими таинственными звуками. Их было много, этих шорохов, ...ов, криков, слитых в один неясный вибрирующий го..., и в нем различались только надтреснутый скрип коростеля да необыкновенно чистый голос какой-то птички, настойчиво твердившей свой полный трагического сомнения вопрос: «Как жить? Как жить? Как жить?».

Андрей Поликарпович лежал у тлеющего дымного ..., лениво отгоняя веточкой комаров. Нина сказала, ...ее, где ночью под корягами стоят налимы, ... за кустами слышалось фырканье Пухова, плеск

беды, чавканье толкого бевега, а голос Нины попеременно звал:

— Вылезайте сейчас же, простудитесь. Вы неуклюжий и ничего так не поймаете.

«Ребячится старик»,— благосклонно думал Андрей Поликарпович.

Вскоре Нина показалась на голом бугре, который тянулся вдоль всего острова, словно его хребет, и быстро пошла к костру. На зеленоватом небе плоско вырезывалась се тоненькая фигурка; отчетливо мелькали руки и ноги, и вся она, с короткими волосами, в лыжном костюме, была похожа на девочку-подростка. Вот она задержалась на секунду вверху, над самой головой Андрея Поликарповича, и тут же исчезла — сбежала вниз, слившись с темным фоном бугра, с тенью кустов.

— Из-за этих палимов я ноги промочила,— сказала она, появляясь у костра и протягивая над огнем маленькую ступню в белой прорезиненной тапочке.

Андрей Поликарпович, чувствуя, как трогательная хрупкость этой ступни вызывает в нем невыразимо нежный отзвук, хотел сжать ее в своей руке, но в это время к костру прибежал озябший, искусанный комарами Пухов.

— Ни черта не поймал,— весело сообщил он.— Будем печеную картошку трескать... А знаешь, Андрюша, завтра сюда надо прийти за лещами. Сердце говорит мне: они тут есть.

— С печной заслон,— поддержал его Андрей Поликарпович.— Нужно их на выползка брать.

Но прошло несколько дней, а они так и не собрались за лещами. Уже утром, делая гимнастические упражнения и принимая холодный душ, Андрей Поликарпович почувствовал, что в общей системе милого его сердцу порядка образовалась какая-то брешь. Потом он стал чувствовать неудобства на каждом шагу. Людмила Ивановна захламила комнаты каким-то пестрым тряпьем, Лариса, смущая Андрея Поликарповича, гуляла в саду полуодетая, Максим несколько раз на день подходил к буфету за водкой, шлепал флегматичную Ношу, и та своим басом орала на весь дом:

— Чай не по дереву бьешь, придурошный!

По вечерам, напившись за ужином водки, генерал и Максим долго, бестолково и неинтересно спорили о достоинствах автомашин заграничных марок. Людмила Ивановна терзала Нину рассказами о своих связях в москов-

ских магазинах. Лариса, скучая, бросала иногда короткую насмешливую фразу. Людмила Ивановна была второй женой генерала, и дети не уважали ее, называя Людкой, а Лариса открыто дерзила ей.

Присматриваясь к этой девушке, Андрей Поликарпович вспоминал свои юные годы. Когда он получил комсомольский билет, начальник отделения милиции тут же вручил ему наган и заставил расписаться в том, что за ним закрепляются винтовка с шестизначным номером, который следует знать на память, и конь по кличке Вихрь. А эта девятнадцатилетняя нигилистка, лежа в гамаке и окидывая сад скучающим взглядом, говорила с усмешкой:

— Здесь словно в пустыне — жара и ни одного человека... Вы все надоели, а наш гостеприимный хозяин скучен, как длинный забор... Вот увидишь, Макс, чтобы до конца быть полезным обществу, он завещает свой труп в анатомичку.

И вдруг спросила с нехорошей усмешкой:

— Хочешь, я скажу отцу, что ты пристаешь к Людке?

— Ты — дура,— беззлобно сказал Максим.

«Ну и семейка!» — удивлялся Андрей Поликарпович, печаянно слышавший этот разговор.

Да и сам генерал очень скоро стал для него не более как неприятным гостем, который не знает срока, когда ему нужно уезжать. Стояли теплые ночи, такие тихие, что было слышно, как дышат на станции паровозы. В сыром воздухе за окном иногда мелькали какие-то быстрые тени — не то летучие мыши, не то ночные птицы,— жизнь сада казалась от этого таинственной и немного жуткой. Засиживаясь, бывало, почти до рассвета над своей диссертацией, Андрей Поликарпович любил постоять у окна. Этот редкий час свободного одиночества был нужен ему, чтобы, избавясь от инерции повседневности, заглянуть в себя, как нужно, наконец, осмотреться путнику, который долго шел и которому долго еще идти. Теперь он был лишен и этого. В первый же день генерал спросил:

— Ты, Андрюшевич, где спишь? В кабинете? Я с тобой ляну, поболтаем.

С тех пор каждую ночь, сидя в трусах на диване, почесывая жирную грудь, он много говорил о прошлой войне, о полузабытых людях, о речках, высотах, населенных пунктах. Его речь, состоявшая из вялых восклицаний «А под Ельней!», «А под Смоленском!», «А под Брестом!», [illegible]

...ое название, и, с тоской вслушиваясь в шаги Андрея Поликарпович думал: «Боже, неужели эта пытка продлится...
...ие хоть еще одну ночь?»

Его раздражала и книга, дочитанная Пуховым в несколько приемов до шестой страницы, и то, что гость надевал его домашние туфли, сорил табачным пеплом на письменном столе, пил много водки, но больше всего ему была ненавистна своя подлая, отравленная унизительным притворством жизнь, которая началась с приездом генерала...

Однажды Андрей Поликарпович вошел в комнату жены и увидел, что Нина плачет, спрятав лицо в оконную портьеру. Он встревожился, сжал ладонями ее горячие щеки.

— Я не могу больше,— говорила Нина, глядя на него снизу страдающим взглядом.— Она изводит меня... В том, что я молода, а ты значительно старше меня, она видит расчет и говорит со мной тоном единомышленницы. Это так оскорбительно! Ведь я люблю тебя... Люблю эти седые виски, эти сухие руки, эти умные, усталые глаза...

Она поднялась и, плача, стала целовать его руки, глаза, виски, словно боясь, что и он вдруг не поверит ей.

— Черт знает что,— пробормотал Андрей Поликарпович.— Успокойся... Не вечно же они будут здесь. А я, поверь, ничего не поделаю с собой. Презирай меня, назови размазней, тряпкой, но не могу я сказать Пухову, чтобы он уехал, не могу!

— А зачем ему уезжать? — Нина отстранила голову мужа и пристально посмотрела в его глаза блестящим от слез взглядом.— Какой же ты, Смаковников...— медленно с расстановкой проговорила она.— Ему не надо уезжать, не надо, не надо! Слышишь?

Андрей Поликарпович поднял плечи.

— Ну, не понимаю я тебя тогда. И вообще... какая-то блажь...

Он вышел, хлопнув дверью, а когда Пухов, попавшийся ему на пути, спросил, пойдет ли он за лещами, Андрей Поликарпович резко и раздраженно ответил, что ему нужно работать, а не бездельничать и что он никуда не пойдет.

Выходной день выдался пасмурным, скучным. От безделья гости принимались несколько раз есть, и Андрей Поликарпович был рад, что может побыть в кабинете один.

Вечером шел редкий теплый дождь. Андрей Поликарпович нечаянно заснул в кабинете на диване. Было далеко

за полночь, когда он проснулся и подошел к окну, чтобы сбросить тяжелую от неурочного сна голову. Дождь кончился. Между деревьями передвигалось дрожащее бледно-желтое пятно света, в нем коротко вспыхивали то склянка, то маленькая дождевая лужица: кто-то ходил по саду с фонарем. Когда глаза привыкли к темноте, Андрей Поликарпович узнал генерала. Он собирал выползней, готовясь утром идти за лещами на остров.

Было что-то невероятно трогательное в том, как, приседая, ставил он в пятно света баночку, как старался взять червя непослушными пальцами, и в том, что по пятам за ним ходила Люстра и, когда он приседал, она тоже садилась и начинала смотреть ему в лицо, а он что-то тихо, с ласковой укоризной говорил ей.

И Андрей Поликарпович с внезапным состраданием к этому человеку вдруг ощутил то, быть может, неосознанное самим Пуховым одиночество, в котором тот жил. Ведь только поэтому он и приехал сюда, к своему другу, и спал у него в кабинете, только поэтому навязчиво оживлял в памяти далекие годы, озаренные подвигами мужества, труда и терпения, годы, когда он шел рука об руку с тысячами людей на святое общее дело. Сильный, волевой, умный человек, он теперь тупел и опускался в кругу этих любимых им паразитов... И не надо, не надо ему уезжать отсюда!.. Милая, чуткая Нина! Она сразу угадала и поняла это, а вот он и не угадал и не понял. Почему?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно было понять и признать еще что-то постыдное и тяжелое для себя.

Генерал снова нагнулся и поставил свою баночку в пятно света. Почему-то особенно непростительным показалось Андрею Поликарповичу то, что он отказал Пухову в просьбе пойти с ним утром за лещами. В глубине души он сознавал, что это мелочь, не главное, но, цепкими и острыми последними желаниями искупить эту свою вину, он достал из ящика письменного стола фонарь и спросил у двери.

Весенним утром

елтой дымкой тальника окутан май. Еще не цвели сады, не гремела первая гроза, не посеяны яровые, и кумачовый флаг над правлением колхоза, обновленный к Первомаю, еще не побледнел от солнца и дождей...

С утра на крыльце правления сидели двое — молодой парень из соседнего села Венька, по прозвищу Дикарь, и местный колхозник Евсей Данилыч Тяпкин. Оба они по своим делам дожидались председателя, который еще вчера уехал в дальнюю бригаду.

О деле Евсея Данилыча легко можно было догадаться, взглянув на его спутанную бороду, мутные глаза и водянисто-синие оплывы под ними. Конечно, сам он прямо ни за что не выдаст своего затаенного желания и будет уверять, что деньги нужны ему на «карасин», на мыло, на олифу, но всякому, кто хоть немного знал Евсея Данилыча, было без слов ясно, что мужик находится, по его собственному выражению, «на струе» и пришел просить двадцать пять рублей из колхозной кассы, чтобы опохмелиться.

Куря Венькины папиросы, Евсей Данилыч часто поглядывал на свою избу. Делал он это неспроста, а потому, что, во-первых, опасался появления жены, а во-вторых, уж очень ветха была эта изба и, очевидно, говорила что-то неприятное остаткам его хозяйского самолюбия. Печально глядя на мир из-под осевшей крыши двумя мутными окошками, она словно собиралась вздохнуть и тихо пожаловаться неведомому сострадателю: «Тяжело мне, братец...»

И хотя ее ржавая крыша была увенчана высоченной радиоантенной, это отнюдь не свидетельствовало о благополучии в семье Евсея Данилыча, потому что самого приемника давно уже не было.

Однако по антенне можно было судить о том, что Евсей Данилыч знавал и лучшие дни. Теперь она всегда напоминала ему о том времени, когда он считался первым плотни-

ном в колхозе, играл топориком, как перышком, и не знал себе равных в искусстве выпиливать узорчатые наличники, которые каждому дому точно открывали широкие, ясные глаза. Тогда работа сама просилась в руки, и дом был — полная чаша. А потом (когда это началось, Евсей Данилыч и сам не углядел) работы стало меньше, получать за все вовсе ничего не приходилось, и маленькое хозяйство Евсея Данилыча, как и большое — колхозное, быстро пришло в упадок. Другие мужики подались в город, на текстильную, на чугунолитейный завод, на песчаный карьер, а Евсей Данилыч, мужик застенчивый и неходовой, остался в колхозе и захирел совсем.

Вскоре после войны он было воспрянул, но не надолго. Тогда председателем выбрали бывшего фронтовика Степку Вавилова. Тот, казалось, повел дело с умом, а потом вдруг в чем-то не потрафил районной власти и, едва не попав под суд, тоже подался в город.

Сейчас о новом председателе, приехавшем недавно по своей воле из города, на селе опять упорно говорили, что-де больно хорош, что даже вот Степку Вавилова уговорил вернуться в колхоз, но лично Евсей Данилыч пока не видал от него ничего доброго и судить не торопился, желая еще посмотреть, даст он ему сегодня двадцать пять рублей или не даст.

— Вот какие, брат Венька, пироги,— вслух завершил он круг своих мыслей.

Венька ничего не ответил. Он сидел, и, кося жгуче-черным глазом на дорогу, думал о своем. От успеха его переговоров с председателем зависело — останется он на все лето здесь, в Овсяницах, или ему придется искать работу в другом месте. Последнее было нежелательным для Веньки по двум причинам: во-первых, Овсяницы были близко от дома, а во-вторых, и это было главным, здесь жила Варька, которая за одну только прошлую зиму из долговязого конопатого подростка неожиданно для всех вымахала в ладную девку с темно-рыжей косой и зелеными русалочьими глазами.

Теперь Венька соображал, как ему лучше подойти к председателю. По слухам он уже знал, что новый овсянинский председатель — мужик дошлый, копейки из рук не выпустит, а таких выжиг, как он, Венька, насквозь видит. Но с другой стороны, если человек всерьез задумал строить — без Веньки и его «дикой бригады» ему не обойтись. Ведь уже три года в ближних и дальних колхозах эта бри-

[illegible] строить коровники, телятники, хранилища, рассчитывать за это жирные куши наличными, но работала, надо признаться, на совесть. Так зачем же, думал Венька, отказываться от дела, коли оно кругом, и нашим и вашим, выгодно? Нет, уломает он председателя, как пить дать!

— Вот, Данилыч, — подвел и он итог своим размышлениям.

Так они и сидели, не сознавая, что их уже разморило напористое весеннее солнце и что обоим не хочется ни говорить, ни думать, а только бы смотреть, как теплый ветер волнует новозданную зелень берез, да слушать, как перевистываются в ней, словно разбойнички, работяги-скворцы.

Это блаженное состояние расслабленности и созерцания было нарушено появлением Варьки. Заметив Евсея Данилыча, она потопталась на месте и уже была готова повернуть вспять, но Венька окликнул ее:

— Ну, чего застеснялась? Иди, иди, не съедим.

Он бесцеремонно подвинул локтем Евсея Данилыча и, потянув за руку упиравшуюся Варьку, посадил ее рядом с собой.

— Куда ходила?

— На поле была, обмеряла. Сеют наши,— прерывисто дыша, сказала Варька и затеребила конец зажатого в кулачке платка.

В семнадцать лет ей все было внове — и Венькина рука, лежавшая на ее плече, и почему-то ставший теперь таким волнующим запах обыкновенного табака, исходящий от него, и сознание его власти над всем ее существом, и то, что бешеный весенний воздух, стоит только поглубже втянуть его ноздрями, так и пронимает ее всю, до тоненькой жилочки...

— Не говорил еще? — тихо спросила она Веньку.

— Не приезжал, ждем.

— На поле был. Я думала, сюда поехал. Знать, завернул куда-нибудь.

Она тихонько повела плечом, стараясь освободиться от ставшей слишком вольной Венькиной руки.

— Ну-ну, чего? — снисходительно проворчал он.— Чего ты меня до сих пор дичишься, не съем.

— Едет! — подскочила вдруг Варька.— Ой, побегу... Едет!

Поправляя сбившийся платок и оскользаясь на весенней [illegible] она пересекла улицу и ударилась прогоном в поле, [illegible] по пути гомонливое стадо гусей.

— Ну и бес! — с восхищением сказал Евсей Данилыч, но сейчас же постарался принять озабоченно-почтительное выражение лица.

К правлению на белоногом жеребце, запряженном в какой-то нелепый извозчичий тарантас, подъехал председатель Коркин. В полувоенной фуражке, какие давно уже не продают, а шьют только по заказу, круглый, плотный и быстрый в движениях, Коркин соскочил с тарантаса, бросил в него кнут и привязал жеребца к балясине. Пока он это делал, Венька с независимым видом стоял на крыльце, а Евсей Данилыч топтался вокруг коня и нахваливал его на все лады. Он охлопывал его круп, трепал по шее, процеживал сквозь пальцы давно не стриженную гриву и, наконец, дал прихватить губами свое ухо.

— Ко мне? — спросил Коркин, ступая на крыльцо.

— Ну, председатель, давай рядиться,— развязно говорил Венька, идя вслед за ним по темному коридору.— Слышал, телятник тебе надо строить. Коль сойдемся в цене — вот он, я.

Коркин открыл ключом дверь, и все трое вошли в маленький, загроможденный конторского вида мебелью и сплошь заваленный початками кукурузы кабинет. Не пучки пшеницы, ржи или ячменя, а именно эти восковато-желтые початки, как знамение времени, лежали на столах, подоконниках и в углах председательского кабинета.

«Не даст»,— подумал Евгений Данилыч, смущенный столь деловой обстановкой, и сел в сторонке, решив подождать, когда уйдет Венька.

— Слушаю,— сказал Коркин.

— Так будем рядиться, Григорий Иваныч? — спросил Венька.— А то перебьют у тебя мою бригаду устюжские, будешь тогда локти кусать. По рукам, что ли?

Венька, как в конном ряду, выставил из-под полы пиджака руку и задорно сверкнул на председателя своими угольными глазами.

— Двадцать тысяч дашь?

Евсей Данилыч восхищенно крякнул. Умеет же этот Дикарь обстряпывать дела... Эх, ему бы, Евсею Данилычу такую хватку!

— Копейки не дам,— негромко отрезал Коркин.

— И правда! Ишь чего захотел... Двадцать тысяч! — сказал из своего угла Евсей Данилыч.— Да за двадцать тысяч, знаешь...

— Молчи ты,— огрызнулся на него Венька.— Сам

председатель, промажешь. Восемь сюда... — последнее

Коркин засмеялся и пожал плечами.

— Не сойдемся. Ступай, мне некогда.

— Черт с тобой, двенадцать,— круто съехал Венька.— Пиши договор. Три — вперед. Да ты, видно, строить не хочешь! — усмехнулся он, увидев, что Коркин только махнул рукой.— Так бы и сказал сразу, нечего тогда тут лясы точить.

— Почему? Строить будем,— спокойно сказал Коркин.— Только нынче решили без дикарей обойтись. Довольно им колхозных денежек в карманы посовали. У нас свои плотники не хуже, и карманы у них не уже. Так, что ли, Данилыч?

— Известно! — встрепенулся тот и про себя радостно подумал: «Даст».

— Станут они тебе за трудодни ломить,— снова усмехнулся Венька.— Нынче дураки-то повывелись. Вон спроси его,— кивнул он на Евсея Данилыча,— станет он за трудодни строить? А коли и станет, так через пень колоду Глядишь, года через три поспеет твой телятник... Ну, скажи, старик!

Евсей Данилыч приник и, не найдя, что ответить, забормотал невнятное.

— А что ему не работать? — загорелся вдруг Коркин Он выдернул ящик стола, схватил какую-то книжку и, чуть не отрывая страницы, стал листать ее.— Вот. По установленным нормам на трудодни он получает? За качество получает? За досрочное выполнение получает? Если утвердим его бригадиром — премию получает? Чего же ему еще?

Он дернул к себе счеты и быстро застучал костяшками

«Все дело, подлец, испортил, рассердил человека,— с укором подумал Евсей Данилыч.— Теперь не даст».

А Венька не унимался.

— На счетах-то у тебя ловко получается. Чего только дашь-то под эти костяшки?

— Дадим,— уверенно сказал Коркин — Вот решили дать аванс на трудодни по два с полтиной. И каждый месяц давать будем. У тебя, Данилыч, сколько трудодней?

— Чего там! — махнул Евсей Данилыч рукой.— Семьсот, не знаю, наберется ли.

— Ну, твоя вина, что мало. Получишь всего сто семьдесят пять целковых.

— [illegible]? — спросил Евсей Данилыч.

— Да хоть сейчас. Если у бухгалтера готовы списки, иди да получай.

— Ну да? — изумленно и недоверчиво спросил Евсей Данилыч.— Сейчас можно получить?

Коркин внимательно посмотрел на него.

— Да ты, я вижу, проспался только сегодня. Еще позавчера решили на правлении авансировать по два с полтиной Весь колхоз знает.

Не сказав в ответ ни слова, Евсей Данилыч поднялся и направился к двери. Весь предыдущий разговор, и особенно упоминание Коркина о том, что его, Евсея Данилыча, могут утвердить бригадиром, требовал немедленного реального подтверждения.

Когда через несколько минут он вышел на крыльцо, там уже стоял Венька и зло расправлял исковерканную во время разговора с председателем шапку.

— Ну и жмот! — ища сочувствия, сказал он Евсею Данилычу.— Тугой человек, одно слово.

— Да уж точно! — охотно согласился Евсей Данилыч, но в голосе его слышалось скорей восхищение, чем сочувствие.

Проводив взглядом Веньку, напропалую топавшего по загустевшей грязи, он вынул полученные сто шестьдесят семь рублей, из них семнадцать тщательно упрятал за подкладку шапки, а остальные положил в карман.

К дому он подходил с лицом торжественным и лукавым. Сейчас он доставит себе маленькое удовольствие — покуражится, прикажет вздуть самовар, заставит чисто прибрать стол, откажется пить из надтреснутой чашки, а потом, когда жена будет доведена до предельного градуса и приготовится запустить в него какой-нибудь твердостью, вдруг объявит, что его хотят поставить бригадиром строительной бригады, и как бы в подтверждение этого бухнет на стол полтора сотенных... Знай, мол, наших!

А Венька между тем уже вышел за село и шагал по полевой дороге. Жаворонки трепетали в струящемся над полями воздухе, через дорожные колеи неуклюже перелезали еще сонные лягушата, рыженькая крапивница совершала свой первый полет, и Венька мало-помалу обмяк, зачарованный и покоренный всеобщим праздником весны. Когда он нашел Варьку, то на лице его не было и тени обычной озабоченности и досады.

— Подрядился? — сияя своими русалочьими глазами, спросила его Варька.

— Куда там! — засмеялся он.— Такой тугой человек — не подступись. Придется в Устюжье ехать. Туда сами звали.

— В Устю-южье,— протянула Варька.— Да туда же сто километров...

— Сто десять,— поправил Венька.— Надо сегодня же и здаваться, а то можно и упустить.

Он бросил на сухой закраек поля пиджак и предложил:

— Посидим.

Но Варька не двинулась. Опершись на свою рогатую мерку, она смотрела в землю, и по ее нахлестанным весенним ветром щекам блестящими струйками бежали слезы — слезы первого девичьего горя.

1955

В бессонную ночь

1

Как и обычно, с половины зимы у Никона начали стыть ноги. В предчувствии изнурительной бессонницы потолкался он, тоскуя, дня два из угла в угол, потом залез на печь и стал смирно дожидаться «своего часу». Ждал Никон весны, солнечного тепла, сухого ветра и уже задолго до первой капели все ловил привычным ухом ее ободряющий звон. Он всерьез беспокоился о том, что или весна опоздает, заплутавшись в текучих бураных снегах казахских степей, или болезнь, поспешив, прихлопнет его, как тугая мышеловка.

Хорошо еще, что не в одиночестве коротал Никон эти зимние дни. Тогда дома были сын, и сноха, и внучка Марька; забегала проведать его скотница Мотя Фомина, а потом еще поселились два комсомольца из соседнего целинного совхоза. На этих двух Никон постоянно сердился, и особенно на длинного, рыжего, с кошачьими глазами Кольку, которого звал не иначе, как Колгата. Тот всегда суетился, шумел, ко всем приставал и дразнил Никона всякой ересью, вроде той, что верблюдов можно кормить кнопками, булавками, патефонными иголками и бритвенными лезвиями. Или врывался с морозной улицы, скидывал, вприпрыжку, кущую телогрейку и начинал кричать:

— Разве это местность! Во все стороны ни одного дерева, а! Избы из глины, а топят их — смех один! — коровьим дерьмом! И тоже непонятно, на какой точке земли мы находимся. Слева — Россия, а подался чуть вправо, за овражек — глядишь — там уже Казахстан.

У Никона, потомка тульских переселенцев, мужиков голубоглазых, отупело упорных в поисках своей доли, наглоталась тоска по лесным краям, которую они принесли с собой на эти неоглядные земли. Ничего не было для него милей тени, кисловатого запаха кизячного дыма и синего купола неба, неохватно раскинувшегося над [illegible]. Степь не казалась ему, как иному прише[illegible]

...ку, ни однообразной, ни скучной. Она была какая-то завлекающая, рождающая сложное, но легкое чувство радости, окрыленности, умиротворения, грусти и чего-то трудно объяснимой словами чертовщины. Стоило Никону выйти в степь и вдохнуть ее простор, как... то ли забывало закинуть сапожки через плечо и пустилось... гречь ветра по мягкой пыли суглинных дорог, не помня даже о «подъемных», которыми так хвастался Колька.

Но объяснить все это Кольке у Никона не хватало слов. Он только сердился, взмахивал сухими руками и кричал в ответ на его дерзкие речи:

— Эва! Был я годов двадцать назад в каком-то... Подумаешь, диво! И небо-то совсем не видать. Как только люди там живут, мне удивительно! А здесь-то... Боже ты мой! Шагнул за порог — и смотри во все стороны. Вот и выходит, что Колгата ты после этого, и больше ничего. Колгатишь, колгатишь — все попусту, все кобелю под хвост.

— Брось, дед,— не унимался Колька.— Куда смотреть-то?

— Как это — куда? В степь.

— Да на что? Она ж пустая.

— Пустая?! — ахал Никон.— В душе у тебя, знать, пусто, милок, как в том барабане! Ступай от меня к чертовой матери! Пошел, пошел в горницу!

На Колькиного приятеля Генку Залихватова он сердился по другой, особой причине, но обходился с ним мягче, так что самому Генке, пожалуй, было и невдомек, почему это старый хрыч Никон надулся на него, как мышь на крупу.

Не догадалась и Марька, зачем однажды в ту роковую минуту, когда дед покидал свою печную обитель, он прилег к ней на кровать и, потрогав за плечо, сказал:

— Нут-ка, хватит спать-то. Ты поговори со мной... Вот не сплю я, ноги у меня стынут, маятно это — не спать-то. Ты поговори со мной.

— Ну, чего ты, дед? — спросила Марька, с неохотой разжимая сонные веки.

А он смотрел на ее грудь, мерно приподнимавшую... жалое одеяло, на сильную шею, на широкие стр... черные ..., на смуглый и упрямый рот и думал о том, что из ... уже не та козлоногая, любопытная ко всему Мар... был нужен родительский укорот, а сама себе ... и ей совсем он теперь ни к чему докучливые ... наставления.

— Да так я,— виноватым голосом сказал он,— не спится чего-то...

И опять ушел на печку.

Иногда Колька Колгата заводил патефон, который привез с собой. Перед каждой пластинкой он на весь дом орал:

— Шульженко!..

— Бернес!..

— «На крылечке»!..

— «Сильва»!..

Колькины песни не нравились Никону, лишь «Каховку» он слушал с удовольствием и почему-то в том месте, где говорилось о стоящем на запасном пути бронепоезде, ему становилось грустно. А потом Колька, видно по нечаянности, поставил пластинку, которую раньше никогда не заводил, и вдруг тихий хор мужских голосов задумчиво, скорбно и сурово запел:

Товарищ, болит у меня голова...
Тревога промчалась над нами —
От крови друзей почернела трава,
Склоня свое красное знамя.

Перед глазами Никона, ослепив его, вдруг полыхнуло, словно сгусток живого огня, красное, освещенное солнцем полотнище, и старика, как боль о невозвратном, как счастливое, но безнадежно краткое ощущение молодости, пронзило ясное, почти осязаемое воспоминание. На миг увидел он себя под этим знаменем красногвардейского отряда мальчиком с выцветшими на степном солнце глазами, с однобокой от контузии улыбкой, и у него вдруг мелко-мелко задрожали руки, которыми он свертывал себе покурить.

— Ну-ка, сызнова эту! — приказал он.

— Тягучая больно, дед,— попробовал возразить Колька.

— Ну, ты! — строго прикрикнул Никон.— Поспорь у меня!

И было в его голосе что-то такое, отчего Кольке первый раз не захотелось подразнить деда. Он поставил снятую было пластинку и спросил:

— Что, понравилась?

— Хорошая песня,— просто сказал Никон.

Пластинка пошуршала, и снова хор голосов внятно проговорил:

Товарищ, болит у меня голова...

Никон слушал, закрыв глаза, покачиваясь из стороны в сторону. Он вспомнил, что в отряде молодые бойцы прозвали его «Стариком», и сейчас усмехнулся этому, как сущей нелепице: ему тогда было едва за сорок.

— Я ведь тоже в гражданскую воевал,— сказал он, когда песня кончилась.

— Дык ведь это не про гражданскую,— сейчас же возразил Колька.

— Ну, там не сказано про какую,— уклончиво ответил Никон, не расположенный спорить.— Она, значит, ко всякой правильной войне приспособлена. Не в этом суть. Я про что говорю? Прятался я однова в яме от банды Викулина. Лихой был атаман. Речи умел говорить — что твой дипломат. Я его разов десять, наверно, слушал, когда он еще за совецку власть говорил. А после она ему что-то разлюбилась. Уманил он смутными речами за собой всякий неустойчивый элемент и пошел шастать по селам, большевиков постреливать. Гоняли мы его по степи, наверно, с полгода. А потом сами промашку дали. Пощипал он нас в одном селе — ну, прямо скажу, как коршун клушку. Вот и влетел я тогда в яму-то, откуда глину на саман брали, там и хоронился семь ден. Водицы — той на дне чуть прикапливалось после дождя, а вот ел-то уж всякую нечисть — мокриц там, червяков...

— Ври! — не выдержал Колька. — Разве можно мокрицу от какого хошь голода слопать? Это уж ты загнул, дед.

— Ну, насчет мокриц доподлинно не помню, — сознался Никон, — а вот лягву — это точно съел.

— А банда? — нетерпеливо спросил Генка.

— Что ж банда? Извели, конечно. Куда ей деться? И Викулина извели. Всех, до последнего корня.

— Не знает Ворошилов про твои заслуги, он бы тебя орденом наградил, — гмыкнул Колька.

Никон с укоризной покачал головой. Он был так умягчен своими воспоминаниями, так растерян от неожиданности их беспорядочного набега, что потерял на время всю запальчивость в спорах с Колькой.

— Я, милок, еще помню, как деревянными плугами пахали, — сказал он без всякой связи со своим предыдущим рассказом. — А уж после, когда лобогрейку в село привезли, мужики-то, как на диво, на нее глазели. Иные колгаят: «Где тебя — на кой она, дескать, нам сдалась? Разбить ее к чертовой матери! Потому — боялись, робету она у них

отобьет. А старики тут же: га-га-га, га-га-га. Ровно гуси. То ли, мол, будет, мужички. Всю землю проволокой опутают, а по небу железные птицы полетят, станут вас по башкам клювами долбанить. Вот оно как, милок...

2

Когда, наконец, тронулись степные овраги и ветер дохнул запахом снеговой воды, когда мутная, глинистая река до краев налила оросительные лиманы и закричали над ними стаи пролетных гусей, Никона охватила нетерпеливая тревога.

Дом опустел. Колька и Генка уехали в совхозные палатки, домочадцы теперь с утра до вечера работали в колхозе. Лишь, как и прежде, забегала проведать Никона скотница Мотя Фомина. Великая это была женщина в смысле обилия материнской любви ко всякому живому существу. И даже в ее внешнем облике природа постаралась отразить это свойство, наградив такой грудью, что ею, казалось, можно было выкормить роту полновесных младенцев. Она была уже немолода, лет сорока, но так и не вышла замуж. Как-то Никон глядел на нее — коротконогую, нескладную, с волосатыми бородавками на мягком лице — и сказал с сожалением:

— Тебе, Мотя, ребеночка нужно.

А она вдруг закрылась большими жилистыми руками и заплакала.

С тех пор Никон, забывая, что слишком часто повторяет одно и то же, спрашивал:

— Ну что, Мотя, нет еще ребеночка?

И она со спокойной, обжитой грустью отвечала:

— Нет, Никон Саввич. Где уж мне!..

По-прежнему Никону не спалось по ночам. Проснувшись, он слышал, как на дворе терлась о стену скотина, ухал невдалеке железной крышей школы ветер и кричали, кричали на лиманах гуси.

Сдерживая дрожь в ослабевших коленях, он слезал с печи и выходил за порог. Степные апрельские ночи давили на землю сплошным слоем тьмы; ни щелочки света не было в нем, куда ни глянь, лишь побеленные прутики яблоневых саженцев, как хилое племя каких-то духов, толпились у порога.

Холодный ветер стегал по лицу колючей крупой. Был праздник — дни, когда казахи чтят память пятерых гостей,

замерзших во время бурана в степи. И с аккуратностью, всегда удивлявшей Никона, каждый год в эту пору [illegible] Колга давно уже вылят дороги, когда на буграх проклюнутся золотистые одуванчики и по селу вовсю пересвистываются скворцы, откуда-то приносился, словно напоминая о давнишнем несчастье, этот недобрый ветер.

— Ох, напасти!.. Ну их совсем, ей-богу!.. — говорил Никон.

В эти дни вдруг появился Генка. Он заскочил в дом, сорвал с головы шапку и в растерянности застыл у порога, очевидно пораженный непривычной тишиной.

— Ну, чего заробел? Входи, — сказал Никон с печи.

Он уже забыл, что постоянно сердился на ребят, без которых ему стало скучно, и теперь очень обрадовался Генкиному приходу. Давно привыкнув к полутьме кухни, он свободно разглядывал Генку, стоявшего внизу, и с удовольствием отметил, что тот — парень ничего: из себя видный, и лицо у него широкое, доброе, даром, что фамилию он носит бедовую — Залихватов.

— Наверно, на стану живете? — спросил Никон.

— Пашем уж, дедушка, давно, — охотно отозвался Генка.

— Не сеяли?

— Нет.

— И то рано, погодите. Ну, а Колгата как там?

— Ничего. На пахоте по двести сорок процентов выжимал.

— Колька-то?! Колгата-то?! — изумился Никон и тут же, точно оспаривая чье-то мнение, прибавил: — Он парень проворный. Ты не гляди, что он рыжий да колгатистый, он, брат, хваткий.

Генка решительно нахлобучил шапку.

— Марьки-то нет, дедушка?

— Ты зачем в село-то пришел? — спросил Никон, словно не замечая его вопроса.

— За папиросами.

— А у вас-то неуж там нет?

— У нас не той фабрики, мне «Явы» нужно.

Генка ушел, а Никон весь день чувствовал себя очень хитрым и все тихонько посмеивался и качал головой.

Утром на потолке против окна, точно фонарь, [illegible] солнечное пятно, перерезанное крестом [illegible] рамы. Оно медленно поползло по стене [illegible] ники, календарь, сморщилось на самовар[illegible]

цевой занавески и, наконец, овальным блюдом легло на кухонный стол. Ветер чуть слышно позванивал оконным стеклом. Даже в комнате чувствовалось, что он уже потерял прежнюю силу и резкость и что к вечеру на улице основательно разогреет.

Одевшись потеплей, Никон вышел и сел на лавочку перед домом. Выметенная ветром дорога сверкала осколками стекла, всохшими в суглинок. По ней два лохматых, еще не вылинявших верблюда гащили бочку с водой. Это были Бархан и Симка, которые давно уже возили воду в школу, в больницу, в родильный дом и детский сад. Бархана Никон узнавал по надменному, презрительному взгляду; Симка же глядел печально, в глазах у него была какая-то долгая степная дума. Узнал Никон и водовоза — казаха Сакена, шагавшего рядом в такой же лохматой зелено-рыжей, как верблюжьи бока, шапке и брезентовом плаще, звучно шлепавшем мокрыми полами по голенищам резиновых сапог.

— Ты как везешь? Половину бочки расплескал, человек ты несуразный! — крикнул Никон и сам удивился тому, какой у него слабый дребезжащий голос.

Но он тотчас забыл об этом — его радовало, что он знает здесь всех и может, как свой, необидно ко всем придираться.

— Не моя везет, верблюд везет, — весело ответил Сакен, и маленькие глаза его совсем потонули в лучах морщин.

Никон сидел так до вечера, пока пламенная горбушка солнца не погрузилась медленно и нехотя в жирную золу лиманов. В полном, теплом безветрии погас степной вечер, постепенно сменив свои оттенки от прозрачно-нежной синевы до тусклого стального свечения.

3

Впервые Никон, прогревшись на солнце, хорошо и крепко уснул. Ему ничего не снилось и только один раз почудилось, что Сакен поливает его ноги холодной водой. Но это уже была почти явь. Он застонал и, как всегда, проснулся от ломотного холода в ногах. Окошко еще не просматривало на темной стене, но Никон слез с печи, оделся и, взяв шапку, вышел за дверь.

Ночь была теплая; несколько звезд сияли, точно крупные капли влаги, щедро брызнутой на темный свод неба. «Теплынь», — подумал Никон.

Не потерявший к старости ни слуха, ни зрения, [illegible] по пошел во тьму, к лавочке и, поверив на [illegible] дел Марьку и Генку.

— Систематический ты человек, Генка, [illegible] сказал Никон. — Охота же тебе за десять километров со стана шастать.

— Спал бы себе, дед, — недовольным голосом сказала Марька.

И Никон представил, как сошлись при этом на переносице строгие брови.

— Нынче сеять начнут, и нечего тут прохлаждаться, — проворчал он.

— Ну, не твоя забота!

Марька увела Генку за угол, а Никон посидел на лавочке и, почувствовав, что ноги продолжают стынуть, [illegible] поднялся и пошел на скотный двор к Моте Фоминой. Но там дежурила другая скотница. Он ждал Мотю целый час, а когда она пришла, только и спросил:

— Ну что, Мотя, нет еще у тебя ребеночка?

И она как всегда, ответила:

— Нет, Никон Саввич. Где уж мне!..

Выйдя от Моти, он бесцельно побрел по улице мимо самашных домов, слепо поблескивающих на него окопными стеклами. Весна пришла, а ему все так же беспокойно, и запах ветра, вобравшего в себя ароматы пашни, зацветающих холмов, теплой воды лиманов, только усиливал это беспокойство.

Отдохнув на крыльце правления колхоза, Никон пошел дальше. На востоке уже не так влажно мерцали звезды, небо засветилось изнутри зеленоватым светом.

На Никона вдруг наплыл теплый масляный запах еще не остывшей машины. Рядом был гараж, возле него белел горбатый силуэт председательской «Победы», недавно пришедшей из района или из дальней бригады, и Никон вспомнил, как оконфузился в прошлом году, когда напросился поехать на ней с председателем в степь. Тот, ездивший всегда без шофера, убежал к стоявшему посреди поля комбайну, сказав, что скоро вернется, а Никон остался в машине один и, когда ему захотелось до ветру, не мог открыть дверцу. Председатель замешкался, Никон дергал за все ручки, но они не поддавались его слабым усилиям, и вот тогда-то с ним случился стариковский грех. Председатель никому не рассказал, только добродушно посмеялся [illegible] посмеялся и Никон, но теперь, при воспоминании об

том случае, ему сделалось очень нехорошо. Он стоял возле машины, широко расставив согнутые в коленях ноги, опершись обеими руками на палку, и плакал беззвучными стариковскими слезами, первый раз по-настоящему, с такой нестерпимой болью поняв, как стар он и слаб и как мало осталось жить ему на этой земле.

От гаража Никон пошел на конный двор. Потревоженный в сладком утреннем сне сторож обругал его нехорошим словом, но Никон не обиделся и проникновенно сказал:

— Послушай, милок, дай мне коня.

Сторож выпучил на него круглые, рачьи глаза.

— Да ты что, старик, фью-фью? Сбрендил, что ли?

— Дай,— повторил Никон.— Мне только в степь съездить, недалечко. Уважь!

— Блажишь, Никон, — нахмурясь, сказал сторож, такой же старик, но покрепче, с окладистой из тугих колец бородой. — Зачем тебе в степь? Ты и на коня-то не взлезешь. Нам с тобой осталось только на печке верхом скакать.

— Взлезу. Уважь, милок! — просил Никон. — Мне бы в степь, недалечко... Уважь!

— Не уважу, — крутил сторож головой. — Ну как я выдам тебе коня без конюха, без бригадира, без председателя? Подумал ты, какое я имею законное право? Ну вот. И ступай с миром, а не то, не дай бог, осерчаю. Ступай.

Никон пошел. В прогоне между конюшнями зияла синяя рассветная пустота; из нее ровно, без порывов истекал ветер, и против течения этой воздушной реки, опираясь на палку, легонький, как сухой тростничок, Никон зашагал в степь. Откуда-то из-за спины его по пашням и травам солнце скользнуло ранним лучом. Стал виден пар над ними — легкое розовое дыхание земли, в небо взмыл коршун, высматривая сусликов, и под ногами у Никона забегали маленькие серые ящерицы. Зорким взглядом прирожденного степняка Никон наметил впереди себя бугор и упрямо шел к нему, не разбирая дороги, задыхаясь и чуть не падая. Он все-таки не выдержал и, когда бугор был уже близко, остановился передохнуть. Щурясь, обвел он взглядом всю степь: сзади, совсем, оказывается, недалеко, она упиралась в самашные степы сельских построек, зато слева, впереди размахнулась так широко, что у Никона кругилась голова. Он поспешно зашагал дальше, ста-

раясь смотреть только под ноги, и забрался на бугор уже на последних сил.

— Ах, саранча! Нашли же место, бестии эдакие! — засмеялся Никон, глянув вниз.

Там, под самым бугром, виднелся белый платок и рядом — круглая кочечка. Запрокинув девке голову, парень целовал ее в губы. Никон хотел озорно улюлюкнуть, но в это время девка легонько толкнула парня в грудь, выпрямилась и, ловя петлей пуговицу на кофточке, посмотрела вверх. На лбу у нее сошлись широкие брови.

— Ну чего ты, дед, как привидение, по степи ходишь? — строго спросила Марька.

Никон вдруг оробел, присел на траву и запутавшись в степные тюльпаны.

— Сеять пшеницу будут... — пробормотал он.

— Поспеем и сеять, — солидно отозвался снизу Генка. — Чего вы, дедушка, волнуетесь?

— Да мне что... Устал я. Эвон откуда пехом иду, — сказал Никон. — Я сяду, а вы — как знаете.

Он не видел, ушли Марька и Генка или нет, — он грелся на солнечной стороне бугра, пестро убранной разноцветными чашечками тюльпанов, щурясь, смотрел в степь, а потом вдруг уронил на теплую грудь земли свою голову, откатилась прочь шапка, и долго, до самого заката, степной ветер шевелил остатки его белых сухих волос.

1956

По ягоды

На просеках поспела земляника. Утром, еще в окна горницы сочился сквозь герани бледный свет месяца, Нюшка выскользнула из-под лоскутного одеяла и побежала в сени будить Илью.

— Эй, ты, трутень, — зашептала она, вздрагивая от утреннего холода. — Вставай, по ягоды пойдем. Слышь, что ли? Сейчас мать проснется, она нам задаст.

Илья, спавший на деревянной кровати, закрытой от комаров марлевым пологом, заворочался и сонным голосом сказал:

— Щас...

Нюшка вернулась в горницу, оделась и, взяв припасенную с вечера корзинку, опять вышла в сени. Илья, сидя на полу возле кровати, дремал.

— У, горе ты мое, — проворчала Нюшка. — Шевелись! Артемовские бабы всю ягоду оберут... Они ведь хитрущие.

Она потянула из рук Ильи его штаны, но тот сердито дернул их к себе.

— Отстань, сам не маленький.

Сопя, он оделся, повесил через плечо берестяной бурачок и вслед за сестрой прошел через крытый двор в огород.

Рассвет только начинался. На левом склоне неба затухали синие звезды, висел подтаявший серпик луны, а правый от зенита до горизонта был раскрашен в зеленый, желтый и розовый цвета.

Задевая босыми ногами за капустные листья, облитые жгуче-холодной росой, дети прошли между грядками к переезду. Отсюда начиналась утоптанная до каменной твердости тропинка. Прямая, словно проложенная [illegible] кнута, она рубила надвое заполненный зеленым молодняком луг и бежала дальше, петляя между редкими деревьями сосняка, которые, словно [illegible] вход в лес.

— Я сбегаю [illegible] по ту сторону плетня.

— Вот мы уже [illegible] — [illegible] ка. — Ты помочи слюнями, и все пройдет.

Илья поплевал на палец и потер им белые волдыри на ногах.

— Зудит, — пожаловался он через несколько шагов.

— Горе ты мое, — вздохнула Нюшка. — Смотри, как ничуга порхает.

Впереди со стебля на стебель перелетала рыжевато-серая с кривым клювом птичка. Смелая и любопытная, она, усевшись на детей выпуклым, как бусинка, глазом и головой, попискивала: «Чуть свет, чуть свет, чуть свет...»

— Щас я ее словлю, — сказал Илья.

Он побежал, растопыривая ложки, как пушистые сверкающие крылья. Нюшка бросилась за ним и, хлопая в ладоши, закричала:

— А я тебя словлю! А я тебя словлю!

С визгом, хохотом, криком ворвались они в лес и разом приумерили. Есть величавая торжественность в спокойном пробуждении леса. Между медно-розовыми стволами сосен, покачиваясь, лежат толстые пласты тумана, прошитые косыми лучами солнца. Еще непроницаемо-густа тень еловых лап, которая, кажется, хранит от человеческого глаза какую-то тайну; к лицу и рукам липнет гнилой холодок нехоженых лесных недр; и трепет осин заставляет испуганно вздрогнуть, как внезапное хлопанье крыльев большой птицы, вылетевшей из-под ноги...

Дети быстро шли, стараясь ничего не видеть и не слышать вокруг. Приземистый, коротконогий и голозадый Илья из последних сил поспевал за легонькой Нюшкой, но не решался ни отстать, ни попросить передышки.

— Уф, — сказала Нюшка, когда они выбежали на светлую просеку. — Ни за что бы не пошла этим лесом одна. Беда, какой страшенный...

— А я бы за настоящий моторет пошел, — сказал Илья.

— Какой моторет?

— Ну, какой у нашего бригадира.

— Мотоцикл! — догадалась Нюшка. — До тебя с ним и не сладить.

— Уж и не сладить! — обиделся Илья. — Я без рук. Хочешь, на березу залезу?

— Ауууу!.. ууу! — послышалось вдруг за кустами орешника, и его зелени замелькали разноцветные платки.

Это перекликались бабы из соседнего колхоза имени Ленина. Нюшка тотчас присела у пня и быстро-быстро стала собирать землянику, еще чуть-чуть и глиняный горшочек был бы полон. Но едва горшочек прикрыли первой горстью ягод,

что сестра обгонит его, Илья подбежал к другому пню и тоже стал собирать землянику, кидая ее в свой бурачок вместе с листьями, хвоинками, сучками и всяким мусором.

Увлеченные этим соревнованием, они трудились долго, молча, сосредоточенно. Лишь иногда Илья, стараясь заглянуть в корзинку сестры, спрашивал:

— У тебя много?

На что Нюшка, отводя корзинку, неизменно отвечала:

— Все мое, все мое.

Солнце уже поднялось над просекой, и по лесу покатились волны горячего хвойного воздуха, когда они сели отдохнуть в тени орехового молодняка. Нюшка осторожно достала из корзинки присыпанный ягодами сверток. Газету она бережно свернула и убрала, а мокрый от растаявшего сахара хлеб поделила поровну.

Было жарко. Илья, наевшись, посоловел. Глаза у него стали мутные, нижняя губа отвисла; он повалился в прохладную траву, поджал ноги и пробормотал:

— Давай, Нюшенька, уснем...

— Нельзя, нельзя! Как раз к поезду опоздаем, — встрепенулась Нюшка, которую тоже морил сон.

Чтобы уйти от соблазна, она быстро встала, сломила ореховую ветку и, прикрыв ею ягоды, затормошила Илью:

— Вставай, трутень, вставай! Все бы он спал да дремал. Скоро в школу пойдет — со стыда за малого изведешься, какой, право, сонной!

Неподалеку от того места, где они собирали ягоды, через просеку проходила изрезанная рубчатыми шинами дорога, ведущая к перевозу и дальше — к станции. Не защищенная от прямого солнца, дорожная пыль была горяча и суха. Она фонтанчиками пыхала между пальцами, и это развлекало детей до самого перевоза.

Река встретила их игривым полуденным блеском. С крутояра она казалась густо-синей, с зеркальными блестками по гребешкам мелких волн.

Перевозчик Зосима Павлович сидел у самой земляной и конопатил берестяную посудину, зажав ее между колен. Тут же, на столе, лежал [illegible] кусок, старый Зосима Павлович, сколько помнили его [illegible] и летом ходил в валенках, потому что у него болели ноги.

— [illegible] пришли, — сказал он, увидев их, — [illegible] есть ли за перевоз?

— Нету, Зосима Палыч, — бойко ответила Нюшка. —

...же на обратном пути заплатим, не сомневайся.

— То-то, что нету! Ждите оказии. Не стану я попусту паром гонять.

Он опять принялся мусолить куском вара свою вере-вочку, а дети сели чуть поодаль на траву и следили за его занятием.

— А ежели я сам речку переплыву, с меня тоже рубль?— поинтересовался Илья.

— Сам сколько хошь плавай — не заказано, — отозвался перевозчик.

— А ежели охотник с собакой поедет, за собаку тоже рубль? — не унимался Илья.

— Экой ты, малый, репей! Отцепись! И посылают же таких сморчков торговать!

— Нас не посылают, мы сами, — сказала Нюшка.

— Сами? — недоверчиво усмехнулся перевозчик. — Стал быть, для интересу?

Нюшка, по-своему истолковав его слова, вдруг обиделась и насмешливо фыркнула:

— Для интересу! Это артемовские для интересу ягодой торгуют, они слабосильные. А мы крепачки, нам в колхозе хватает.

— Зосима Палыч! — позвал вдруг Илья. — Смотри-ка, чевой-то плывет? Вон, вон плывет!

— Чего там еще? — добродушно заворчал перевозчик, пристально вглядываясь из-под ладони в рябившую поверхность реки.

Из-за поворота вышел на перекат белый с черной трубой пароход.

— «Ро-бес-пьер», — прочитала зоркая Нюшка.

— Что такое Робеспьер? — спросил Илья.

— Пароход так называется.

— А почему он так называется?

— Не знаю...

— Зосима Палыч, — позвал перевозчика Илья. — Почему пароход так называется?

Зосима Павлович рассеянно взглянул в сторону реки и вздохнул.

— Генерал такой был... Французский. Наполеону служил, — неохотно сказал он.

Робеспьер подходил все ближе; от него бежали к берегам широкие волны.

— Скупнемся в волнах, — предложила Нюшка.

— Скупнемся! — обрадовался Илья.

Они стремглав бросились под кручояр, и вскоре красная Нюшкина кофта и синяя рубашонка Ильи замелькали внизу, на песчаной косе. Нюшка первая добежала до кромки воды, резко очерченной на желтом песке: кофта затрепетала у нее в руках, зацепившись за гребенку, она с силой дернула ее, потом сбросила с себя юбку, рубашку и — гибкая, тоненькая, как змейка, — скользнула под набежавшую волну. Вслед за сестрой, растеряв на бегу свою нехитрую одежку, увесистым пудовичком бултыхнулся Илья.

Потом они лежали на горячем песке, подгребая его себе под грудь, пока не увидели, что к паромо с кручояра спускается грузовик, в кузове которого полощутся на ветру разноцветные платки. Хитрущие артемовские бабы и тут сработали, перехватив попутную машину.

— Бежим! — заторопилась Нюшка.

Стерев с себя присохший песок, они оделись и побежали к перевозу.

Шофер попался знакомый, колхозный. Нюшка внимательно приглядевшись к нему и вдруг запрыгала, хлопая в ладоши.

— Митечка! Митечка! Тебе в чуб девки смели запустили!

Митечка — нескладный подросток лет семнадцати, недавний обладатель роскошного пшеничного чуба, — презрительно глянул на нее сверху и процедил:

— Дура! Я на прописке был, сеянью в армию лошу.

— Хорошее дело, — отозвался Зосима Павлович, тянувший канат. — Может, армия из тебя человека сделает. Отучит мои переметы проверять.

— Один раз попользовался по мальчишеству, а уж вы, Зосима Павлович, помните его жизнь,— укоризненно сказал Митечка и, чтобы прекратить неприятный разговор, закричал на детей: — А ну, пшено, полезай в кабину!

На станции по платформе мимо деревянного вокзальчика ходил милиционер в белой гимнастерке, перекрещенной пропотевшими ремнями. Это нисколько не обеспокоило Нюшку. Она встала как раз под табличкой, запрещавшей [illegible] торговлю на платформе, и стала [illegible]. Милиционер скользнул по ней взглядом, [illegible] и по-прежнему лениво и отвернулся. Он [illegible] летний опыт убедил его в тщетности [illegible] нителями порядка.

К приходу поезда возле Нюшки и Ильи собрались жен-

с первыми огурцами, редисом, земляникой, пирож... творогом и даже с дымящейся отварной картошкой.

В те три минуты, пока стоял поезд, тихая, окруженная старыми березами станция с лихвой награждала себя за долгие часы тишины и покоя. Вокзалы больших городов с их вечной, но равномерной оживленностью не знают такой стремительной, как ураган, суеты.

Поезд еще не остановился, а пассажиры, как известно, съедающие в пути неизмеримо больше, чем они едят обычно, уже высматривали с площадки через головы проводников свою добычу.

— А вот свежие ягоды! Свежие ягоды! — пронзительно закричала Нюшка.

Хитрущие артемовские бабы на этот раз промахнулись. Они ринулись к мягкому вагону, а Нюшка побежала, держась за поручни общего. Здесь, она знала, всегда ездят отпускные моряки, солдаты, какие-то парни в клетчатых ковбойках, девчата в спортивных костюмах — все сплошь люди, отлично знающие цену трем минутам и не знающие цену деньгам.

— А вот ягоды! Свежие ягоды!

Об Илье Нюшка вспомнила, когда поезд ушел и на станции опять водворилась знойная июньская тишина. Расходились торговки, приводя в порядок свое разоренное набегом пассажиров хозяйство. Илья сидел все под той же запретительной табличкой. Он не двинулся с места, но бурачок его был наполовину пуст, а в кулаке он сжимал мокрый комок рублей и трешниц.

— Хорошо покупали! — сказала Нюшка, еще полная пережитого возбуждения. Через три часа опять будет поезд. Останемся?

Илья, хмурясь, подумал, заглянул в Нюшкину корзинку и сказал:

— Хлеб-то весь съели... Купишь мне бутерброд с селедкой?

— Вот горе-то! — тяжело вздохнула Нюшка. — Ладно уж, идем.

В станционном буфете они подошли к застекленной витрине, хранившей следы мокрой тряпки. Илья прежде остановил свой выбор на бутерброде с селедкой, а Нюшка приценилась к сухую, сморщенную сосиску.

С приходом следующего поезда все на маленькой станции повторилось в точности. Бурный прилив оживления сменился мертвой тишиной. По платформе, пол...

рач кроики, разбрелись куры, зашагал сонный милиционер, и стало слышно, как у начальника вокзала нежно журчит телефон.

Нюшка завязала деньги в платок, повесила его под кофтой на шею, и дети, миновав скучные пакгаузы, пошли по дороге к дому.

Речку они переехали уже на закате. Теперь она была спокойна, тускла, словно бутылочное стекло, и пахла тиной. Внизу, у воды, было холодно. Из сырых пойменных логов поднимался туман.

— Пойдем, Нюшенька, большой дорогой. Страшно на тропе-то, — попросил Илья.

Нюшка и сама боялась сумрачной лесной тропы, но, когда они поднялись на крутояр и в лицо им пахнуло теплым воздухом сосновых холмов, страхи исчезли, и она решительно свернула на тропу.

— Нюшенька, я боюсь, — захныкал Илья, как только лес закрыл от них бледное вечернее небо.

Нюшка тоже вздрогнула. Не сговариваясь, они побежали вперед, боясь увидеть или услышать что-нибудь страшное.

— Мамынька! — взревел вдруг Илья, которому показалось, что кто-то вот-вот схватит его сзади.

Нюшка обернулась, поймала его за руку и помчалась еще быстрее, приговаривая:

— Бежи, Илюшка, бежи! Тут близко...

Не остановились они и на лугу, а прямо через огород и двор ворвались в избу, перепугав мать, доившую во дворе корову.

Нюшка, отдышавшись, развязала платок и положила деньги на стол, чтобы мать, как только войдет, увидела их: «Все, глядишь, не так станет браниться...» Потом она взяла ложку и присоединилась к брату, который, стоя [illegible] шестка, хлебал из чугуна холодные щи.

— Завтра пойдем? — спросила она с полным ртом.

— Угу, — ответил Илья.

Облизав в последний раз ложку, он пошел в сени и залез там под свой полог. Перед глазами у него сейчас же задрожали красные ягоды, прикрытые зелеными листочками, по ним поплыл белый пароход с черной трубой, и Илья уже не слышал, как отец, вернувшийся из лугов, говорил ему:

— Ну-ка, парень! Широко больно спишь, всю кровать один занял. Сдвинься чуток...

1956

Костер на ветру

I

Говорят, что теперь этот город на Днепре живет в тени садов, дышит запахом роз и тамариска, слушает шум новозданного моря, но я застал его еще в те времена, когда он только зачинался и представлял собой хаотическое сочетание асфальта и вязкого песка, изящных колоннад и безобразных времянок, первоклассных машин и выгребных уборных, молодых парков и захламленных пустырей.

Удивительная осень стояла тогда. В одну ночь вдруг растаял крупитчатый снег, запахло как от разломленного арбуза, и влажный ветер с юга принес бархатистое осеннее тепло.

В один из таких дней, полных тепла и ветра, я зашел на строительство Дворца культуры. Там, у дощатого сарайчика, куда рабочие складывали инструмент, пылал костер. Ярко-белое бездымное пламя металось из стороны в сторону, припадало к земле и опять взвивалось кверху, хлопнув на ветру, словно длинное полотнище. Эти сходки у костра, сложенного из щепного мусора и смоченный в мазуте пакли, происходили регулярно на стыке двух смен. Многие жили на стройке бессемейно и, приходя на работу раньше времени или не спеша возвращаться на железные койки своих общежитий, травили здесь под разговори махру и табак. Когда я подошел, разговор имел оттенок легкой перебранки.

— Они ребят на всенародной стройке, а шо не таке — не разумеют, — бранил кого-то каменщик Микола Федчук.

— Брось, надоело. Это мы на каждом столбе читаем, — с досадой и пренебрежением в голосе отозвался отставной штукатур Ананий Волков.

И сейчас же штукатур Гриша Астахов гвозданул кулаком воздух:

— Правильно, Микола Василич! А ты, Волков, молчал бы, если за длинным рублем сюда приехал.

— Верно, головастик, — усмехнулся Ананий. — В точку попал. А ты тут зачем?

— Я?

— Ты.

Кто-то предусмотрительно потянул Гришу за стеганку, и он ограничился одним лишь словом: «ш-штык!» — выражавшим, судя по интонации, высшую степень презрения.

— А что? Я правду говорю, как умею, — сказал Федчук. — Я в Канаде из-под палки за шестерых робил, а они на всенародной стройке за себя сробить не могут.

— В Канаде? — удивился я.

Из местной газеты мне было известно, что Федчук работал сначала на гашении извести, потом в свои пятьдесят восемь лет пошел в ученики, стал каменщиком, усовершенствовал шаблоны для кладки кирпича, и «теперь его портрет не сходит с Доски почета». Так писала газета. О Канаде там не говорилось.

— Ты заведи его, заведи! Он такие эллипсы начнет выгибать — только держись, — посоветовал мне Ананий Волков.

— Эге ж! — Улыбнулся Федчук. — Моей судьба забавлялась, как ветер листом. Из края в край кидала, и такое от нее я терпел, что рассказать — не поверите. Пришлось и тяжко, и горько, и солодко. Даже капиталистом был.

— Ты уж лишнего на себя не наговаривай, — с испугом сказал Гриша.

— А ей же богу!

— Вот и загнул бы чего-нибудь, чем зря собачиться, — посоветовал Ананий.

Зачем загибать? Без брехни, — сказал Федчук. — Родом я с Буковины, гукул, а нас в то время богато тикало в Америку.

■

— Вы не подумайте, что во мне бес какой-нибудь зудливый сидел, — нет! Смолоду я хозяйствовать любил, по колена в земле стоял, руки в нее по локоть завязывал, и, если бы не нужда, никогда бы меня оттуда не выколупать.

И разик-раз стронулся я с места в двенадцатом году. Рыскал до ветру ходил — на хату оглядывался, а тут вдруг почал сразу в тридевятое царство. Зверенят у нас было махонький, ртов в семье богато, вот батька и записал

меня у вербовщика в Бразилию. Робил я там два года на маисовых плантациях, скопил кое-как на дорогу и подался до дому. И куда меня только потом не кидало! В австрийской армии был, в русском плену был, в Канаде был, в Соединенных Штатах был...

— Да ты не скачи, как заяц! Валяй от печки,— перебил его Ананий.

— Ну, добре. Вернулся я из плена, женился, народил двух дочек, оглянулся на свое житье и даже зажурился. Хата, гляжу, завалилась, кусать нечего, дочки мои бризы просят, а у меня одни буряки. Тут опять агент навернулся — вербует в Канаду лес валить. Думаю, бес с ним. Спытаю еще раз судьбу. Жинка по слабости пола, конечно, плачет, не пускает... У нее в Канаде батька и два брата сгинули. Но я хозяин: постановил и поехал. Было это в двадцать шестом уже...

— Какая же у вас тогда власть стояла? — полюбопытствовал Ананий.

— Румынская.

— Что же ты у нас-то не остался, когда в плену был? — с изумлением в голосе спросил Гриша.

— А мать? А батька? А хата? — не сразу ответил Федчук.— Во сне Буковину видел...

— Да не сбивай человека! Дай рассказать,— вступился за Федчука Ананий.

— Ну, как из Гавра до Квебека ехали — про это и рассказывать нечего. Всю дорогу в трюме сидели,— продолжал Федчук.— В Квебеке выстроили нас на палубе, врач каждому веки завернул, потом сторожа в цивильном платье загнали всех по вагонам и повезли. Куда — никто не знает. Я уж тертый калач был. Думаю — не-ет, ученые мы по вербовке робить. И решился тикать. Был у меня лист — письмо от соседа Мокавчука до его брата в город Виннипег. Поезд как раз в том Виннипеге остановку сделал, я и тикал через окошко. Вышел на площадь, а т-а-ам! Автомобили гудят, трамы грохочут, люди, как муравьи, палкой помешанные, бегают... Никак не разумею, куда мне идти. Словил какого-то дядю за рукав, сунул ему письмо: укажи, мол, добрый человек, где Маковчук живет. Он и указал — понял. Иду до Маковчука: так, мол, и так — имею от вашего брата лист.

«Какого брата? Нема у меня братов! И листа я не хочу».

«Как,— говорю,— нема братов! По твоей же роже вид-

но, что ты самый что ни на есть Маковчук с-под Ч[illegible] вщи!»

Засмеялся.

«Ладно, говорит, иди до хаты, я шутил».

Переспал я у Маковчука, утром дал он мне пятнадцать центов, научил, как найти в городе офис — контору, как спросить там работу, а напоследок сказал:

«До меня назад не ходи. Нема у меня никакого брата».

— Вот штык! — вставил Гриша.

Федчук раскурил от щепочки мятую папироску, глубоко затянулся и вздохнул.

— И тут я оказался форменно битый... Нашел в городе тот самый офис. Стоит дом с колоннами вроде театра, перед ним площадка, а на площадке наро-о-ду — как лесу. Вижу, какой-то человек на деревяшке манит меня пальтюком. Эге ж, думаю, работу дать хочет. Отошли мы с ним в закоулочек, вдруг он как секанет меня палкой по башке, да еще раз, да еще... Я и упал. Жинка моя! Дочки мои родные!.. Блукаю по городу, плачу, а назад в офис боюсь идти. Под вечер зашел в кафе покушать на свои пятнадцать центов. Гляжу, двое дядей по зеленому столу шары палками гоняют. Один посмотрел на меня и говорит:

«Бить будут».

Обрадовался я русской мове.

«Так я,— говорю,— уже битый!»

«Еще будут».

«Да за что, добрый человек? Скажи!»

«Дура! — говорит.— Ремень у тебя на штанах с австрийской бляхой, а тут этого духа после войны дюже не любят. Брось».

Ремень я, конечно, пожалел, повернул его бляхой внутрь, а человеку спасибо сказал. Стал он меня пытать, кто я, откуда, зачем приехал. Я ему все, как попу, рассказал.

«Дурень ты,— говорит.— Маковчук! Не знаю, что с тобой и делать. Ладно, идем со мной».

Привел он меня в какой-то дом. Сидят там кругом люди, пьют горилку, едят руками бибу[1]. У меня даже трясца в коленях сделалась от работы. Подошел к нам хозяин — сивый старичина, как голубь.

«Кто такой при тебе?»

---

[1] Бибу — гуцульское кушанье.

«Возьми к себе краяница!» — говорит Голова[1] (
...а Головатым звали).

Хозяин только рукой махнул.

«Не надо! Их тут до черта шляется...»

«Все же...» — просит Головатый. — Хоть на ночь».

«Ты кто?» — пытает у меня хозяин.

«Федчук».

«Федчуков много. По прозвищу как?»

«Криводышлый».

Как сказал я это, хозяин даже подскакнул.

«Да я ж,— говорит,— из-за твоего батьки в Карпатах чикал, язви его в душу! Помнишь, побил я твоего батьку, а меня за это судить хотели?»

«Никак,— говорю,— не помню».

«Ну добре! Садись кушать биб. Он у меня дармовой. Горилка за гроши, а биб дармовой. Но сегодня для тебя и горилка дармовая. Пей!»

Посадил он меня за стол, поит, кормит, а сам все про ридно село пытает. Даже заплакал, как сказал я, что вербу и криницы грозой побило... Потом повел меня спать. Наверху у него вроде нашего общежития было, только спали по двое в одной койке. Лег и я с кем-то, утром вскинулся — тьфу! Лежит со мной кто-то серый, ледащий, изо рта дух нехороший прет. Хотел я потихоньку встать, а он тоже проснулся, взял с тумбочки пачку газеток, сует мне:

«Купи».

«Эх, — говорю,— добрый человек! Откуда ж у меня гроши на твою газету?»

«А ты кто,— пытает,— такой, что у тебя грошей нема?»

«За нами,— говорю,— и приехал с Буковины».

Сосед мой только посмеялся.

«Я,— говорит,— здесь уж двадцать лет пропадаю, ничего доброго не бачил. Вот сейчас газетами кое-как перебиваюсь. А сам я, между прочим, тоже с Буковины, с села Лашкивки».

«Да ты,— говорю,— мой краянец. У меня жинка с Лашкивки».

«А как ее звать?»

«Санда Тодоровна».

«Сорохан?»

«Она».

[illegible] на меня тот человек и ну целовать и ну плакать... Я думал, порченый какой, толкнул его, а он и говорит:

[1] Краянец — земляк (*укр.*).

«Неужели, сынку, твое сердце не чует? Ведь я Тодор Сорокан, твоей жинки батька».

Тут и я заплакал.

«Что же мы, батька, будем делать?»

«А что,— говорит.— Утро, пора и свидать».

Шесть недель кормил он меня на свои гроши, а потом нанялся я за сходную цену к фермарю Мандрику на два года. Просил у него грошей вперед.

«У меня,— говорю,— батька грыжей мается, надо доктору платить».

Башкой только покрутил.

«Подождет батькина грыжа. Другие с ней до ста лет живут».

Так и не пришлось поправить батьку. Сожгли его и даже праху не дали. Дюже плакал я, что не осталось батькиной могилы. Страшно это. Был человек и вдруг — фук! — нет ничегошеньки...

Федчук умолк.

Было слышно, как бьются мелкие торопливые волны, стучат голые ветви платанов, и эти звуки ясно давали почувствовать, какая глубокая тишина стояла несколько секунд у костра.

— Когда же ты капиталистом-то был? — подозрительно спросил Гриша.

3

— Это особая история,— вяло откликнулся Федчук.

— Насмотрелся я там на их вольготную жизнь,— продолжал он, постепенно воодушевляясь,— и захотелось мне самому стать капиталистом.

— А, б-бодай тебя! — выругался Ананий.

— От Мандрика ушел я с грошами. Невеликие, конечно, гроши, но все же капитал! Задумал скупать на озерах у рыбаков рыбу, возить ее в городе по домам, и иметь от этого барыш. Знакомый украинец Гнатюк предложил мне компанию сделать. И такой он широкий хлопец был — не захотел скупать рыбу, а будем, говорит, ее сами ловить. Заверили мы у нотаря договор, купили сеть, лодку, провиант, а когда гроши уже подошли, вспомнили, что рыбу-то везти нам в город не на чем. Стали шукать третьего компаньона с лошадью и повозкой. Нашли одного фермера Дюже бедный в землянке живет. Повели опять к нотарю, перевели договор на троих и подались на озеро

[illegible] Гнатюком — а оно уже льдом ветало. Ну, делать [illegible]. Срубили мы кеми[1], потом начали лед долбить и [illegible] его сети. Ох, и тяжка ж эта работа! Сеть [illegible], руки на ветру пухнут, со спины иней иголками сыплется. Но рыба идет! За неделю нашвыряли мы больше тонны белой рыбы, щуки, фермарь свез ее в город и продал не по три цента за фунт, как мы гадали, а по пяти. Капитал растет — и настроение у нас растет. Вот, думаю, какой я умный!

Послал фермарь опять в город. Ждем его неделю, ждем другую. Рыба идет, а фермаря нема! Кончился у нас провиант, потом керосин. Гнатюк бранится.

«Сукин,— говорит,— Микола. Ну его к бису, вшивого фермаря. Ты стереги сеть, а я пойду до городу, куплю консервов и зараз назад буду».

Ушел. Я один на озере остался. А зима лютует, ветер дует, вьюга одолевает! Кушаю одну рыбу без соли. Огонь круглый день держу, а Гнатюка будто черти поховали. Эх, думаю, не пропадать же мне тут! Испек на углях три рыбы, съел теперь и пошел на солнце... В лесу мороз гуляет, на деревьях каждая веточка инеем опушилась, по-полудни — птахи малые — по сосновой коре шур-шур, шур-шур. Тихо, хорошо. Только ведь зимний день какой? Свернулся — и нет его. Зашло солнце — кругом снег, лес, тьма... Зашел я дерево — опять к нему точнехонько вышел: кружил, значит, на одном месте, как привязанный. Достал из торбы мерзлую рыбку, а она будто кость. Отогрел за пазухой, пожевал и стал топором яму копать, чтоб согреться. Выкопал по пояс, залез в нее, кричу, плачу, пою, молюсь, жинку зову... Чую — кончаюсь...

Федюк запрокинул голову и некоторое время смотрел в небо, где, быстро меняя свои очертания, бежали облака, то тут, то там открывая широкие голубые проплешины.

— Эх, нема таких ночей в Радянском Союзе. Как дожил я солнца — не помню. Пошел опять на него. Вдруг — следы! Одни — огромные, с мегр, другие — маленькие, звериные. Они, может быть, и от лихого зверя, но я уже совсем ошалел: пру прямо по ним, из последних сил выбиваюсь. Слышу — впереди собаки загавкали. Посвистел — выскочила из леса стая собачищ, а за ними — человек с винтовкой, на снегоходах. Бросился я к нему и не помню, в снег башкой зарылся.

[illegible] человек, индеец. Привел меня до своей [illegible] (стойбища).

земляники, зайца облупил, зажарил, дал мне заднюю ногу, а я и укусить ее не могу. Тогда он лепешку испек. Потом накрыл меня кровавыми шкурами, обнял и грел до самого утра... Добрый был человек, ох, добрый! Утром никак одного не пустил — до другого охотника, а тот — до третьего, а уж этот — прямехонько до города.

Ну, в городе я, конечно, стал своих компаньонов шукать. Дознал, что фермаря в тюрьму упекли за то, что индейцам водку продавал, а Гнатюка со всеми грошами и след простыл... И стал я опять пролетарием.

Гриша вдруг засмеялся. Он был явно рад, что репутация Федчука осталась незапятнанной принадлежностью к эксплуататорскому классу.

— Ну, а после этого домой подался? — спросил один из рабочих.

— Не-е-е! После я еще пять лет блукал по свету,— отозвался Федчук.— На товарняке под вагоном в Штаты махнул, потом опять в Канаду вернулся — лес рубил, дорогу строил, могилы копал, коров доил... К этому делу я, между прочим, через тюрьму прислонился. Остался зимой без работы, а зима, ох, тяжка в Канаде. Ребята и надоумили в тюрьме зимовать. Хотел я полисмену в лицо плюнуть — раздумал. Обязательно бить будет, а там в полисмены не берут человека меньше ста пяти кило весом. Взял тогда кусок льда и вдарил по витрине. Осудили меня на шесть месяцев, держали в тюрьме недолго, а потом послали на ферму коров доить. Там хорошо было. Хлеба давали килограмм, кормили три раза в день, молоко я крал — и вышел к весне с толстой рожей. Потом по объявлению нанялся в город Ванкувер на строительство гидростанции...

— Ну, как там? — заинтересовались все сразу.

— Противу нашего? — Федчук помолчал.— Я тут такой счастливый.

Он оглянулся и, выбрав изо всех меня, одетого не по-рабочему, сказал:

— Я имею такой же костюм, как у вас, и мы можем ходить рядом.

— Костюм... Это совершенно неважно... — смущенно пробормотал я.

— О, вы не разумеете! Там у меня не было костюма. А здесь, когда я поехал в отпуск до дому, я всем купил обновки. Матери — хустку[1], жинке — чеботы, дочерям — велосипеды, а батьке — горилки. Себе я купил костюм за

[1] Хустка — платок *(укр.)*.

...рабочих и думал, что буду первый на селе. И... Думаете, был я первый? Нет! Я был последний. Теперь ношу костюм за две тысячи. А Ванкувер? Что Ванкувер! Я там жил в яме, робил заступом и был бедный. Мои рабочие руки тянутся к Радянскому Союзу. Недавно корреспондент привел под микрофон, и я стал говорить: «Слышишь, Мандрик! — говорил я.— Это я, Федчук, который робил у тебя на ферме. Теперь я в Радянском Союзе, на всенародной стройке и уже получил премию, потому что стал изобретателем...»

Я и там был изобретателем. Робил на бумажной фабрике в Эмпе-Каминке, стоял во дворе у транспортера, подавал к нему деревянные кубари. Как-то лопнула водяная труба — кубари сами и поплыли в дверь на фабрику. Я тогда пошутил инженеру: вот, мол, как вода за нас робит. А утром глядь — канал роют. Транспортер сломали, стали пенькой кубари по каналу гнать. Восемнадцать рабочих — долой, только трех оставили. Пошли мы в управу — союз — жаловаться. Фабрикант и указал на меня: вот, мол, кто во всем виноват. Хотели меня ребята бить, но я в ту же ночь тикал из Эмпе-Каминки — небитый... После этого и до дому подался... В тридцать пятом. Без грошей...

— В тридцать пятом я родился,— задумчиво сказал Гриша.

— Вот я и говорю, что ты головастик, а тужишься казаковать,— вскипел вдруг Ананий Волков.— «За длинным рублем»! Мне, может, этот рубль во как нужен!.. Скажи, плохой я штукатур?

— Штукатур ты хороший,— признался Гриша.

— Ага! А как я этого достиг, знаешь? Я могу рассказать. Тоже с рыбой было дело, как у Федчука, хотя в ... питалисты я не лез.

— Расскажи, Ананий,— попросил один рабочий.

— Не буду.

— Ну вот! Растравил, а сам в кусты. Почему не будешь?

— Не буду — и точка. Все одно Гришка меня сопливыми подпачками собьет.

— Не дадим! Молчи, Гришук.

— Я молчу...

— Ну то-то! Смотри, ни гугу,— предупредил Ананий. Морщинистое его лицо собралось мелкими морщинками, и глаза остались только узкие, с поблескивающими в свете костра щелочками, и он рас-

Я почему смеюсь, что очень забавный случай вспере... будет, — пояснил Ананий. — С чего ухи и начать, не знаю... Короче, пришел я с фронту без левой клешни и сра... ну упал духом. Детишков у меня теперь счетом восемь, а тогда шесть было. Но это, я скажу, все одно много. Что... бы прокормить такую саранчу, особо при моей штукатурной профессии, поразрез две руки нужны. Вот и задумался. А от задумчивости — что? Пьянство. Не знаю, как там в Канаде, а у русского человека это так... Стал я, значит, пенсию свою догла пропивать, а потом и барахлишко из дому потаскивать. Дотаскался — смотрю, ничего уже не осталось, и надо дальше чем-то промышлять.

До войны любил я рыбачить. Наш край Владимирский — озерный, весь речками, как жилами, перетянут, где рыбу взять, коль рыбак с головой. А у меня ума-разуму сызмала талант был. Ну, и начал я тут рыбой промышлять. Летом на червя ловлю, на букару, на руженину; по перволедью — на блесну; зимой — на мормышку с мотылем. И так ловко насобачился одной рукой наживку делать, что ружатый за мной не угонится. К штанине на колене у меня клеенчатка была пришита. Сейчас я ей червя или мотыля вытряхну — поп его крючком, и — готово. Одно неспособие было: со льда на глубоких местах ловить. Никак одноручь леску не выберешь. Пихаешь ее в рот и... гм... И вокруг шеи до пяти раз обвернешь, а конец все в лунке. Одно слово — неспособно.

Ловил я, однако, во всякое время достаточно. Поймаю рыбу на базар, разложу рыбу на кучки — эта десять целковых, эта — пятнадцать, эта — два червонца, а эта для кошки — и за рубль... Поначалу стыдился, глаза прятал, а потом покрикивать стал: «А вот, гражданки, свежепойманная! Подходи, налетай, не зевай!..»

Блеснил я как-то по перволедью на озере Мыверь. Озеро это приличное, глубиной неизмеримой, шутка ли, всех соседних сорок обрезало. Напал я на приличное место — окунь берет редко, но такой черт: его зря не обманешь. Но как я с ним одной рукой не совладаю. Ногами — на лед еще рыбак появился. Хочет с подледка ближе да ближе ко мне подрыбачить. Ногастый, а я без руки. Здорово, мол, сосед! Слово — разговорились. Того Андрюхой зовут. Я говорю:

«Давай, Андрюха, сообща ловить. Как у меня окунь клюнет, я с леской отбегу, а ты ее у самой лунки поддержи, чтобы за край не задела».

Так и приноровились. Если бы кто со стороны видел, живот надорвал. То я, то Андрюха сорвемся вдруг с места и бежим сломя голову от проруби — умора!

Спаялись мы с дружком — водой не разольешь. На всех озерах и реках вместе. А после рыбалки — в чайной. Еще пуще стал я запивать. Раньше хоть часть улова домой приносил, а теперь перестал — все начисто пропиваем.

Сидим как-то в буфете на станции, ждем поезда в город, пьем. Все спустили, только я одну щучонку фунта на полтора ребятишкам оставил. Андрюха совсем уже на сносях, да и я порядком окосел. Вот в таком кураже сели мы в вагон, дружок и говорит мне:

«Дураки мы с тобой, Нанька (он меня Нанькой звал). Корежимся всю зиму на морозе, а можем жить как у Христа за пазухой. Только нахальства набраться».

«Как это?» — спрашиваю.

«Проще репы. Вот сейчас увидишь».

Выпростал он свою культю, шапку долой и — бойким голосом:

«Добрые, сознательные граждане! Братья, сестры, папаши и мамаши! Подайте калекам на пропитание... Пой!» — шепчет мне.

Спьяну это смешно вроде казалось, я и гаркнул:

«Раскинулось море широко-о-о...»

Одежонка у нас была самая для случая подходящая: рвань рыбацкая. Стали граждане Андрюхе в шапку деньги сыпать. Прошли мы весь вагон. В тамбуре Андрюха деньги в карман начал пихать. А меня, не совру, вдруг затошнило даже:

«Андрюха, — говорю, — брось эти деньги сейчас же, а не то я в морду тебе дам».

«Дурак ты, — говорит. — Мы на них в городе сейчас выпьем. Пошли дальше, привыкнешь».

Чувствую — и сам я виноват, что поддался, и оттого еще пуще осерчал. На боку у меня в противогазной сумке щука болталась. Схватил я ее за голову да хрясь дружка

Конечно, будь у меня две руки, я бы его не тронул. Ну, а так мы с ним равны с сегодняшнего, то не зазорно было и по рылу [illegible] не вправе! У меня все-таки два [illegible] и четыре медали...

Домой я приехал сам не свой, аж дрожу весь. Две недели на озеро не ходил. Вот тут-то и встретился я со своей совестью. Глажу мальчонку по голове, а сам голову-то ему вниз давлю, чтобы, значит, в глаза не смотрел.

Помаялся так, потерзался и поехал в Москву. Пришел там на протезную фабрику, показал мастеру кельму, сокол, терку — штукатурный свой инструмент — и говорю: «Должен ты, трудовой человек, меня понимать. Погибаю через свою нетрудоспособность. Можешь сделать такой протез, чтобы я эти штуки держал?

«А какую из них, — спрашивает, — тебе в левой руке нужно держать?»

«Вот эту», — показываю на сокол.

«Обожди, — говорит, — померяю».

Мерял он меня всячески, как портной, а напоследок обнадежил:

«Сделаем», — говорит.

Ну, сделали. Вернулся я домой, стал опять на озерах рыбачить, а по вечерам учился сокол держать. Наконец решил испытать себя.

«Давай, — говорю жене, — халупу свою штукатурить».

«Да что ты! — кричит. — Зачем ее штукатурить?»

«Молчи, дура! От клопов».

Набросал я на стену штукатурку, стал соколом подбирать и уронил, конечно. Если б бабы рядом не было, заплакал бы, как дите. Однако сдержался и снова. Месяца полтора, наверно, с одной стенкой бился. А не прошло и году — весь дом снутри и снаружи в лучший вид произвел... Потом в стройконтору поступил. Так-то вот...

А сюда я — точно, за длинным рублем приехал, потому что он моей сараюе нужен. И дело, головастик, не в том, длинный он или куцый, а в том, что я при своей инвалидности могу его честно заработать.

Ананий повернулся к Грише и с грозной ноткой в голосе спросил.

— Понял?

Гриша сконфуженно потупился.

— А как я его щукой по морде — разве не смешно? — удивился Ананий.

— Н-не очень...

— Случай-то забавный обещал, — напомнил ему.

— Ну и ладно. Вон смена кончилась. Пошли, ребята!

Вместе с ними я поднялся на строительные леса. Приб... вечер. Меловые обрывы за Днепром долго храни... фиолетовый отблеск заката, потом мертвенно позеленели в свете сеющих сумерек и, наконец, как будто впитали в себя густую синь ночи. На берегу и на темной воде Днепр заблестели огни. Прямыми линиями они тянулись вдоль городских улиц, кольцами опоясывали котлованы, змеевидной гирляндой висели над эстакадой пульпопровода, кучей грудились на земснаряде — все сообща кидали на бегущие облака мутно-оранжевое зарево. Ветер словно мягкой лапой гладил по лицу.

Костер внизу все еще горел, и вокруг него сидели смен... нившиеся рабочие. Их фигуры — темные с одной стороны и красноватые с другой — напоминали плакат давних революционных дней, который я видел в какой-то книге по полиграфии.

— Огнями любуетесь? — раздался сзади меня голос.

Я оглянулся. Кто-то стоял в ярко освещенном проеме окна, и мне с наружных лесов не было видно его лица.

— Кто это? — спросил я.

Он шагнул словно из рамы портрета и остановился рядом со мной. Это был Гриша Астахов.

Несколько минут мы продолжали молча смотреть на огни. Их было великое множество. И все — яркие и тусклые, розные и беспокойно бьющиеся под рукой электросварщика, далекие и близкие, желтые и голубоватые, — дробясь и переливаясь, повторялись в мелких волнах Днепра.

— Когда-нибудь, — тихо сказал Гриша, — мы будем рассказывать нашим детям, как работали здесь их отцы.

Я улыбнулся. Было забавно услышать такие слова от семнадцатилетнего паренька, занимавшего в общежитии узкую железную койку, не имевшего ни дома, ни жены, ни детей, но так уж он, недавний выпускник ремесленного училища, штукатур, понимал значение и смысл своего труда и тем гордился и перед потомством.

1939

Запах сена

Каждая пора отмечена своим запахом. Душно пахнет амбарной пылью во время жатвы; пряным духом смородинного листа и укропа тянет по селу, когда хозяйки солят огурцы; тонкий аромат осенин — аромат антоновки — стоит в садах в пору их спелости; и точно так же свой неповторимый запах имеет сенокос. Сухой ромашкой, поповником, мятой, мышиным горошком, клевером — всем букетом разнотравья пахнут тогда волосы и кофточки девушек, ладони косцов, телеги, вилы, грабли, и кажется, что сам воздух от земли до облаков полон лекарственно-дурманящими испарениями скошенных трав.

Бедовые мысли рождает в голове этот запах...

1

Под утро черный козел лег рядом с Андреем Фомичом. Андрей Фомич испугался. Отпихнув вонючую скотину, выскочил на четвереньках из шалаша, ткнулся в траву и долго лежал, оттягивая на груди против сердца влажную потом рубаху.

Отдышавшись, сел.

Утро занималось тяжелое, пеклое. На востоке клубились, сбитые по рваному гребню оранжево-дымным светом, громоздились тучи; из кустов душно тянуло иловым сухостоем. Старая стреноженная кобыла, опустив голову, стояла над Андреем Фомичом и странно косилась на него лиловым глазом, полным какой-то тревожной печали.

«Приснится же такая погань тревожному человеку! — подумал Андрей Фомич. — Просто — тьфу!»

В стороне, у костра, уже хлопотала стряпуха. Андрей Фомич подошел к ней и рассказал про сон.

— Батюшка ты мой! Не иначе как домашние у тебя по-мерли, — сказала стряпуха.

Брось! — нахмурился Андрей Фомич. — На всё у вас приметы да поверья, б-бабы...

Он посидел у костра, повздыхал, а когда стряпуха обмолвилась о том, что на стане подходят харчи, обрадовался случаю, распутал кобылу и поехал в село.

Конец был не близкий. Погонять Андрей Фомич боялся — ехал без седла, подложив драный ватник, — и пузатая, с провалившейся спиной кобылка едва переставляла мосластые ноги, озабоченная тягучей лошадиной думой о жаре, слепнях, об усталости и корме.

Наконец впереди приметными издали вехами — колокольней без креста, силосной башней и кривой скворечней над избой придурковатого пастуха Феди-черта — обозначилось село. По обе стороны дороги распахнулось широкое ржаное поле. Ветер слегка волнил рожь, взвивал над полем солнечную пыль, и в ней, трепеща сетчатыми крылышками, упоенно купались головастые стрекозы, покамест беззаботный жизненный путь их не пересекался со стремительным ломаным полетом стрижа.

Выпрямившись, Андрей Фомич с удовольствием подставил ветру потное лицо и вдруг, усмехнувшись, придержал лошадь. Сверху ему хорошо было видно, как, сидя на закрайке поля, под березовым пряслом, целовались парень и девка.

«Совсем заломал сердешную, — любуясь, подумал Андрей Фомич. — Интересно знать, кто такие?»

Побагровев до самых плеч, он вытянул шею и вдруг изо всей силы дернул уздечку. От неожиданности кобыла нашла в себе достаточно прыти, чтобы пуститься вдоль прясла рысью, но когда донесла Андрея Фомича до места, где только что целовалась дочь его Верка, там никого не было.

— Др-р-рянь! — заревел Андрей Фомич.

Не помня себя, он сунулся с лошадью прямо на прясло и замахал сложенным вдвое куском веревки.

— Вылазь сей минут! Все равно вижу, где ты есть, окаянная!

Но ветер уже заровнял след, и только далеко-далеко во ржи мелькнул белый платок.

— Ужо ж тебе! — погрозил Андрей Фомич в сторону поля.

Он стал выворачивать на дорогу, но в это время из ко[ржи] выделился парень в круглой блинообразной кепочке [и] вышел во ржи, насмешливо сказал:

— Здорово живешь, Андрей Фомич!

— Здравствуй, светел месяц.

Андрей Фомич прищурился, вглядываясь в цыганисто-темное лицо парня, и на всякий случай крутанул через кулак конец веревки.

— Ты чей же будешь?

— Здешний. — Резко разбрасывая перед собой колосья, парень подошел к прясту, легко перемахнул через него и глянул на Андрея Фомича снизу желтыми ястребиными глазами. — Не признаешь?

«Вот он, черный козлище-то...» — мелькнуло у Андрея Фомича. Он растерялся и совсем неподходящим тоном ухмылки сказал:

— Ну, а где ж твоя краля бубновая?

Парень неопределенно махнул рукой.

— В рожь брызнула. Сам теперь не найду, как ты пуганул ее.

— А ты, значит, вернулся... — Андрей Фомич каштянул. — Вот что, — овладев, наконец, собой, твердо сказал он, — девку мою больше не касайся. Понял?

— Как не понять!

— Ну то-то.

— Только, знаешь, Андрей Фомич, пошел ты... У нее своя голова.

— Своя, да зелена еще! Тебе на этом играть не след.

— Об этом ты за меня, Андрей Фомич, не старайся, — усмехнулся парень.

— Нужен ты мне! — Андрей Фомич даже плюнул — Только насчет дочери наперед упреждаю — не касайся. Не нашего ты поля ягода.

Разговаривая так, они двигались по дороге. Парень — впереди, помахивая сорванным колоском и с усмешкой кидая слова через плечо; Андрей Фомич — сзади, тиская в потной руке веревку и с вожделением глядя на его смуглую шею с черной косичкой отрастающих волос. Он было попробовал обогнать парня, но кобыла, израсходовав весь запас сил, уже не слушалась ни узды, ни веревки. И тогда Андрей Фомич пошел на унижение.

— Послушай! Ты! — крикнул он, страдальчески морщась. — Сделай милость, ступай сзади, а то не ровен час, ожгу я тебя по шее.

— Охота мне твоей кобыле под хвост глядеть! — небрежно отозвался парень.

И Андрею Фомичу до конца пришлось вытерпеть муку бессильной ненависти, пока у сельских сараев не разминулись их дороги.

2

Освободившись по амнистии из заключения, Сашка решил не возвращаться в Токовец. Но в Кирове первый раз после долгого перерыва выпил на вокзале, купил зачем-то в ларьке деревянную матрешку, вспомнил, что на его родине тоже точили такие, и загрустил. А через два дня уже стучал в резной наличник бабушки Лопаты.

Наутро, поднявшись выше корявых ветел, побитых грозами, солнце ударило через широкую щель сеновала плоским лучом в глаза Сашке, и, просыпаясь, он услышал звон отбиваемой косы.

И луч солнца, и этот звон сразу наполнили Сашку ощущением праздника. Он скатился с сеновала, глубоко хватнул росистого воздуха и зажмурился. Утро было такое светлое, такое лучистое, что, не зажмурившись, нельзя было смотреть на белесоватое от поднявшегося тумана небо, и на рябившую реку, и на голубые впадины заречных озер, и даже на лебеду и полынь у плетня, обметанную мелкой серебристой росой.

Сладко пахло с заречных лугов медоносными травами.

Чтобы во всем отличить этот день, Сашка старательно умылся в огороде у колодца с гнилым срубом, обросшим твердыми древесными грибами, надел чистую рубаху и по совету бабушки Лопаты отправился на кладбище поклониться родительским могилам.

Там, среди зарослей спиреи, бузины и жимолости, он с трудом нашел два гнилых креста. Под одним из них лежал его отец, под другим — мать. Отец был искусный столяр и при жизни делал всем покойникам отличные кресты. Он любил повторять, что, почуяв смерть, сколотит и себе такой же, чтоб быть не хуже людей, но смерть застигла его врасплох. Напарившись в бане, он в один дых выпил стакан водки и вдруг, как тряпичный, поехал с лавки на пол.

Мать тоже умерла внезапно. В первую военную осень [illegible] на городском базар продавать капусту и [illegible] и заночевала в доме колхозника. Ночью [illegible] единственная ненапрасная тревога за [illegible]

войну. Мать выбежала во двор к коню, и там воздушной волной ее хлобыстнуло о бревенчатую коновязь.

Потоптавшись у могил и не зная, что нужно делать, Сашка достал ножик, вырезал на кресте: «Не забуду мать родную», — точь-в-точь как было выколото у него на руке, и пошел прочь.

В то утро целый поток, целое половодье солнечного света затопляло землю. Выбравшись из кладбищенских зарослей, весь в росе, в паутине, Сашка увидел перед собою синюю ветреную речку с белыми, как гуси, бакенами, сочно-зеленые рощи левобережья, небо без единого облачка, золотые, в буйной поросли лютика луга и вдруг запел. Запел без слов, издавая какие-то нелепые, но полные ликования звуки, потом бросился в траву, перевернулся и, смеясь, побежал к селу.

В прогоне ему попалась девушка, которая осторожно, точно кошечка-чистюля, пробиралась по тропке через круто замешанную скотиной грязь.

Сашка загородил ей дорогу и спросил:

— Чья?

— Лаптева...

— Верка! — изумился он.— Девкой стала... Меня признаешь?

— Никого я не знаю.

Она попробовала обойти его и одной ногой сорвалась с тропинки в грязь.

— Ага! — торжествующе крикнул Сашка.

Пока она вытирала о подзаборный лопух испачканную тапочку, он вдруг вспомнил далекий летний день, когда гнал стадо вдоль реки и увидел на прибрежном песке Верку. Она подпрыгнула, точно пружинка, закрыла рубашонкой грудь — два остреньких бугорка со смуглыми сосками — и стремглав убежала в кусты.

«Вот ведь дела», — неопределенно подумал теперь Сашка и, вздохнув, спросил:

— Значит, не признаешь? Помнишь, я с Федей-чертом скотину пас?

Круглые, в мохнатых ресницах глаза с испугом остановились на нем.

— Вроде помню... — сказала Верка, ступая босой ногой на грязную тропу. — Это тебя в тюрьму посадили?

— Меня! — обрадовался Сашка. — Ну, чего вилуешь? Я по амнистии вышел. Законно. И паспорт есть.

— Чего ж ты тут?

А вчера! Вот вечевал у бабушки Лопаты, а теперь [illegible] Может, насовсем останусь. Эх, Верка!

Он крепко прижал ее к себе, повернул, чтобы разминуться на узкой тропе, и пошел своей дорогой, заорав во все горло:

— По-ми-рать нам ра-но-ва-то...

А Верка так и обмерла на месте от страха: «Ну, ежели видел кто, как он озоровал тут!..»

Через два дня ей случилось ехать на попутной машине с базара; сидела в кузове одна, придерживая коробицу с молочными четвертями, и вдруг на выезде из города через борт перевалился Сашка.

— Ага! — сказал он.

Сел рядом, прикрыл ее от ветра полой пиджака и стал целовать сначала в щеку, потом в губы, в глаза, в нос... Такой момент угадал, что и бежать некуда.

...Трудно, в приступе какого-то телесного и душевного гнета, пережив ералашную пору весны, когда с тихим шуршанием рушились подтаявшие сугробы, когда растревоженно кричало сносимое ветром мокрое воронье и воздух горько, стравно припахивал корой осин, тополей и черемух, Верка в то лето была особенно счастлива и без причины весела. Новой радостью стала для нее первая стыдливая любовь к Сашке. С каким-то удивленным вниманием, точно не понимая, что происходит с ней, останавливалась Верка перед зеркалом, заглядывала в свои мохнатые глаза и все запрокидывала голову, чтобы почувствовать на затылке приятную тяжесть густых волос. Часто она тихо смеялась наедине с собой. Ее радовало, когда по всему дому, убогая занавесками, гуляли солнечные сквозняки, радовало прикосновение к плечам и груди теплой от утюга кофточки, радовали запахи сада, реки, лугов — радовало все, что помогало ей ощутить в каждой клеточке своего существа неиссякаемый запас молодости, чистоты и энергии.

3

Вечером, возвращаясь с огородов, бабы отдыхали на свежих копнах сена и рассказывали такое, что молодые [illegible] дружно ахали и закрывались рукавицами.

Верка, зарыв в теплое сено захолодавшие на вечерней [illegible] ноги, думала о своем. Давеча, ощипывая ромашку, гадала: если выйдет «чет» — значит, отец не стал дожи-

даться ее и уехал в луга, если же — «печет», то сидит дома и ждет. Выпал «чет». Верка успокоилась, но теперь, по дороге к дому, попробовала испугать себя: «Ждет!» — и ей вдруг на самом деле стало и тревожно, и стыдно, и страшно.

К избе она подошла не сразу, а петляя и часто оставливаясь. Окна горницы ярко светились электрическим огнем, по занавескам метались широкие тени.

«Так и есть! Ждет!» — подумала Верка.

Она тихо подобралась к окну, заглянула в щель между занавесками и обомлела. Мать, разбирая постель, сердито месила кулаками подушки, а отец... Отец сидел за столом, курил и, хмуря пучковатые брови, с силой выдувал дым так, что он клубящимся пятном растекался по крышке стола. Верка с детства привыкла видеть отца таким лишь в самые трудные для семьи минуты и теперь поняла, что ей несдобровать. Тогда она села на завалинку и заплакала. Инстинкт самозащиты подсказал ей испытанное бабье средство, и она плакала долго, добросовестно, пока опасение, что эти невидимые миру слезы пропадут напрасно, не придало ей решимости и не заставило подняться. Не вытирая слез, чтобы явиться перед отцом во всем своем обезоруживающем ничтожестве, она направилась к крыльцу.

— Явилась! — встретила ее мать. — Наревела бесстыжие-то глаза!

— Мы не просто так, мы пожениться хотим, — выпалила Верка.

— Обрадовала! — Мать привалилась к стене. — Слышишь, отец? Эдакого кота да в дом! И на порог-то не пущу.

В кухню шагнул Андрей Фомич.

— Ступай спать! Завтра со мной в луга поедешь. С глаз не спущу, окаянную!

Верка опять хотела пустить подобающую случаю слезу, но вместо вызывающей жалости к себе вдруг почувствовала возмущение.

«Помыкают, как маленькой!»

Вскинув голову, она прошла мимо отца в горницу и, сковырнув с кровати кошку, сердито сказала:

— Лазай тут! Я-азва...

И стала раздеваться.

Бригада Андрея Фомича Лаптева только что управилась с обедом. Стряпухи мыли в ржавом луговом водоемчике посуду, косцы, спасаясь от комаров, лежали в тени кустов ольшаника, на ветерке.

Что-то спугнуло чуткий Веркин сон. Она села, поскребла искусанные комарами ноги и, прикрыв их подолом, хотела опять уснуть. В это время грязный комок дерна ударил ее по руке. Тихо вскрикнув, она оглянулась.

Из кустов пахал своей кепочкой Сашка.

Сердце Верки запрыгало где-то в горле, но поднялась она спокойно, даже зевнула, потягиваясь, и, только когда кусты скрыли ее от глаз Андрея Фомича, со всех ног бросилась к Сашке.

В низине, в сердцевине ольховой крепи стоял мощный комариный гуд, пахло листом, подопревшей корой, тухлым болотом. Размазывая по лицу и шее кровавое комариное месиво, Сашка и Верка сидели на осклизлых корнях ольшаника.

— Не задалось, — зло сказал Сашка. — По-хорошему хотел, а они как от чужого... Выходит, я и девку посватать не могу, сволочи!..

Верка прижалась к нему и почувствовала, как напряглось, словно перед прыжком, его сухое, мускулистое тело.

— Сашок, Сашок, — забормотала она, — остынь. Ты посиди со мной, остынь, люба...

— Уйдем отсюда, — сказал Сашка. — Через брод — и айда. Уедем на целину, там народ нужен, не пропадем.

— Да как же, люба? Нельзя...

— Уйдем!

Нельзя, люба...

Сашка с трудом оторвал от себя ее руки.

— Ну, а мне тут нельзя. Думал, вместе бедовать... Не задалось!

Верка опустилась на лиственной тлен, на сочившуюся гнилой водой землю и прижалась щекой к его колену.

В кустах на болоте заплакал кулик.

5

Сашка тосковал.

Потушив покурку, садился он на крыльцо, глядел [illegible] пруд поплице и начинал строгать что-

[illegible]. Из-под лезвия, сворачиваясь в кольца, бежала [illegible], как бумага, стружка. Вокруг крыльца было белым-[illegible] от стружек. По нескольку раз в день из избы выходила бабушка Лопата, сухая, широкая и чем-то действительно похожая на деревянную лопату. Она не говорила Сашке ни слова, а только смотрела сверху вниз на его затылок с [illegible] отрастающих волос и вытирала сухие красные глаза концом головного платка.

— Строгает? — встретив ее где-нибудь в селе, спрашивал маленький кривоногий участковый милиционер Аничуткин, как бы пристегнутый к большой желтой кобуре.

— Строгает, батюшка. Как есть целый день строгает, весь плетень раздергал,— жаловалась бабушка Лопата.

— Ты смотри, старая — предупреждал участковый, — Знаю я этих строгальщиков! Сейчас он прутик строгает, а завтра уголовный дебош учинит.

— Типун тебе на язык, Николашка! — в страхе махала руками бабушка Лопата.

— Верно говорю, — мрачно вещал Аничуткин. — Ведь он у тебя шальной. Забыла разве, за что сидел? Пуще всего от вина его отстраняй. Деньги-то он имеет?

— Должно, имеет. Шаль мне привез. Козьего пуху.

— Деньги изыми у него, припрячь. Поняла?

— Поняла, батюшка.

— То-то, старая.

Что и говорить — любил Коля Аничуткин нагнать страху на слабый пол.

На людях же был он застенчив, и поэтому, когда Сашка — мрачный, с тяжелым взглядом исподлобья, в кепочке на затылке и пиджаке на одном плече — появился вечером на «пятачке», как называли это утоптанное до каменной твердости место, где молодежь «дробила елецкого», Аничуткин нерешительно попросил его уйти домой.

— Шалишь, гражданин начальник, — вызывающе громко сказал Сашка, грозя ему пальцем. — Не имеешь права. Вот раскокаю я стекло или в лоб кому-нибудь закачаю, тогда можешь. Тогда бери меня, строчи протокол, клей мне статью. А пока я стою спокойно — извини. Правильно, граждане?

— Ну, что ты прилип к человеку, оставь его, — загудели граждане, по опыту своему считавшие за благо не задевать Сашку, и Аничуткин отступил.

Бесцеремонно потеснив девушек, Сашка сел на скамью,

...ер голову кулаками и, когда гармонист вывел «Ду... ...ские волны», вдруг грустно попросил Анчуткина:

— Послушай, Коля, посиди, друг, со мной, я тебе рас... скажу.

— Не могу, Саша. Я при исполнении, — тронутый его тоном, сказал Анчуткин.

— Ляд с ним, с исполнением. Посиди! Помнишь, как ты меня прошлый раз брал? Я тебе воротник порвал и за ухо укусил, помнишь? За сопротивление мне тогда лишнюю статью вклепали, но ты меня все равно прости и посиди, я тебе расскажу...

— Просит человек, уважь! — пристыдили Анчуткина граждане.

И Анчуткин, сконфузившись, сел на кончик скамьи.

— Кто я? — в упор спросил Сашка.

Тяжелый взгляд его выжидательно остановился на участковом, и, когда тот в замешательстве забегал пальцами по своей портупее, Сашка вздохнул:

— Эх, Коля! Даже девок от меня прячут. Верку Лаптеву отец в луга увез... Я тебе сейчас расскажу.

Со стороны за ними наблюдали любопытные. Словоохотливый, бойкий мужичонка, какие всегда не знамо зачем трутся около молодежи, доверительным полушепотом рассказал:

— Озорник этот Сашка. Беда, какой озорной! За озорство свое и под судом был. На что уж Федя-черт смирный человек, увертливый, так Сашка и его чуть вовсе не извел На кнуте грозил повесить, утопить хотел. Ну, прямо озорник! — с неожиданным восхищением закончил он.

— Врешь! — крикнул Сашка. — Раз амнистия, значит, все. И никаких. Не гляди, Коля, я ему в морду дам.

Он привстал, сжимая кулаки, и это послужило сигналом к единодушному возмущению присутствующих поведением Анчуткина.

— Унять хулигана надо, а он рассиживает с ними, как побратим. Милиция называется!

Сашка махнул рукой, как-то расслабленно ссутулился и пошел прочь. Так он ничего и не рассказал Анчуткину.

Сашка помнил то далекое утро первой военной осени... ...в деревне был перепуган стуком в дверь, от ко... ...го задрожала вся изба и в сенях покатилось пустое ведро. Он выскочил на крыльцо и увидел там секретаря сель...

[illegible] Глашкуе, со сби-
[illegible] ком и круглыми от страха глазами.
— Парень! — [illegible] она, словно он был очень дале-
ке от нее.— Мать-то убило!
— Как убило? — растерянно спросил Сашка.
— Ох, не знаю... Звонили из горсла, говорят — Пела-
гею Раздольнову бомбой убило. Беги скоренчка на конный,
там лошадь запрягают.
Вместе с бабушкой Лопатой Сашка потрюхал на под-
воде в город.
Мать они нашли в хирургическом отделении городской
больницы. На тихом и чистом больничном дворе повсюд
лежали паутинчатые тени голых деревьев, няни в белых
халатах тащили куда-то ослепительно начищенные [illegible],
дворник сметал в пирамидки пестрые листья, и Сашка,
пока шел через двор, успокоился — казалось, если уж че-
ловек попал сюда, то ему ни в коем случае не дадут
умереть.
В палате мать была одна.
— Что же это, Пелагеюшка? — с плаксивой укоризной
спросила бабушка Лопата, словно мать сама была винова-
та в случившемся несчастье.
— Сашку! — прохрипела она в ответ.
Услышав из-под маски бинтов этот до неузнаваемости
изменившийся, но все же материн голос, Сашка вздрогнул.
Ему вдруг вспомнилось, как летом посреди села грохнулась
оземь лошадь, на которой везли в клуб киноленту, и,
судорожно вздрагивая, начала биться. Ее голова на длин-
ной шее хлестала по земле, как свинчатка на конце кнута,
надкушенный лилово-синий язык вывалился из оскален-
ного рта, но, видно, какая-то внутренняя боль была еще
сильней, и лошадь не чувствовала ничего, кроме нее.
— Голову ей держите! Голову!.. Не подходи, убьет!..
Жеребенка прогоните!.. — кричали вокруг.
Стройного, легкого молочника, круживше[illegible] возле мат-
ки, загнали в телятник.
Лошадь в последний раз вытянулась каждым мускулом
и замерла.
Это мгновенное, словно вспышка, воспоминание как-то
сняло Сашку. Он шагнул к матери и едва слышно повто-
рил укоризненные слова бабушки Лопаты:
— Что же это, маманя?
— Слышь, сынок! — позвала она. — Помру, как жить-то
будешь?
— Как все... — ответил он.

Мать усмехнулась горько и ласково.

— А ты знаешь, как все-то живут, сморчок?

По неписаному закону деревни осиротевшего Сашку взял на свое попечение «мир». На трудодни в колхозе выпадало тогда негусто, и его определили в пастухи, которые имели гарантированный заработок и харчевались в каждой избе поочередно.

С Федей-чертом Сашка не ужился. Для старух Федя был божьим человеком. Для ребятишек — забавным дурачком, но Сашка-то уж знал, что это просто хитрый и жадный лентяй. Его не могло обмануть ни то, что Федя пил из дождевой лужи, ни то, что раны на своем теле врачевал, привязывая к ним жабу, ни то, что не умывался ни зимой, ни летом. Сашка говорил ему:

— Я жрать при тебе брезгую.

Федя, сбрасывая личину юродивого, скалился и отвечал:

— Дурачком-то легче. Меня вот и на войну не взяли.

Сашку, у которого война унесла мать, оскорбляли эти слова, и он, когда подрос настолько, что мог не бояться Фединых кулаков, отплатил ему. Проходя высоким берегом реки к водопою, он легонько поддал плечом, и Федя скатился в воду, сразу попав на крутящуюся под яром быстрину. Плавать он не умел. Сашка дал ему уцепиться за конец кнута, приподнял немного и снова пустил. Так полоскал он его, пока Федя не начал икать и синеть.

— Наконец-то я тебя отмыл, черта,— сказал Сашка, выволакивая его на берег.— Смотри помалкивай, а то в другой раз совсем утоплю или удавлю кнутом на осине.

Завизжав пронзительно, дико, как заяц, Федя бросился в село, уткнулся там оземь и задрыгал ногами. Сбежались люди, ахали, грозили Сашке расправой.

В глазах мира, когда-то опекавшего Сашку, он был уже не жалкий сирота, а здоровый парень, который сам мог постоять за себя, и мир решительно принял сторону Феди: «Не тронь убогого!»

«Хоть бы в армию скорей взяли...» — тоскливо думал Сашка.

В селе ему было скучно. Осенними вечерами темнота рано опускалась на ощетинившиеся бурой стерней поля, в сквозных соломы шуршал беспритотный ветер; на едва светившую полоску заката летели черные стаи галок. Парни, укрывшись от ветра в срубе, резались в очко и [illegible] с гармонью. Навстречу им такой же [illegible] девушки. Обе стороны делали сл[illegible]

чали вид, что не замечают друг друга, потом, будто невзначай, соединялись и вместе опять шли за гармонью. Это так и называлось «ходить за гармонью» и повторялось ежевечерне который уж год! Сашка тоже ходил и думал: «В армию бы скорей...»

В престольный праздник рождества богородицы он первый раз в жизни напился. Почувствовав прилив какой-то глупой и дикой силы, он сокрушил в избе у Феди-черта все стекла вместе с переплетами рам, потом сцепился с парнями в жестокой престольной драке — и ясным, вызванивающим первым морозцем днем октября, когда все его одногодки собрались с неизменной гармонью у райвоенкомата, он глядел через решетчатое окно вагона и, горьковато посмеиваясь над собой, думал: «Вот те и армия! Тю-тю...»

Все это, право же, очень трудно было рассказать Анчуткину.

«Подамся на целину,— думал Сашка, уходя с «пятачка», и тут же вспомнил о Верке.— Эх, люба моя!»

Мгновенно все его существо, как еж, свернулось в колючий клубок, готовый развернуться лишь с гадкой целью уколоть, задеть, оцарапать, и он недобро усмехнулся:

«Уйду... Только сперва Андрею Фомичу костыли повыдергаю. На целине народу много, затеряюсь — не найдут...»

7

За рекой косили уже по краю соснового бора, где кончались колхозные луга.

Вечерело, когда косари присели отдохнуть, перед тем как сметать в стог поспевшие копны.

Неподвижно, словно бронзовые колонны, высились сосны, между ними косо струились длинные желтые лучи, и лес был полон того предзакатного покоя, который охватывает не только природу, но и человека, и он как будто сливается с древесными комлями, пнями и мхами.

Все словно окаменели. На дорогу вышел тетеревиный выводок, как выходит он, когда здесь никого нет. Мирно квохча, тетерка тянула из травы длинную шею, а вокруг, точно пуховые шарики, катились птенцы, смешно и трогательно ныряя на бегу головками.

«Все ли видят?» — подумал Андрей Фомич и осторожно повернулся к Верке.

В это время у тетерки вышло совсем особенное «кье»...

и птенцы стремглав брызнули в траву, в мелколесье, а сама тетерка перелетела раз, другой, приглашая поверить ее наивной хитрости и броситься за ней в погоню.

Услышав хлопанье крыльев, Верка встрепенулась. Но еще раньше Андрей Фомич заметил, что, лежа на спине, она смотрела в нежное вечернее небо, а из уголка глаза у нее катилась по виску блестящая слеза.

Не зря рыдал кулик на болоте, оплакивая Веркину радость...

— Ты что это, дочка? — тихо, чтобы не слышали посторонние, спросил Андрей Фомич.— Ты скажи, не молчи. Чего ж молчком-то томиться!

— Так... — сказала Верка.— Я сама не знаю.

Никого бы она сейчас не допустила к своим думам.

В ту ночь над поймой, рогат и тонок, висел месяц, сгустив на земле все тени до того, что они казались темными провалами.

Выбравшись из шалаша и юркнув в кусты, Верка в нерешительности остановилась.

Какая это была темная, дикая ночь!

Верка стояла словно на дне огромной ямы, а в ушах у нее — «ушь... ушь...» — звенела тишина и вдруг разорвалась каким-то оглушительным звуком. Наверно, это был не более чем звук падения сухой веточки или крупной птицы над болотом, но бывают такие враждебные человеку заговоры леса и ночи, когда каждый шорох, каждый сгусток тени оборачиваются страхами.

Вскрикнув, Верка бросилась напролом через кусты к реке и, только когда живым серебром блеснул впереди широкий плес, перевела дух.

В сухое лето брод переходили ребятишки, собиравшие в пойме орехи. Верка сняла сарафанишко, обвязала его вокруг головы и без опаски вошла в воду, не замечая, что песчаные острова, намытые рекой посредине плеса, были скрыты водой и выставляли из нее лишь дрожащую щетинку ивняка. Отгребая руками напористую воду, Верка шла все дальше и опомнилась только тогда, когда волна окатила ей плечи. По-бабьи бестолково бултыхая ногами, Верка поплыла. Ком сарафана падал ей на глаза, намокал, тянул по течению. В лицо хлестнуло резвым ветром, забило рот, нос, уши. Верка закашлялась, [illegible] крикнула: «Сюда!» — и, задирая подбородок, из последних сил заколотила по воде руками и ногами.

У длинной прибрежной отмели шла и падала в теплую

ную, плавающую в завитушках. Дрожали колени, голова, руки. Хотела напиться и не донесла в ладошке до губ воду — расплескала. Отлевываясь тягучей слюной, долго лежала на холодном песке, потом на мокрое, с прилипшим песком тело натянула сарафанишко и упрямо пошла к селу, с каждым шагом чувствуя давящую боль в висках.

На стук ее, отрывистый, первый, выскочил из сеней Сашка.

— Ушел, бессовестный, и нет,— плача, лепетала Верка. — Утопла было... Ох, поженьки, Сашок, не держат... К тебе я, люба... Так всем и скажу — у него почь была.

— Да ты иди в избу,— пугаясь ее горячечного шепота, сказал Сашка.

Старые часы в горнице у бабушки Лопаты прошипели в это время три.

8

Для деревни, живущей в страдную пору сенокоса по правилу «коси, коса, пока роса», это был не такой уж ранний час. Председатель колхоза Репкин успел подняться и, круто фыркая, тер под глиняным рукомойником свою круглую и лысую, как костяной шар, голову. В недавнем прошлом городской житель, Репкин делал все нарочито «по-деревенски» — ходил в сапогах и косоворотке, ел деревянной ложкой, любя папиросы «Север», курил вонючий самосад и умывался под глиняным рукомойником, хотя привез из города мраморный умывальник.

К счастью, этими безобидными чудачествами показная сторона его натуры и ограничивалась, не принося ущерба никому, кроме разве сельской торговой точки, где залеживались папиросы «Север».

Утро радовало председателя. Предвещая вёдро, оно занималось медленно, неярко, в спокойных золотисто-розовых тонах, и на небе долго истаивал круторогий месяц, а уж если рога у него круты, то хорошей погоде быть наверняка.

Перед уходом из дому Репкин, следуя своему обычаю, заглянул в записную книжку, куда заносил по пунктам неотложные дела на грядущий день. Их было двенадцать. Пункты третий и двенадцатый почему-то соединялись через поле жирной дугой, и Репкин обратил внимание прежде всего на них: «Жеребят за реку»; «Поговорить с А. Раздольновым».

А [illegible] вечером Репкин и острым выдвижным карандашом поставил у вершины дуги восклицательный знак.

За окном придурковатый пастух Федя-черт загружал в пионерский горн.

День начался.

9

И дуга и двенадцатый пункт появились в записной книжке чрезвычайно быстро, после разговора с участковым милиционером Анчуткиным.

Вечером Репкин уже снял косоворотку и с удовольствием облачился в городскую пижаму, когда участковый застенчиво поскребся к нему в окно.

— Выдь на минутку, Григорий Иваныч.

— Да ты заходи сам,— пригласил Репкин.

— А кто у тебя?

— Никого. Свои только.

— Нет, ты лучше выдь. Покурим на завалинке,— подумав, ответил Анчуткин.

Репкин вышел. Они уселись, свернули по толстой цигарке крепчайшего самосада и задымили.

Анчуткин молчал.

Свет [illegible] лег на крыши изб, протянулся стальной полосой по колодезному журавлю, качнулся в пруду, потревоженный всплеском рыбы, и где-то на дальнем конце села стал, должно быть, вивою припевки, отчетливо прозвучавшей в тишине вечера:

Эх, миленок, черны очи,
Погоди меня ласкать!
Очень светлы стали ночи —
Могут люди увидать.

— Ну? — спросил Репкин, когда докурили.

Анчуткин вздохнул. Потом опять долго молчал, растирая в пальцах скользкий листок подорожника, понюхал его, бросил и сказал:

— Ты уж, Григорий Иваныч, через свое самолюбие перешагни. Сходи сам к Сашке Раздольнову.

— Постой! — удивился Репкин.— Ничего не понимаю. Это кто ж такой?

— Сашка-то?

И Анчуткин — не великий мастак говорить — рассказал, как умел, про Сашку.

— Сходи уж, Григорий Иваныч,— закончил он.— Это, знаешь, как-то того... когда сам председатель придет и на работу попросит. Сашка, он сразу на вершок вырастет. Я его знаю.

— Что ж, работы в колхозе нет, что ли? — согласился Репкин.— Будет твой Сашка жеребят пасти?

— Можно и жеребят, все одно. Только уж ты сам к нему. С подходцем, знаешь... Так я в надежде, Григорий Иваныч?

— Будь,— заверил его Репкин.

Они попрощались. Дома Репкин достал свою записную книжку, занес в нее двенадцатый пункт и жирной дугой соединил его с третьим. Новый день должен был начаться через три часа.

А Коля Анчуткин между тем шагал, сворачивая из проулка в прогон, по улицам села, а кругом в садах и огородах, надсаждаясь, пилили, звенели, трещали, свиристели, цокали кузнечики. Почти у каждого крыльца при Колином приближении чуть отстранялись друг от друга две расплывчатые тени и снова соединялись, едва он проходил мимо.

Но вот и незанятое крыльцо. Коля сгорбился по сторонам. Все было покрыто зернистым налетом росы и сказочно блестело под месяцем. Блестела дорога, уходящая в поле, блестели березовые прясла, блестело старое, выброшенное за ненадобностью ведро, и куча свежей щепы, и куст бузины, и кривая скворечня Феди-черта — все лучилось тонкими иглами синего света... Бедовый запах сена ударил Коле в голову. Он тихо кашлянул, и этот знак вышел из тьмы сеней бесшумную тень, которой принадлежало незанятое крыльцо.

— Где же ты пропадал? — разгневанно шепнула она.

— Дела,— вздохнув, ответил Коля.

10

Верка откинула прутиком щеколду и через скрипучие сени вошла в жаркую, загудевшую потревоженными мухами кухню.

Мать, проводив корову, видно, опять прилегла и уснула. Долго стояла Верка у двери, прислонясь щекой к косяку и зажмурив глаза, потом решилась — вошла и, быстро раздевшись, юркнула к матери под одеяло.

— Мама, ты не пужайся,— зашептала она.— Проснулась, мама...

Дарья Кирилловна спросонок испугалась, оттолкнула Верку, но тут же опомнилась и добродушно заворчала на дочь:

— Ну, чего подвалилась? Вставать уж пора... Отец-то там как? Комара, чай, в пойме гибель?

— Мама, я к Раздольновым уйду,— тихо сказала Верка.

— Опять ты за свое! — сердито прикрикнула Дарья Кирилловна.

— Хошь привязывайте! И сейчас от него...

Мать ахнула.

— Уйду, мама.— упрямо повторила Верка и, уткнувшись ей в грудь, пахнущую сенным тюфяком, горячо зашептала: — Давайте по-хорошему, чтоб свадьба, чтоб как у людей, чтоб согласно все... Мне же стыдно так-то, м-мама!

...Во дворе поросенок уже давно орал с голодухи дурным голосом, колотясь о стенки клетуха, а они все спорили, плакали, утешали друг друга и опять спорили, хотя и та и другая уже знали, что быть по-Веркиному.

Наконец Верка уснула, всхлипнув напоследок, как дитя. Дарья Кирилловна встала, одеваясь, смотрела на ее слипшиеся от слез ресницы, на распухшие губы, и жалко ей было не уступить Верке и жалко уступить.

Накормив поросенка, она вернулась в избу, разбудила дочь, и они стали собираться на стан к Андрею Фомичу, чтобы объявить ему свое решение. Дарья Кирилловна достала из комода чистый платок и, покрыв им голову, завязала на затылке. И Верка вдруг увидела, что мать на самом деле не так уж стара и только лицо ее поблекло от ранних заморозков, от печного жара, от дождей и зимнего ветра. Как и многие в ее возрасте, Верка стыдилась открыто проявлять свою нежность к родителям, но тут не сдержалась, погладила мать по черным блестящим волосам, не закрытым на лбу платком, и шепнула:

— Мама...

Вышли они непривычно размягченные каким-то тихим [illegible] вечером.

В конце села, там, где стояли длинные бревенчатые конюшни, обвившись в кучу и стараясь положить голову на [illegible] спину, живым клубком вились жеребята-двухлетки. [illegible] жеребце вертелся вокруг Репки

Сашка, не по-летнему тепло одетый в длинную кудлатую робу.

— Здорово, тетка Дарья! — сказал он, пытливо присматриваясь к ней желтым ястребиным глазом.

— Здравствуй, Александр Митрич,— спокойно ответила мать, проходя мимо.

И с тем же величавым достоинством, не поднимая на Сашку глаз, проследовала за ней Верка. Удаляясь, слышали они, как Репкин говорил:

— Из водохранилища воду вчера сбросили. Смотри, держи жеребят где повыше.

— Не зайцы твои жеребята, не перетонут,— с усмешкой ответил Сашка.

И, видно, добротно хлестнул жеребца, потому что тот сразу взял галопом.

Дарья Кирилловна и Верка шли по мягкой пыли вдоль ржаного поля. Они сняли туфли, несли их за ремешки в руках и были сейчас очень похожи друг на друга, только Верка чуть-чуть прямее держала голову, отгибая ее назад, чтобы почувствовать на затылке тяжесть волос.

Становилось жарко.

Повсюду еще пахло сеном, пахла им даже дорожная пыль, но рожь уже налила тяжелый восковатый колос, готовя хлеборобам новую страду.

Блестя слюдяными крыльями, реяли над ней лупоглазые стрекозы.

1958

Крах

1

Начинаясь в приклязьменском фабричном городке, дорога на лесной кордон идет через луга, через ржаные поля, через пыльные картофельники и, минуя последнюю заречную деревню, пересекает границу лесов. За этим рубежом уже не встретишь ни одного колоса. Сначала по заболоченным кустарникам потянутся бревенчатые гати, потом начнется сосновое мелколесье, а за ним встанут горячо пахнущие смолой, обросшие ломким голубым мохом боры, где за целый день не только живая душа — робкий цветок не заглянет тебе с улыбкой в глаза.

Мир. Тишина. Покой...

Давным-давно, в пору коллективизации и раскулачивания, молодой мужик Аверкий Лыков бросил крестьянствовать и поступил на службу в лесное хозяйство.

Отцу своему перед отъездом на новое место сказал:

— Мудруют над нами товарищи, вертят и так и эдак нашу жизнь, а выйдет толк ай нет — неизвестно. Может, и мне с трубу вылетим с этими колхозами. Да и несправедливое это дело — все в общую кучу валить. Я, скажем, вполне справное хозяйство нажил, а другой, голодранец, с одной сохой прилепится. Нет уж! Я на кордоне буду оклад получать и хозяйствовать без препятствия заниматься.

— Спробуй,— коротко напутствовал его отец.

К исходу лета в бездорожной глуши еще не освоенных лесов, на берегу лесной речушки, неторопливо струившей прозрачную на вид и коричневую, как чай, воду, Аверкий срубил из сосновых комлей сторожку.

— Вот и бог-то! Дворец янтарный! — хвастался он, впервые переступив порог вместе с молодой женой Настей.— Ничего, что глушь. Будет и хлеб да муж. Так, что ли?

— Куда иголка, туда и нитка,— тихо сказала тогда она.

Она считала свою жизнь погубленной, и ей было все

равно, где жить, хоть с чертями в болоте. Денис, отец ее, по ремеслу был плотник, по виду — цыган, а по характеру — человек веселый и легкий. Крестьянский труд он не любил. Бывало, чуть обтают на апрельском ветру горбатые холмы, отходил он в Москву, в Нижний, в Казань и плотничал там до поздней осени. Когда же износилась и увяла, ворочая в одиночку бедняцкое хозяйство, его жена, он, еще статный, чернобородый молодец, задурил, загулял и сгинул из села на веки вечные.

Шестнадцатилетнюю Настю из благочестивых побуждений (много ли проку в хозяйстве от бабы!) взял в работницы вдовый старик Лыков. Весной, когда она помогала Лыковым пахать дальний прикупной клин, Аверкий замотал ей голову юбкой, изнасиловал и, припугнув расправой, велел молчать.

— Ты что, касатка, глаза-то наревела? — подозрительно спросил старик, когда она вернулась с поля.

Настя бухнулась на лавку, разлилась рекой и покаялась. В тот же день старик позвал Аверкия в лес за жердями и там, в глушинке, больно отхлестал кнутом.

— Для себя берег, папаня? — ядовито усмехнулся Аверкий, вытирая с лица кровь.

— Женю! — рассвирепел старик.— На батрачке-сироте, на нищей! Жеребчина стоялый...

Аверкий опять усмехнулся. Молодая, работящая, сильная Настя нравилась ему, а жениться на батрачке, по его дальновидным соображениям, было даже лучше. — Отец стал косо поглядывать в селе на богатых Лыковых.

— Не испугал, папаня!

— Ну, добро ж!

Старик был крут и неотходчив. Свадьбу сыграли, и вскоре после нее Аверкий отошел от семьи на версту.

Так возник здесь этот маленький остров человеческой жизни, вкрапленный в бескрайный разлив лесов.

Долго, не щадя сил, ворочали вокруг него все Аверкий и Настасья — выдирали из земли разлапистые пни, выругавшись к корчевному лужку сквозь ольховую, вербяную, черемуховую кремь — и оттого еще в молодости оба стали крепкие телом, большерукими и по-медвежьи сутулыми. Зато вокруг подворья, как неопровержимое свидетельство их нелегкой победы над лесом, легли клинышки посевов, огородов, покосцев, и завозилась в хозяйственных пристройках сытая скотина.

Как-то зимой Аверкий увидел чужие, настойчиво пет-

... с близ кордона следы, а через день наткнулся в лесу на двоих, в полушубках, с наганами на боку.

— Лесник? — коротко спросил один.

— А вы кто?

Те не ответили и быстро ушли в лес, но утром Аверкий опять нашел их свежие следы у самого кордона.

«Нюхают чего-то, ищейки»,— подумал он.

Вечером, когда по крыше белыми крыльями шуршала метель, когда под окном дымился на ветру гребень сугроба и одичавший в лесу, трусливый и вероломный пес по кличке Шельма протяжно выл у соломенного омета, кто-то тихо поскреб в окно сторожки. Аверкий дохнул на стекло, потер его рукавом и отшатнулся. Из перепутанных волос, из свалявшейся щетины глянули на него зеленые, с желтым крапом лыковские глаза.

Аверкий вышел на крыльцо.

— Братуха, Христа ради...— кинулся к нему брат Тихон.— Кору жрал...

— Чего пашкодил? — угрюмо спросил Аверкий, вспомнив тех двоих с наганами.

— Хлеба дай!..

Сидя на полу у печки и давясь черствым хлебом, Тихон рассказал, что Лыковых раскулачили.

— И все? — помолчав, спросил Аверкий.

— Данилку Фомина, председателя, мы с папаней ... кокали... вилами... ночью.

— А папаня где ж?

— Данилка, пес... Из нагана пальнуть успел... Остался папаня.

Аверкий долго гладил ладонью крышку стола, словно пробовал ее на оструг, потом решительно встал и снял со стены сыромятные вожжи.

На всю жизнь запомнил он, как вился у него под ногами Тихон, как ругался, плакал, стукался головой об пол, а потом, уже связанный, напрягся весь и плюнул ему под ноги.

— Не балуй, браток, не балуй,— почти ласково говорил ему Аверкин.— Все одно ты против меня, что комар. Слаб, оголодал. Куда уж тут баловать!

И, завалив его в сани, чтобы везти в село и сдать там милиции, прибавил:

— Я, Тиша, из-за вас свою долю в жизни терять не ... Потому и сани отошел, что наперед видел — ... восьмеркой, доберусь.

— Шкура козлиная,— прохрипел Тихон.— Все одно тебе наше родство не простят.

— Авось теперь простят,— вздохнул Аверкий и широко перекрестился на шумевшие во тьме сосны.

С тех пор он еще прочней затаился в своем лесном логове и почти не появлялся на людях, чтобы лишний раз не напоминать о себе. Его не тревожили. Теперь только одна постоянная забота не давала ему покоя: Настасья долго не рожала, а первенца, должно быть от тяжелой работы, родила мертвеньким.

Аверкию хотелось наследника.

Долго он сердился на жену и, видя, как ловко она ворочает в печке ведерные чугуны, корил ее:

— Здорова Федора, да дура. Простого бабьего дела исделать не можешь — ребенка родить... тьфу!

Прошло два года, и как-то зимой, подпирая колом увязший в снегу возок дров, Настасья бросила кол, прилегла на снег и тихо сказала сквозь зубы:

— Худо мне, Ильич... Знать, опять не уберегли ребеночка...

Аверкий дрожащими руками раскидал дрова, положил жену в сани и, не жалея лошадь, погнал в город. Там к исходу дня Настасья родила слабую синенькую девочку. Аверкий вместо качки сделал для нее из ивовых прутьев корзину и, пока плел, все приговаривал:

— Не потрафила, мать, не потрафила. Нам с тобой парнишку надо, работягу, наследника. Есть байка одна. Спросили, слышь, мужика, куда он деньги дёт. А тот и говорит — одну, мол, часть, в долг даю, другой частью долг плачу, а третью — на ветер кидаю. Как, мол, так? А так. Сына, значит, ращу — в долг даю. Родителя соблюдаю — долг возвращаю. А дочь кормлю-питаю — на ветер кидаю.

И все же по этой суетливой болтовне, по смущенно-радостной улыбке было заметно, что Аверкий очень взволнован и счастлив.

Дочь назвали Устей.

Когда в сорок первом году Аверкия взяли на фронт, ей было семь лет.

Без хозяина кордон осиротел. Все настойчивее мучила Настасью лесная тоска по людному месту, по соседу и просто по вспаханному полю, откуда видны огни деревень и слышен запах печеного дымка. Часто просыпалась

ся со всем и, обняв худенькое тельце дочери, принимался плакать.

— Мам,— окликала ее спросонок Устя.— Ружье-то у тебя заряжено?

— Чего?

— Ружье-то, мол, заряжено?

— [illegible] Как же не заряжено-то? Спи! — отвечала Настасья, скрывая от дочери слезы.

[illegible] наступила осень и полярный ветер насквозь [illegible] холодные сквозняки, когда из серого облачного [illegible] на лес, на единственную речку посыпалась колючая крупа, он стало совсем невыносимо. На первопутках, забрав весь скарб и скотину, она уехала к матери в село Токовец.

2

[illegible] Настасья жила на кордоне вдали от людей, она [illegible] не слышала размеров и трагической сущности бедствия, свалившегося на их головы. Аверкия она проводила на войну легко. По дороге в город Устя — веселая, звонкая — забегала все время вперед, возвращалась то с цветами, то с кузнечиком, то с бледной поганкой; Аверкий, смеясь, ерошил своей огромной пятерней ее волосы, и — в который уж раз! — давал Настасье последние наставления по хозяйству.

— Телку ты, пожалуй, мясом продай,— говорил он, и Настасья согласно кивала, держась обеими руками за [illegible] его нанкового пиджака.— А корову пуще глаза береги,— продолжал Аверкий.— Такую корову — не дай бог [illegible] грудеет или еще что — не скоро наживешь. Магазин, [illegible] корова. Овец не нарушай. Утки... этих нарушь, бестолковая птица, прожорливая. А курей оставь. На зиму их в избу возьми, ежели морозы жать начнут — поняла?

— Неуж к зиме-то не придешь, Ильич? — спросила Настасья.

— Кто его знает...

У первой деревни Аверкий остановился, подозвал дочь и долго тискал ее своими ручищами, крепко терся выбритой щекой о лицо, волосы, плечико. Потом обнял Настасью. [illegible] на нем, заголосила, повалилась наземь, в пр[illegible] [illegible] сосны, но, едва он скрылся за деревенскими [illegible] замолкла, встала и начала поправлять платок, [illegible] обычный бабий ритуал проводов оконченным.

От Аверкия часто приходили письма. Он попал на по[illegible]

тосковый испытательный полигон, и в его письмах, содержавших преимущественно наказы «соблюдать хозяйство» и описания дневного довольственного рациона в армии, совсем не чувствовалась настоящая война, война-бедствие, война-горе, война-смерть.

В Токовце тоже не рвались снаряды, не стелился пошизу горький чад пожаров, но все — от разговоров до молчаливых слез — было отмечено знаком войны. Она каким-то недетским, прочным страданием залегла даже в глазах тринадцатилетнего белобрысого почтаря Кирьки. Он уверял, что распознает «похоронные» в конверте «по хрусту», и, принося в дом эту роковую бумажку, глядел на хозяйку с такой мукой, что иная бабенка послабее первая заранее рушилась на пол, как сноп. Стосковавшаяся по людям Настасья сразу же приняла к сердцу их беды. Как все, впивалась она тревожно спрашивающим взглядом в лицо Кирьки; как все, с утра до вечера ковырялась в мокрой, холодной земле, выбирая картошку; как все, шила для солдат теплые рукавицы, валяла валенки, стегала ватные телогрейки.

Однажды женщины работали на картофельном поле. Ветер косо нес седую дождевую пыль, шипели и дымили костры, над которыми женщины отогревали сведенные стужей пальцы. Никто не помнил потом, откуда вдруг налетел слух, что в город привезли раненых. Все бросили работу, сбились в кучу и, тяжело дыша, оскользаясь на жидкой осенней грязи, побежали по дороге в город. Напрасно бригадир — старый Илья Нефедов по прозвищу Веселый Глаз — махал им вслед руками и кричал:

— Бабы! Остынь, окаянные! Кто сказал, что там ваши? Кто брехню пущал? Слыханное ли дело, чтобы со всей войны ваших непременно сюды собирали! Вернись сей момент!

Женщины даже не оглянулись. Их тесной молчаливой толпой, словно спаянной нерушимой порукой, двигала одна воля, одна мысль, одна надежда, и вскоре, не обращая внимания на крики бригадира, они скрылись в серой дождевой мгле. Настасья бежала вместе со всеми. У нее не было опасения за жизнь Аверкия — лишь накануне она получила от него письмо, у нее не было надежды увидеть его среди раненых — он находился в безопасном месте, но, захваченная общим порывом, она все так бежала через грязь, лужи, раскисшие луговины туда, где по какой-

то почти невероятной возможности мог оказаться чей-нибудь муж, сын, отец или брат.

Вернулись они, конечно, ни с чем. Из школьного здания, занятого под госпиталь, к ним вышел прихрамывающий комендант. Долго слушал их бестолковый галдеж и, наконец, смекнув, в чем дело, гаркнул:

— Тише! Как фамилия?.. Твоего нет. И твоего нет. Что? Гуськов? И Гуськова нет. Тихонов? Звать как? Петром? Нет Петра, Филимон есть.

Так перебрал он всех, и женщины, притихшие, погрустневшие, но успокоенные, медленно поплелись назад в село.

В годы войны Настасье очень пригодилась ее привычка к тяжелому ручному труду. МТС тогда не работала, в плуги и сеялки запрягали коров, жали серпами, и выносливая, прилежная Настасья как-то сразу встала у всех на виду. Когда район выбирал своих делегатов для сопровождения на фронт эшелона с подарками, то от Токовецкого колхоза выбрали ее. Бригадир Илья Веселый Глаз произнес по этому поводу речь. Еще в гражданскую войну он, молодой взводный, заслужил орден и, хотя ему давно уже перевалило за пятьдесят, был убежден, что новая война без него не обойдется, его обязательно вспомнят и позовут.

— Героические товарищи женщины! — сказал он, взгромоздясь на табуретку.— Бабоньки! Все вы дружно тянули руку за Настенку Лыкову. Правильно! А я еще скажу. Война, по всей видимости, затеялась немалая, и еще спонадобятся старые краснознаменные командиры. Сегодня я здесь, а завтра на боевом коне. Так что будет вам Настенка первый пример в труде для фронта и для победы. Тянитесь за ней, чтоб в самую, значит, пяту.

Настасья растерялась. Всю жизнь, с тех пор как помнила себя, она пахала землю, косила траву, жала рожь, копала картошку, ухаживала за скотиной, но ей даже в голову не приходило, что этот обычный крестьянский труд, который на ее глазах справляли многие женщины, способен приносить не только сытость, а уважение людей и почет.

— Ой, бабы... да что вы! Да я дальше города и не бы[illegible] Куда мне ехать...— бормотала она, жгуче красне[illegible] и [illegible] руками.

А дома после собрания долго с удивлением глядела [illegible] [illegible] и думала: «Настенька... Мы[illegible]

...Да что же это делается с тобой? Любят тебя, ува-
...Что ж ты и плачешь-то, глупая!»

Земля спутала Настасью со своей общ... ...сть...

на ней горюет, сей, деревень, людей. Стояла глубокая
...ось. По утрам на бурую траву, на сбитую морозом зем-
...ль ложился сверкающий иней, в воздухе, блестя на соли-
...це, вилась игольчатая изморозь, и мир под этим ...
солнцем казался Настасье до жути ...ным и стран-
ным.

Но вот потянулись места, откуда лишь недавно отсту-
пила война. Настасья, не отрываясь, смотрела из двери
теплушки на искореженную землю, на изо...ленные
в щепы леса, на разбитые станции, на пепелища с разва-
ливавшимися печами, и всем своим крестьянским сердцем,
непримиримым с разрухой, запустением, принимала эту
общую беду, ставшую ее личной болью.

Войну, как и море, не представить, пока не увидишь ее.
Ночью эшелон долго стоял в лесу; вдоль вагонов ходили
люди с автоматами и карманными фонарями, переговари-
вались вполголоса, смеялись. В небе над лесом играло бе-
лое мерцающее сияние, шатались столбы голубоватого све-
та прожекторов, и вдали погромыхивало, словно первой
грозой.

— Смотри, к дождю, — шутили делегаты, не подозре-
вая, что они уже находятся на той самой войне, кото...
всегда одинаково рисуется только в тылу, а на самом деле
принимает тысячи самых разных обличий.

Утром их доставили на машине в расположение ...ди-
визии. Там, в блиндаже, был накрыт стол; веселый ру...
вошекий полковник с вдавленным шрамом на лбу бл...го-
дарил делегатов, жал всем руки, целовал со щеки на ще...
Потом им показали пятнистые, как ящерицы, ...тые
в землю пушки, тягачи, бронетранспортеры, полевые кух-
ни и сказали, что вон за тем леском, в пяти километрах
отсюда, находится он.

Настасья во все глаза смотрела на этот голый, окутан-
ный фиолетовой дымкой лесок. Был он точь-в-точь та...
же, как под Токовцом — молоденький, частый, ...ий,— и эта похожесть снова тронула сердце Настасьи
уже знакомой болью за родную землю.

Вернувшись в Токовец, она, как с ней ни бились, не
смогла ничего рассказать односельчанам про войну.

— Все видела, — твердила она. — И ...ко видела, и
...ли, и бомбы эти самые... Но прямо, как в ...яна, гла-

кие. И *его* видела. Привели до коменданта пленного — мальчонка мальчонкой. Конопатенький, белый... Того гляди зеленые сопли распустит... А городов, сел наших побитых — ужасть! Я вся слезами изошла... Не надо вам, бабы, этого слышать, не приставайте.

Последняя военная весна долго выстаивалась в нестерпимом сиянии морозного солнца. Давно уже минул март; зазолотели каждой своей веточкой тополя, навострившие липкую почку; очистились крыши, запахло у скотных дворов оттаявшим на солнечном припоре навозом, а в поле снега все еще лежали чистые, неподточенные и голубовато искрились, словно сахар на изломе.

«Часом кончится», — говорят обычно про такую весну.

И верно. Ночью ветлы над прудом стучали ветвями, ухало на крышах железо, и тому, кто полусонный, босиком выскакивал в потемки сеней, чудилась снаружи какая-то возня, какое-то чмоканье и плескание, словно там хлестали по стене мокрой тряпкой. Затем в дни, наступившие вслед за этой сралашной ночью, все ненадолго смешалось в Токовце. На улицах, разбрасывая клочья свалявшейся шерсти, грызлись собаки; у парней и девчонок ошалело мутнели глаза, раздувались ноздри, а ребятишки, забывая родительские наказы, приходили домой затемно, в мокрых шубенках, и пахло от них псиной. Именно в эти дни видели, как почтарь Кирька обнял почерневший ствол ветлы, крепко поцеловал его и рывками пошел дальше, наваливаясь плечом на упругий ветер.

Над селом растревоженно орали грачи. Женщины, поехавшие в заречные луга за сеном, вернулись порожняком и рассказывали, как у них на глазах с тихим шелестом и звоном сдвинулся кусок занавоженной дороги и в темной щели заиграла на ветру бойкая волна.

А там и пошло!

Смывая в городах намерзшие помои и золу, рванулись снеговые ручьи, и уже не тихий шелест и звон доносились с реки, а тяжелая, трудная возня льдин, заставлявшая токовчан изумленно качать головами:

— Ну и сила!

Потом все постепенно вошло в свою колею. Улеглись порывистые ветры апреля, напористое майское солнце уже [illegible] первую тоску о дожде, и вдруг опять вся жизнь была [illegible] новой радостью, сильнейшей, чем весна.

Под утро село было разбужено набатным звоном. Лю-

ди выскакивали на улицу полураздетыми, хватали на бегу топоры, багры, ведра. Старухи крестились в темные углы. Но это была не тревога. Кирька, поймав по своему детекторному приемничку весть о победе, не утерпел — ударил железным болтом в вагонный буфер...

К приезду Аверкия Настасья готовилась, как к празднику. Были забыты безрадостные дни на кордоне, жизнь стала для Настасьи шире, светлей, как в доме, где после долгой зимы вымыли и растворили все окна, наполнив его солнцем, сквозняком, запахом молодой листвы, — и она с радостью и нетерпением готовилась принять в эту жизнь мужа.

3

Вернувшись с войны, Аверкий как ни скучал по семье, а со станции завернул сначала на кордон. Сторожем он остался доволен: бревна в срубе лежали одно к одному — звонкие, гладкие — и на солнечной стороне все еще плакали тягучими каплями янтарной смолы; хозяйственные пристройки тоже были как новенькие, но пашня, огород, лужки заросли ежами сосновых побегов, кустарником, травой и были так удручающе грустны в своем запустении, что Аверкий не чувствовал ни малейшей радости от встречи с домом. На время он даже забыл, что теща его умерла, что изба в Токовце теперь тоже принадлежит ему и Настасье и что он сам давно уже одобрил поступок жены. Он ходил вокруг заброшенного кордона и никак не мог взять в толк, почему Настасья, которая пятнадцать лет бок о бок с ним рвалась на работе, чтобы всему здесь они имели право сказать «мое», — почему она бросила все это и ушла к чужому двору. Скорей с недоумением, чем с укором, спрашивал он ее позже об этом. Она равнодушно поводила плечом.

— По ночам боязно было.

— Только и всего?

— Ай мало? Страсть ведь, как боязно-то было. Сплю ночью — и вдруг словно кто в бок толкнет. Проснусь и слушаю, как на дворе корова вздыхает. И Устя проснется, спросит: «Ружье-то у тебя мама, заряжено?» — «Как же, мол, не заряжено-то, спи!» А сама прижмусь к ней и лежу. Так и ушли в село.

Аверкий опять ничего не понял. Что-то новое появилось не только в характере, но и во внешнем облике жены. Он

привык видеть ее всегда раздраженную от усталости, с жи[лкой] [ве]сен, с большим животом под ломким от печной [сажи] [фар]туком, со строгим и темным, как старая икона, [лицом], а теперь перед ним была спокойная опрятная жен[щина], которая и платок-то завязала не на подбородке, а, как [молодая], на затылке, в обтяжечку.

— Изба-то совсем твоя? Смотри, прочно ли дело? — допытывался он.

— Мамашина воля. Она завещание оставила.

— А ты в колхоз, значит, вошла...

— А то нет! Бросить бы нам, Ильич, лесную берлогу-то.

— Ну-ну! — хмурился Аверкий. — Не больно барышно в вашем колхозе-то. Ты покуда оставайся, а я кордона не брошу. Лишний грош карман не тянет.

И, только поверив, наконец, что изба действительно перешла к Настасье, он успокоился и по-своему объяснил перемену в жене:

«Хо-зяй-ка!»

На третий день он уговорил Настасью поехать с ним на кордон, чтобы подновить к зиме на сторожке крышу. Стояло погожее утро бабьего лета. Ехали мимо изумрудных озимей, мимо буро-красной гречи, мимо жухлых картофельников, и Настасья вся отдалась печали, которой всегда полны такие дни с летящей в ясном небе паутиной, с грачиными стаями на горизонте, с мягким и ласковым теплом последнего солнца.

— А я летось лосей видела, — сказала она, задумчиво щурясь на прозрачную синь неба. — Ехала в Демидовку [на] обратом, а они с Валежной кручи спустились, матка и два теленочка. Теленочки рыженькие, как у коровы. Я думала, они серые, ан рыженькие. Такие славные телята! Перешли мне дорогу и в чащу потрусили... Вспомнила я, как свалил ты тогда лосиху-то да и топором ее...

— Лося свалить дело нехитрое, — заметил Аверкий. — Концы спрятать мудрено.

— Слышь-ко, Ильич, — повернулась к нему Настасья. — Бросил бы ты, ей-богу, этот кордон. Не впрок он тебе. Жадный ты, хватачий. Дошь лес, как корову. И все больше да больше тебе надо. А ведь все-то не ухватишь — рук не достанет. Так и изойдешь завистью.

— Что-то не пойму я тебя, баба, — сурово и подозрительно сказал Аверкий, косясь на нее.

— Ну, ни к чему, — вздохнула Настасья.

— [Ду]ра — баба и есть, — усмехался и качал головой

Устя шел во[сь]
са была она см
цыгански загадо
— Ты почем
Аверкий. — О ч
Слова у нее не д
Устя в ответ
брови, но зелено
наково: задумчи
— Ну, чего
же других, — вс
И Аверкий,
хозяина дома и
чительный окр
— Замуж ее
К дочери он
гда порождается
щей в хозяйстве
себя неудачнико
лежавшее ему, и
добытчица, верто
лость о мальчи
А дальше. Что
Сказал, зевнул

Аверкий. — Не можешь ты своим куриным умом сообразить, что на кордоне — оклад, потом — земля, покос, дрова. А в колхозе много ли ты заработаешь? Ну, скажи, ежели уж учить взялась, много?

Настасья молчала. Война подточила колхоз, и вот уже третий год подряд на трудодень выпадало лишь немного картошки да горсточка проса. Нечем ей было крыть веские доводы Аверкия.

И в тот же день, спрятавшись ото всех на погребице, припав лбом к холодному косяку, Настасья плакала, почуяв, что надеждам ее не сбыться никогда.

По чернотропу Аверкий уже переехал на кордон и лишь изредка стал наведываться в село за какой-нибудь надобностью.

Так и раскололась их жизнь — словно полевая торная дорожка разбежалась на две.

4

Усте шел восемнадцатый год. В непутевого деда Дениса была она смугла лицом, черна волосом и как-то по-цыгански загадочна нравом.

— Ты почему молчком живешь? — приставал к ней Аверкий. — О чем думаешь-то? Ну и дитятко уродилось! Слова у нее не дощупаешься.

Устя в ответ только чуть приподнимала густые широкие брови, но зеленовато-серые глаза ее всегда смотрели одинаково: задумчиво, горячо и потаенно.

— Ну, чего ты пристал к ней! Девка как девка. Не хуже других, — вступалась за дочь Настасья.

И Аверкий, утративший с годами властную твердость хозяина дома и главы семьи, только ворчал на этот непочтительный окрик:

— Замуж ее пора, гладкую...

К дочери он относился с тем презрением, которое всегда порождается в корыстных душах к женщине, занимающей в хозяйстве второстепенное место. В детях он считал себя неудачником. Устю он любил, как любил все принадлежавшее ему, но с самого ее рождения усвоил, что это не добытчица, вертопрах, журавль в небе, и продолжал жалеть о мальчике. Уж этот был бы настоящим наследником. А дочь... Что дочь! Надев длинную юбку, кривляется на селе ловит каких-то козявок, прикалывает эту гадость булавками на картон и вообще занимается черт знает чем.

Замечая на себе недружелюбные, насмешливо-презрительные взгляды отца, Устя бессознательно сторонилась его, оберегая свой интимный мир от грубого и неуважительного вторжения. Эта усмешка, как липкая грязь, пачкала все, что было для нее святым. Она собиралась с подружками на воскресник в колхозный сад, и Аверкий, прикрыв под усами усмешливые губы, обязательно говорил: «Вы-ка жнет на вас, дурехах, председатель-то. Трудодня небось не запишет...»

Устя возвращалась из клуба после репетиции возбужденная, полная волнения, но сладкого предвкушения артистического успеха и неизменно слышала от отца: «Ты бы лучше на базар с молоком съездила, чем пыль-то в клубе подолом сметать...» Она выбегала поутру на крыльцо, босая, счастливая, с туманом смутных снов в голове, окатывала ладонями седую полынь у плетня, умывалась жгуче-студеной росой, и снова ее радость, как на преграду, натыкалась на отцовскую усмешку: «Росой да через серебро умываться — бела будешь. Мойся, мойся, а то черна, как головешка. Отмоешься — замуж скорей возьмут...»

Гостины и как-то мучительно-стыдны были для Усти дни, когда отец приезжал в село.

А тот по целым неделям жил теперь дома, не наведываясь на кордон. Хозяйством он там уже не занимался — землю вокруг кордона запустил, потому что уже не в силах был поднять ее и потому что на сельской усадьбе земля была лучше, скотину держал тоже в селе, где Настасья на трудодни колхозница пользовалась выпасом, и только в страдную пору покоса увозил с собой Устю, чтобы та помогла ему выкосить лесные полянки, окрайки и просеки.

— Стари-и-ик, уйми-и-ись! — увещевала его Настасья. — Ну почто тебе это сено с палками? Я в колхозе чистую получу — чистый мед. Под крышу сеновал забьем.

— Нишь, забогатела! И это сгодится, — ворчал Аверкий. Не в его природе было проходить мимо того, что само плыло в руки...

Летом заместил к Аверкию новый объездчик Ванька Жучков. Был он парень пустой, хвастливый, ломал перед глазами большого начальника и нагло вымогал у них водку. Кроме того, у него была еще одна особенность — всегда окружающим большие неудобства. Начнет ли что-нибудь, он тут же сбивался на другое и вместо человеческого разговора получ

налась какая-то чудовищная по своему изнурительному воздействию на собеседника болтовня без конца и смысла. Да и собой был Ванька неприглож: пустоглазый, с вдавленным переносьем, поросячьей щетинкой на белом подбородке и бледными, точно нежившими, губами.

Вместе с Аверкием он приезжал в Токовец, садился за стол и сразу же заводил свой бестолковый разговор:

— Присмотрел я, значит, собаку, купил, поехал к Демину пробовать. Стой, говорю! Я тебя, милака, захомутаю, ежели догляжу. Дрова сейчас на базаре почем? По сто куб, да? Туда-сюда съездишь, там-сям выпьешь, домой тоже надо. Отец ругается, а я ему — брось. Маленький я, что ли?

Первой его болтовню обычно не выдерживала Настасья. Хлопнув дверью так, что сломанные ходики, точно испугавшись, начинали неступленно тикать, она уходила в горницу и, сердито расшвыривая там по кровати подушки, кричала нарочно громким голосом:

— Устинья, спать! Смотри, завтра рано подыму.

За столом перед ополовиненной поллитровкой оставались Ванька и Аверкий.

— Я ему прямо сказал — ты, Кузьма, держи хвост дудкой. За собаку я тебя с потрохами съем, — болтал Ванька, хрустя соленым огурцом. — Мне какая от этого выгода? Смотрю — новую бескурковку купил. Я его прижму, субчика, ежели замечу.

У Аверкия давно уже смыкались глаза, но Ванька после каждой фразы делал короткую паузу, ожидая от Аверкия согласного кивка, и тот кивал, поддакивал, ничего не понимая, пока не засыпал прямо за столом.

В тот год Аверкий рано увез Устю на кордон. Косить еще не начинали, но он сослался на то, что в сторожке грязь, клопы, тараканы и всю ее нужно прошпарить кипятком.

Настасья отпустила Устю неохотно.

— Ты, старик, вижу, не дело затеял, — напутствовала она Аверкия. — Зачем Устинью с Ванькой сводишь? Думаешь, я слепая. Муж с женой, что вода с мукой — сболтать сболтаешь, а разболтать не разболтаешь. В этом деле ошибиться нельзя.

— Эх, мать, мать, — укоризненно качал головой Аверкий. — Хоть и поставили тебя бригадиром, а ума ты за свой век не нажила. Ведь задушит он меня, как мышь какую-нибудь, ежели Устя за него не пойдет.

— Чего ты загибаешь, старик...

— Ничего не загибаю. Кто я без объездчика? Ноль без палочки. Поленом гнилым не могу попользоваться. Тут нужна механика... Не успели, скажем, фабрика или гортоп вывезти в срок дрова, сейчас лесхоз тут как тут. Эти дрова по закону уже государственные. А сколько их не вывезено — лесник да объездчик ведают. И захочет объездчик леснику потрафить — потрафит, а не захочет — свищи в кулак.

— Уж точно — механика! — усмехнулась Настасья.

— Про то и говорю. Будет Ванька зятем, мы с ним такие дела завертим — тысячные!

— Ну и попадетесь вместе.

— Небось. Так тонко исделаем — комар носу не подточит.

— Я тебе, Аверкий Ильич, вот что скажу, — нахмурилась Настасья. — Брось ты свои темные дела. Не в струю они нашей с Устей жизни. А не хочешь по-людски жить, честно да прямо, вот бог, а вот порог.

— Настасья! — рассвирепел Аверкий.

— Ну что Настасья? Была Настасья без счастья, да нашла в одночасье.

После этого разговора Аверкий, обычно заискивающе почтительный с объездчиком, стал встречать его сухо и неприветливо. «Одна болтовня с тебя, милый, — думал он, слушая Ваньку. — Элак я только водку зря травлю».

Надо было показать, что он недоволен объездчиком, и, как только грязно-белая Ванькина лошадь появлялась из-за сосен, Аверкий делал вид, будто занят работой и ему страсть как не хочется отрываться. Он с маху тыкал на стол посуду, хлеб, закуску и грубо говорил:

— Садитесь, что ли! Нечего там топтаться.

Они молча выпивали по первой. Устя сидела в сторонке, осторожно прислонясь к печке прямой спиной.

— Видел я сегодня в овраге синюю глину, — заводил Ванька. — Это-то был, значит, у меня дед, гончар. Так вот, знаешь, сколько мог выпить? У бабы одной, Краюхой ее звали, самогонный аппарат был. Ух, смешная баба! Как-то купался я с ребятами по-над речкой, глядим — сивая кобыла ее в воде чуть ли не по самый хребет...

Аверкий громко, протяжно зевал и, направляясь к двери, бросал на ходу:

— Пой и собаку привязать, надсаду эту. Лошадь вашу удушила бы.

Выйдя, он тихонько подкрадывался к окну и заглядывал в сторожку. Ванька все так же сидел за столом, чуть повернувшись к Усте, наливал стопку за стопкой и говорил, говорил, говорил... Назад Аверкий уже не возвращался — заваливался в сенной сарай спать.

— А ты, парень, рохля, — сказал он однажды Ваньке, решив, наконец, действовать в открытую. — Вот уберемся с сеном, уедет Устя к матери — забудь тогда девку. Хочешь, чтоб твоя была — не зевай. Ведь каждый вечер с глазу на глаз в сторожке-то остаетесь. После этого она уж никуда от тебя не денется, собачкой будет бегать. Учи вас, несмышленышей...

В тот вечер Аверкий уснул рано и, как всегда на закате солнца, спал тяжело, неспокойно. Когда он проснулся, из дверного проема, перечеркивая наискось густые потемки сарая, падал лунный свет. В его полосу попадали большие корявые ступни Аверкия, и он даже вздрогнул от испуга, увидев, какие они белые, точно неживые.

Чтобы не заронить огня, он сел на порожек и закурил.

Над лесом висела чуть подтаявшая с одного бока луна. Ее свет зажег на поверхности всех предметов холодное зеленоватое сияние, и оно мерцало и на коньке тесовой крыши, и на стволах сосен, и даже на спине Ванькиной лошади, оцепеневшей с опущенной долу мордой.

Что-то тупо стукнулось изнутри в стену сторожки.

— Папаня! — раздался оттуда приглушенный крик, и во дворе на него заливисто откликнулась собака.

Дверь в сторожку распахнулась, но ее опять с силой захлопнули. Аверкий бросился на крыльцо, накинул дверной пробой на петлю и сунул в нее железный костыль, висевший тут же на веревочке.

В дверь тяжело, должно быть всем телом, колотилась Устя.

— Папаня! Что же вы деласте! Папаня!..

Потом на секунду все стихло, и Аверкий, прижавшись ухом к двери, услышал, как Устя, прерывисто дыша, сказала:

— Не подходи, гадина!

— Ишь ты, сдурела! — испуганной скороговоркой забормотал Ванька. — Брось... Брось, говорю! Не тычь в человека... Выстрелит невзначай. Нашла, дура, игрушку... Брось!

Аверкий выдернул костыль и распахнул дверь. Едва не сбив его с ног, Устя метнулась на крыльцо, белой те

тыо пробежала через залитый светом луны двор и скры-лась за серебристыми стволами сосен.

Аверкий поднял с земли брошенное ею ружье.

Ванька, хоронясь за лошадью, дрожащими руками рвал от балясины узду.

— Ну и теля же ты, парень, — презрительно сказал Аверкий. — Дурак. Недотепа. Суслик.

Чтобы как-нибудь избыть душившую его злобу, он вскинул к плечу ружье, прицелился в ущербный диск луны и резко рванул спуск.

5

По звонкой пленке молодого льда на пруду ветер мел сухие листья. Пруд, как чаша, собиравшая в себя дары осени, постепенно пополнялся золотым лиственным тле-ном, и вскоре ветер начал выхлестывать его через край, мотовски разбрасывая по опаленной первыми заморозками траве.

Утром к пруду подошла лиса. Она была из породы огневок, и, когда солнце холодным лучом скользнуло по ее спине, эту рыжевато-красную вспышку заметили с голой березы сороки, тревожной трескотней предупреждавшие об опасности всех, кому она могла угрожать.

Лиса хотела пить. Из-под ее лапы короткой судорогой пробежал от берега к берегу поющий звон, лед прогнулся, но не лопнул. И тогда она начала лизать его. Сороки не мешали ей. Они не имели памяти и, забыв про опасность, о которой сами предупреждали, слетели с березы на зем-лю клевать бруснику.

И все-таки они не дали лисе насытиться скупой влагой пруда. Их трескотня предупредила мир о новой опасно-сти. Лиса вымахнула на крутой взлобок берега и рассте-лилась в беге по ржавой стерне полей, похожая на пламя костра, сорвавшееся с места, и всем на удивление несу-щееся к застывшей синеве осеннего горизонта.

Из леса на крупной сильной кобыле выехал верховой. С хрустом руша копытами лед на лужах, лошадь прошла мимо пруда, мимо вертевшихся на березе сорок и, не обра-тив на них внимания, длинным размеренным шагом про-должала свой путь к селу, которое красновато поблески-вало своими окнами сквозь голый березняк.

Верховой этот был Аверкий. Он заметно постарел — усы, поредевшие, истончившиеся, оставленные только по

многолетней привычке, уже не украшали его сухое лицо; на горле сбежались складки дряблой кожи, виски запали, но все еще твердо и остро смотрели зеленые с желтым крапом лыковские глаза и уверенно-тяжела была рука, державшая поводья.

Когда Аверкий выехал на широкую улицу села, у позеленевшего колодезного сруба стояла Устя и, чуть согнувшись набок, старалась поддеть коромыслом дужку ведра. Аверкий подъезжал к ней сзади, но под копытами лошади хрустела приморожепная трава, и Устя, вздрогнув, оглянулась на этот звук.

— Мать дома? — угрюмо спросил Аверкий.

Устя не ответила. Она уже справилась с ведрами и быстро пошла к избе, чуть приседая на тонких ногах, которые свободно болтались в разношенных и загнувшихся зубчатыми раструбами валенках. Лишь на крыльце, став к Аверкию вполоборота, она тихо сказала:

— Не тревожили бы вы нас понапрасну. Чего же теперь ходить?.. А мамы нет. В город на совещанье уехала.

Дверь захлопнулась, и в сенях загремел деревянный засов.

Не слезая с лошади, Аверкий ждал, ему почему-то казалось, что Устя стоит за тонкой наружной дверью.

— Дочка,— глухо сказал он.— Неуж у тебя об родном отце душа не болит? Ведь один я на кордоне, как сыч. Помру, глаза прикрыть некому будет.

— А вы водки поменьше пейте. Оно, глядишь, и проживете еще лет до ста, — ответила из-за двери Устя.

В сенях послышались ее удаляющиеся шаги, и, точно обрезав их, тупо стукнула другая дверь.

Аверкий рванул поводья. Лошадь рысцой вынесла его за околицу и снова перешла на свой длинный размеренный шаг.

Уже отпотела трава, на ней засверкала морозная роска; солнце до самой подошвы позолотило соломенные омсты; сытые зобастые вяхири летели от колхозных токов к лесу, а он все ехал по горбылистой дороге, не спеша возвращался на опостылевший кордон. Над лесом, грозя закрыть солнце и распространяя в воздухе запах снега, громоздилась туча.

Аверкий, щурясь, глядел на нее из-под ладони. Близка уже и его зима, а он остался один, совсем один, как старый беззубый волк в глухом логове. После той ночи, когда Устя убежала с кордона, он долго не появлялся в селе, по-

тем решил сделать вид, что ничего не произошло, выкопал из ледника кусок мороженой лосятины и поехал домой. Там он бросил мясо в кухне на стол, сел на лавку и спокойно, как только мог, сказал жене:

— Гостинец привез. Кинь-ка на сковородку.

Настасья подошла и наотмашь хлестнула отмякшим мясом Аверкия по лицу. И он даже не пошевельнулся, даже не вытер с лица мясной сок...

С тех пор прошло почти полгода. Тоска по людям, которой маялась когда-то на кордоне Настасья, подстерегла и Аверкия. Он стал боязлив, суеверен. Вот и теперь он вздрогнул, когда под ноги лошади кинулся уже побелевший к зиме заяц, потянул поводья в сторону и долго плутал по объездным дорогам, прежде чем попасть на кордон.

Там его встретил полудикий пес, дальний потомок той Шельмы, которую он впервые привез сюда много лет назад.

Аверкий расседлал лошадь, затопил печь и пристальным тяжелым взглядом уставился на огонь, теребя мягкие уши пса, пробравшегося к человеческому теплу.

За окном уже кружились белые мухи.

1958

Каникулы

Никита Антонович Батраков — учитель русского языка и литературы в селе Лужки — ждал на каникулы сына-студента.

Уже два года Роман не был дома. Отцу он редко, но обстоятельно писал о Третьяковской галерее, об исторических, литературных, технических музеях, о театрах, концертных залах, публичных библиотеках, и у Никиты Антоновича сложилось убеждение, что сын на верном и прямом пути. Впрочем, зная Рому, зная его твердый, целеустремленный характер, иначе и нельзя было думать. Еще в школьные годы с разумной сдержанностью относился он ко всему, что могло отвлечь его от намеченной цели, а этой целью, этой путеводной звездой его жизни были глубокие, всеобъемлющие знания.

Вся семья Батраковых, затаив дыхание, ожидала своего любимца. Учителю виделось, как он и сын сочно ширкают в лугах косами, или, возвращаясь с охоты, ночуют в чужой деревне, а на рассвете резвый летний дождь барабанит по крыше сарая — они просыпаются, садятся на пороге, курят и говорят о новых веяниях в педагогике, о Тургеневе, о Москве, о международной политике.

Дед Антон стал в эти дни чаще слезать с печи, садился у окна и дрожащими пальцами вил волосяные лески. Мать — Анна Васильевна — была вся в заботах о простокваше, студне, цыплятах. И даже квартирантка, молодая учительница Елена Петровна Яхонтова, недавно поселившаяся у Батраковых с трехлетним сыном Аликом, разделяла это общее возбуждение, безотчетно питая, быть может, какие-то свои, вдовьи надежды.

И вот Роман появился в Лужках.

Был мертвый деревенский полдень, когда в лопухах под плетнями сонно стонут разморенные жарой куры да мутноглазые собаки вяло тявкают вслед редкому прохожему.

Алик — тоненький, гибкий мальчик,— играя на крыльце

ческого дома, первый встретил долгожданного гостя.

В сером костюме, с чемоданом в одной руке, с пыльником, перекинутом через другую,— он стоял на нижней ступеньке крыльца, улыбаясь смотрел на Алика, и тот, обычно застенчивый и диковатый с незнакомыми людьми, вдруг тоже улыбнулся и доверчиво спросил:

— Вас как звать?

— Не знаю,— вздохнул гость.

— Так не бывает,— подумав, сказал Алик.

— А вот бывает. Потерял я свое имя. Обронил где-то тут в траве и не нашел... А тебя как звать?

— Алик... Какое же оно у вас было?

— Да вот такое,— показал гость из-под пыльника раздвинутые на четверть пальцы,— длиненькое, зеленое...

Чувствуя, что начинается какая-то интересная, неведомая ему игра, Алик соскользнул с крыльца и обвел жестом прозрачной руки лужайку перед домом.

— Здесь потеряли?

— Здесь.

— Ну, я вам найду его,— пообещал он, и гордый тем, что оказывает покровительство этому большому и, наверно, очень сильному человеку, взял его за рукав и повел в дом.

Утром, чуть стало светать, Романа разбудил дед Антон.

— Ну-тко, хватит спать-то,— сказал он, присаживаясь у кровати и кладя ему на грудь сухую кривопалую руку.

— Что, дед, рыбу пойдем ловить?— сонно пробормотал Роман.

— Сходим, сходим, я лесок наплел. Отец-то косить тебя ждал. А мы сходим...

Роман тряхнул головой и сел на кровати.

— Пойдем, дед, сейчас.

— Куда это вы собираетесь?— спросил учитель, входя в горницу.

Человек несокрушимого здоровья, он выглядел значительно моложе своих шестидесяти лет, а блестящая бритая голова, пышные несвалявшиеся усы и сурового полотна рубашка, вышитая по вороту и подолу ярким крестиком, сообщали всему его облику ощущение чистоты и свежести.

— Ты, дед, не сманивай Ромку, мы с ним косить пойдем,— сказал он.— Пойдешь, студент?

— Я чувствую, что умру, если сейчас же не закину удочку,— засмеялся Роман.— Ты подожди денек-другой.

До сих пор Никита Антонович временил с покосом,

зная, что лишит сына особого, не всем понятного удовольствия отмахать косой, глотая соленый пот, от зари до зари, а вечером дотащиться петляющими шагами до вороха свежего сена и нырнуть, как в темный омут, в глухой, мгновенный сон. Но больше он не мог ждать. Сенокосная пора отходила, колхозники давно уже выметали стога, а на его участке все еще колыхалась высокая густая трава, увядая от губительной ласки горячих ветров. В Никите Антоновиче заговорила неистребимая крестьянская природа, ревнивая к порядку в хозяйстве.

— Ну, ждать да годить — без порток ходить,— ворчнул он, имея пристрастие к слову крепкому и вескому.

Из боковушки вышла квартирантка Елена Петровна, маленькая крепконогая женщина.

— Анна Васильевна ушла корову выгонять,— сказала она.— Приказала не пускать вас никуда без завтрака... Я сейчас самовар поставлю.

— Не надо самовар,— улыбнулся Роман.

Он шагнул за Еленой Петровной в кухню; не присаживаясь к столу, выпил два стакана молока.

— Пойдемте с нами ловить рыбу,— вдруг предложил он.

— Я?..

— Ну да, вы. Утро на реке — это... это... Видите, я даже захлебываюсь от восторга, до чего это прекрасно. Пойдемте?

С тех пор, как ее бросил муж и пронзительно жгучее горе постепенно перешло в обжитую, привычную боль, Елена Петровна стала ждать, что в ее жизнь войдет сильный, ласковый и добрый человек, любовь к которому уже никогда больше не принесет ей страданий. Теперь она подумала, что, может быть, перед ней именно такой человек, и, стыдясь своей податливости, тихо прошептала:

— Пойду...

К реке вела утоптанная до каменной твердости и влажная от росы дорожка. Дед Антон, одетый в солдатские штаны, обвисшие сзади, и огромные валенки с самодельными калошами из красных автомобильных камер, шел впереди, и даже по его спине было видно, что старик чем-то недоволен.

— Полезай, что ли,— недружелюбно сказал он Елене Петровне, подтягивая за цепь неуклюжую плоскодонку, сбитую из просмоленных досок.— Какая уж ловля с бабой...

Из-за синей полоски леса солнце уже выбросило плоский пучок лучей, позолотивших тонкие волокна облаков, а на западной стороне неба еще таял серпик луны, подрагивая в потревоженной ударом весла воде. В этот час, когда еще не жарко, когда все кругом так свежо, не утомлено и чисто, особенно ясно ощущаешь в себе жизнь и даже замечаешь, что ты дышишь — так глубоко и могуче проникает тебя колкая струя воздуха.

Но всем этим наслаждался, казалось, один Роман. Дед Антон потускнел, обмяк и маленьким комочком свернулся в носу лодки, а Елена Петровна мучительно соображала, чем могла обидеть старика.

Вскоре она забеспокоилась, что без нее может проснуться Алик, и они вернулись.

Мальчик, действительно, уже проснулся и плакал, сидя без штанишек на лавке. Елена Петровна порывисто прижала его к себе. Ну как она могла оставить это маленькое хрупкое существо незащищенным от таинственных детских страхов, возникающих из каждой тени в углу, из каждого шороха за печкой! Она покаянно целовала его худенькие плечи, шею, лицо, но он уже успокоился и с улыбкой тянулся к Роману.

— Покажите мне рыбок. Они еще живые, покажите!

Скользнув на пол, он присел у связки рыбы, потрогал пальцем остекленевшие глаза тощей плотвички.

— Эта мертвая. Можно, я отдам ее кошке? А эта шевелится. Я пущу ее в бочку с водой, хорошо?

Роман разрешил, и Елена Петровна благодарно посмотрела на него.

За полдень вернулась с колхозного поля Анна Васильевна. Всю жизнь знавшая только самый простой, ясный в своей непосредственной полезности труд хлебороба, она не понимала сына, его интересов, разговоров, книг, и поэтому относилась к нему с робостью и благоговением, как относятся к существу высшему, непостижимому.

Желая напомнить ему о том, что надо помочь отцу, она долго набиралась решимости.

— Конечно! — с готовностью сказал Роман, отбрасывая книгу. — Идемте сейчас же!

В Десятины (так по давней привычке называли луг, где [illegible] отводились покосы для своего хозяйства) [illegible] все вместе, оставив домовничать деда Ан[illegible]. Он чувствовал себя нездорово и тихо стонал на

Впереди бежа-
достей этого зали
шался к Роману
то с пером птицы,
будь интересная и
В Десятинах у
тые, густо обмета
кал косой по трав
из пересохшего го
— Пить принес
— Пей, отец,
берестой, сказала
смешкой, установи
«Пей, отец, пе
и на короткий миг
войному деловито
Было жарко,
поднимался пар —
густо струится на
щее сено, которое
лой прелью, и эт
лову, путал мысли
— Хватит. С о
пут,— сказал Ром
Отойдя в тень
заснул.
— Ты уж не
евна.— Ни свет, н
ты мучаешь.
— Вечно вы
новец.
Когда упала ж
нувшись, сам пре
почевать в Десят
— Сейчас мы
етился учитель, з
гиге нам дровец
Все разошлись
тки, кизяк, а Ник
кий костерок.
Набрав охапку
Елена Петровна
как вдруг высок
свет.

Впереди бежал Алик, веселый, открытый для всех радостей этого залитого солнцем мира. Он то и дело возвращался к Роману то с одуванчиком, то с гладким камешком, то с пером птицы, надеясь, что опять завяжется какая-нибудь интересная игра.

В Десятинах учитель, отважно подставляя солнцу крутые, густо обметанные крупными веснушками плечи, шикал косой по траве. Увидев домочадцев, он хрипло выдавил из пересохшего горла:

— Пить принесли?

— Пей, отец, пей,— подавая ему кувшин, обернутый берестой, сказала Анна Васильевна с дружелюбной насмешкой, установившейся у нее в общении с мужем.

«Пей, отец, пей,— повторила про себя Елена Петровна и на короткий миг ей стало грустно от зависти к этому спокойному деловитому счастью.

Было жарко, сухо; от ржавого лугового водоемчика поднимался пар — казалось, накаленный воздух лениво и густо струится над землей. Косы быстро сбивались; вянущее сено, которое ворошили женщины, припахивало теплой прелью, и этот дурманный запах слегка кружил голову, путал мысли.

— Хватит. С отвычки у меня, отец, руки плетьми виснут,— сказал Роман.

Отойдя в тень чахлых кустов ольшаника, он лег и сразу заснул.

— Ты уж не неволь его, отец,— сказала Анна Васильевна.— Ни свет, ни заря дед на рыбалку увел его, а теперь ты мучаешь.

— Вечно вы с жалостью,— проворчал Никита Антонович.

Когда упала жара, Роман ходил к реке купаться, а вернувшись, сам предложил, к радости Никиты Антоновича, ночевать в Десятинах.

— Сейчас мы дымничок против комаров устроим,— суетился учитель, забыв про все обиды.— Вы, бабы, помогите нам дровец набрать и ступайте домой, ступайте...

Все разошлись, собирая по кустам сухие корневища, ветки, кизяк, а Никита Антонович и Алик запалили маленький костерок.

Набрав охапку корявых сучьев и неловко прихватив ее, Елена Петровна шла лугом на мерцающую точку костра, как вдруг высокая тень заслонила от нее этот далекий свет.

— [illegible] — Где же ваши дрова?

Роман молча стоял перед ней, и в глазах его, блестевших в тусклом свете надвигающейся ночи, ей вдруг почудился проблеск какой-то беды.

— Пустите же меня,— без надежды сказала она.

Он чуть отступил, пропуская ее, и вдруг обнял сзади за плечи. На секунду Елена Петровна почувствовала тепло его рук, особенно ясное и волнующее в этом сыром воздухе, пронизанном холодными иголочками росы, но тут же опомнилась, рванулась и, рассыпав хворост, побежала к спасительному кругу света.

Помедлив, Роман вернулся к костру, захватив несколько сучков и хворостин.

— Ты тоже был там? — встретил его Никита Антонович.

— Где? — быстро спросил Роман.

— Да вон, взбалмошная-то, — кивнул он на Елену Петровну, жавшуюся к огню. —Примчалась, как ошпаренная, говорит — волка видела. Ты не видел?

— Нет... какие же тут волки! — засмеялся Роман.

— Вот и я толкую им, что никаких волков тут нет, а они боятся домой идти. Эх, бабы, бабы! — вздохнул Никита Антонович и с сожалением стал расшвыривать костер. — Придется, Ромка, сопровождать их. Не удалось нам с тобой в лугах заночевать...

Утром Роман снова собрался на рыбалку и пропадал на реке весь день.

Вечером Елена Петровна сидела на крыльце. Был душный предгрозовой вечер, когда в траве умолкают кузнечики, и если тишину долго не тревожит какой-нибудь отчетливый звук, то кажется, что жизнь проходит перед глазами, как в немом кино.

Дом учителя стоял возле школы; широкая улица сбегала отсюда к обрывистому берегу реки, и Елена Петровна видела, как из-под него показалась высокая, уверенная широкоплечая стройная фигура Романа. Он подходил все ближе, ближе, наконец вырос перед ней безликой тенью, прислонил к ее дому удочки и сел на крыльцо рядом с Еленой Петровной.

Она старалась уклониться от его руки, ищущей ее плеча, но какой-то подстрекающий голос шептал ей: «Полно! Вот он, сильный, добрый человек, которого ты ждала всю жизнь. Вот его ласковая рука. Вот счастье, простое

спокойное, которому ты завидовала. Иди навстречу ему, не рассуждай...»

Во дворе Анна Васильевна звякнула подойником.

— Уйдем отсюда,— провеяло над ухом Елены Петровны горячее дыхание Романа.

Увлекаемая его рукой, она покорно поднялась и пошла вокруг дома, за каменистые бурьянные холмы, туда, где умирала багрово-дымная заря.

Через несколько дней Роман неожиданно засобирался в Москву. Никиту Антоновича это как-то ошеломило, и, растерянно заглядывая в открытый чемодан сына, словно надеясь найти там ответ, он только пожимал своими крутыми плечами:

— А мы с матерью думали, ты к нам на все лето... В августе на охоту... Это, знаешь ли, того... Не очень складно у тебя получается...

Потом недоумение первых минут сменилось у него угрюмой обидой. Вечером, лежа с Романом на сеновале, он спросил его:

— Значит, решил ехать?

— Нельзя, отец,— заговорил Роман голосом, в котором чувствовалась его обычная мягкая улыбка. — Мне необходимо работать. К аспирантуре надо подойти победоносно, чтобы сразу встать на виду.

Он продолжительно и сладко зевнул.

В сарае душно пахло свежим сеном, тонко гудел невидимый в темноте комар, потом послышалось ровное дыхание уснувшего Романа. И Никита Антонович вдруг с каким-то оглушающим страхом почувствовал, как мало знает он этого человека.

Он поднялся, тихо приоткрыл дверь и в свете луны посмотрел на лицо сына. Оно было мертвенно бледно, но хранило в своих крупных чертах все то же покоряющее мягкое обаяние и было спокойно, как в детском безмятежном сне.

Никите Антоновичу вспомнилось, как Рома, решив выучиться музыке, просил его купить пианино, но он отказал, потому что берег деньги на корову. Тогда Рома извлек из старого игрушечного хлама картонный клавесин и часами разыгрывал на нем несложные мелодии, вызывая таким подвижничеством восхищение и сочувствие окружающих, уговоривших в конце концов Никиту Антоновича купить пианино.

Быть может, и Ромины знания — такой же крючочек,

ловко выставленный обществу, за который оно потянуло бы его ко всяким благам? И неужели сам Рома всего лишь расчетливо-обаятельный эгоист?

Никита Антонович спустился с сеновала, взял косу, и хотя в Десятинах уже все было скошено, ушел туда, чтобы наедине с собой принять или откинуть эту страшную догадку.

Утром Роман, готовый в дорогу, напрасно дожидался отца, который накануне хотел проводить его на станцию. Когда далеко-далеко раздался гудок поезда и ждать уже было нельзя, Роман попрощался со всеми и ушел один.

У крыльца долго стояли Алик и дед Антон, глядя ему вслед. Он только что шутливо простился с ними и ушел, помахивая легким чемоданчиком, а они так и остались под накрапывающим дождем — худенький мальчик в выгоревшей майке и дряхлый старик в обвисших солдатских штанах.

1959

Огуречный агроном

1

Года два назад фельдшер-акушер Сорокин вошел к врачу, Климу Абрамовичу, которого в селе звали Килограммычем, и тот, по своей близорукости не заметив смятенного вида гостя, встретил его радушными словами:

— А-а-а, милости просим. У меня, голубчик, такие рыжички есть — с пуговицу. Ну прямо — подлецы, а не рыжички.

— Какие тут рыжички, Килограммыч, — страдальчески морщась, сказал Сорокин. — Жена у меня помирает. Сам ничего не могу, ничего не понимаю, совсем потерялся.

Пользуясь добротой и застенчивостью Килограммыча, его часто вызывали на дом по всякому пустяшному поводу, но он каждый раз, спеша к больному, волновался до дрожи в руках, и на лице его было выражение ужаса, сомнения, негодования, словно он не мог примириться с мыслью о том, что у представителя рода человеческого смеет что-нибудь болеть. И на этот раз он выронил из дрогнувших рук очки, схватил чемоданишко и без шапки побежал за Сорокиным. Лишь перед дверью больной ему, как обычно, удалось справиться со своим волнением, и к ее кровати он подошел с таким видом, который как бы говорил: «Э, да тут нет ничего серьезного. Я тебя, голубушка, быстро на ноги поставлю!»

Но ободрительный прием Килограммыча пропал впустую. Жена Сорокина была совсем плоха, и даже в том, что ее немедленно отправили на машине в областную больницу, где она умерла, не было, по сути дела, никакого смысла.

Отчего она занемогла? Сорокин думал об этом по пути из города в скрипучем промерзшем автобусе, а через несколько дней, обсуждая тот же вопрос с Килограммычем, сказал:

— От жадности.

И потом, не желая никак объяснить свои странные слова, долго глядел в окно на толстую мартовскую сосульку, истекавшую прозрачными слезами.

2

Вместе с женой избу фельдшера покинул привычный запах парного молока, печеного хлеба, анисовых яблок, и сразу появилось много лишних вещей, которым фельдшер не мог найти применения, и дел, которые при жене, казалось, делались сами собой. Да и вся его жизнь, на взгляд односельчан, пошла как-то набекрень. Он почти безвозмездно, за литр молока в день, отдал свою корову на колхозную ферму, перерезал всех кур, продал овец и на вырученные деньги купил радиоприемник, и в пыльной, запахшей мышами избе его стала играть тихая, красивая музыка.

— Напрасно ты, Матвей Ильич, хозяйство рушишь, — пенял ему в дружеской беседе Килограммыч. — А надо тебе, голубчик, погодя приличное время, опять жениться, потому что без женщины любой дом — сарай, да и сам запсеешь.

— А я и женюсь, не спеши,— спокойно возразил ему на это фельдшер. — Ведь я не парень с гармонью. В пятьдесят-то не скоро женишься. Ну, а хозяйство — им я сейчас заниматься не могу. Я двадцать семь лет с женой каждый день только о хозяйстве и говорил, облызло оно сверх всякой меры.

С тех пор прошло два года; Сорокин не «запсел», как предрекал ему Килограммыч, а, наоборот — помолодшевел: подстриг усы, купил соломенную шляпу и стал ходить на вызовы пешком, говоря, что это полезно для здоровья.

Как-то шел он из дальней деревни от роженицы, прилег под стогом и нечаянно заснул, сморенный жарой и усталостью. Когда солнце, обойдя вокруг стога, оспетило и припекло спящего фельдшера, он заметался, тихо вскрикнул и сел, озираясь по сторонам.

Звенящая сушь стояла над лугами. Воздух плавился, плыл, и казалось, что земля источает какое-то мглистое [illegible] горизонт сиреневой [illegible]

Жара, жара... — думал фельдшер, нащупывая рукой

шляпу.— А что же мне снилось такое? Ах, боже ты мой, хорошее что-то и странное, а припомнить не могу».

Он отыскал наконец в сене шляпу и поднялся на ноги. «Что же мне все-таки снилось?» — напрягал он свою память, шагая по дороге и рассеянно следя за полетом ястреба в белесом небе.

Сон, оставивший по себе какое-то странное, томящее ощущение не до конца испитого блаженства, словно таял, растворялся в текущем по горизонту воздухе, но, чем туманней и расплывчивей становился, тем сильней хотелось фельдшеру вспомнить его.

Когда дорога ушла в сыроватую погребную прохладу оврага, фельдшер почувствовал, что хочет пить. Он свернул на пружинистую овражную тропу, прошел, распугивая желтеньких лягушек, к ручью и, увидев воду, вспомнил, что пить ему хотелось еще во сне.

«Да, да, хотелось пить...» — соображал он, морща лоб, и вдруг облегченно, радостно вздохнул, сразу припомнив весь сон.

■

Снилось Сорокину, что шел он какими-то деревнями с серыми избами, с ивовыми плетнями, от которых тянуло жаркой, сухой горечью, шел по растрескавшейся земле без травы и все искал, где бы утолить мучительную, до боли иссушившую рот жажду. Потом он очутился в просторных сенях какого-то дома, и высокая девушка, в длинной, по самые икры юбке вынесла ему арбуз. «Постой, не ешь,— сказала появившаяся откуда-то старуха.— Ведь мы староверы». И тогда девушка стала сыпать ему на голову из большой деревянной плошки пшеницу. «А теперь сядь за стол, скрести ноги и ешь», — опять сказала старуха. И он жадно ел холодный арбуз кусок за куском, пока девушка вдруг не обвила его шею руками и не стала долго-долго целовать в губы прохладными твердыми губами. И была это уже не просто девушка, а агроном Людмила Петровна... Та самая Людмила Петровна, которую звали огуречным агрономом, потому что в колхозе был еще один агроном — полевод.

«Ерунда, ерунда,— думал теперь фельдшер.— Какие-то староверы, пшеница... И все это от проклятой жары, оттого, что надышался сеном...»

Он давно уже решил жениться на Людмиле Петровне,

но полагал, что эта женитьба произойдет без всяких душевных смут, по доброму и разумному согласию, и теперь был немножко обескуражен тем, что ему могло приключиться такое — ведь давным-давно минуло время, когда, по его собственному выражению, он «ржал весной на сирень и хныкал осенью над опавшими листочками».

«А в стога, должно быть, того... понагребли багульника из болота, неряхи. Надышался. Ишь, какие туманы-то плавают в голове», — думал фельдшер.

И, словно пытаясь смыть глупую, смущенную улыбку, усердно мочил лицо и голову ручейной водой.

4

Он и дальше шел все с теми же туманами в голове.

Полуденное оцепенение разливалось над лугами; с далекого гречишного поля вялый ветерок доносил запах меда; ястреб, кося крылом, еще кружил в вышине; звенели в траве кузнечики; и фельдшер, непонятным образом взволнованный всем этим — в сущности таким обыденным для него и привычным,— продолжал смущенно улыбаться.

Вскоре он дошел до закрайка поля. Здесь росла кучка высоких тонких берез, гнувшихся под тяжестью своей листвы; в тени их, поближе к грече, стояли ульи колхозной пасеки. Навстречу Сорокину из шалаша вышел сторож — длинный, худой старик по прозвищу Тулуп Берданкин,— закивал, заулыбался, попросил закурить.

— Скучаешь, Тулупушка? — ласково сказал фельдшер, сворачивая с дороги. — Ведь ты не куришь.

— Ну ин так посиди, Матвей Ильич, поговорим с тобой, как два хороших человека.

После такого вступления сторож обычно замолкал и уже прочно молчал до ухода собеседника.

Фельдшер пожевал сотового меда, запил теплой водой из бутылки и растянулся на траве. Верхушки берез медленно кружились у него в глазах.

— Тулупушка! — позвал он.

— Ай!

— Женюсь я. Понимаешь, какое дело...

— И то пора, Матвей Ильич. Кого сватаешь-то? Не потай.

— Людмилу Петровну, агронома. Знаешь?

— Как не знать! На что ж тебе хромая баба-то? — простодушно изумился сторож.

— А что мне — призы на ней брать, что ли,— усмехнулся Сорокин.

Он закрыл глаза и вспомнил, как лет десять назад впервые увидел Людмилу Петровну на станции. Ничто не может нагнать на человека тоску с большим успехом, чем вид наших маленьких вокзалов, выкрашенных в какой-то глиняный цвет, с их оцинкованными баками для питья, старыми плакатами ко Дню железнодорожника, с окошечком кассы, заделанным решеткой тюремной надежности. И лицо Людмилы Петровны — большеглазое, бледное лицо — выражало именно эту тоску, сиротскую заброшенность, когда она сидела посреди грязного зальчика на своем чемодане. Потом, в машине, куда набились председатель, фельдшер, его жена, корреспондент из районной газеты, Сорокин все глядел на нее и думал:

«Ну в чем будет здесь твое счастье? Хиленькая ты, некрасивая, одинокая...»

А его жена, со свойственной этой бабище нетактичностью, спросила:

— Ногу-то тебе где покалечило?

И Людмила Петровна, заставив фельдшера еще больше пожалеть ее, тихо ответила:

— При бомбежке, в детстве.

Но к концу пути она освоилась, стала смело зыркать на всех своими глазищами и все расспрашивала председателя о колхозе, о парниках, о библиотеке и даже спросила, есть ли в клубе рояль.

«На черта ей рояль?» — думал фельдшер, с любопытством вглядываясь в ее прозрачное, маленькое, как у белки, лицо.

Потом он узнал, что она отлично играет на этом инструменте. Рояля в клубе не было, но он был в школе, и Людмила Петровна часто играла там по вечерам, когда кончались занятия. Ее слушали и дети, и учителя, и уборщицы. Приходил слушать и фельдшер. А потом долго не мог уснуть, слонялся в лунную ночь туда-сюда под окнами своей избы и скрипел на морозе валенками.

Людмила Петровна легко и быстро прижилась в селе; председатель выделил ей с конного двора лошадь, которую она назвала Сиренью, и целыми днями тряслась в легкой плетушке по огуречным полям, протяжно покри-

— О-о-о! О-о-о, Сирень!

И казалось, что она живет здесь давным-давно, всех знает, и ее тоже знают все от мала до велика.

Как-то в серенький, влажный денек нынешнего лета Людмила Петровна догнала Сорокина на дороге и посадила к себе в плетушку. Она была в косынке, завязанной на затылке, в клетчатой мужской рубашке с засученными рукавами, загорелая, веселая и особенно задорно кричала:

— О-о-о, Сирень!

Когда проезжали мимо сквозного лесочка, Сорокин заметил в мокрой траве шляпку белого гриба. Они выскочили из плетушки и вдруг увидели у себя под ногами десятков семь-восемь ядреных крутобоких грибов. А Сирень тем временем, взяв сразу с места легкой трусцой, пустилась по дороге.

— В конюшню отправилась,— спокойно сказала Людмила Петровна, очевидно привыкшая к таким вероломным выходкам своей кобылки.

Собрав грибы в плащ Сорокина, они двинулись к селу пешим ходом. Шли мимо нежно голубеющего льняного поля, и Людмила Петровна задумчиво говорила:

— Случилось, Сирень бросила меня вот так же километров за десять от села. И шла я пешком целый день, злая, усталая. Думаю, уеду отсюда, уеду... Потом села на копну клевера поплакать и уснула. А проснулась уже вечером. Знаете, бывает такое короткое-короткое время легких сумерек, когда солнце уже зашло, но небо без единой звезды еще прозрачно и светло. Гляжу вокруг и сама не знаю, почему в душе у меня словно белые цветы распускаются. Думаю, ничего радостного в тот день не было — моталась по бригадам, ругалась с председателем. Сирень меня бросила,— так почему же меня радость-то словно на крыльях несет? Нет, думаю, не уеду я никуда. На минуту подумала: отними у меня эти поля, луга, отними дело мое... И даже сердце защемило, так я напугала себя этой мыслью. Как же все это останется без меня? Как я-то буду без этого?

Людмила Петровна остановилась и широким жестом руки обвела голубое поле льна под серебристым мохнатым небом.

Вернувшись тогда домой, Сорокин включил свой приемник, сел у окна и, слушая музыку, думал о Людмиле

«Вот на ней и надо мне жениться. За красотой где уж тлиться, а она будет рада, ей ведь тоже, поди, хочется прислониться куда-нибудь...»

Его воспоминания прервал Тулуп Берданкин. Показывая на мглистый горизонт, где рокотал гром, он говорил:

— Я не гоню, Матвей Ильич, а только надо тебе поспешать. Как бы дождя не напарило.

Фельдшер тряхнул головой и ловко вскочил на ноги.

6

Туча прошла, уронив редкий крупный дождь, покрывший дорогу темной рябью. В широком проеме сельской улицы, за густыми вязами, медленно сгорала ясная заря; над лугами повис туман, и с выгона, сыто, протяжно ревя, потянулось стадо. Сидя у окна, фельдшер глядел на улицу. Там, у своих ворот, хозяйки поджидали коров и громко судачили о всяких пустяках.

«Вот разойдутся, я и пойду», — думал фельдшер.

Уже совсем стемнело, когда он пересек улицу и постучал в дверь избы, где квартировала Людмила Петровна. Ему открыла хозяйка.

— Ну-ка, тетя Мотря, ступай проведай скотину, — сказал фельдшер, шагнув через порог и снимая шляпу. — Мне с Людмилой Петровной поговорить надо.

— Да я все одно недослышу, хоть кричите,— махнула рукой хозяйка, но все-таки взяла ведро и вышла.

Людмила Петровна, сидя за кухонным столом, спокойно смотрела на фельдшера своими огромными глазищами. Он не смутился. Все для него было решено и наперед известно.

— Я, Людмила Петровна, к вам по личному делу,— обстоятельно начал он. — Как видите, я не молодой человек, ухаживать мне вроде уж поздно, поэтому я к вам попросту, с открытой душой. Выходите за меня замуж. Вы одна на свете, я тоже один. Два сапога — пара. Ну? Смеяться надо мной не будете?

Людмила Петровна поднялась. Она еще молчала, но фельдшер вдруг почувствовал, что она ответит отказом. Он и сам не мог сказать, откуда взялась у него такая уверенность, но уже наверняка знал, что будет именно так. Почему с первой же встречи вообразил он, что она нуждается в жалости, что обездолена чем-то и несчастна? Почему? Перед ним стояла совсем не та Людмила Пет-

[illegible], кокю он привык считать ее. Тонкий, с [illegible] чуть-чуть, с тугой и пышной косой, она прямо смотрела ему в глаза, и по особому [illegible] ресниц [illegible] ее [illegible] сдержанно страстному [illegible] в ней угадывалась женщина в лучшей своей поре.

— Ох, Матвей Ильич,— грустно и ласково сказала она,— не по сделке семья строится. А вы мне сделку предлагаете. Мы ведь не сапоги, а люди. Люди!

— Вот и надо по-людски рассуждать,— сердясь на себя, сказал фельдшер.— Время-то старит и меня и вас. Чего ждать?

— Я знаю чего. И буду ждать, сколько придется, хоть несчастной, хоть безответной, хоть короткой любви... А вы-то мне милостыню подать хотели.

«Стыдно, стыдно»,— подумал фельдшер.

— Я уважаю вас, Людмила Петровна,— глухо сказал он.

И вышел, задев плечом за косяк.

6

В эти ночи полоска зари не гасла на горизонте, сообщая небу тусклое зеленоватое сияние, в котором звезды казались какими-то жидкими, точно льющимися.

Фельдшер медленно шел к своей избе. Он уже не чувствовал прежнего стыда и думал не о Людмиле Петровне. Тяжелое, как глиняный ком, сознание, что он обокрал себя, вытравил из своей жизни радость, придавило, ссутулило его, и думал он сейчас о себе, о том, чего уже не вернуть никакой ценой и никаким чудом. Людмила Петровна ждала любви и смело пошла бы навстречу ей, но [illegible] любовь обежал стороной, как лесной гать людское жилье.

Было это давным-давно, когда на сельской колокольне [illegible] колокола, когда крестьяне объединялись в коммуну и единственный трактор марки «фордзон» был у кулака Прокопия Лысого. В те времена скончалась в одночасье вдова Ульяна. Муж ее погиб на гражданской войне, сама она умерла, подпирая колом увязший в грязи [illegible].

[illegible] красивая и своевольная дочь ее Наталья [illegible] парней недоброй, но в горе легко отве[illegible]ого, любя, обманутая им, доверчи[illegible], а там, обозленная, подавленная и

еще более одинокая, пропала из села. Говорили, что она работает «торфушкой» на болоте, но к зиме Наталья опять вдруг объявилась в селе и не одна, а с маленьким сыном, завернутым в какое-то большичное, прошитампованное черными печатями одеяло.

Жила она нелюдимо. И когда выходила к обледенелому колодцу, то смотрела на встречных таким тяжелым, несгибаемым взглядом, что все спешили отвернуться или опустить глаза.

Продышав в замерзшем окне дырочку, фельдшер украдкой следил за ней.

Потом набрался смелости, постучался как-то у ее дверей, но получил отпор.

—Что, цветик! — крикнула ему в лицо Наталья. — Весной пахнуло? Бесишься?

Снега рухнули тогда сразу. Всего одну ночь трудолюбиво, без грозовой шумихи постарался весенний дождь-работяга и погнал из-под сугробов мутные снеговые ручьи, повесил над полями теплый туман, опушил краснотал желтыми барашками.

Фельдшер опять зашел к Наталье. Стоя посреди раскрытого двора и глядя, как она дергает из крыши последние пучки соломы на истопливо, он участливо спросил:

— Как жить-то будешь? Все уж добришко-то проела, что ли?

— А брошу ребеночка в колодец и уйду на все четыре стороны,— насмешливо ответила Наталья.

— Что ты! Этого нельзя! — испугался Сорокин.

— Всему веришь, как маленький...

Чем тронули ее слова фельдшера? Или не было уж сил у нее крепиться более, но только, сев вдруг на ворох надерганной из-под стрехи соломы, она заплакала.

Впервые фельдшер отважился прикоснуться к ней. Он подошел и легонько погладил ее по волосам.

— Ну! Тоже жалельщик нашелся,— мотнула головой Наталья.— Чай, плетут по селу-то, что ты за мной вяжешься, а?

— Пусть плетут. Я ведь не просто так...

— Полно, дурачок миленький,— усмехнулась Наталья.— Иди уж сюда, ладно... Ласковый ты, видно...

И завертела с тех пор фельдшера какая-то бешеная струя. Желанной и непонятной была для него Наталья. Жила то озорно, весело, то плакала о чем-то и целовала его истово, словно расставалась на веки вечные. Про-

[illegible] по ночам на теплом плече своей подруги, фельдшер встречал ее лихорадочно горевший взгляд и слышал шепот:

— Женись на мне, цветик. Любить буду — никакая девка тебя так не полюбит. Только прошлым не кори и сына не обижай...

А он, наголодавшийся в крутые годы учебы, назябшийся за зиму в пустой нетопленной больнице, где жил тогда, думал:

«Сам гол как сокол. Куда ж мне еще такую обузу!..»

И тяжело, угрюмо отмалчивался.

Женился он на дочери мельника, домовитой и жадноватой девке, которая умерла-то, как он утверждал перед Килограммычем, от жадности: поехала зимой торговать на городском базаре в истертом пальтишке, пожалев новую шубу, и, простудившись, занемогла...

А жизнь прожита уже!

Фельдшер опустился на свое крыльцо и долго смотрел на зеленое небо, на льющиеся, зыбкие звезды.

Где-то в этом мире развеена его любовь, и осталось лишь жалеть о скользнувших в вечность годах, не озаренных ею...

1959

Осень, осень...

Ветер уже собрал последние листья с яблонь, и, хотя дни сияют нестерпимым блеском холодного солнца, в саду сиротливо, грустно и даже как-то жутковато, словно на много километров окрест нет живого человека. Сторож Емельян заколотил свой дощатый домик. Девушки из колхоза сгребли в кучи и сожгли палую листву.

Емельян долго смотрел, как они работали, ворошил палочкой костер, грел, протягивая над ним, руки, потом сказал:

— Тучки мелкие, густые: зима будет суровая, морозная.

И оттого, что в деревне совсем по-весеннему горланили петухи, особенно остро чувствовалось, как далека на самом деле весна, как далека...

Разрумяненные ветром девушки, возвращаясь в деревню, пели про любовь-ромашку, а Емельян плелся сзади, путался ногами в своем тулупе и думал, что вот опять настают для него тоскливые, одинокие вечера, когда, натопив жарко печь, он будет читать книгу из библиотеки, или плести никому не нужные лапти, или писать в толстую тетрадь все одно и то же: «Декабря 12. Был мороз. Мело и дуло. Емельян Стуков».

В его деревенской избе было чисто. Он терпеть не мог всякой дряни — клопов, тараканов, даже сверчков — и перед зимой мыл избу кипятком, развешивал по стенам пучки душистой мяты. Всю зиму изба точно ждала светлого праздника. От этого Емельяну было еще тоскливей, но тосковал он не о жене, своей старухе, которая лежала на деревенском кладбище и была вроде бы пристроена, а о дочери, ткачихе Глаше, жившей за пятнадцать километров — в городе. Всегда в эти длинные вечера почему-то начинало казаться ему, что она не призрета там, обижена

...ет, а внучонок Васька бегает в школу по морозу без валенок.

Зато какими желанными, какими отрадно хлопотливыми были для Емельяна дни лета, когда внук приезжал в деревню! Васька дичал на воле, объедался зеленой падалицей, жарил в костре на палочке пескарей, рубил бурьян саблей из старого обруча, и каждая его ребячья затея вырастала для деда в событие, которое можно было переживать, как что-то большое и серьезное, вроде молотьбы или сенокоса. Ненастье они коротали в дощатом сторожевом домике. За рекой катались тяжелые громы, шуршал дождь по толевой крыше, и в домике было особенно уютно, тепло, оттого что на полу сидел Васька и строгал для каких-то своих надобностей палки.

Одного боялся Емельян — вдруг Глафира возьмет и расскажет Ваське про свою старую обиду на деда. Ведь когда-то он выгнал ее из дома и вслед бросил рваный ватник, который она не подняла. Была тогда Глафира уже немолода и некрасива, потеряла надежду выйти замуж, но очень хотела ребенка, так хотела, что ловила на улице чужих ребят и, пугая их, тискала своими большими сильными руками. А потом, проработав как-то зиму на лесозаготовке, пришла к отцу с вестью, от которой тот долго не мог опомниться. Ему казалось, что Глафира опозорила и его, и себя, и весь их род до пятого колена... С тех пор обида точно окаменела в ней. Она отпускала к деду на лето Ваську, принимала отца у себя в городе, но сама с того рокового дня ни разу не переступила порог родительского дома.

— Мать-то, что она там? — исподволь выпытывал Емельян у внука.

— А что?

— Говорит, чай, не езди к деду-то, к старому шуту?

— Нет. Говорит, тут воздух, речка...

— Ну, а про деда?

— Чего?

— Ах, несмышленый какой, прости господи! Про деда про меня то есть, чего говорит?

— А ничего не говорит. Поезжай, говорит, в деревню, там воздух, речка...

— А ну тебя с твоим воздухом!

Затем наступало время, когда Емельян, вздыхая, запрягал вымрошенную у председателя лошадь и отвозил внука в город. Возвращаться в сад ему не хотелось. Туда

Скором времени приходили девушки с граблями, жгли палую листву; ветер начинал тонко посвистывать в голых ветвях; и Емельян перебирался в деревню, поближе к людям.

Нынешняя осень затянулась. Стояла какая-то нелепая погода: снег лег и растаял, речка встала и опять сломалась, и то солнце висело желтым морозным диском в небе, то падал сырой туман, и кругом была грязь, скука.

Емельян пошел в правление, вцепился там в рукав председателя и долго доказывал, какая может произойти для колхоза выгода, если ему, Емельяну, дать капроновой нити и он сплетет к весне невод.

— Понимей, дед, разум,— сказал председатель.— Видел ты в нашей речке путную рыбу, кроме пескаря и уклейки?

— А окунь? — возразил Емельян.— Такой в омута́ каждую зиму скатывается окунь, что страшно на него глядеть: тигр.

Но председатель не стал его слушать, велел идти домой, не мешать.

А зима уже подбиралась к маленькой деревне, завалившейся за голые перелески и пустые поля. Ею дышали ледяные ветры, ею дышали радиопрогнозы погоды, ею дышали подернутые серебристым инеем изумрудные озими. И что-то рано на этот раз заскучал Емельян Стуков. Он купил самую большую лампочку, до отказа повертывал в приемнике регулятор громкости, но ни пятисотваттный свет, ни звук, от которого дрожали стены, не могли вытеснить из избы тягостное присутствие тоски и одиночества.

Как-то утром он появился у валяльщика Семена Акимова и, протягивая ему лучинку четверти в полторы, сказал:

— Вот. Можешь сработать по этой мерке сапоги? Да гляди, чтоб без купороса, а то я тебя знаю: тяп-ляп, а через неделю и поехали твои сапоги, как кисель.

Семен не спеша доел щи, взял лучинку и, снисходя к невежеству Емельяна, усмехнулся:

— Все вы так. Обязательно им без купороса, а того не понимают, что без купороса никакие сапоги не валяются. Без купороса, ежели хочешь знать, в сапоге стати не будет, и получится не сапог, а размазня или еще чего похуже, чего и выговорить совестно.

И он долго распространялся про купорос, пока Емель-

ка не замешало от кислого запаха овечьей шерсти, и он поскорей выкатился на снежный воздух.

Через неделю валенки были готовы. Еще с вечера Емельян заручился у председателя разрешением на лошадь и утром, чуть развиднелось, поехал в город. Грязь на дороге смерзлась в крепкие комья, телега ужасно тарахтела, и когда Емельян попробовал говорить с конем, то у него ничего не получилось: слова прыгали в груди, как горох.

Широкая река под городом уже встала. Смельчаки из заречного села бегали по неверному пороистому льду, но Емельян поостерегся, свернул к мосту и проехал мимо затона, где вмерзшие в лед стояли на зимовке пароходы, катера, дебаркадеры и баржи.

Начал падать снег.

«А валенки-то кстати придутся», — подумал Емельян. Глафира и Васька были дома. Они сидели друг против друга и с азартом резались в шашки. Васька проигрывал и плакал.

— Батюшки! — ахнула Глафира.— Ведь он ее сгрыз! Васька, ведь ты, пострел, шашку сгрыз, у тебя весь рот в чернилах!

Она закатилась басистым смехом, а Васька, увидев, что грызет шашку, вылепленную взамен потерянной из хлеба и выкрашенную чернилами, ударился от обиды в голос.

— И-и-и, дурында,— с укоризной сказал Емельян. — Ведь оно дите, ласки требует, а ты потешаешься.

Он повел Ваську через длинный коридор фабричного общежития, в уборную, держал порошок и мыло, пока тот отмывался и чистил рот, потом они вернулись, и все втроем пили чай в маленькой чистой комнате Глафиры. Разламывая над чашкой толстенные бублики, Емельян долго рассматривал их на изломе, словно не веря, что они настоящие, и хмурился: ему не нравилось, что на Ваське были новые валенки и, стало быть, дедов подарок пришелся некстати.

А за окном уже мутнели ранние сумерки, отсвечивая нежным сиянием первого снега. Глафира стала собираться на фабрику.

— Покорно благодарим за чай-сахар, — поднимаясь, сказал Емельян и церемонно поклонился.

Пора было пора пускаться в обратный путь.

Проехал леса до водонапорной вышки. Здесь

город, отступая от полых вод, выгибался глубокой излучиной, и сейчас она была четко обозначена полосой огней, завершенной огромным кубом голубоватого света. Это сияли дневными лампами фабричный корпус, построенный почти без простенков из одного стекла. За вышкой улица, как в черную яму, уходила в метельную мглу, к реке.

И опять Емельян ехал мимо затона, мимо замерзших дебаркадеров, катеров, пароходов. В их мачтах свистел ветер, через палубы тащилась серая поземка, и единственный фонарь, освещавший затон, только еще резче подчеркивал его холодное оцепенение.

Емельян торопил коня. Всегда есть что-то печальное в заколоченном доме, в остывшем локомотиве, в скованном льдом пароходе, и лучше, если мимо них проедешь поскорей.

1959

Дом под липами

1

Письмо со штампом нотариальной конторы в городе К. уведомляло Николая Николаевича о том, что бабушка его скончалась, завещав ему дом и все свое имущество.

«Роман!— подумал Николай Николаевич.— Нежданно-негаданно герой получает богатое наследство. Ну что ж! Все это можно обратить в деньги, махнуть к морю, пожить там широко, без оглядки на кошелек, или, поддавшись общему психозу, купить, например, «москвич». Интересно, какое имущество могла оставить бабка? Несколько пронафталиненных салопов, швейную машинку «зингер», подвесной умывальник, изъеденную древесным вредителем (как она, черт, называется?) горку?.. Славная была старуха. По кротости — прямо божья коровка».

И мысли Николая Николаевича унеслись далеко в прошлое. Вспомнилось ему, как не хотел он ехать к бабке, потому что безотчетно боялся всех старух, отождествляя их с бабой-ягой детских сказок, как впервые закутанный до глаз в пуховый платок, вошел в ее кухоньку, с русской печью, которую никогда не видел доселе, как бабка кинулась раскутывать его, а он попятился и заревел блажью от страха, от вида ее коричневых, с синими жилами рук. Привезли его к бабке в К.— глубинный город России — потому, что началась война. Его родители тогда из простых врачей вдруг стали военными, и он расстался с ними больше чем на четыре года.

Была осень. Бабкин дом стоял среди лип, с них по ветру летели желтые листья, падали, вертясь на тонкой веточке с крылышками, вкусные семечки. Однажды бабка взяла широкую деревянную лопату и полезла через слуховое окно на крышу сбрасывать палую листву. Поднялся и он. «Не подходи близко к краю, убьешься»,— сказала бабка. А он как увидел не заслоненное стенами, за деревьями студено-синее небо со стаями ворон

..., так и замер, вцепившись в косяк окна, так и взо-
...лась в нем печальным звуком какая-то струна, дрожа
...ел долго и затихающе: «Ты чегой-то такой тихий?» —
...ршивала несколько раз на дню бабка, присматриваясь
...ему и лаская. И наконец, по-своему истолковав непо-
...нную ему самому грусть, сказала: «Ничего, Коленька.
Давай я научу тебя богу молиться. Вот ты и будешь мо-
...ться ему за отца-матушку».

Летом бабка как-то примчалась, подхватывая юбки, с
...рынка и сказала, что на станцию привезли зверей. «Все
...егут смотреть»,— задыхаясь, сказала она. Побежали и
...они. На станции дяди в синих брезентовых фартуках ста-
...вили на грузовую машину клетки со львами. Видимо, эва-
...куировали какой-то цирк. Гривастые, толстоносые львы
...были преисполнены величайшего равнодушия к толпе, как
...и подобает царственным особам. Всецело занятые своими
...думами, которые невозможно было прочесть в их тропи-
...ческих-дремотном взгляде, они неподвижно лежали в клет-
...ках и лишь изредка зевали или стряхивали лапами зеле-
...ных мух, жаливших им веки.

Густой, душный запах зверя в неволе ударил Николаю
...в ноздри... И с тех пор, когда случалось ему бывать в зоо-
...парке или цирке, их запах неизменно вызывал в его памя-
...ти маленький городок К., бабкин дом, засыпанный золо-
...тыми листьями лип, и бабку, бегущую в развевающихся
...юбках на станцию.

«Славная была старуха»,— подумал еще раз Николай
Николаевич.

2

Ясным, чуть остуженным утром начала августа приехал
он в К.

Вокзальчик, который остался в его памяти средоточием
суматошной голодной и грязной эвакуационной жизни, был
теперь вызывающе чист и декоративен: на привокзальной
площади пышно вздымались клумбы с веселенькими бор-
...дюрчиками из анютиных глазок, стояли изящные киос-
...ки — газетный, табачный и кондитерский,— бегала малень-
...кая мусороуборочная машинка огненно-красного цвета, да
...и вообще прежний избяной городок, как отметил, подняв-
...шись в центр, Николай Николаевич, начал заметно отсту-
...пать под натиском бело-розовых коробок заводских посел-
...ков. Николай Николаевич вздохнул. Житель столицы, не-

каменных стен, асфальтированных площадей, пропыленного воздуха, он питал слабость к зеленым русским городкам над речкой и, поскольку сам не испытывал неудобств захолустной жизни, осуждал всякие современные преобразования в них. Поэтому он обрадовался, когда увидел, что бабкина улица ничуть не изменилась. Разве лишь поприземистей казались дома, пониже заборы, повытоптанней мурава вдоль них. Разросшиеся липы вздымали к небу мощные клубы сочной темной зелени. Они недавно отцвели и еще сладко пахли цветочной прелью.

Николай Николаевич повернул кольцо на калитке, клацнувшее до того знакомо, что он вздрогнул. Как и в далекие времена его детства, неухоженный двор был заполнен лопухами, крапивой, лебедой, узкая дорожка в их зарослях усыпана мелкой падалицей выродившихся яблонь. И запах здесь был тот же самый — грибной запах древесного гниения, винный запах брожения палых плодов, эстрагонный запах сочных бурьянов... Ничто не воскрешает ощущение далеких дней с такой достоверностью и силой, как запахи, и Николай Николаевич, растроганный чуть не до слез, обнял дуплистый ствол старой китайки и крепко поцеловал его.

Это было высшей точкой его умиленности. Повернувшись, чтобы ступить на крыльцо, он вдруг увидел перекинутый через перильца женский купальник, и эта, обычная в ином месте, но несовместимая с обстановкой бабкиного сада вещь мгновенно перепутала в нем все прежние мысли и чувства. В самом деле, как могла она появиться здесь? Чья жизнь пересеклась сейчас с его? И что, хорошо это или плохо, если рядом с ним несколько дней будет жить молодая, красивая женщина? Он почему-то не сомневался, что она молода и красива. Да и какому одинокому двадцативосьмилетнему мужчине не блеснет в подобной ситуации такая надежда, несомненная, как уверенность!

«Ну что ж, — решил Николай Николаевич, — пожалуй, это неплохо...»

И в следующий момент уже думал о заманчивой возможности эдакого мимолетного туристского романа, который по молчаливому обоюдному согласию ни к чему не обязывает и благодаря этому оставляет воспоминания, не омраченные ни с раскаянием, ни с угрызениями совести, ни с интеллигентским самобичеванием.

Дверь в дом оказалась незапертой. Ради приличия Николай Николаевич постучал в нее согнутым пальцем, во-

шел в темные сени, потом в маленькую прихожую, повесил там на гвоздик плащ и заглянул в комнату.

— Кто тут есть? — негромко спросил он.

Ему не ответили. Тогда он переступил порог и открыл еще одну дверь в комнатку, которую бабка всегда называла маминой. Здесь было прохладно и сумеречно; единственное окно заслоняла ветка, усыпанная мелкими желтыми яблоками, а на кровати лицом к стене спала женщина. Николай Николаевич отскочил, поспешно захлопнул дверь и долго тер в смущении переносицу. Короткие, вьющиеся на затылке волосы, голая спина с врезавшимися в нее бретелями рубашки, крутые бедра под простыней... Наваждение какое-то! Он сильно тряхнул головой и вышел в сад. Кто-то всхрапнул и невнятно забормотал в сарайчике, где у бабки валялся разный хозяйственный хлам.

«Черт знает, что тут делается!» — подумал Николай Николаевич.

Он решительно распахнул дверь и в ярком прямоугольнике солнечного света, упавшего во тьму сарая, увидел двух мужчин, спавших на ворохе сена.

— Это кто там лезет? — спросил один, загораживаясь согнутой рукой.

— Я, собственно, внук... — пробормотал окончательно сбитый с толку Николай Николаевич.

— Дурак ты, — ворчливо сказал тот. — Мы всю ночь работали, только-только уснули, а ты лезешь нахрапом.— И прибавил, видимо, для своего приятеля: — Спи, Ванька, наследник приехал.

Он вышел в сад, судорожно зевал, лязгал зубами, потягивался, делал руками гимнастические движения и наконец спросил:

— Узнаешь меня! Я Володька. Если не помнишь, скажи прямо, не таращься.

Он был великолепно, сеттерно рыж волосом, орехово смугл кожей, голубоглазый, и Николай Николаевич, конечно, сразу же узнал его. Плохо разбираясь в иерархии родства, он помнил, что Володька был внучатым племянником покойной бабки, но кем приходился ему, так и не мог уразуметь.

— Вот, видишь, приехал, — вздохнув, сказал он.

Володька молча продолжал размахивать руками, приседать и подпрыгивать.

— Думаю, продать надо все это, — сказал Николай Николаевич. — Ты, может быть, тоже наследник?

— Ну нет! — фыркнул Володька. — Все тут твое. Хочешь — продай, хочешь — сожги. Мое только сено. Мы с Васькой купили воз специально, чтобы дрыхнуть на сене.

— Кто же здесь живет? Никак не пойму...

— Я живу. Квартирантка живет. Между прочим, я могу отсудить у тебя половину наследства. Что, испугался?

Володька изо всей силы хватил Николая Николаевича по спине, захохотал и забегал по дорожке, высоко вскидывая колени.

Николай Николаевич опять тер переносицу, дивился: спят на сене, работают по ночам, в доме молодая женщина — черт знает, что за люди!..

3

В семь часов на крыльцо вышла квартирантка.

— Нинон, наследник приехал! — закричал Володька.— Познакомься.

У Николая Николаевича порозовели скулы. Он издали кивнул квартирантке и, чувствуя себя здесь лишним, неугодным, незваным-непрошеным, в смущении топтался на месте. Квартирантка высоко держала маленькую, стриженую под мальчика голову, глаза надменно прикрыла полуопущенными веками, пухлые губы едва разомкнула.

— Я снимала у вашей бабушки комнату, — сказала она. — В октябре мне дадут квартиру в новом доме. За эти месяцы я, естественно, расплачусь с вами.

— Ерунда, — отмахнулся Николай Николаевич.— Я хочу развязаться с этим наследством, продать все...

— Это уж ваше дело.

«Сказала, точно стенкой отгородилась», — подумал Николай Николаевич.

Подавленный откровенной неприязнью этих людей, боясь показаться навязчивым, он несмело спросил, как умерла бабка, где ее похоронили и кто может проводить его к могиле.

— Нинон все знает, — сказал Володька. — Эй, Нинон, своди его вечером на кладбище слезу пролить над ранней урной, я занят сегодня.

— В пять, — сказала квартирантка, не глядя на Николая Николаевича, и ушла в дом.

Вскоре Володька, одетый с небрежностью битника в мятые вельветовые брюки и пеструю рубашку навыпуск, и безукоризненно аккуратная квартирантка в накрахмален-

ном ситцевом платье, оживленно разговаривая между собой, прошли мимо Николая Николаевича и скрылись за воротами.

«Что надо делать-то?» — с тоской подумал Николай Николаевич.

Ему надоело слоняться по саду, хотелось помыться с дороги, поспать где-нибудь в холодке, но он не решался войти в дом. Он был хозяином этого дома и в то же время чувствовал себя очень неловко, словно совершил бестактность, вломившись в чужую интимную жизнь.

«Бросить все, уехать... — подумал Николай Николаевич, но уважение к памяти бабки, к последней воле ее както не допускало такого выхода. — Продам и закачу бабке мраморный памятник с бронзовым ангелом!»

Он вдруг почувствовал то сердитое состояние духа, в котором становился очень решительным и деятельным, пошел в кухню, выплеснул из ведер степливщуюся воду, принес с фонтанки свежей и, раздевшись до трусов, стал поливать на себя в саду из ковша, громко рыча, смеясь и ухая от удовольствия. Из сарая высунулась всклокоченная голова, ошалело моргая заспанными глазами. «Еще один экземпляр! — с ироническим восторгом подумал Николай Николаевич. — Этому я тоже чем-нибудь не угодил?»

— Привет, — хмуро сказала голова. — Мне снился пожар в джунглях.

— Я наследник. Ура! — ответил Николай Николаевич.

Из сарая вышел высокий, с широченными плечами парень и протянул ему руку.

— Иван Водогонов.

По своеобразному запаху пота и машинного масла, по черным трещинкам на руке Николай Николаевич определил в нем человека, имеющего дело с металлом и машинами. Рука царапалась, как рашпиль.

— Время-то много ли? — спросил Водогонов. — Никак не пойму спросонок, утро или вечер.

— Утро, — сказал Николай Николаевич. — Я разбудил вас?

— Похоже на то. А ну-ка, плесни и мне ковшичек.

Водогонов нагнулся, подставляя вместительную, как лохань, пригоршню, но Николай Николаевич опрокинул полный ковш воды на его белую, лоснящуюся спину. Водогонов ахнул.

— По желобку, по желобку, — издевательски приговаривал Николай Николаевич.

— Давай еще, — попросил Водогонов.

Они плескались, пока не кончилась вода в ведрах, потом растерлись полотенцем и, чувствуя подъем сил, телесную свежесть и то безмятежно-радостное состояние духа, которое всегда сопутствует ей, дружелюбно глянули друг другу в глаза.

— Послушай, — сказал Николай Николаевич, — отчего твои друзья смотрят на меня, как на зачумленного? Володька наследником называет, да так, словно я не наследство получил, а наследил где-то, а?

Водогонов с минуту смотрел на него в полной растерянности, потом запрокинул голову и раскатисто захохотал.

— Ты не обижайся, ей-богу, — сказал он наконец. — Так уж повелось у нас считать тебя куркулем и собственником. С ерунды началось, с шутки. Володька Самоваров стал подтрунивать над Ниной: дескать, приедет наследник, разведет здесь кур, будет яйцами на базаре торговать. Он, дескать, такой замухрышистый тип в сатиновых нарукавничках, копеечная душа, ведет дома тетрадь прихода и расхода. У нас даже что-то вроде игры затеялось. Володька проснется первым, запустит в меня подушкой и спрашивает: «Что бы ты сделал, если бы такое позволил себе наследник?» «Я бы, — говорю, — заставил его собирать при лунном свете патефонные иголки на мохнатом ковре». Одеваемся, и Володька спрашивает: «А что бы ты сделал, если бы наследник поднялся раньше нас и слопал весь завтрак?» И я должен тут же придумывать для тебя какое-нибудь унизительное возмездие.

— Благодарю, — поклонился Николай Николаевич. — Ловко проезжались на мой счет.

— Да ты не обижайся!

Широкое, лобастое лицо Водогонова стало смущенным и виноватым; он с жалкой улыбкой смотрел на Николая Николаевича и весь сразу же просиял, когда тот сказал, что понимает шутки и не думает обижаться. Шутка есть шутка.

Однако Николай Николаевич долго тер в раздумье переносицу.

— Иван, — сказал он наконец серьезно и доверительно. — Только по совести. Володька... не того, насчет дома? Не обижен бабкиным завещанием?

— Остынь! — возмущенно воскликнул Водогонов. —

Ты, я вижу, все-таки с душком, парень. Успокойся, никому твой дом не нужен.

— Да он и мне не нужен, — спокойно возразил Николай Николаевич.— И я, Иван, без душка. Но ведь меня тут так встретили, как не встречают людей без достаточных к тому оснований. Можно черт знает что заподозрить.

— А ты не подозревай. Я сказал: шутка.

— Принята, — решительно кивнул Николай Николаевич.

Он хотел было спросить Водогонова о том, как и зачем они все трое собрались в бабкином доме, но спохватился, что это, пожалуй, не его дело, и поинтересовался только, не квартирант ли здесь и он, Водогонов. Оказалось, что нет.

— У меня, брат, комната в общей квартире,— удрученно сказал Иван. — Но там соседка. Розалия Павловна. Агрессор в любви.

4

Они вместе позавтракали в столовой, которая называлась еще по моде тридцатых годов фабрикой-кухней. За завтраком Водогонов сам, без расспросов, рассказал то, что вызывало любопытство Николая Николаевича.

Володька, не доучившись из-за какой-то скандальной истории на факультете журналистики, помыкался по белу свету, был на целине, на ангарской стройке, в геологической разведке, на рыбных промыслах Каспия и в прошлом году вернулся в К., где его приютила добрая душа, двоюродная бабка. Теперь он пишет роман и работает литсотрудником в городской газете. По мнению Водогонова, умный, талантливый Володька жил безалаберно, с легкомысленной щедростью растрачивая свои незаурядные способности на поденную работу в газете, где писал все — от передовиц до театральных рецензий — и где его, конечно, очень ценили, относясь снисходительно даже к тому, что он частенько исчезал за дверями здания, отмеченного всеми внешними признаками пивной.

Нина квартировала у бабки уже два года, с тех пор как окончила институт и приехала работать на завод в отдел главного технолога. Она пережила шаблонную драму наших дней: ее любимый парень не поехал в периферийный городок и вскоре женился на ленинградке с постоянной пропиской.

Ну, а он, Водогонов, токарь. Впрочем, можно сказать, без году инженер, так как учится на последнем курсе заочного машиностроительного института.

Свела их всех вместе работа над книгой для областного издательства. О чем книга? О его и Нинином новаторском методе резания металлов. Володька же осуществляет литературную обработку.

Николай Николаевич катал по столу хлебный шарик, слушал. Рассказ Водогонова заставил его вспомнить и о своих делах, о том, что недельный отпуск без содержания, взятый им для поездки в К., был сейчас очень некстати, потому что в институтской лаборатории, которой он руководил, как раз подошли к решающим опытам, а без него... Впрочем, когда бы и куда бы он ни уезжал, ему всегда казалось, что без него в лаборатории все будет сделано не лучшим образом, и он насильно удерживал себя в командировках или на отдыхе, боясь обидеть товарищей по работе своим безосновательным недоверием.

— Послушай, Иван, ты не знаешь, как продаются дома? — невпопад спросил он.

— Не приходилось заниматься этим делом, — засмеялся Водогонов, — но думаю, что надо расклеивать на столбах и заборах объявления.

— Самому?

— Мальчишек с улицы найми за порцию мороженого, горсправки здесь нет.

— Ты серьезно это говоришь?

— Вполне. Пойдем, я составлю тебе у них протекцию.

Они вернулись домой, и Николай Николаевич, конфузясь, написал десяток объявлений о продаже дома.

— Пиши «срочно продается», подумают, что дешево,— похохатывая, советовал Водогонов.— Домовладелец!

Он окликнул через забор соседского мальчишку в шикарной футболке с номером на спине, вручил ему рубль, пачку объявлений и подмигнул Николаю Николаевичу.

— Не печалься, спать ложись, добрый молодец. Утро вечера мудренее.

Они вместе растянулись в сарае на сене. Под деревянной крышей было прохладно; золотистая пыль толклась в лучах света, струившегося из многочисленных щелей; сено было пахло мятой.

«Эго они неплохо... с сеном-то...» — подумал Николай

Николаевич и хотел было вслух высказать Водогонову свое одобрение, но всхрапнул на полуслове и уже не слышал, как Водогонов сказал:

— Спи. Мне тоже перед сменой нужно добрать.

Проснулся Николай Николаевич незадолго до пяти часов. Водогонова уже не было. Вскоре пришла Нина, побледневшая от жары и усталости, с фиолетовыми тенями под глазами.

— Устали? Может быть, не пойдем на кладбище? — участливо спросил Николай Николаевич.

Но она строптиво дернула плечиком.

— Откуда вы взяли, что я устала! Если не хотите идти, то так и скажите.

«Ну и представил же меня тут Володька!» — подумал Николай Николаевич.

— Запирать будете? — спросила Нина, когда они выходили. — Мы не запираем.

— Напрасно, — сказал Николай Николаевич. — Город наводнен ворами.

Она быстро взглянула на него и, встретив ответный взгляд, полный искренней тревоги, презрительно усмехнулась.

— Возьмите вон там над дверью висячий замок. Другого нет.

Николай Николаевич с добросовестной медлительностью запер дверь, подергал замок, положил ключ в карман, и они вышли. Нина явно старалась идти чуть впереди. Она была своеобразно красивой девушкой — с узкими покатыми плечами, широкими бедрами, сильными ногами, с курносым, губастеньким профилем куклы-негритянки, — и Николай Николаевич подумал, что кто-нибудь из двух друзей непременно влюблен в нее. Пожалуй, Водогонов. Уж слишком деланное равнодушие звучало в его голосе, когда он говорил о парне, который не поехал в периферийный городок.

«Забудь ты о нем скорей, — мысленно сказал ей Николай Николаевич. — За такой на край света можно ехать. Держись королевой».

Они вышли за город, не проронив по дороге ни слова. Здесь стоял реденький бор без подлеска, горячо и сухо пахло палой хвоей.

«Под руку взять? — подумал Николай Николаевич, искоса глядя на Нину. — Пожалуй, царапаться станет. Вон глаз-то как горит».

Что вы меня все время разглядываете, словно редкое насекомое? — раздраженно сказала Нина.

— Вот те раз! — Николай Николаевич даже остановился.

— Не разыгрывайте удивления. Я же чувствую ваш взгляд.

— Во гневе вы прекрасны! — шутовски сказал Николай Николаевич.

— Ах, как остроумно!

— Ну вот что. — Николай Николаевич опять, уже второй раз за день, рассердился. Для него, человека в общем-то спокойного, добродушного, не лишенного чувства юмора, это было почти годовой нормой. — Мне от вас ничего не нужно, кроме простой любезности показать бабкину могилу. Если вы почему-либо считаете такое усилие обременительным для себя, то идите... гм... идите домой. Я как-нибудь обойдусь помощью кладбищенского сторожа.

— Вы тоже великолепны, когда сердитесь, — отпарировала Нина.

Вскинув голову, она пошла вперед.

На кладбище Николай Николаевич попросил у сторожа лопату, оправил уже начавший прорастать бледно-зелеными иглами травы холмик, дал сторожу денег, чтобы тот поставил вокруг могилы ограду. Опухший с похмелья сторож равнодушно сказал:

— И так бы не убежала.

— Но! Но! — прикрикнула на него Нина. — Я проверю. Чтоб была ограда.

— Будет, — обиделся сторож. — У нас на честность. Красить ограду-то? Придется, значит, и на красочку в таком случае добавить.

Николай Николаевич дал и на краску. Он постоял над могилой, чувствуя себя неловко оттого, что уже так мало может сделать для бабки, что только смерть, по сути дела, напомнила ему о ней, и, прибегая к испытанному средству оправдания большинства людей своей совести, попытался переложить собственную вину на другого.

— Как же вы не сообщили мне о ее смерти! — с упреком сказал он Нине.

Та, видимо, разгадала его психологическую уловку, жестко взглянула в глаза.

— Никто не знал вашего адреса. Пока его нашли, было уже поздно.

Николай Николаевич потер переносицу, невнятно пробормотал, отворачиваясь:

— Да, да, конечно... Извините...

И пошел к сторожу относить лопату.

5

Володька бушевал в саду.

— У-у-у, холодная кровь! — рычал он.— Формулы, чертежи, расчеты... Неужели вы думаете, что ваши личности менее интересны и значительны, чем резцы, которые вы придумали? Я, конечно, понимаю, это — особенность поколения, выросшего у электромоторов, вагранок и конвейеров, но надо же иметь не только логарифмическую линейку в кармане, но и примесь солнца в крови. Трудно поверить, что Иван стихи пишет.

Водогонов предостерегающе крякнул и завозился.

— Ей-богу,— не унимался Володька.— Приходит к нам в редакцию эдакий верзила, мнется и тянет из кармана ученическую тетрадочку. Я сразу определил: еще один дикорастущий гений. Так и познакомились.

— Я тогда о Кубе стихи написал,— смущенно сказал Водогонов. —Какие уже тут рифмы. Заботился только, чтобы голосу больше было.

Спор, как понял Николай Николаевич, шел из-за второй главы, в которой излагается биография Нины и Водогонова и которую, по их мнению, надо было убрать. Володька возражал. Накануне он, возбужденный, счастливый, слегка хмельной, принес отпечатанную на машинке рукопись, хлопал по ней ладонью, твердил: «Окончен труд дневных забот...» — и засадил на всю ночь своих соавторов читать. Наутро непроспавшиеся, раздражительные и злые, они спорили, не слушая и не понимая друг друга. Наконец Володька, изо всей силы стукнув калиткой, ушел.

— Ясно,— сказала Нина.— Выходной испорчен. А ведь хотели на лодке покататься.

Она тоже стукнула калиткой, и Николай Николаевич расхохотался:

— Ворота мне сломаете, друзья!

Водогонов крепко тер ладонями лицо, тряс головой.

— Фу, — сказал он.— Истерзал совсем Володька этой рукописью. Одержимый какой-то. Ни отдыха, ни срока.

— Разреши мне посмотреть,— попросил Николай Николаевич.

Водогонов с отвращением оттолкнул от себя по столу рукопись, ушел в сарай и бросился там на сено. Николай Николаевич принялся читать. Вскоре он оторопело хмыкнул, заерзал на лавочке и весь подался вперед, как сеттер, почуявший дичь. Впервые на его глазах совершалось чудо превращения жизненного материала в литературу. Он даже перевернул листы рукописи обратной, чистой стороной, словно надеялся там найти разгадку этого превращения, и с чувством радостного открытия подумал о Володьке: «А ведь молодец! Ах, какой молодец!»

Дочитав рукопись до конца, он в волнении заходил по саду. Он понимал, что великолепно написанная вторая глава была для Володьки как бы отдушиной, куда его душа, душа художника, устремлялась в милый ей мир житейских наблюдений и бытовых подробностей, без которых всякое повествование теряет аромат достоверности, и в то же время ясно видел, что эту главу все-таки надо убрать, потому что на фоне делового пропагандистского текста она выглядела нелепо и даже нескромно.

Нежность к Володьке эдакой теплой мягкой волной так и заливала Николая Николаевича. Он растормошил Водогонова, спросил, куда мог уйти Володька, и, не получив вразумительного ответа, опять зашагал от сарая до ворот, думая нетерпеливо: «Скорей бы уж он пришел, что ли! Надо ему сказать...»

Володька пришел под вечер. Николай Николаевич, не заметив от волнения, что тот крепко пьян, раскатился к нему, схватил за руку и, встряхивая ее, горячо зашептал:

— Володька, дорогой, это же здорово! Я читал... Но из книги ты убери эту беллетристику. Она там ни к чему. Ты из этой главы...

— Не желаю! — крикнул Володька и, вырвав руку, стукнул кулаком по крышке врытого в землю стола. — Кто позволил читать?

— Я позволил,— мрачно сказал из сарая Водогонов

— Не желаю! — опять крикнул Володька. — Где рукопись? Уничтожу к чертовой матери. Если я живу в твоих стенах, это не значит, что ты имеешь право лезть мне в душу, накладывать лапу...

Обида до слезной спазмы в горле охватила Николая Николаевича; ему было жаль своего недавнего и теперь [illegible] чувства нежности к Володьке, и, не сдер[illegible] он тоже крикнул:

— Сам молчи, дурак!

— Я дурак? —
Он бросился,
ка, но тот ловко
и прижал к себе.
— Иван, бей е
— Брось! — ск
Николай Нико
лавочку.
— Приемчики,
нет. Попробуй Ив
— Положу,—
— Давай, Ива
— Да ну вас,
— Иван! — вз
Водогонов усм
ве руку, а черт зн
ных мускулов, и з
лая Николаевича.
— Локти на с
Не упирайся лево
И вдруг рука
быстро-быстро, д
мощной руки опр
дони на стол и ра
— Поддаешьс
— Да нет же
поставил руку на
И опять Нико
пригнул ее к стол
— Вы же без
хоть и сильные,
фузясь своего тр
его, сказал Нико
В это время
шла Нина.
— Ах, Нинон
ка. — Как хорош

Неделя была
Николай Никол
к нотариусу и
с ним о доме.

— Я дурак? — взревел Володька.

Он бросился, пригнув голову, на Николая Николаевича, но тот ловко схватил его вокруг туловища, приподнял и прижал к себе. Володькино лицо до синевы налилось кровью.

— Иван, бей его! — прохрипел он и закатил глаза.

— Брось! — сказал Водогонов, выходя из сарая.

Николай Николаевич бережно посадил Володьку на лавочку.

— Приемчики,— еле выговорил Володька. — А силы нет. Попробуй Ивана положить. Не положишь.

— Положу,— сказал Николай Николаевич.

— Давай, Иван.

— Да ну вас,— отмахнулся Водогонов.— Цирк, что ли.

— Иван! — взмолился Володька. — Положи его.

Водогонов усмехнулся, закатал правый рукав, обнажив не руку, а черт знает что, какой-то рычаг, свитый из длинных мускулов, и захватил в горсть всю узкую кисть Николая Николаевича.

— Локти на одну линию! — командовал Володька. — Не упирайся левой! Пошел!

И вдруг рука Водогонова, белея и мелко дрожа, стала быстро-быстро, даже как-то слишком быстро для такой мощной руки опрокидываться, легла тыльной стороной ладони на стол и расслабилась.

— Поддаешься! — закричал Володька.— Нечестно.

— Да нет же,— удивленно сказал Водогонов и опять поставил руку на локоть.

И опять Николай Николаевич легко, точно лозинку, пригнул ее к столу.

— Вы же безграмотные в спортивном смысле люди, хоть и сильные, а я все-таки мастер в трех видах,— конфузясь своего триумфа и стараясь как-то приуменьшить его, сказал Николай Николаевич.

В это время загремела кольцом калитка, и в сад вошла Нина.

— Ах, Нинон, Нинон! — с отчаянием сказал Володька. — Как хорошо, что ты не видела!

6

Неделя была на исходе, а покупатели не появлялись. Николай Николаевич уже заказал билет на поезд, сходил к нотариусу и вечером ждал Володьку, чтобы переговорить с ним о доме.

После той схватки в саду Володька стал относиться к нему дружелюбнее, сменив откровенно презрительный тон на ворчливо добродушный. Уже наутро он подошел к Николаю Николаевичу, морщась от похмельной дурноты, и сказал:

— Ты извини за вчерашнее. Буен я стал во хмелю Нервы.

Николай Николаевич растрогался, понимая, как нелегко Володьке приносить ему извинения, забормотал, что сам, дескать, виноват, прочитав без разрешения чужую рукопись, но Володька оборвал его:

— Ладно, ерунда все это. Да и прав ты: вторую главу надо выкинуть. Ты ведь, кажется, физик? Ну вот и считай, что в данном случае физики восторжествовали над лириком. Виват!

И ушел, сверкая белесым задом вельветовых штанов.

Остальные дни недели прошли в доме тихо и буднично. Нина собиралась переезжать в общежитие: уложила в чемодан свои платья, Водогонов заколотил в большой фанерный ящик ее книги. На Николая Николаевича никто не обращал внимания; он целыми днями валялся в саду на траве, ждал покупателей, скучал. Со скуки зрели в его голове планы.

Володька пришел из редакции поздно и хотел было сразу завалиться в сарай на сено, но Николай Николаевич отозвал его в сторонку, на лавочку. Вечер был тих, тепел и располагал говорить вполголоса. Николай Николаевич вздохнул и сказал:

— Послезавтра уезжаю.

— Ну?

— Дом не успел продать.

— Заколоти. Пусть гниет.

— Жалко.

— Еще бы! — фыркнул Володька.

Вложив в голос как можно больше униженно-просительных интонаций, Николай Николаевич сказал:

— Послушай, Володька, будь другом, продай тут его без меня. Сделай такую родственную услугу. Я, ей-богу, должен ехать. Работа, понимаешь... срочная, ответственная...

— Физик. Черт бы тебя взял, — сказал Володька.

— Ну, согласен?

— Мне что. Найдется покупатель — загоню. Но учти: торговаться не стану. За первую цену отдам.

— Конечно! — обрадовался Николай Николаевич. — Отдавай, не торгуйся.

— Ну, все, что ли? Спать пойдем? — спросил Володька, зевая и потягиваясь.

— Все. Завтра только нам вместе нужно к нотариусу зайти.

— Это еще зачем?

— Формалисты. Крючкотворы, — презрительно усмехнулся Николай Николаевич. — Говорят, надо дом тебе по дарственной передать, иначе потом куплю-продажу не оформят. Словеса-то каковы, а? В жизни таких не знавал.

— Вот! — Володька приставил ладонь ребром к горлу. — Вот как ты облыз мне со своим домом. Ради бабки, царство ей небесное, а то бы...

И завязал так, что Николай Николаевич даже выдохнул сильно, словно перцу хватил.

Провожать Николая Николаевича на вокзал пришли все — и Водогонов, и Володька, и Нина. Он просил их об этом столь настойчиво, что отказ выглядел бы слишком большой невежливостью по отношению к гостю, и они все собрались в маленьком вокзальном ресторанчике, чтобы выпить, как сказал Володька, «посошок на дорожку». Нина исподтишка старалась остановить его в этом усердии, но Володька, наливая себе третью, громко и весело отшучивался:

— Брось, Нинон! Выпивши, я, как река в половодье, широк и раздолен, а трезвый начинаю мелеть. Виват!

Сотрясая вокзальное здание, примчался поезд. Он был из дальних и маленькому мимоезжему городку отдавал на всю перронную сутолоку лишь три минуты своего электротягового времени. Николай Николаевич, поднявшись в тамбур, стоял за плечом проводницы и думал: «Теперь навсегда, наверно...»

И вот уже мягко качнуло его в сторону, прижало плечом к стене. Он поднял руку, улыбнулся стоявшему внизу Володьке и сказал:

— Эй, собственник! Домовладелец! Виват!

Володька рванулся к вагону.

— Околпачил, мерзавец!..

Николай Николаевич озорно подмигнул оторопевшей Нине и, стоя в тамбуре, махал через голову проводницы рукой смотрел, как бился в объятиях хохочущего Водогонова Володька, порываясь к пробегающим мимо подножкам.

Мужчины

Шофер маршрутного такси — долговязый парень в коротком пиджаке — стоял возле своей машины и раздраженно вертел через палец ключи на длинной цепочке. Был полдень, горячий пыльный ветер тащил по асфальту вокзальной площади заскорузлые обертки от мороженого, машина грелась на солнце, а те все прощались. Старая женщина в сбившемся платке торопливо крестила мужчину и мальчика, целовала их и плакала.

— Не понимаю людей, — сказал шофер девушке-диспетчеру. — Разъезжаются на паршивую сотню километров, а провожают словно в могилу! И всегда так. Только задерживают.

— Не твое дело. Пусть прощаются, как хотят, — сказала девушка.

Шофер еще быстрее завертел ключами.

— На мальчика полагается билет, — угрюмо заметил он. — Есть на него билет?

— Не придумывай, пожалуйста. Ему и пяти-то не будет.

— Как же! Верные восемь. Отправляй машину!

Девушка дернула плечиком, подошла к пассажирам и спросила билет.

— Садитесь, — сказала она. — Можете занимать любое место. Кроме вас никто не едет. Вещи есть?

— Уже в багажнике, — коротко ответил мужчина.

Он сел на первое место, рядом с шофером, взял мальчика к себе на колени, и пока они усаживались, старая женщина все смотрела на них печально и нежно.

Машина тронулась. Это был черный приземистый шикарный автомобиль, удивительно мягко бравший с места большую скорость. Он стремительно пересек площадь, вы[illegible] тесноты городских улиц на простор шоссе [illegible] мотора рванулся вперед. Редкие д[illegible]

ревня за боковым стеклом смазались в сплошной серо-зеленый забор. Шофер повеселел. Он сразу же забыл о том, что сердился на своих пассажиров, и, дружески подмигнув мальчику, спросил:

— Ну как? Хорошо ехать?

— Хорошо, — сказал тот.

— Еще бы!

Он любил это бесшумное стремление своей машины сквозь уплотненный скоростью гудящий воздух. И ему обязательно надо было, чтобы кто-то восхищался ею вместе с ним. Он постучал ногтем по спидометру.

— Лихо идем.

Но мужчина даже не шевельнулся; он безучастно и вяло смотрел в ветровое стекло.

«Зануда. Тип», — подумал шофер. Все, кто не знал толк в машинах, безусловно, подлежали разряду зануд и типов. Приходилось довольствоваться лишь неразборчивым мальчишеским преклонением перед всякой машиной, у которой четыре колеса и сигнал.

— Куда же ты едешь? — опять заговорил шофер с мальчиком.

— В Крым.

— Ого, как далеко! Это кто же тебя провожал — бабка?

Мужчина вдруг резко повернулся к шоферу.

— Постойте! — сказал он. — Остановите машину.

— Это зачем же? Ведь только отъехали.

— Мальчику нужно.

— Я не хочу, папа, — сказал мальчик.

— Остановите! — почти грубо крикнул мужчина.

— Я не хочу, — повторил мальчик.

— Нет, хочешь!

«Псих», — подумал шофер.

Пропылив по широкой обочине, машина встала у кювета. Мужчина открыл дверцу и поставил мальчика на землю.

— Беги вот за тот кустик. Ну, скорей!

— Я не хочу, папа, — опять сказал малыш.

— Беги, я тебе сказал!

Мальчик перелез через кювет, оглянулся и скрылся за кустом ольшаника. Мужчина опять повернулся к шоферу.

— Послушай, — сказал он, — не обижайся на меня, пожалуйста. У него умерла мать, а ты лезешь с вопросами.

Я знаю, как это делается: сначала — куда едешь, потом — с кем едешь, потом — где твоя мама. А ему трудно.

Шофер отвел взгляд.

— Извини, — пробормотал он, — я же не знал.

— А теперь знаешь, — твердо сказал мужчина.

Мальчик уже стоял на краю кювета, и они замолчали.

— Прыгай, — сказал мужчина. — Ты все сделал?

— Я не хочу. Ты будешь меня ругать? — спросил мальчик.

— Да нет же, глупый! Я думал, надо сделать это сейчас, чтобы не останавливаться потом. Ну, прыгай скорей!

— Не беда, малый, можем и еще раз остановиться, если будет нужно. Машина-то наша, — сказал шофер и посмотрел на мужчину, давая понять, что теперь он знает, о чем и как нужно говорить.

Они говорили только о машине и взахлеб хвалили ее. Ах, какая это была машина! Пусть не совсем новая, но такая выхоленная, что куда там новой... Она словно глотала серую, накатанную до блеска ленту шоссе. Город уже был далеко позади, и теперь по обеим сторонам тянулся глухой лес. Взгляду не удавалось проникнуть в эту чащу сочно-зеленых берез, осин, елей, и только там, где к дороге выбегали деревни, в лесной стене зияли светлые бреши с видами седоватых хлебных полей, лиловых — люпиновых и пестреньких, как ситец, — картофельных. Скоро вдали над лесом показалась радиовышка другого города, а пониже ее — голубой купол и золотой, растянутый на цепях крест церковной колокольни.

В городе была остановка.

— Зайдем? — кивнул мужчина в сторону чайной.

— Нет, в рейсе не пью, — сказал шофер.

— А я, пожалуй, зайду.

— Может, не стоит? Ты все-таки не один.

— Знаю. Сиди здесь, — сказал мужчина мальчику. — Я принесу тебе что-нибудь.

«Все равно Любка не нальет ему», — подумал шофер.

Впервые движение машины не мешало ему как следует рассмотреть мужчину. У него была небольшая, коротко остриженная голова, мускулистая шея в широко открытом вороте рубашки, крутые плечи и во взгляде хоть и печальное, но спокойная и уверенная сила.

— У тебя с ним тоже вроде дальнего рейса, — осторожно сказал шофер.

— Не бойся, я это помню.

Они продолжали в упор смотреть друг на друга.

«Любка не нальет ему», — опять подумал шофер.

— Ты послушай радио, — сказал он мальчику, — можешь и сигналом побаловаться, только не очень, а мы сейчас вернемся. Ладно?

— Ладно, — согласился мальчик.

В придорожной чайной, где с некоторых пор была упразднена торговля водкой и где, несмотря на это, ее с утра до вечера пили проезжие шоферы и местные любители, было накурено, тесно и шумно. Шофер и мужчина подошли к буфетной стойке.

— Любаха, налей ему, — коротко сказал шофер грудастой буфетчице.

Совершилось какое-то колдовство под стойкой, сопровождаемое звяканьем бутылок, и на свет появился стакан с водкой, бледно покрашенной крюшоном.

— А тебе? — спросил мужчина.

— Нет, в рейсе не пью, — повторил шофер.

Они отошли к окну, чтобы видеть машину. Мужчина поднял стакан, показывая, что пьет за здоровье шофера, и отпил половину.

— Как это у вас получилось? — спросил шофер. — Болела?

— Да, и очень долго. Не будем об этом.

— Ладно. Вот только не пойму, зачем вы едете в Крым, если...

— Собственно, все равно, куда ехать. Ему надо немного отвлечься. Может, я и плохо придумал, но главное — отвлечься ему. Он ведь еще не умеет утешаться философскими побрякушками взрослых. Увидит море — будет собирать ракушки...

Мужчина одним глотком допил водку, купил для мальчика мягкого, подтаявшего шоколада, и они вышли. До Москвы была еще половина пути, но она казалась короче. Дорога переходила здесь в бетонную автостраду, и машина ровно, без толчков летела по ней на предельной скорости.

— Хорошо шли, — сказал мужчина, когда впереди за обширным полем показались пышные кущи Измайловского парка.

— Никак не могу держаться в графике, — самодовольно признался шофер. — Машина есть машина. Она сама просится. Тебе куда в Москве?

— Да никуда, — пожал плечом мужчина. — Попробую сразу попасть на симферопольский.

— Думаешь, так просто достать билеты?

— Мягкие могут быть.

— Мягкие, пожалуй, могут. Ты иди в кассу, а вещи и мальчика оставь в машине. Я буду стоять два часа.

— Спасибо.

На площади Курского вокзала машина плавно развернулась и встала в ряд таких же блестящих черных автомобилей с шашечной полосой на кузове. Мужчина ушел. Он вернулся через час и сказал, что взял билет в мягкий вагон. Разбудили мальчика, уснувшего на заднем сиденье. Шофер вынул из багажника чемодан.

— Ну, счастливо. Может быть, на обратном пути опять ко мне попадешь.

Они пожали друг другу руки. Мальчика шофер потрепал по плечу.

Через час огромное расстояние уже лежало между ними. Мальчик попросился спать, залез с головой под чистую твердую простыню, но не спал. Мужчина, стоя у вагонного окна, глядел на пыльные постройки мимоезжих станций, на ржаные поля, на затянутый дымкой предвечернего зноя горизонт. А шофер в это время был в обратном рейсе. Его рука, лежавшая на баранке, еще как будто ощущала угловатое, податливо слабенькое плечо мальчика. Ему вспомнилась его холостяцкая комната, пропахшая табаком и объедками, лампочка без абажура, приятели с поллитровками после рейса, случайные женщины — и возможность выбиться из этой наезженной колеи непонятным образом связывалась теперь в его представлении с таким вот мальчишкой, глядевшим на него с комичной серьезностью равного.

1960

Мой знакомый леший

Есть в лесах моей родины озерцо Светленькое. Оправдывая свое название, оно еще издали сверкает, как россыпь битого зеркала, но стоит заглянуть с берега в его глубину, как оно приобретает прозрачно-малахитовый оттенок, сгущающийся к центру до цвета темно-зеленого, почти черного бархата. Когда оно впервые увиделось мне среди темных елей и сосен, как чистая капля росы на зеленом листе, я подошел по сухому, усыпанному хвоей берегу к самой воде, нагнулся, чтобы зачерпнуть ее кружкой, и ахнул. Взгляд свободно проникал в глубину, где расстилался мохнатый ковер водорослей и, чуть пошевеливая красноперыми хвостами, плавали мелкие окуни.

На берегу этого озера живет лесник Кандыбин по прозвищу Леший. Откуда пошло такое прозвище, Кандыбин и сам не знает. Во всяком случае, на лешего, который, как известно, остроголов, мохнат и нем, он не похож. Мужичок как мужичок: сухой, маленький, с белесыми глазами, реденькой щетинкой, одевается в затасканную солдатскую одежку, любит порассказать, как воевал в Польше, Австрии, Маньчжурии, и может ввернуть при этом несколько слов не только по-немецки, но и по-китайски. Да и разве докопаешься до первородного смысла этих деревенских прозвищ — Мотыль, Большак, Рында, Треухий, Жбанок, — если пристали они к людям большей частью случайно, из-за одного их слова, поступка или совсем маловажной черты характера?

В семье Кандыбин сам восьмой. В детях он считает себя неудачником, потому что жена его Ульяна упорно рожает только дочерей, а единственный мальчик Митя вырос слабоумным. Его присутствие на кордоне почти не заметно. Он любит смотреть, как играют младшие сестры, но сам никогда не играет с ними, и если начинается шумная возня, наблюдает со стороны, восторженно хлопает в ладоши, кричит, смеется, прыгает, и глаза его вспыхивают р-

детство. Он был бы очень красив — золотоволосый, с огромными серыми глазами, — если бы не блуждающая улыбка идиота, открывающая кусочки гнилых зубов. Как веселая, ласковая собачка, он всюду ходит за старшей сестрой Аней, и стоит сказать, что жених скоро возьмет Аню, начинает плакать и картаво выкрикивать:

— Камнем зениха! Камнем зениха!

Этим пользуются, чтобы поддразнить Митю, младшие сестры. Заслышав гул дровяной машины, они кричат, что едет жених, и Митя с воплем мчится к дороге, останавливается как вкопанный у обочины и встречает машину вопросительно-пугливым взглядом.

Но не только с целью поддразнить Митю говорится на кордоне о женихе. С ним Кандыбин и Ульяна связывают свои надежды на благоденствие, которое должно наступить для семьи, когда все дочери повырастут и повыходят замуж.

— Скоро ли вас зятья разберут, лешачих окаянных! — кричит на них Кандыбин.

И все-таки, как ни трудно ему пестовать свою ораву, все дети сыты, одеты, обуты и учатся, кому пришел срок, в ближайшем селе, живя там на постое с осени до весны.

Летом вся семья, точно пчелиный рой, пребывает в какой-то жизнерадостной трудовой суете. Дочери собирают ягоду, грибы. Ульяна ходит за скотиной. Кандыбин объезжает лес, ловит в озере рыбу, косит траву. Но мшистые леса почти не дают сена, на тощем песчанике вокруг кордона родится только картошка, а я слышал однажды, как Кандыбин говорил Ульяне:

— Ничего, мать, перезимуем. А станет туго, свалю лося.

— Полно уж болтать-то зря, — сердито отозвалась Ульяна. — Вон человек посторонний слышит. Что про тебя подумает?

А Кандыбин подмигнул мне и сказал:

— В лесу не убудет.

За окнами в это время играло озеро, пуская по потолку сторожки дрожащие блики, и от этого сторожка казалась прибранной к какому-то празднику. За обедом все сидели тихо, с добрыми улыбками, и слова лесника прозвучали тогда особенно неприятно.

— А что, Федя, — спросил я его, когда мы вышли после обеда на крыльцо, — убивал ты лося?

— Лося? — щурясь на озеро, переспросил он. — Нет, не приходилося.

— Ты не бойся, я ведь никому не скажу.

— А чего мне бояться? Уж коли пускаю я дровишки налево, так об этом все знают. Пожалуй, суди меня! — усмехнулся он.— Вот они. Мал мала меньше. Куда они денутся?

— Ну, дровишки пускаешь, а почему лося не трогаешь? — допытывался я.

— Дрова-то ведь дрова, — словно оправдывая передо мной свою слабость, смущенно засмеялся Кандыбин, — а лось — он лось.

В то лето на кордоне появился, наконец, первый жених. Он был из того самого села, где Аня кончила семилетку, — колхозный конюх, мужчина уже не молодой, но видный, с матерой проседью в смоляных волосах и не по деревенски бледным, тонким лицом.

Сватовство он повел солидно и обстоятельно. Поговорил сначала с Кандыбиным, с Ульяной, потом, так же обстоятельно, изложил Ане свои условия: он хотя и вдовец, но лет ему только тридцать шесть, пьет восемь раз в году — по большим праздникам, живет с мамашей, имеет крепкое хозяйство, приличный заработок на трудодни и знает, кроме того, два ремесла: портняжное и скорняжное.

— Ну, доченька, что скажешь? — спросила Ульяна.

Разговор происходил поздно вечером, но в сторожке никто не спал. Ульяна стояла, прислонившись к печке и сложив под грудью большие мускулистые руки, сам Кандыбин, как бы безучастно поклевывал со сковороды вилкой грибочки, а из-за ситцевой занавески, закрывавшей огромную деревянную кровать, выглядывали любопытные мордочки младших сестер.

Я вышел. Озеро уже курилось туманом, и за его лохматой шевелящейся пеленой жили какие-то звуки: что-то тихо булькало, скрипело и посвистывало. Слабо-слабо донесся паровозный гудок. Железная дорога была далеко, километрах в пятнадцати, а этот отголосок большого мира еще яснее давал почувствовать, какой кристальной тишины стояла над лесами ночь.

Что-то бесшумно шевелилось сбоку от меня, на крыльце сторожки. Сначала мне показалось, что это просто клочок лунного тумана, принесенный с озера воздушной струей, но, приглядевшись, я узнал Митю. Никто не вспомнил о нем в этот вечер, и теперь мне представилось, как бродил он по лесу вокруг сторожки со своей единственной печалью и что-то картаво бормотал сквозь слезы.

В сторожке хлопнула дверь. Митя сейчас же скатился

со ступней и спрятался за углом, а на крыльцо, залитое лунным светом, вышли Аня и конюх.

— Лунища-то, лунища-то! — сказал он. — Светло мне будет ехать. Ну, что ты стоишь, как стамая?

Он поцеловал ее, прижав к косяку, а когда отпустил, она так и продолжала стоять навытяжку, с поднятым подбородком, точно солдат... Ах, любить бы ей в эту дивную ночь, томиться от избытка своей молодости, вдыхать расширенными поздрями запах теплой хвои, блестеть в полутьме глазами, да, видно, не задалось!

Конюх спустился с крыльца и стал отвязывать лошадь.

— А, дурак! — увидел он за углом Митю. — Сейчас я тебя лошадью затопчу.

Митя пригнулся к земле и, как зайчонок, с визгом бросился на крыльцо.

— Не трогайте его, — тихо сказала Аня. — Мы его любим.

Она пропустила Митю вперед и сама шагнула вслед за ним в темный провал сеней.

Утром я уехал.

Несколько предпраздничных дней ноября мне пришлось прожить в маленьком городке на Клязьме, куда Кандыбин часто приезжал за мукой и керосином. Зима в тот год была ранняя. Уже встала Клязьма; за окном ветер мотал железный фонарь на столбе, вся улица в его свете была охвачена какой-то оргией бесноватых теней, и я думал о том, какая, наверно, унылая, мглистая равнина с плешинами серого, обдутого ветрами льда, со свинцовыми полыньями лежит сейчас перед окнами лесной сторожки.

Оттого, что приближались праздники, еще больше не хотелось оставаться здесь, в чужом городе, в этой холодной угарной комнате Дома колхозника, и я торопливо заканчивал дела, чтобы уехать к родным и близким людям.

Однажды я спустился в закусочную обедать, и у самого входа меня вдруг поразило что-то необыкновенно знакомое. Я еще раз оглядел ядовито-яркую вывеску «Холодные и горячие закуски, вина, водка», обледенелое крыльцо, запорошенных снегом лошадей у коновязи и вдруг узнал рослую мохнатую кобылку Кандыбина.

Самого лесника я нашел в закусочной. Не снимая полушубка, чуть хмельной и веселый, он доедал макароны, обильно политые маслом.

— Бери макароны, — посоветовал он мне. — Важнецкая еда.

Я стал расспрашивать об Ульяне, о детях и когда спросил про Аню, он вдруг смутился и потускнел.

— А она тут, в городе, — сказал он нехотя.

— Где же?

— В школе учится, на ткачиху.

— А конюх? — поинтересовался я.

— Конюх того... — Кандыбин смутился еще больше, и, потупясь, стал сковыривать вилкой застывшие на клеенке капли масла. — Не вышло с конюхом.

— Почему же?

— Да как тебе сказать? У нас и пропой был. А потом как-то поехали мы с Аней в город, заосенело уже, грачи стаями по стерне прыгают, паутинка летит. А она, Аня, значит, сидит в телеге и, вижу, плачет. Да пропади ты, думаю, пропадом. Черт с ним и с конюхом! Отвез ее в город, иди, говорю, на фабрику, определяйся, как можешь... Уж баба-то меня потом точила! Ну, чисто ржа! — Он помолчал и, опять пуская в ход вилку, прибавил: — Ты только не подумай, что он нами побрезговал. Мы сами не схотели.

И я понял причину его смущения. Ни деревенская родня, ни соседние лесники, должно быть, не верили, что он сам отказался от такого выгодного жениха.

«Лось — он лось», — вспомнились мне почему-то слова Кандыбина.

И, кажется, только тогда я окончательно поверил ему в том, что одно дело для него — дрова, швырок, а другое — живой лось.

После обеда он поехал к Ане в общежитие. Присев на край саней, я проводил его до фабричных корпусов. К нему уже вернулся прежний, немного бесшабашный вид, и, сбив на затылок шапку с торчащими в сторону ушами, он весело говорил мне:

— Приезжай летом, рыбу станем ловить. Летом у нас хорошо, комара не бывает. Сосна кругом, песок, мох. Этого он, гад, не любит...

Попрощавшись, я на ходу соскочил с саней. Кандыбин обернулся, махнул мне рукой, и через несколько шагов метель длинными седыми полосами затушевала его силуэт.

1960

Красивая

Через быструю светлую речку Нару плотники наводили после разлива мост.

Стояли теплые ветреные дни. Сквозь сухой ил и мусор, оставленный на берегах рекой, уже проклюнулись зеленые иглы травы, зелененьким туманцем повился прибрежный ивняк, и в небе, голубеющем нежно, по-майски, с утра до вечера трепетали звонкие жаворонки. Под берегом, в затишке, припекало так, что старшой плотников Сергиян не мог работать — засыпал и ронял топор. Тогда сын его, Герасим, тряс родителя за плечо и говорил:

— Шли бы уж, папаша, под шалаш.

— И то, — соглашался старик, но не уходил, а усаживался на торце береговой сваи и продолжал дремать, часто просыпаясь и поводя по сторонам мутным взглядом.

«Тёп, тёп», — стучали топоры по мокрому дереву, «урилю. урилю...» — рассыпались в небе жаворонки.

Сергиян всхрапнул, поднял голову и вдруг, как петух на спице, встрепенулся, захлопал руками по ляжкам, задребезжал:

— Робя! Затевай потеху, сарафан идет! Ей-ей! Ходом катит... Гераська, живо!

Широкоспинный, длиннорукий, похожий на краба, Герасим кинул в чмокнувшее бревно топор, пал в лодку и, сгибая весла, погнал ее вдоль берега к кустам. Потеха, вот уже несколько дней развлекавшая плотников, состояла в том, чтобы, спрятав лодку, морочить потом прохожему человеку голову, пока тот не начинал раздеваться или готовился повернуть вспять.

Другой плотник — недавно демобилизованный солдат Матвей Земнов — тоже воткнул топор и с выжидающей, немного смущенной улыбкой смотрел на женщину в ярком сарафане, идущую по луговой дороге. Он еще не обвыкся в этой маленькой артельке, держался неуверенно, скованно и вообще был, по мнению плотников, застенчив,

уступив и прост. Когда рядились на починку моста, он легко согласился на третью долю, хотя было ясно, что семидесятилетний Сергиян — уже не работник.

— Одно слово — Матюха заречный, шилом щи хлебает, — насмешничал потом Герасим наедине с отцом.

Матвей был из дальней, заречной деревни, и так уж велось исстари, что бойкие, ходовые подгородние считали застенчивых, домоседных заречных простаками и шляпами.

Женщина между тем подошла совсем близко. Блеск играшей на солнце реки бил ей в глаза; она заслонила их рукой, и Матвей вдруг узнал ее по этому движению.

— Матюша,— сказала она громко с каким-то отчаянием. — Вот я и нашла тебя.

Сергиян опять хлопнул себя по ляжкам.

— Ба! Знакомые встретились!

— Зазря, — тяжело сказал Матвей. — Ты лучше уйди.

Они стояли друг против друга на самом взлобке берега, и ветер, ударяя Матвею в спину, рвал на нем гимнастерку, светлый короткий чуб, а на женщине плотно лепил к телу сарафан. Ничего не понимая, Сергиян и Герасим смотрели на них. У этих двух людей, родных по крови, общих по ремеслу, по образу жизни, по хозяйству, было одно понятие и о женщине. Они при пьяном случае поколачивали своих жен, редко называли их по именам — просто «бабы», — утаивали от них часть заработка, оставляя им тяжелый и грязный уход за скотиной и вообще о всех женщинах думали и отзывались только нечисто и грубо. Но даже они смотрели теперь на эту женщину с восхищением и какой-то растерянностью.

— Вот те и Матюха, — тихо сказал Герасим.

А Сергиян, видимо, тронутый внезапной грустью, с которой и не только на глубоких стариков набегают воспоминания о молодости, вздохнул и тоже сказал:

— Жизнь в деревне легкая пошла: ишь какие бабы выгуливаются. Раньше-то такая на работе сразу свянет, а эта — на ж поди!

Женщина была красива заметной, броской красотой, на которую нельзя не обратить внимание, как на яркий свет. Она сама заставляла смотреть на нее, мучила, как жажда, бередила в душе что-то стихийное, звавшее жить безрассудно, вольно, очертя голову.

— Эх, папаша, видели? — торопливо спросил Герасим.

Когда-то, давным-давно, в сырую теплую ночь апреля, выйдя из лесу, они увидели низко над горизонтом большую

...ленную шесту. Она разливала в воздухе прозрачный то... ...ный свет, и Сергиян сказал, что это солдаты на учения ...пустили ракету. Они долго смотрели на нее, но звезда пр... должала гореть, неся над полем и лесом свой прекрасный свет, и постепенно какое-то странное чувство овладело ими обоими. Они вдруг шепотом заговорили о том, что хорошо бы получить выгодный подряд, сколотить побольше денег, сунуть их своим бабам, а самим пуститься по вольному све... ту с одним топором и отвесом. И вот опять словно взошла перед ними эта звезда. Сергиян только вздохнул, а Гера... сим, как и тогда, торопливым шепотом повторял:

— Ах, папаша, да что ж это такое! Что ж это такое, а?

И тем более непонятно было плотникам, почему Мат... вей гонит от себя эту женщину.

— Матюша, — каким-то раненым голосом говорила она, — возьми меня к себе.

— Да уйди ты, — опять сказал Матвей. — Слезы мне твои, все равно что вода.

— Деревянный ты...

— Задеревенел, это точно.

— Скажи, что возьмешь...

— Никаких таких слов не будет, ступай.

— Не уйду я.

— Надоест — уйдешь.

Матвей повернулся к ней спиной, выдернул из бревна топор и мелкими плотницкими ударами погнал вдоль него длинную щепу.

Трудно было поверить, что человек может плакать та... кими обильными слезами. Женщина закрыла лицо рука... ми и слезы текли у нее между пальцами до самых локтей. Сгорбившись, она пошла прочь, спотыкаясь и семеня, ког... да особенно сильный порыв ветра толкал ее в спину.

— Ну и зверь ты, Матюшка, — сказал Герасим, дро... жащими руками доставая из мятой пачки папиросу. — Ис... тый зверина хичный, только и слов.

— Нешто можно так с живой-то душой? — укоризненно вздохнул Сергиян.

Матвей не ответил. Он, как и всегда, работал ловко, сноровисто, и его невозмутимость вконец разозлила плот... ников.

— А вот тюкнуть его обушком разок-другой, он, гля... дишь, и отмякнет, — вспылил Герасим, враждебно глядя на Матвеевы лопатки, плитами ходившие под гимнастеркой.

— Ась? Отмякнет, — поддакнул Сергиян. — Никак я

этого не понимаю, чтобы, значит, человека от себя гнать, как собаку.

— Да что вы раскаркались? — выпрямился Матвей. — Знать не знаете, что между нами вышло, а беретесь судить-рядить.

— Баба-то ведь какая! — с тоской сказал еще не опомнившийся Герасим. — Так бы ручейком и побежал ей под ноги...

— Вот-вот, — усмехнулся Матвей, — в самый раз. А мне она, все равно что червяк — взял бы да и растоптал, не заметил.

— Это почему же, червонный мой? — прищурился на него Сергиян.

— Да уж так она себя показала передо мной.

— Это как же, значит?

— Скажу.

— Ну-кась.

— Сказ короткий. Обещала ждать, а приезжаю из армии — она за вдовца вышла, старика пятидесяти пяти годов. Чем же, спрашиваю, он тебя взял? Да показал, говорит, книжку на сорок семь тысяч, обещал на меня перевести, я и пошла...

— А он, значит, возьми да и прижми денежку-то? — с интересом спросил Сергиян.

— Нет, дело у них без обману сладилось.

— Не дура баба! — опять перебил Сергиян. — Денежки, значит, хап — и обратно к милому дружку...

Он, а за ним и Герасим громко загоготали, уже без прежнего волнения поглядев вслед удалявшейся женщине, которая все еще пестрела своим сарафаном на ровном пойменном лугу.

— Можно бы и простить, — сказал сквозь смех Герасим.

Матвей тряхнул головой.

— Никак нельзя. Все у меня к ней перегорело, дотла. Ходит она ко мне, ища вот сбежал я, винится, говорит, жить с тем не могу, а во мне вот хоть бы какая-нибудь струночка дрогнула — ни. Все мертво, как в сухой глине.

— За сорок-то семь тысяч можно простить, — не слушая его, ответил Сергиян Герасиму.

— Дались вам эти тысячи, — с презрением сказал Матвей. — Я ей советовал — отдай, говорю, деньги назад и уходи на все четыре стороны, коль невмоготу стало. Не одюжит. Уйти — уйдет, а деньги не отдаст, не превозможет свою подлую натуру.

— Зря ты, парень артачишься, — серьезно, по-отечески сказал Сергиян. — Сорок семь тысяч да еще такая баба в придачу!

— Да-а, кусок... — мечтательно протянул Герасим.

Матвей глядел куда-то поверх их голов, туда, где кипели под ветром занимавшиеся листвой кусты, и тихо, задумчиво сказал:

— Расплююсь я с вами. Поставим мост — и расплююсь... Начисто! Никак я не могу этой самой жадности выносить.

— Это ты какой же оборот даешь? — угрожающе спросил Герасим.

— А такой, что не могу — и все.

— Нет уж, доложи нам, ежели ты таким словом замахнулся! — стараясь придать своему голосу начальническую строгость, крикнул Сергиян.

Матвей уперся в него долгим, тяжелым взглядом.

— Вы, папаша, шли бы, право, под шалаш, — сказал он наконец с недоброй угрюмостью. — Ведь уж ни тяжело поднять, ни крепко ударить... Иди, иди, старичок, не бойся! Я на твою долю не замахнусь.

— Ишь ты, перец! — удивился Сергиян.

Они долго и враждебно молчали, потом — сначала Матвей, за ним Герасим, а потом и Сергиян, — плюнув по обычаю в ладонь, принялись за работу.

«Тёп, тёп», — опять застучали над речкой топоры.

С весеннего неба сыпали свой радостный звон жаворонки.

Сергиян вскоре размяк, уселся на торце сваи и, погружаясь в дремоту, пробормотал со вздохом:

— Сорок семь тысяч — шутка!..

1960

Осенние листья

В прошлом году было грибное лето. И до поздней осени в березовом лесу с можжевеловым подлеском держались крутолобые белые грибы, сухие и холодные на ощупь.

Лес уже сквозил.

Под чистым и словно отвердевшим небом летела паутина.

Поляны, усыпанные березовым листом, были полны солнца.

Я ходил, расшвыривая листья палкой, искал грибы, а к вечеру вернулся на разъезд, сел под откосом, на угреве, и стал ждать поезда.

Ко мне подошел старик в обвислых портках, заглянул в корзину.

— Хороший грыб,— сказал он.— Ровный грыб. Крепкий грыб Где брал? Стой! Не говори. Знаю. Я по области первый грыбовар был. Несут ко мне, бывало, грыб, а я уже знаю: этот в Пронькиных борах взят, этот — на Машкином верху, этот — у Долгой лужи, этот — за Лыковой гривой. Все вижу — не криво насажен.

— До чего же некоторые старики трепаться любят,— сказал сидевший повыше меня парень в маленькой кепочке.

Он, видимо, ехал к вечерней смене на завод, о чем можно было догадаться по чрезвычайной замасленности этой рабочей кепочки.

— Стой! — вспыхнул старик.— Объясни, какая такая трепотня? Ты меня знаешь? Я — Лукич. Ага! Съел? Бывало, грыб еще не тронется, а председатель кооперации Иван Потапыч полковник Набойко уже у меня в горнице. Бух из галифе на стол литр: «Будешь, Лукич, в этом сезоне варить?» Я ему: «Стой!» Выпиваем литр. Иван Потапыч делает своему шоферу Ванюшке глазом вот эдак, и Ванюша бух на стол еще литр.

— И до чего же их много развелось, стариков этих, ко... трепаться любят! — опять сказал парень. — И, с... считаю, надо собирать в одно место, кормить, поить, тем... ками снабжать, но к нормальным занятым людям не пу... пускать ни под каким видом.

— А ты старостью его не попрекай. Ты, может, и до... к старости-то, еще чудней придешь,— перебила парня бой... шая красолицая женщина с бидонами и корзинами, зав... занными тряпицами.

— Врет уж больно,— вяло отозвался парень.— Я да я... Не уважаю.

— Вру?! — изумился старик.— Я ж Лукич! Теперешний председатель кооперации рукава закатает, грудь распахнет, сапоги наденет и ну горлапить. А грыба в магазинах — нет. Грыб, он сапог не боится. А Иван Потапыч полковник Набойко...

— Ну, уж так и полковник? — усмехнулся парень.

— Полковник в отставке и при двенадцати орденах,— не сплоховал старик. — Он, значит, хоть рукавов не закатывал, а план по грыбам у него всегда в круглых процентах был. Потому что полковник Набойко понимал Лукича. Выпьем мы с ним второй литр. «Будешь,— спрашивает,— в этом сезоне варить?» Я только на старуху свою гляну: как, мол? А она у меня махонькая, сухонькая, как веничек, вино тоже попивает. Но силы семижильной — первеюшая моя помощница. Она мне знак дает: соглашайся, дескать, чего уж там, выдюжим. По триста процентов выламывали мы с ней. Вот как!

— Нет, ну совершенно не могу я этого старика слушать,— сказал парень и пересел повыше, на самый гребень откоса.

— Слушай — не слушай, а уж таковские мы,— ухмыльнулся старик — Не криво насажены.

На разъезд пришел гармонист, а за ним — девушки в нарядных платьях, коротких носочках и туфлях на толстых каблуках. Ни на кого не обращая внимания, они встали в кружок и ударили «елецкого». Потоптались немного, пропели визгливыми голосами, а потом вдруг гармонист начал странную и неизвестную песню о том, как «на шестом на трамвае на третьем троллейбусе кондукторша Маша была». Как она любила она молодого инженера в очках, а он ее [illegible] и читал книгу и «в жизни билета не брал». Слова были самые примитивные, но грустная, исполненная сострадания к несчастной Маше мелод...

необыкновенно соответствовала настроению этого осеннего дня, и казалось, что, слушая ее, лесу хорошо ронять свои блеклые листья, солнцу хорошо греть последним теплом своим землю, и небу хорошо снять непорочной чистотой своей в недосягаемой выси.

— Все они, мужчины, такие,— вздохнула женщина с бидонами и корзинами.— Им бы только свой интерес соблюсти. То он книжку читает, то он рыбу удит. Я ему говорю: «Хоть бы речка пересохла, что ли». А он говорит: «В кадку воды налью и буду удить».

— А что ж ему? Круглый день возле тебя сидеть? — фыркнул сверху парень.— Это он, пожалуй, соскучится.

Женщина неторопливо развернула к нему свой мощный торс: мужской пиджак на ее плечах угрожающе натянулся.

— Откуда ж ты такой тут взялся? — с удивлением спросила она.

— Я-то? Недальний,— усмехнулся парень.

— Трудно, я гляжу, тебе жить.

— Это почему же?

— С людьми не умеешь ладить. Ты, дедушко,— обратилась она к старику,— не давай внимания его словам, рассказывай дальше. Не варишь теперь грибы-то?

— Не нужен, видно, грыб стал,— вздохнул старик.— Забогатели.

— Ну, а где же твой грибной полковник? — спросил парень.— Наверно, завалил план с таким войском, как ты, и поперли его по собственному желанию.

— Пустые слова,— сказал старик.— Стой, я сейчас объясню. Он был одинокий человек, войной обитый, все одно что тополь грозой.

— Ох-хо-хо,— вздохнула женщина,— жизнь наша...

— Стой! В эти места он с тоски пришел. Посмотрел, что родной дом порушен, жены, детишков следа нет, пошел по земле один как перст. «У вас,— говорит,— места древние, леса, реки дивные, люди приветливые. Мне понравилось, я и осел». Ну, осел, живет и, между прочим, как человек еще не старый, интересуется обзавестись новым семейством. Первый раз это дело у него не задалось. Попалась ему девка молодая, неудобная...

— Это как же — неудобная? — спросил парень.

— А так и неудобная. Накатит на нее: ходит неприбранная, нечесаная, сядет, молчит, ногой качает, ничего, кроме халвы, не ест.

— Ох, страсти! — ахнула женщина.

— Года не прожили — разошлись. После этого он долго обылил. Обожжешься на молоке, на воду дуть будешь. Однако ежели человек хороший, счастье его в свой срок достанет. Тут уж как ни крути, а ежели человек хороший, то непременно либо он по билету выиграет, либо сын его, глядишь, на врача выучился и в шляпе ходит, либо дочь в Москве живет, и он к ней каждый месяц в гости катает.

— До чего же все-таки ты, старик, канительный,— вздохнул парень.—И рассказать-то толком не можешь, все тебя куда-то в сторону заносит.

— Ничего подобного, по самой середке гребу,— невозмутимо отозвался старик.— Жила в нашем селе,— ткнул он рукой в сторону длинного ряда крыш за откосом,— учительница Анна Афанасьевна. Собой невидненькая и уже седенькая на височках, а такая веселая да хохотливая. Бывало, в тугие-то годы после войны заварит морковный чай и все: «Ха-ха-ха, вот ведь, Лукич, и чай-то у меня морковный и сахару-то нет, совсем угостить тебя нечем». И опять: «Ха-ха-ха». А между прочим, взяла из детского дома сиротку и пестовала ее, как родное дитя. Когда у нас Иван Потапыч полковник Набойко появился, эта самая сиротка уже девушкой была и в городе в медицинском училище училась. Чернявая, румяная — прямо яблочко анисовое, до чего хорошая девушка. Приезжала по воскресеньям домой. Идет вот так же осенью Иван Потапыч нашими задами, вышагивает, как журавль,— высокий был, голенастый,— а она навстречу ему. И несет целый пук всяких листиков. «Зачем несешь?» А та отвечает: «Для гербария...» Знаешь ты такое слово, перец? — неожиданно спросил старик парня.

— Ну, ты не больно,— смутился тот.— Рассказывай знай.

— Стой, расскажу. «А кто тебя этому учил?» — спрашивает Иван Потапыч. «А мы,— говорит,— этим с папой еще на Украине занимались, когда я маленькая была».— «А где твой папа?» — «Не знаю».— «А как тебя звать?» — «Катей».— «А маму?» — «Ту маму Верой звали, а эту Анной». Тут полковник Набойко даже на коленки перед ней встал. «Прости,— говорит,— что поверил я, будто ты погибла, Катюша, и не искал тебя. Ведь ты моя дочка...»

— Ах, — прошептала женщина и вытерла пальцами глаза.

— Стой! — сказал старик.— После этого Иван Потапыч

и учительница порешили, что дочку им не делить, поженились и поехали в Сибирь.

— Зачем же в Сибирь-то? Нешто тут счастью тесно? — спросила женщина.

— А туда Катюшу после учебы послали. Вот снялись они и поехали на новом месте огород городить.

— И все врет,— заключил парень.— Ну разве так бывает в жизни, чтобы люди друг друга так просто на задах нашли? Нет, не могу я этого старика слушать.

И он подвинулся еще дальше, за гребень откоса.

— Ничего удивительного,— возразила женщина.— Человек войной корежен, всякими бедами трачен, он должен свое счастье найти. Кому же еще, как не ему, найти свое счастье?

— А то как же!— уверенно сказал старик.

Вдали зашумел по лесам поезд. Он набежал на разъезд в железном грохоте, в шипенье пара, в мелькающем блеске стекол, отразивших низкое солнце. Пока девушки суматошно залезали на высокие подножки вагона, гармонист все наигрывал вполголоса «елецкого», дожидаясь, когда поезд тронется, чтобы лихо вскочить на ходу. Угнездилась в тамбуре и женщина со своими бидонами и корзинами. Парень, посасывая окурочек, занял плечами всю дверь. Один только старик, оказалось, никуда не ехал. Он еще раз заглянул в мою корзинку и сказал:

— Хороший грыб, ровный, крепкий...

Паровоз загудел, и мы поехали.

1961

Оброк

Кузнец умер внезапно. И всех сначала поразила не сама смерть, а ее несовместимость с кузнецом. Был он в свои сорок лет на загляденье хорош собой: серебрилась в крупных кудрях паутина, по углам рта лежали матерые складки, широкие ноздри всегда чуть подрагивали, а в глазах горели такие угли, что даже у многих молодых девчонок становилось горячо под сердцем от их взгляда. Играючи махал он из печи под молот пудовые коленчатые валы, и казалось, износа ему не будет. На заводе про его силу рассказывали такой случай. Вышел он как-то из цеха и увидел, что по заводской ветке мчится вагонная ось с двумя колесами. Кузнец сорвал с пожарного щита лом, загнал его в песок под шпалу, а другой конец принял на свое плечо. Лом согнуло осью, точно ивовый прут, а кузнец выпрямил его о коленку и опять повесил на щит, на место... Вековая держалась сила: дед его был кузнец, и отец его был кузнец, и сам он был кузнец, и фамилия им всем была Кузнецовы.

И вот умчали кузнеца санитары в фуражках с кокардами — только пыль завилась за машиной.

А начался этот воскресный день с того, что грузовик привез дрова. Шофер грохнул кулаком в раму, закричал: «Эй, хозяин! Покажи, где сваливать!» — и стал ждать, насвистывая что-то веселое.

Пока кузнец путался спросонок в штанах, дочь его Маша набросила халатик, вышла босиком на крыльцо.

— Ух! — сказал шофер. (Озорник был ужасный.) — Ух! На вас глядеть, как на солнце,— глазам больно.

В это время вышел и кузнец.

— На солнце могут глядеть только орлы,— сказал он.

И пошла через двор к сараю — тоненькая, легкая, длинноногая.

Шофер сдвинул на лоб засаленный берет, сел в кабину

л, подгоняя задним ходом грузовик к сараю, подмигнул кузнецу:

— Значит, во всех смыслах задний ход, дядя?

— А ты думал! — самодовольно сказал кузнец.

Дрова с гулким раскатом осыпались с самосвала; вино запахло кислым березовым соком, на торцы, к сладкому, сразу налипли большие синие мухи.

— Целая роща под топор пошла,— покачал головой кузнец.

Шофер опять созорничал:

— А это, дядя, чтобы мораль соблюсти.

— Как так?

— Чтобы, значит, молодежь по рощам не норилась.

— Ну, понес! — рассердился кузнец.— У тебя, видно, одно на уме, оболтус.

Когда он уехал, кузнец закрыл ворота, походил по вытоптанному пыльному дворику. Жил он на новой улице из маленьких коттеджей, которые здесь называли финскими домиками. Улица была окраинная. За канавкой, за пересыхающим ручьем и бревенчатым мосточком, уже начинались колхозные поля, по косогору блестели рамы парников, а дальше, на самом перевале, щеткой торчал мелкий ельник, и было здесь по-деревенски тихо, привольно, ясно небо, хотя и головато, как всегда на новом месте после стройки.

— Деревья надо сажать,— сказал кузнец.— Обязательно, чтобы яблони, вишенье, терн...

Маша в это время ломала у забора полынный веник.

— Буди Василия,— сказал ей кузнец.

— Василий, папа, на рыбалку ушел,— ответила Маша.

— А, дьявол его задави! Ведь было говорено намедни, что дрова привезут.— Кузнец пнул ногой откатившийся кругляк.— Перепилить бы их сразу, убрать — за лето до звона высохнут.

— Ладно, папа,— сказала Маша.— Пусть уж.

Василий догуливал последнее перед армией лето, и ему было все позволено — гуляй напропалую.

— Потатчицы...— проворчал кузнец.

На крыльцо вышла жена с большой корзиной в руках.

— Ну, что развоевался? — ласково спросила она.— Пойдем со мной.

И в то утро, как обычно по воскресеньям, кузнец ходил с женой на рынок.

Было жарко. Утро, по-августовски медленное, долго вставало в сиреневом тумане и казалось пасмурным,

...ким, но, когда туман поднялся и растаял, обрушилось ... перед каленым зноем, сушью, запахами уже подсыхающ... ...ветвы тополей и базарной площади.

Пока жена делала покупки, кузнец по обычаю выпил в закусочной кружку пива. Здесь у него нашлось много знакомых, рабочих с завода. Одного — усатенького, юркого, ...ровнившего пролезть к буфетной стойке без очереди — он хлопнул по плечу и спросил:

— Ну, как теперь живешь-можешь, Иван Власыч?

На что тот, хитренько посмеиваясь одними глазами, ответил:

— Нет, я теперь уж не Иван Власыч, а «тыбы». Как вышел на пенсию, только и слышу дома: «Ты бы сходил на базар», «ты бы принес дров», «ты бы вылил помои»...

— А «ты бы выпил кружечку» небось не говоря?— под общий смех всей очереди спросил кузнец.

С базара он нес тяжелую корзину, а жена шла по другую руку и держала его за локоть.

Недалеко от дома им встретилась и надменно поклонилась «каменная красавица» Люська Набойкова — толстая блондинка с белым неподвижным лицом. Она никогда не улыбалась, чтобы уберечь лицо от морщин, и за это на улице ее прозвали «каменной красавицей».

— Ишь ты! — сказала жена кузнецу.— Так и ведешь за ней блудливым глазом.

— Ну, полно, мать! — засмеялся кузнец, обнимая свободной рукой жену за плечи.— Мне бабу нужно, как ты, резвую, чтобы платье на ней шуршало, когда она по квартире бегает.

И, зная, что это говорится не в пустое утешение, а ...ветину, она, вся такая ладненькая, крепенькая и ...кая ...ревела от его грубоватой ласки.

Дома в ожидании завтрака кузнец возился с младшим ...ном, которого звали редким теперь именем Аксен.

— И ты его видел? — спрашивал мальчик.

— Ну конечно! Доктор отхватил его блестящим ...ом ...бросил в газ, а потом его закопали в госпитальном ...у помойки.

— Ррр... — сказал мальчик.

Он сидел у отца на животе и осторожно держал его ...ю темную руку с выпуклыми венами и несмываемой ...грязью в складках кожи. Мальчика давно занимала ...рука, которую сначала ранили на войне, потом ...ли в госпитале и все-таки отрезали ей палец

Он был вог... ся, сжимался ... изобразить прод... настойчивей доним...

— А он был го...

— Точно такой ...

— Тебе его жа...

— Еще бы!

— А почему не...

...ец — нет.

— Ну, уж этого ...

Аксютка опять... кисть его руки, по...

— А волоски на...

Они лежали на ... которого лезла се... ее запаху и даже ...зной, звон кузнечи... было бы не летом... то праздничное, по... каждое воскресень... ным зеником, пото... ромную кулебяку ... ...му же стакана или...

— Ну-ка, Аксе... дела,— сказал куз... с себя, но вдруг о... ронам.

— Ух, как ста...

Потом встал и... крыльце остановил... вошли рядом — бо... в волосах, и мал... правленной в синий...

Кузнец шел и у... — Что-то стар... зал он

В спальне он ... лежать в прохлад... кроме самого обы...

— Окно открой... Маша бросила ... ставни, и ... за ними ...

Он был вот здесь, на этом самом месте, шевелился, сгибался, сжимался вместе со всеми в кулак, и мальчик, силясь вообразить продолжение маленького гладкого бугорка, все настойчивей донимал кузнеца вопросами.

— А он был такой же, как этот?

— Точно такой же.

— Тебе его жалко?

— Еще бы!

— А почему не вырастет новый? Почему зуб вырастает, палец — нет.

— Ну, уж этого я не знаю, отстань.

Аксютка опять долго рассматривал изуродованную кисть его руки, потом спросил:

— А волоски на нем тоже были?

Они лежали на тощем островке травы у забора, из-под которого лезла седая вонючая полынь, но оба привыкли к ее запаху и даже любили его. В нем жил сухой летний зной, звон кузнечиков, полуденная сонь — и без него лето было бы не летом. В этом запахе для них было даже что-то праздничное, потому что хозяйка дома — жена, мать — каждое воскресенье мела вспрыснутый пол свежим полынным веником, потом вся семья садилась за стол, ела огромную кулебяку с капустой, а кузнец удостаивался к тому же стакана или даже двух водки.

— Ну-ка, Аксен Федорыч, узнай, как там у матери дела,— сказал кузнец и поднял сына, чтобы снять его с себя, но вдруг охнул, сел и удивленно оглянулся по сторонам.

— Ух, как старую царапину засадило! — сказал он.

Потом встал и пошел к двери, держась за грудь, но на крыльце остановился, подождал Аксютку, и в кухню они вошли рядом — большой, сутуловатый, с густым серебром в волосах, и маленький, босой, в полинявшей майке, заправленной в синие штанишки.

Кузнец шел и морщился.

— Что-то старую царапину засадило,— опять сказал он.

В спальне он лег на ковер, на пол, где всегда любил лежать в прохладе и просторе, и уж не сказал ничего, кроме самого обычного, что говорил много раз:

— Окно откройте...

Маша бросилась к окну, толкнула плотно пригнанные створки, и сухой, горячий, пахнущий полем и ельником ветер пронесся по комнате, подхватив со столика пачку

...ельных конфетных оберток. Желтые, крепкие, синие, они, кувыркаясь и трепеща, неслись в воздухе и падали кузнецу на лицо, а он лежал с открытыми глазами, и веки его не дрогнули...

Ах день в доме на окраинной улице перебывало много людей. И все, кто видел в это утро кузнеца, теперь с недоумением припоминали и в подробностях пересказывали друг другу каждый его шаг, каждое слово: вот привезли дрова, вот был на рынке, вот путил с Иваном Власычем, вот возился с Аксюткой.

У низенького забора, разинув рот, стояла и грустными коровьими глазами смотрела на пыльный дворик соседка - «каменная красавица» Люська Набойкова.

Иван Власыч, слизывая с усов слезы, сказал:

— Ведь она, наверно, в меня, старика, подлая, метила, да промахнулась...

А озорник шофер, успевший сменить свой засаленный берет на выходную кепочку, мрачно произнес:

— Все мы на земле, как в гостях.

Было ему на вид лет девятнадцать.

Жена, Маша и Аксютка не говорили — они плакали.

Вечером, вернувшись с рыбалки, узнал о смерти отца Василий. Ударом ладони распахнув дверь, он выбежал из дома и зашагал в поле, подвывая сквозь сцепленные губы.

Темно и тихо было в поле. Ни свет звезд, ни сияние Млечного Пути, как это бывает в августе, не достигали земли; и только в стороне, где пролегала шоссейная дорога, в воздухе шатались столбы света от автомобильных фар.

Под ногами у Василия сухо шуршала ржаная стерня, потом он оступился в глубокую межу, упал, поднялся и снова зашагал, но теперь уже по неровному, комкастому картофельнику, путаясь ногами в ботве.

Очнулся он около леса. Мелкий ельник дохнул на него горячей, устоявшейся за день духотой; жесткая трава, росшая на закрайке, со свистом стегнула по сапогам. Над головой бесшумной тенью — ни вскрика, ни посвиста крыльев — метнулась маленькая совка.

«Зачем я тут? — подумал Василий.— Вот пенек торчит... Вот паутина на лицо налипла... Если воткнуть с приговором в гладкий пенек нож и перекувыркнуться через него — станешь волком, а когда набегаешься, надо перекувыркнуться с обратной стороны. Унесет кто-нибудь — так и останешься волком...»

Он сел в траву, припал к теплому пню и заплакал...

И еще. Утром патологоанатом, сделав свое дело, вышел в коридор покурить. Это был высокий, сухой, всегда бесстрастно похаживающий старик, насупленный и молчаливый. В смерти, с которой его профессия свяла мистические поверья, для него не было тайн, и о кузнеце он знал все и теперь, затягиваясь и глядя в окно, думал:

«Война, война... Все еще собирает она среди нас свой грозный оброк...»

В памяти докучно звучали слова поэта, имени которого он никак не мог вспомнить:

Мы не от старости умрем,
От старых ран умрем...

И когда, поступая против собственных правил, он закуривал вторую папироску подряд, руки у него слегка дрожали.

1951

Голубая планета

Знаете ли вы эти дни апреля, когда в скрытых от солнца уголках еще лежит снег, еще пахнет ничем тревожно и шально воздух, а на припеках уже зеленеет трава и, хилый, сморщенный, вдруг сверкнет в глаза, как золотой самородок, первый одуванчик? В такие дни впервые отворяют окна, смегая с подоконников дохлых мух; в такие дни, блаженно улыбаясь, часами сидят у ворот на лавочках; в такие дни кажется, что счастье — это просто солнце, просто воздух, просто жизнь сама по себе.

О, как мы ждали этих дней! У каждого городского человека случаются минуты, когда его начинают раздражать автобусы, афиши, прокуренные коридоры учреждений, и ему хоть ненадолго хочется сменить небо над головой. Откроет вечером форточку, хватит полной грудью свежего воздуха — и кровь загудит в висках, спутаются мысли, захочется черт знает чего: дикой скифской скачки на коне, какой-нибудь драки или хотя бы упругого, нагруженного запахами весны, влажного ветра в лицо. Тогда-то и начинает он, еще задолго до сезона, трепетно перематывать лески, набивать патроны, смолить лодку... И в добрый час! Я твердо верю, что путь к природе — это путь к прекрасному не только вне себя, но и в себе. Кто волновался, вдыхая пьяный запах черемухи, видел, как раскрывается на рассвете точеный цветок лилии в тихой заводи реки, провожая взглядом осенний караван журавлей, проходил, как по сказке, по зимнему ельнику — тот и в городе неожиданно открыл что-то прекрасное.

Весна на этот раз выдалась недружная, с тяжелыми ветрами, с почерневшими заборами, с тревожными вечерними грачей.

Мы приехали в деревню под мелким дождем, который ночью переходил в снег, развесили вещи

нами мокрые ватники и рано легли в горнице на полу спать.

А утром я проснулся, и первое, что услышал: «Погода перевернулась». Не понял даже сначала, приснилось мне это или наяву было — стоит надо мной старичок, лучится из короткой седой бороды улыбкой и говорит:

— Везучие вы, охотнички. Погода перевернулась.

Светло было в горнице, солнечно и ярко. Старичок оказался нашим хозяином. Он уже сходил куда-то и теперь весь румянился от свежего утренника, который еще сверкал за окном тонким инеем на крышах изб, на скате бревен посреди улицы, на перепончатом льду мелких лужиц. Празднично кричали по деревне петухи. Мы одевались и завтракали быстро, словно боялись опоздать куда-то, но когда вышли на крыльцо, то долго не двигались с места, подставляя солнцу ладони и лицо, соскучившиеся по его теплу. Воздух был сух и колко холоден, но солнце, уже набравшее силу, грело напористо, стойко, и это утреннее боренье тепла и мороза обещало ясный, бодрый день.

— Куда пойдем? — спросил мой товарищ.

— Все равно, — ответил я.

Мы пошли по обсохшей обочине дороги за изволок, где отчетливо постукивал трактор; там собралось много народу посмотреть, не вязнет ли он в оттаявшей зыби, и все были возбуждены, веселы, потому что трактор легко бегал по полю, а солнце так и валило на землю потоки тепла. Мы поддались общему настроению, хохотали, поталкивали плечами визжавших девчат, солидно судили с колхозниками о севе и без обиды принимали извечные шутки по адресу горемык-охотников.

Трактор вдруг умолк. И тогда же стало слышно, как над полем льется первый жаворонок, чистый колокольчик весенних небес.

— Жаворонок — к теплу, зяблик — к стуже, — умиротворенно вздохнул кто-то, и все долго вслушивались в трепетный звон сверху, пока опять не захлопал трактор, пустив над пашней голубоватый дымок.

Мы ушли очень далеко в тот день по лесистым, не захваченным полой водой буграм, приглядывая места для завтрашней тяги.

— Помнишь, — сказал мой товарищ, когда мы лежали, отдыхая, на солнечной стороне бугра, плотно устланной палым дубовым листом, — помнишь, как давным-давно,

[illegible] войны, мы пришли с одним ружьем в весенний лес, [illegible] в мокром снегу, а потом вот так же сидели на [illegible]тре против солнца, сушили сапоги и ели черный хлеб с луком?

— Да, — ответил я. — А ты помнишь упавший вяз, который еще несколько лет сопротивлялся смерти и каждую весну выбрасывал мелкие розовые листочки? Он лег на землю своей развилкой, и нам было так удобно сидеть на ней друг против друга! Помнишь?!

— Никак все-таки не пойму, — задумчиво сказал он, — долга наша жизнь или трагически коротка... Минула едва лишь половина ее, а сколько помнится и сколько забыто! Впрочем, нет! Я ничего не забыл. От первого проблеска сознания до нынешнего дня все отложилось в памяти золотоносным пластом, и мне дорога в нем каждая песчинка. Ясно помню себя мальчиком. Лежу в шалаше из старых половиков; душно, жарко, таинственно полутемно. Играю с ящерицей, которую поймал утром под камнем. И вдруг уснул. А проснулся — и навзрыд плакал, потому что во сне нечаянно придавил маленькую серую ящерицу. Потом хоронил ее под тем же камнем за сараями, и было как-то торжественно и щемяще-грустно на душе... Помню юношество свое, осененное, как тенью, неудачной любовью. И когда девушка, которую я любил, уехала и я понял, что это конец, то целый день, сцепив зубы, шатался за городом по бурьянным пустырям, сидел на обрывистом берегу реки и всем своим раненым сердцем как-то особенно чувствовал невыразимую красоту мягко мглеющей дали с синей полосой леса на горизонте, с серебристыми вспышками низкого солнца на крыльях пролетающих чаек... Потом наступила осень, зима. Я начал жизнь, которой был очень доволен. Светло, холодно и чисто было в моей комнате. Знаешь, как чисто может быть в комнате, где не курят, не едят, где не залеживается под кроватью грязное белье и где круглые сутки открыта большая форточка. По утрам я просыпался с чувством необыкновенной свежести. Собирался неторопливо, обстоятельно, и каждое движение — брился ли я, надевал ли чистую рубашку, завязывал ли [illegible] — доставляло мне удовольствие. Затем мягкий [illegible] автоматического замка, пружинистые шаги по лестни[illegible], касаясь рукой перил, первый глубокий глоток [illegible] воздуха — все это было тоже прекрасно и с удо[illegible] отмечалось сознанием. На работе за день я со[illegible] не уставал. Вернувшись в свою комнату, долго,

Прежде чем взять с полки книгу, рассматривал и поглаживал разноцветные корешки, наконец брал что-нибудь самое любимое — Чехова, Мопассана, Оскара Уайльда — и садился под зеленоватый свет лампы... Но однажды случилась у меня бессонная ночь. Я вышел из дому, походил по хрустящему мартовскому насту и, чтобы скоротать время, стал отыскивать в небе знакомые созвездия и звезды. Нашел Орион, Кассиопею и звезду Альтаир в созвездии Орла. «Альтаир... Альтаир...» — повторял я мысленно, а потом вслух. И вдруг такая тоска по любви охватила меня, что я тут же проклял свою упорядоченную, замороженную жизнь, свою чистую комнату, свои гимнастические гантели, и завертело меня с той ночи, как щепку в половодье...

Товарищ мой быстро поднялся на ноги и, чуть отвернувшись от меня, смотрел на широкий пойменный лес, до густой синевы взъерошенный ветром.

— Невеселые как будто истории я рассказал тебе, — снова заговорил товарищ. — Ящерица умерла, девушка разлюбила, а прекрасное имя Альтаир одним своим звуком нагоняет печаль... Но все равно это счастье! Понимаешь ты меня? Я говорю, великое счастье — жить на Земле, многострадальной голубой планете...

Мы долго еще блуждали в тот день по частым березнякам, по полям, по дубовым и ольховым гривам поймы. К вечеру стало свежеть. И когда мы вышли из лесов к деревне, дыхание клубилось у рта тонким паром. Странен и как-то неземно желт был воздух над деревней и над широким выгоном перед ней в лучах низкого солнца. Лошади, что паслись за деревней на бледной прошлогодней траве, перестали щипать, вытянули шеи и смотрели все в одну сторону — на узкую, как крыло, лиловую тучу. Наши длинные тени пугали их. Это были тяжелые, рабочие кони. Они увесистой рысью побежали прочь, но вдруг разом остановились и стали нервно слушать холодную тишину вечера.

— Еще один день, — сказал мой товарищ. — Еще один незабываемый день.

Мы шли медленно, и, когда поднялись на крыльцо, уже стемнело. Но высокое прозрачное и почти беззвездное небо продолжало чуть светиться изнутри, и полая вода далеко внизу, в пойме, поблескивала тем же бледным светом.

1961

Горькая ягода

1

С севера на юг шел скорый поезд, мотало его на стрелках, проносились мимо захламленные щепьем мусором станции, угрюмые леса, пнистые порубки, стучали мосты, и смотрел на все это из окна вагона-ресторана Иван Соломин — человек свободный.

Он заказал яичницу, долго ел ее, собирая со сковороды корочкой, потом позвал официантку и спросил:

— Это что — всегда у вас так?

— Как? — не поняла она.

— Все лес и лес?

— Конечно.

— Ну, дайте тогда стакан водки.

— Сколько?

— Стакан.

— Вам много будет, — непреклонно ответила официантка.

— Ну тогда дайте коньяку.

— Сколько?

— Стакан.

И когда она принесла, он выпил и опять смотрел в окно. Заняться было нечем, путь не близкий — смотри да пей.

Был шестой час ясного летнего утра, когда Соломин покинул вагон в городе К-ве. Ефрон и Брокгауз писали, что этот заштатный городишко имел около трех тысяч душ населения, одну текстильную фабрику, тридцать два питейных заведения и за свою многовековую историю несколько раз начинался гореть. Потом, уже на памяти Соломина, [illegible] построены четыре завода, большой химический комбинат, город оброс рабочими поселками и на карте стал обозначаться двумя концентрическими окружностями, означающими, что его население перевалило за [illegible] тысяч, но еще не достигло ста. Теперь, за те [illegible] что Соломин не был в городе, здесь опять про-

изошли какие-то, пока еще едва уловимые для него перемены. Вокзал, например, был все тот же, но по бойкой перекличке маневровых паровозов, по скоплению исчерканных мелом товарных вагонов и даже по продолжительности стоянки дальнего поезда чувствовалось, что темп жизни в городе стал другой.

Соломин кинул за плечо тощий рюкзачок и, стараясь избегать людных улиц, зашагал на Зеленую, к старой бабке своей Варваре.

Ветхий заборчик, подштопанный кусками железа, фанеры, сухими ветками, стеблями полыни, примыкал к дому бабки Варвары, и уже один вид этого заборчика говорил, что здесь одиноко коротает жизнь добрый, хлопотливый человек, воспитавший не слишком благодарных наследников. Соломин бросил окурок, затоптал его и толкнул чертившую по земле калитку.

Бабка вышла из сарая, неся что-то в подоле фартука, и подслеповато щурилась на него, не узнавая.

«Согнулась», — успел подумать Соломин.

И тут она ахнула, просыпала из подола в траву яички.

— Мешочек-то, голубый ты мой, мешочек-то...

Соломин посмотрел на рюкзак, который держал в руке, и вдруг словно со стороны увидел себя таким, каким стоял сейчас перед бабкой: грубые башмаки с сыромятными ремешками вместо шнурков, короткие, севшие после стирки брюки, слинявшая до белизны рубашка, пиджачишко с помятыми лацканами и в руке этот грязный, в темных сальных пятнах мешочек...

— Пустое, старая, — усмехнулся Соломин. — Ты на рожу мою погляди. Видела когда-нибудь такую гладкую рожу?

Он обнял старуху одной рукой за плечи, поцеловал в голову и повел на крыльцо. Конечно, бабка принялась кормить его, наварила полную тарелку яиц, принесла в решете малины, кринку топленого молока с коричневыми пенками, с желтыми лепешками жира. Соломин только усмехался.

— Не хлопочи, старая. Думаешь, меня там в подвале гноили, на хлебе и воде? Как бы не так! Спал на чистых простынях, трескал вволю, работал на свежем ветерке, вечером в шахматы играл. Раньше я тюрьмы вот как боялся — зубы клацали, а теперь подверните украсть где-нибудь — глазом не сморгну.

— Ой! — приседала от страха бабка.

— Я посплю, — выпив молока, сказал Соломин. — Брось мне половичишко на траву.

Пока она хлопотала, снимая с кровати тоненький тюфячок, он спросил, разминая сигарету:

— Ну, а про семью что мне скажешь, старая?

— Да что, батюшка, — вздохнула Варвара. — Сам, поди, знаешь.

— Знаю. Александру видела?

— Часто вижу. Гуляют все трое в городском саду. На маленькой Наталочке юбочки красн-и-вые, колокольцем...

— Гуляют. Он-то кто?

— А шут его знает! Плешивый. С тобой рядом поставить — тьфу, взглянуть не на что.

— Эх, старая! — невесело засмеялся Соломин. — Нашла чем утешить! Ну, и на том спасибо, святая душа.

Варвара охапкой потащила тюфяк и подушку, но в дверях остановилась, повернулась к Соломину.

— Пойдешь туда?

— Не утерплю, старая, пойду.

— Совет подам.

— Ну-ка.

— Не ходи босяком-то, не жалоби ее, гляди соколом. Возьми вон костюм, какой от деда остался,— новехонький.

В прохладе, в зеленоватом полусвете под яблонями Соломин уснул мгновенно, но вскоре, как это часто бывало теперь с ним, застонал, заметался и проснулся.

«Саша, Саша, горькая моя ягода!» — подумал он и усмехнулся, вспомнив, что этими словами начинал свои письма к подруге вор-рецидивист Стена Штырь, его напарник на лесоповале.

— Ну, что ж будем делать? — спросил сам себя Соломин.

На улице за забором мальчишка звенел обручем на проволочной каталке; в сарае надрывалась курица; над железной крышей дома уже поплыл зной. Соломин давно не оставался вот так один — только шорохи сада вокруг да невидимая жизнь улицы по ту сторону забора, — и ему стало жутко.

В самом деле, надо бы приодеться, — подумал он. — Поеду-ка в Москву».

Он достал из кармана смятую открытку, карандаш и [illegible]

«Саша! Не хочу появляться неожиданно, чтобы не на-

пугать тебя, поэтому пишу. Остановился у бабки Варвары. Приду в понедельник вечером. Будь, пожалуйста, дома, надо объясниться».

2

Из Москвы он вернулся совершенно преображенным: в отличном сером костюме, свежей рубашке, в импортных ботиках — и выглядел этаким курортным молодцом: загорелым, белозубым, пружинисто-бодрым. Расхаживая по дому, то и дело совался к зеркалу, спрашивал бабку:

— Ну, старая, что скажешь? Каково меня столица экипировала?

— Деньги у тебя знать бешеные, — сокрушалась Варвара.

— Что деньги! — отмахивался Соломин. — Шесть лет тюрьма заботилась о моем будущем и откладывала мою зарплату на книжку. Теперь я при тысячах.

— О? — не верила бабка.

— Правда! Говори, какая у тебя нужда? Может, дом перекрыть? Забор новый поставить?

— Ладно, ладно, не петушись, — урезонивала его Варвара. — Самому пригодятся. Вот женишься, они как раз и пригодятся.

Соломин вдруг сразу потускнел и полез в карман за сигаретами.

«Сорок лет, — подумал он, — а приходится начинать жизнь сначала. Не поздно ли, друг Иван? Все было, теперь нет ничего...»

Этот день, этот понедельник тянулся необыкновенно долго. Соломин пробовал читать, спать, несколько раз принимался есть, а до вечера все еще было далеко. Он лежал в саду на тюфячке и жевал травинку.

Вдруг открылась калитка. Соломин оглянулся, замочил, и его рука невольно забегала по расстегнутому вороту рубашки. Сухо шурша накрахмаленным колоколом платья, высокая, тонкая, в маленьких туфельках, с мешочком — подобием сумочки, — захлестнутым у запястья длинной руки, по дорожке сада шла молодая женщина. Глаза у нее были синие, со сквозняком, темно-рыжие волосы в продуманном беспорядке, рот большой, плечи покатые, узкие.

— О, сколь прекрасны и удивительны вы, Галина Павловна, — церемонно поклонился Соломин. — «Имеют, были слепые, а теперь, поди глядят».

— Не паясничай, Ванечка, — сказала она, улыбаясь.

и тут же из глаз у нее покатились крупные слезы. — Вар. вара говорит, в Москве был?

— Был, — растерянно и смущенно пробормотал Соло- мин. — Вот за шмутками сздил. Ведь у нас в городе как шьют — если ты простой человек, тебе кладут в пиджак килограмм ваты, а если начальник, то все два.

Она платочком промакнула глаза; от платочка, заглу- шая все запахи сада, веяло духами. Смотрела она на Соло- мина счастливо, сострадательно и наконец сказала:

— Другой, совсем другой. А вот я все та же, хочешь ты этого или нет...

Соломин понял.

— Ах Галка, Галка! — усмехнулся он. — Ничего из это- го не выйдет, ничего у нас с тобой не получится.

— И усмешечка новая, — словно не слыша его, сказала Галка. — Такая, знаешь ли, «и в беде, и в радости, и в го- ре только чуточку прищурь глаза». Мне нравится.

— Хватит! — Соломин сдвинул брови. — Расскажи-ка лучше о себе. Где работаешь? Вид у тебя секретарший.

— По Сеньке и шапка. Я университетов не кончала... Давай уедем отсюда, Ванечка. Оба мы с тобой молодые, красивые, свободные, нам завидовать можно.

— Я, должно быть, старомоден. Мне, чтобы уехать с тобой, полюбить надо.

— Полюбишь. Ведь полюбишь ты когда-нибудь, так почему же не меня?

— Не знаю, Галка, — откровенно признался Соло- мин. — Наверно, я привык относиться к тебе как к девчон- ке, которую таскал за ручку в детский сад.

— Дурак! Кретин! — взорвалась вдруг Галка, покрас- нев и снова обильно заливаясь слезами. — Да я женщи- на, какая тебе и не снилась. Смотри! Фигура, волосы, глаза. Видел ты когда-нибудь женщину с такими гла- зами?!

— К черту! — заорал и Соломин. — Не желаю я ника- ких глаз! К черту! Я сам не знаю, что делать с собой, и не желаю никаких женщин с глазами, понятно?

3

В [illegible]-далеком прошлом, по ту сторону войны, бы- [illegible] время, когда всю зиму он по пути в [illegible] до детского сада рыжую соседскую дев- [illegible] видел ее. Стоило ему зазеваться, как эта

рыжая тварь вырывалась, бежала с громким визгом по улице и кричала:

— Не поймаешь! Не поймаешь!

На них, умягченно улыбаясь, оглядывались прохожие. Они, вероятно, думали, что старший брат резвился с сестричкой, а в нем от конфуза и бессилия клокотало бешенство.

— Задушу... — шипел он, подкрадываясь к ней.

Но она опять отбегала прочь и кричала на всю улицу:

— А вот и не задушишь! А вот и не задушишь!

Потом, когда выздоровела ее долго болевшая мать, Соломин, к своему удивлению, первое время скучал по девчонке и при встрече останавливал ее на улице, спрашивал со снисходительным презрением:

— Ну, каково живешь, гнида?

— Я, Ванечка, в театре на настоящей сцене танцевала, и все мне в ладоши хлопали, — хвасталась девчонка.

Она пошла в первый класс, когда он уже кончил школу, и ему смешно и жалко было видеть, как однажды у ворот она, озябшая, посиневшая, хватала его за рукав и плакала:

— Ванечка, миленький! Не гуляй с Сашкой, от нее собаками пахнет... Она им такие страшные кости на базаре покупает!

Дом Александры и вправду был полон собак. Ее дядя — охотник и собачник — держал и легавых, и гончих, и сторожевых, а от него любовью к собакам заразилась и Александра. Это была заботливая, строгая любовь настоящей охотницы — без сюсюканья, без закармливания лакомыми кусочками, без разнеживающих поблажек, — и Соломин всегда любовался той опытной твердостью, с которой Александра повелевала собакой на охоте. У нее было легкое ружьецо двадцатого колибра, почти не знавшее в ее руках промаха. Но стреляла она редко. Работа собаки по тетереву, куропатке или перепелу увлекала ее больше, чем стрельба, и, проходив иногда в поисках выводка целый день, она делала не больше одного-двух выстрелов. Уставший, раздраженный, отупевший от жары, Соломин палил из двойного ружья в белый свет. А когда, разложив костер, они останавливались где-нибудь у воды на ночевку, он с восхищением смотрел, как Александра, сама же бодрая, как и утром, кормила собаку, купала ее, вынимала из сумки и раскладывала на газетном листе еду. Тогда — коротко подстриженная, в брюках — она

...ка на тонкого, стройного мальчишку, и Соломин ... ее в мужском роде — Сашкой, но это лишь как-то ... подчеркивало в его глазах ее женское обаяние. ...на и на самом деле, несмотря на свое мужское при-...страстие к охоте, была очень женственна, и даже в ее люб-...ви к природе проявлялась какая-то чисто женская, ма-...терińская особенность, исключающая всякое, даже разум-...ное, истребление. Она не била ястребов, запрещала Соло-...мину рвать цветы, не могла без шумного негодования ...видеть сведенный лес или раскорчеванный кустарник. И однажды Соломин слышал такой разговор между нею и дядей.

— Проклятие! — кричал дядя.— Где она нагуляла этих ублюдков. Вы только посмотрите, что она принесла! Дворняги! Шавки! Утопить немедленно весь помет!

— Дядечка, жалко...

— К дьяволу! Она осрамила меня перед всем городом!

— Ну уж и перед всем...

— А как же! Пять поколений чемпионов, родословная... Нет, ей самой камня на шею не пожалею.

— Дядечка, ну оставьте хоть одного! Я возьму его себе.

— Да не скули ты надо мной, пожалуйста! Тебе кобеля или суку?

— Однако ты и выражаешься, дядечка... Ведь я все-таки не егерь, а девушка.

Так, совершенно случайно, уцелел и потом вместе с Александрой вошел в жизнь Соломина ублюдочно-некрасивый, но преданный и добрый пес, сын неблагородного отца. Его назвали нелепым именем — Чук.

— Да, Чукча,— говаривал ему в минуты шутливого настроения Соломин.— Не мы выбираем себе отцов, и, видишь, эта оплошность природы едва не стоила тебе жизни.

Расхлябанной трусцой, все обнюхивая, всюду тыкаясь ...ой тупоносой мордой, поливая каждый угол и столбик, ...ой пес бегал по городу за Александрой и Соломиным, по-...являлся и в парке, где они гуляли, и на танцевальной пло-...щадке, и на пляже. Он в самый неподходящий момент, ...отряхиваясь от налипшего на нос пуха одуванчиков, вы-...скакивал в разгаре из кустов, залаял, запрыгал, но ему с обес-...куражившим раздражением крикнули:

— Да уйди ты, проклятая собака!

...Морозец пощипывал Соломина и Александру в лыж-...ном пробеге. Прекрасна была зимняя синева на грани ...сумерек, и Соломину волшебным светом ска-

зок, в котором из темных урочищ одиноко и робко выходит холодная Снегурочка. Вдали переливалась гряда городских огней, а в пойме среди снегов все обнимала эта быстро густеющая синева, и перед таинством прихода ночи на минуту какое-то смущение охватывало Соломина и Александру — они останавливались, боясь потревожить тишину скрипом снега, замирал и Чук, настороженно поднимая уши, и, когда вдруг резко падала неприветливая зимняя темнота, всем троим особенно дорога становилась их преданность и любовь друг к другу. В избытке нежности, стараясь соприкасаться плечами, Соломин и Александра медленно двигались рядом, а Чук восторженно взлаивал и, взрывая снег, носился вокруг них.

Дома они затапливали печь. Александра, поджав колени к подбородку, садилась на полу, из комнат, потягиваясь, сходились к огню собаки, и все завороженно смотрели на хаотическую пляску огня в печи, а Александра восседала среди них, точно высеченный из темного дерева языческий божок — тонколицый, молодой, грациозный, озорной и мудрый. Иногда в такие минуты Соломин с какой-то пугающей отчетливостью ощущал смысл пословицы «Чужая душа — потемки» — так недосягаема и непонятна становилась для него Александра в ее слитности с природой, с этим зверьем, неприятна в ее неприязни к комнатам и любви к болоту, лесу, снегу, непонятна в недевичьей свободе, зрелости и в то же время чистоте ее взгляда на любовь, какой, вероятно, дается близостью все к той же матери-природе, и ему порой начинало казаться, что преданные, рабские, обожающие глаза Чука больше понимают ее, чем он.

Ах, с какой мучительной пытливостью всматривался он тогда в ее смуглое, тонкое, с глубоко вырезанными ноздрями и малахитовыми глазами лицо!

В сухой, жаркий, ветреный день июля Чук вместе с Александрой провожал Соломина на фронт. В толпе ему наступали на лапы, пинали ногами, бранили, но он, то взвизгивая, то огрызаясь, упрямо пробирался за Соломиным к вагону.

«Дядечку нашего тоже взяли в армию,— писала в письме Александра.— Перед отъездом он роздал всех своих собак знакомым охотникам и при этом плакал, меня же только потрепал рассеянно по щеке, сказав:

Неужели нельзя было ввести для животных плек, хотя бы на кости с бойни!

Нана тоже давно на фронте. Теперь в нашем доме лишь я да Чук. Когда я прихожу с комбината, он стаскивает [illegible] потому что сама я тут же валюсь от уста-[illegible] на диван. Потом мы топим печь, смотрим на огонь, вспоминаем мирную жизнь, которую так легкомысленно не ценили...»

Дом, печь, собака у огня... С каким острым чувством отзывчивости ко всему этому читал Соломин письма Александры, вспоминал и крепкий запах зверья, устоявшийся в доме, и бликие огня в печи, и возле нее Александру в ее любимой позе — с поджатыми к подбородку коленями...

После войны Чук не сразу узнал его. А он не сразу узнал рыжую долговязую девчонку, которая, оттолкнув бабку, Александру, Чука, первой бросилась к нему на перроне.

— Будешь жениться на своей собачнице? — с ехидством спрашивала она потом, встречая Соломина на улице.

И хотя уже никогда больше не было ни охотника-дяди, ни собак и уже умер Чук, а она упрямо звала Александру собачницей, стараясь принизить ее в глазах Соломина.

Чук умер от старости. Из просторных комнат, по которым, стуча когтями, он бегал своей расхлябанной, кутячьей [illegible] переселили в сарай, потому что в доме появилась маленькая дочь хозяев. Он целыми днями лежал, свесив голову через порог, и смотрел во двор. Шерсть на шее у него вылезла, глаза отцвели. Однажды Соломин понес ему миску с теплым молоком, но пес уже еле поднялся, [illegible] силу вильнул по врожденной своей доброте и преданности хвостом, зашатался и упал на бок, судорожно [illegible] лапы.

Была ранняя, сухая, солнечная осень, и, пока Соломин [illegible] в сарай за Чуком, в яму, которую он ему приготовил, [illegible] нападали желтые листья вяза. Вместе с Александрой они [illegible] засыпали яму холодным, искристо вспыхивающим [illegible] песком и вернулись в дом. В этот день впервые [illegible] печь. Поджав колени к подбородку, Александра [illegible] на огонь, потом чуть охрипшим от долгого мол-[illegible] голосом спросила:

— Грустно тебе?

— признался Соломин.

Она посмотрела на него блестящими влажными гла-[illegible]

— Милый, как хорошо, что за эти годы ты не огрубел и остался таким же чутким, словно стручочка, таким чистым и немного даже стыдливым, как в юности. Признайся, ты еще пишешь украдкой стихи?

«Боже мой! Если бы она знала, что́ я теперь стыдливо пишу украдкой! Чуткая стручочка...» — подумал Соломин.

— Ты тоже молодец — не обабилась,— сказал он, не отвечая на ее вопрос.

— Да,— согласилась она.— Мы до старости проживем с тобой юными и чистыми. Вот настанет зима, и опять будем по вечерам ходить на лыжах... Луна, снег, морозный пар над полыньями, словно полупрозрачный призрак... А Чука жалко. Помнишь, как он поднял в пойме белую сову?

— Я все помню,— сказал Соломин.

В красноватых отблесках огня Александра напоминала ему ту прежнюю, мальчишески стройную охотницу, и хотя теперь она заметно раздалась в бедрах, отрастила волосы, в первозданной натуре ее не случилось никаких сдвигов. Она по-прежнему не любила комнаты, постоянно стремилась к реке, в лес, а в материнстве опять проявилась перед Соломиным какой-то непостижимой загадкой.

«Должно быть, с такой вот суровой любовью и заботливостью пестует своих детенышей волчица»,— не раз думал Соломин, наблюдая, как она обращается с их маленькой дочерью.

4

Чтобы не встретить знакомых, он шагал окраинами, в обход людных центральных улиц. Хрустящая шлаковая дорожка вела его через поселковый парк, который лишь недавно стал парком, а раньше был просто сосновым бором, куда дети ходили за маслятами. Было тихое, нежное время заката. На вершинах огромных строевых сосен, засыпая, хрипели грачи; истончился, стал слабее душный запах хвои, и в воздухе уже плыл сырой, прохладный пар земли.

Соломин в мыслях давно уже пережил десятки вариантов предстоящей встречи с Александрой и, вконец измучившись, решил больше не думать об этом — не надо ни подготовленных фраз, ни предварительных решений, пусть будет так, как будет. И он шел, рассеянно поглядывая на [illegible] улицы окраинных поселков. Ощущение

[illegible] успел уцелеть он в городе, не поки[illegible] и теперь. Здесь было много пошлых домов, много [illegible] молодого люда, шляющего какой-то вольной, раз[illegible] походкой и разноголосящего громко, весело.

«Сколько же я пропустил и потерял! И какой мерой [illegible] мерить эти потери? Временем? Если бы только время», — подумал Соломин.

По своей улице он шел потупясь, не глядя на окна домов и на встречных людей. Калитка была заперта, но он привычной рукой нащупал через дырочку засов и поспешно нырнул во двор. Сердце у него противно колотилось, горло завалил крутой комок. А через двор, появившись на стук засова, уже шла Александра. Как и прежде, она и в домашней обстановке была не какой-нибудь распустехой в халате и стоптанных шлепанцах, а строгая, подобранная — в узком сером клетчатом костюме, отделанном черной тесьмой, воздушной блузке с черным бантиком и черных туфлях, ладно сидевших на маленьких крепких ногах.

«Красиво... Но как холодно!» — подумал Соломин.

— Ну, здравствуй, — сказал он, не зная, подать ли ей руку, поцеловать ли ее или просто поклониться. — Ты не бойся, — добавил он. — Я не мстить пришел. Я не граф Монте-Кристо.

— А я и не боюсь, — ответила она. — Войди в дом. Сегодня здесь никого нет.

«Это она правильно сделала, что спровадила куда-то... этого... своего... А Наталочка?» — подумал Соломин.

В маленькой прихожей он помедлил и несмело отодвинул легонькую полотняную занавеску. Когда-то здесь стояли машинка «Singer», высокий комод со старомодным трюмо, дубовый шестиногий стол, раскоряка-диванчик, потом появилась полированная мебель рижской фабрики, а теперь комната представляла собой смесь столовой и кабинета, где стол под льняной скатертью и простенькие гнутые стулья были утеснены огромным чертежным столом. Зеленоватый свет, сочившийся сквозь заслонившие деревьями окна, делал обстановку комнаты чем-то похожей на театральные декорации, и Соломин с усмешкой подумал, что вступил в новый, может быть, последний акт спектакля жизни.

Он подошел к столу и положил перед собой сигареты. Александра молча наблюдала.

— Не знаю, с чего и начать, — усмехнулся Соломин.

— Кури. Я-то готова к этому разговору... Можешь начать с того, что я поступила подло, кинув тебя в беде, что любовь моя оказалась непрочной, а сама я — последней дрянью из дряней. Так многие уже говорили.

— Нет, этого я не скажу, хотя было время, когда я думал так же.

— Тогда что же ты скажешь?

— Я знаю, крутить и вилять перед тобой не следует, ты любишь прямые объяснения... Саша!..— Соломин усилием воли унял мелко задрожавшую нижнюю губу.— Давай... ну, как это назвать?.. Будем опять жить вместе. Забудем все — и ты и я.

— Мне это смешно, Иван,— спокойно и жестко сказала Александра.

— Ей смешно! — не сдержавшись, с болью выкрикнул Соломин.— Ты напускаешь на себя это спокойствие. Тебе вовсе не смешно, а невыносимо тяжело и скверно!

— Да нет же, уверяю тебя,— с какой-то насмешливой доброжелательностью сказала Александра.— Постарайся понять, что произошло. Я перестала любить тебя. И не постепенно, по схеме «с глаз долой — из сердца вон», а сразу — точно вышла из огня, новая и очищенная. Если бы тогда не конфисковали имущество, я бы уничтожила его, потому, что срывала с себя все прошлое, как коросту. А от одной мысли о тебе содрогалась, точно схватила нечаянно паука. Подумать только! Ведь в то время, когда все мы на комбинате жили мечтами о большой химии, когда дома мы с тобой купали дочь и умилялись ее лепетом, ты делал какие-то махинации с пластикатовыми босоножками. Бо-со-ож-ка-ми! Фу, какая мерзость! В этом ответ и на все — почему я бросила тебя, почему снова вышла замуж и почему не могу вернуться к тебе. Быть неискренней в чувствах и поступках я не могу.

— Не я делал эти махинации,— угрюмо возразил Соломин,— я только покрывал. Сначала по простоте, которая, впрочем, хуже воровства, а уж когда коготок увяз, то из-за страха перед теми матерыми комбинаторами, с которыми сел. Меня, откровенно говоря, и не стоило держать там столько лет, потому что один только суд сам по себе был для меня самым тяжелым наказанием и перевернул во мне все. Срок заключения уже не имел, по сути дела, никакого значения — год, два, десять... Ну, да разве распознаешь каждого! Я не в обиде.

Он почувствовал, что оправдываться сейчас ни к чему.

нужно сказать что-то более нужное и важное, но не находил таких слов и видел, что Александра слушает его нетерпеливо и рассеянно.

— Ну, а дочь? Наша дочь? — решил он использовать свой последний и самый, как ему казалось, неотразимый шанс.

Александра резко наклонила голову, и было в ее смуглом с легкой синевой под глазами лице, в тяжелом узле черных волос на затылке что-то усталое и скорбное. Соломин вдруг понял, как боялась она все годы этого вопроса, в какой борьбе с собой и в страхе перед ним, перед его правом на дочь жила, и на минуту мстительное чувство шевельнулось в нем, но тут же сменилось жалостью и нежностью к ней. Ему показалось, что он наконец нашел те нужные слова, которые решат все. Чтобы высказаться до конца, человеку немного нужно слов; все больное, запутанное, трудное, что мучит его, если оно есть, укладывается в одну короткую фразу: «Я хочу счастья». И Соломин по-своему сказал ей:

— Я люблю тебя, Саша.

Но она не ответила, только слегка повела плечом. Потом подняла голову и опять взглянула на него спокойно, холодно. Было слышно, как журчит в прихожей электрический счетчик. Соломин сразу сбавил и потупился под этим взглядом.

«За дочь она будет все-таки бороться насмерть»,— подумал он.

— Мне, наверно, пора уходить? Давай договорим.

— Что же еще? — спросила Александра.— О Наташе? Она не помнит тебя ... и считает отцом... В общем, ты понимаешь. И уж решай сам, надо ломать ее счастливое заблуждение или нет. Я могу только просить тебя...

— Не напоминать о себе? Исчезнуть? — усмехнулся Соломин.— Роман! Голливуд! Библиотека приключений! Ведь это жестоко!

Он яростно вмял в блюдечке, заменявшем пепельницу, только что закуренную сигарету.

— Прямой разговор всегда жесток,— сказала Александра.

— Я теперь знаю, что за ошибки надо платить,— устало сказал он.— Иногда всю жизнь. Будем считать, что я все еще продолжаю платить.

Что-то стукнуло на дворе, и какими-то дрожащими, точно [illegible] было густо усыпано небо. Соло-

ми уже открыл калитку, когда сзади его окликнула Александра.

— Ну что? — спросил он.

— Иван, ты только не считай, что все у тебя потеряно, и не опускайся, держись! Слышишь?

— А! — сказал он и махнул рукой.

5

— Зубной техник Бизонов! О, какая шикарная вывеска у вас, гражданин Бизонов! И, наверно, несмотря на патент, есть левый заработочек, а? Я вижу ваши ворота. За такими воротами обязательно должна скрываться двухцветная «Волга». Ведь вы любите, наверно, то, что ярко блестит. Золотишко, например, а? И вот в один прекрасный день, когда вы пьете чай с лимоном, к вам стучат, предъявляют ордер на обыск, потом на арест, и — фью-ить! За незаконную скупку желтого дьявола и продажу ему вашей обывательской души вы едете на Север. И вам вместо наконечника бормашины дают в руки пилу. Ту самую, между прочим, которую в свое время мы дергали со Спесивой Штырем. А мадам Бизонова, оплакивая двухцветную «Волгу», выходит замуж за плешивого химика, потерявшего волосы на вредном производстве. И ваши деточки, маленькие бизончики, становятся химиками... Все синтезируют, все разбавляют... А я иду домой. Вы, конечно, хороший. Я рассказал вам про другого техника. Он был вместе со мной, но пилил не деревья, а зубы. Все начальство сверкало его зубами. Спокойной ночи! Дайте нажать на клаксон вашей «Волги».

Солнцев нажал на кнопку звонка, оттолкнулся плечом от двери с табличкой «Зубной техник В. Д. Бизонов» и рывками, точно палки вперед, пошел дальше.

— Малый! Так дружинники, — мягкозвучно прокурлыкал его чей-то добрый ласковый голос.

— Плевать, — ответил Солнцев. — Я уеду на Север.

Он рванул дверцу такси, стоявшего у обочины тротуара, и сел рядом с шофером.

— Куда? — спросил тот.

— На Зеленую.

— Это же рядом.

— Ну и что?

В старой, громыхающей дверцами машине его замути-

... и выхлопного газа. Но, свернув на темные боковые улицы, машина скоро остановилась. Сунув шоферу какую-то бумажку, Соломин тяжело вылез и, покачиваясь, стоял на дороге. Разворачиваясь, машина описывала светом фар широкий круг, и улица, словно карусель, неслась мимо Соломина, сверкая стеклами окон.

— Держись, Ванечка, за меня держись,— сказала Галка.

— А, это ты,— пробормотал Соломин.

— Я тебя уже четыре часа жду! Не догадалась, что ты пьешь где-то, я бы тебя увела.

— Принеси воды.

— Сейчас, Ванечка.

— Женщина!— усмехнулся Соломин.— Я шесть лет не был с женщиной. Ты должна меня бояться.

— Не болтай глупостей.

Она усадила его на лавочку у ворот своего дома, ушла и скоро вернулась с ковшом воды. Соломин умылся.

— Пожуй теперь,— сказала Галка, подавая ему горсть кофейных зерен.

Он заметно отрезвел, пожевав кофе, и уже совсем разумно сказал:

— Это очень паршиво, когда остаешься жить только для себя, понимаешь? Некого любить, не о ком заботиться... Ну, бабке я дам денег, а дальше что? Понимаешь, какой парадокс! Ведь если я желаю счастья тем, кого люблю, я должен — фюйть! Испариться. Вот и все, Иван Соломин. Надо тебе отсюда уехать, это ясно.

— Уедешь, Ванечка, уедешь,— похлопывала его по руке Галка.— А сейчас иди спать, утро вечера мудренее.

— Эх ты, царевна-лягушка,— невесело засмеялся Соломин.

6

В передвижении современного человека по планете ... что-то извержно-шпионское. То он, положив локоть ... боковое стекло, мчится с ветерком на авто... то, отпихнувшись удобно на спинку кресла, летит ... , позавтракав в Москве, думает о том, чем бу... ужинать в Новосибирске, а ужинать в Хабаровске, то ... ломых от крахмала простынях, убаюкан... мягким ходом вагона.

Взять хотя бы тот электропоезд, на котором он, Соло-

ми, ездил в Москву. Попадая в его вагон, какой-нибудь не слишком бывалый пассажир, не избалованный доселе порядком на вокзалах и комфортом в поездах, для первого раза, должно быть, слегка обалдевает от неожиданности, конфузится своего перехваченного наперевес мешка или распертой до формы шара авоськи и поскорей запихивает это имущество под кресло. В другой раз он обязательно берет с собой, может быть, не слишком щегольской, но все же чемодан. Подкинет его эдак небрежненько на полку, сядет, парочно попружинив, в мягкое кресло и развернет журнальчик с картинками. И уж не прет в пыльном плаще, а вешает его на крючок, потому что на сей раз не дал маху — не надел в дорогу одежонку поплоше, а достал из нафталина праздничный пиджак с плечами и привязал на шею крепдешиновый галстук с малиново-зеленой полосой. Точь-в-точь как вон тот парень на соседней скамейке. Эй, приятель, у какого павлина ты одолжил это перо?

Такими мыслями развлекал себя Соломин в ожидании поезда, сидя на скамейке в чахлом привокзальном садике. Было раннее утро — у киоска нетерпеливо дожидались московских газет, на клумбах еще поблескивала роса, и воздух пахнул молодым огурцом.

В этих мыслях и в этом своем настроении Соломин ощущал какую-то браваду, позерство перед самим собой, но они действительно отвлекали его от того, о чем следовало бы подумать и о чем думать он уже устал. Валяясь на сеновале в бабкином саду, он обдумал и перестрадал множество вариантов своего будущего. То решил он спиться, обезумиться и жить в городе вечным укором Александре; то видел себя бакенщиком, живущим в избушке на берегу реки: костер, философический бег воды, мысли над неподвижными поплавками, не стоящие, по чистой совести, и гроша ломаного, но такие возвышенные, такие очаровательно-грустные мысли праздного русского человека о жизни, о смерти, о времени, о Вселенной; то воображал себя прославленным человеком, который, назло всем бедам и всем напастям, не сломался, живет, трудится и всегда улыбается миру со всех газетных страниц... Конечно... Где та избушка? Наконец он рассердился на свои [illegible] мальчишеские фантазии и решил просто ехать, смотреть, пока не остановит его где-нибудь [illegible] душе.

— В Москву, на первую платформу [illegible] — заявил [illegible] в кассу.

Соломин встал и, помахивая своим невеликим чемоданчиком, вышел на перрон. Вскоре с нарастающим воем туда ворвался электропоезд. И когда он снова тронулся и Соломин уже сидел в мягком, обтянутом кожей кресле, он заметил, что мужчины, занимавшие места напротив, вдруг как-то напряженно вытянули шеи и следят взглядами за тем, что, очевидно, надвигается на них из глубины вагона. Соломин оглянулся. По проходу между креслами, покачивая колоколом своего платья, с чемоданом в одной руке и плащиком через другую шла Галка.

— А, вот ты где,— деловито и будничио сказала она, увидев Соломина.

В этом комфортабельном, на эластичном ходу вагоне было до безобразия тихо, и Соломин ничего не ответил ей. Они молча смотрели в окно, пока пассажиры не погрузились в свои дорожные дела — кто в сон, кто в еду, кто в чтение, кто в беседу, и тогда чуть внятно Галка сказала:

— Я просто буду жить там, где ты... И все. А потом будет видно. Ведь могу я жить, где мне хочется?!

И так как он опять ничего не сказал, она через некоторое время пожаловалась:

— Поесть не успела. У тебя ничего нет?

— Посмотри в чемодане. Кажется, бабка что-то сунула туда,— ответил на этот раз Соломин.

Вагон плавно заносило на стрелках. Кружились за окном поля, сверкали речки, мелькали будки, станции, и смотрел на все это Иван Соломин — человек свободный.

1962

Продолжатель

Гремя заскорузлым дождевиком, Горчаков поставил ногу в стремя, опершись рукой в заднюю луку и трудно поднял в седло свое тяжелое тело. Небольшой мерин ок даже присел слегка и перебрал задними ногами, ища равновесия.

Частый дождь дробно щелкал по дождевику.

Облака длинными космами низко висели над землей, было тепло, тихо, и мутный туман обволакивал все вокруг, точно мокрая марля.

Конюх насмешливо смотрел на Горчакова. Он как будто понимал, что тому не хочется из сухой правленческой избы, где можно, сидя за письменным столом, курить папиросы, читать газеты и говорить по телефону, ехать теперь в этот туман через тускло блестящие от избытка влаги пашни, через грязные, заплывшие озими, через редеющие, едва опушенные перелески. В этой избе и особенно в маленьком председательском кабинетике по всему было видно, что тут долго хозяйничала женщина: на окнах висели сборчатые занавесочки, диван был под полотняным чехлом, в прозеленевшем стакане еще сохранились селезневые, почерневшие одуванчики, и вообще кабинет имел какой-то по-домашнему вид, какой может придать любому помещению только женщина. Табачный шум и чад совещаний не шли к этому кабинету. Здесь было приятно сидеть одному и думать. Раньше Горчаков не замечал этой особенности кабинета Ганиной, но теперь, когда сам стал в его колхозе председателем, он вдруг с удивлением обнаружил, как хорошо и спокойно ему работается здесь, и ничего не захотел менять.

— А что, Мария Игнатьевна тоже верхом по бригадам ездила? — спросил Горчаков конюха.

— В распутицу всегда верхом, — ответил конюх, почесывая мерина свежим пальцем под ореховой [illegible]

суглинок взрагивал всей кожей.— Такое уж у нас место гиблое, что как покапает дождик, так мы по пупок в воде стоим.

Горчаков тронул черника и шагом выехал за конюшни в поле. Однообразно ложилась лошади под ноги рыжая суглинистая дорога. По сторонам из тумана изредка выступали ветлы да шетинилась по обочинам прошлогодняя полынь. Оттого, что туман закрывал даль, путь казался бесконечно долгим, и Горчаков то и дело нетерпеливо дергал повод. Меринок, должно быть, привык носить легкую и сухонькую Марию Игнатьевну — грузность Горчакова и постоянное дерганье нервировали его, и он шел как-то боком, обиженно косясь на седока влажным карим глазом. Может быть, Ганина разговаривала с ним, трясясь в седле по валким колхозным дорогам? Может быть, прикармливала сахаром? Может быть, совсем по-другому смотрел на нее этот глаз?

Холодная струйка побежала за воротник Горчакова, он вздрогнул и слегка хлестнул меринка по крупу. Тот вяло сделал несколько шагов рысью.

Странно, подумал Горчаков, какие случайности направляют иногда человеческую жизнь. Вот не заболей Ганина, не накатай тогда колхозники в райком просьбу направить к ним председателем третьего секретаря Горчакова, и он, Горчаков, не ехал бы сейчас на этом рыжем угрюмом мерине, не вдыхал бы этот пахнущий молодой зеленью и мокрой землей воздух, не видел бы косой полет грачей над пашней.

Он вспомнил заседание бюро райкома, на котором все решилось. Он стоял тогда перед членами бюро и долго смотрел в окно; было слышно, как позванивали оконные стекла, когда мимо проходила тяжелая машина. Горчаков чувствовал, что молчит слишком долго, что вот-вот на чьем-нибудь лице появится ироническая усмешка, кто-нибудь резко и откровенно упрекнет его.

— Ну что ж тут думать-то, Николай Ильич! — сказал наконец секретарь Астахов, вынимая папиросу и разминая своими толстыми мозолистыми пальцами, еще не отвыкшими от [illegible] работы механика МТС.— Мы ведь с тобой еще [illegible] обговорили. Не выполним просьбу колхозников — [illegible] дурной пример.

Горчаков продолжал молчать. Астахову, может быть, и [illegible] раздумывать в подобном положении: он [illegible] моров, бездетен, но Горчакову с его сорока восемью

годами, с большой семьей, с обжитым городским домом нелегко и не просто было начать новую жизнь на новом месте. Теперь Горчакову вспомнилось, как он сам вместе с Астаховым «нажимал» на коммунистов, которые не хотели идти в колхозы председателями.

Неужели и для него должна простучать по столу железная астаховская ладонь! «Фу, как стыдно!» — подумал Горчаков и поспешно сказал:

— Я согласен.

Из тумана неожиданно выступил длинный ток на толстых столбах, под соломой. Горчаков знал здесь все дороги и свернул у тока прямо на упругий, еще сырой выпас, чтобы сократить путь. Перед скотными дворами, которые он хотел посмотреть, ему попалось парниковое хозяйство; котлованы, снизу отливая жирным черноземом, были еще открыты, и маленький старичок в безрукавке на меху, шапке с торчащими вверх ушами и валенках с красными калошами из автомобильных камер стеклил под тесовым навесом рамы. При виде Горчакова он снял шапку и степенно поклонился.

— Ты что это передо мной шапку ломаешь? — усмехнулся Горчаков.— Ведь я не барин, а ты не холоп.

— Холопство тут ни при чем. Я тебе почтенье оказал, Николай Ильич,— сказал старик.

— Ну, спасибо, здравствуй, коли так.— Горчаков снял свою намокшую фуражку и тоже поклонился старику.— Только, прости, не помню, как звать тебя.

— Не беда,— сказал старик.— Мы с тобой и не говорили никогда. А звать меня Игнат Демидыч Зыков. Марью мою ты должен знать. Ганину-то.

Горчаков с любопытством посмотрел на старика. Удивительно и как-то трогательно было узнать, что у Ганиной, женщины уже не молодой, с прямыми пепельно-седыми прядками на висках, есть такой крепенький, розовощекий старичок отец. Горчаков спешился, завел низкорослого мерина под навес и, стряхнув с дождевика скопившуюся в складках воду, достал коробку папирос.

— Закуришь, Игнат Демидыч?

— Отчего ж.

Двумя пальцами старик осторожно взял из коробки толстую папироску, не сминая ее, сунул в запавший рот и потянулся к зажженной Горчаковым спичке.

— Ну, а как Мария Игнатьевна? — спросил Горчаков.— Давненько я ее знаю. Еще когда я директором фаб-

рики был, мы шефствовали над вашим колхозом. Железная женщина.

— Какое там железо! — отмахнулся старик. — Она жалостливая. Она ежели строжничает с кем-нибудь, так у нее в глазах слезы по горошине стоят.

«И верно ведь!» — подумал Горчаков, вспомнив, какие страдающие и виноватые глаза бывали у Гашиной, когда ей приходилось отчитывать кого-нибудь, наказывать или заставлять что-то делать вопреки желанию.

«Да и вообще, что я знаю о ней?» — подумал вдруг Горчаков.— И что она знает обо мне?.. Бюро... активы... совещания... сев... уборка... заготовки... «Давай, Маша!» «Выручай, Маша!» А есть у нее, например, дети или нет — черт один знает! Вот мой Володька в нынешнем году из армии вернется, надо ему в институт готовится, а кому до этого дело, кроме меня? Живем, как семечки в мешке,— вроде бы кучей, а каждый в своей скорлупе».

Где-то за туманом, который стал реже, выше и желто просвечивал теперь на солнце, ударили в рельс или буфер.

— Может, пообедаешь с нами, Николай Ильич? Будь дорогим гостем,— предложил старик.

Горчакову было неловко вот так сразу распрощаться с приветливым стариком, и он согласился. Ведя меринка в поводу, они спустились по муравчатому косогору к маленькой — в двенадцать домов — деревне, густо прикрытой цветущими ветлами. Была она вся крепенькая и тесно собранная вокруг чистого и круглого пруда, эта деревня, а там, куда еще ниже падал косогор, по какой-то особой густоте тумана, по его молочной синеве угадывались луга и речка

— Мария Игнатьевна тоже здесь жила или на центральной усадьбе? — спросил Горчаков, заводя меринка в распахнутые стариком ворота во двор.

— Что там, на центральной усадьбе,— пыль, гам, бензин! — пренебрежительно сказал старик.— А у нас места привольные: две речки под деревней сливаются; лес — тут тебе и сосновый, и дубовый, и березовый, луга — ну так и хочется пасть в них.

По выбитой лесенке они поднялись со двора в избу, [illegible] под рукомойником, и старик проводил Горчакова [illegible]. Зеленоватый полусвет струился здесь из окон, [illegible] комнатными цветами, на полу лежали пестрые [illegible], стояла горка с посудой, высокая кровать, [illegible] патефон под вышитой дорожкой — все

как в обычной деревенской избе. С цветного портрета, молодая, круглощекая, глядела на Горчакова Маша Ганина.

— Разрешим по маленькой, Николай Ильич? — спросил старик, высунувшись из кухни.

— Не стоит,— рассеянно ответил Горчаков.

Он все еще с каким-то неприятным смущением переживал давешнюю мысль, и гостеприимство старика смущало его еще больше.

— А что, ребята-то у Марии Игнатьевны есть? — досадуя на себя за это смущение, спросил он, шагнув за стариком в кухню.— Кто тут у вас еще есть? Муж се? Ребята?

Старик в это время ловко выхватил тряпкой из печи дымящийся чугун и стукнул его на шесток.

— Как же нет ребят! Целых двое. Сейчас из школы придут. И зять у меня есть — тот плотничает. Хороший зять, жаловаться не могу... Да мы не станем их ждать, ты садись, Николай Ильич.

— Нет, уж давай подождем,— решительно сказал Горчаков и сел на лавку, упершись руками в широко расставленные колени.

Скотные дворы в тот день Горчаков так и не стал смотреть. После обеда, когда старик и зять собрались на работу, а ребята сели за уроки, он вывел мерина и, крепко нахлестывая его, поскакал на центральную усадьбу. Там он велел рассыльной девочке, лукавой и бойкой, найти шофера Сеню, сменил забрызганный грязью дождевик на синий диагоналевый плащ и поехал в город.

Рыча и воя, «газик» натужно брал размытую дорогу. Сеня удивлялся молчаливости обычно шутливо-разговорчивого Горчакова и тому, как внимательно председатель взглядывал на него, а Горчаков все еще думал:

«Вот и Сенька — что я знаю о нем? Служил ты, Сенька, в армии или только пойдешь служить? Есть у тебя девчонка? А может, жена? Живы твои отец, мать?.. Немало и раньше возил ты нас с Ганиной по колхозным дорогам, а я ничего не знаю о тебе, как не знала, наверное, и Ганина...»

И он опять думал о том, что и другим решительно нет никакого дела ни до него, Горчакова, которому на склоне лет пришлось ломать устроенную жизнь, ни до его Володьки, которому после армии надо держать в институт.

Вечерело, когда приехали в город. Дождя уже не было, но низкие клубящиеся облака все еще текли по небу, и на улицах раньше времени зажглись фонари. Если бы не клейкий запах молодого листа тополей, то можно было подумать, что стоит сентябрь.

Горчаков зашел в магазин, купил там лимонов, коробку конфет, пачку печенья и поехал в больницу.

— Ну, как там Галина? — спросил он дежурного врача.

Тот узнал Горчакова, велел санитарке дать ему халат и сам проводил в палату к Марии Игнатьевне.

В дверях Горчаков невольно остановился. Совсем недавно такая неугомимая, подвижная, с трепетным блеском в глазах, Галина поразила его так внезапно одряблым, пожелтевшим лицом и каким-то новым выражением глаз — не то безучастно спокойным, не то глубоко и мудро задумчивым. И только голос был все тот же, со знакомой Машиной грустинкой.

— Здравствуй, Николай Ильич,— сказала она.— Спасибо, что навестил. Часто мы с тобой, бывало, ругались, а ты не помнишь, значит, зла, пришел. Ну, хорошо. Садись.

Горчаков придвинул ногой белую больничную табуретку и сел.

— Я у твоих нынче был,— поспешил сообщить он.— Все живы, здоровы, шлют тебе поклоны и приветы. В воскресенье привезу к тебе ребят. Соскучилась, наверное? Ты, как говорится, болей на здоровье, ни о чем не беспокойся. Я там за всем догляжу.

— Спасибо,— тихо сказала Галина.

Горчаков чувствовал, что говорит суетливо, неестественно, но остановиться никак не мог и продолжал сыпать словами, рассказывая Маше о ее семье, о колхозе, о районных делах.

— А ты на меня не обижаешься, Николай Ильич? — вдруг перебила его Галина.

— За что, помилуй? — опешил Горчаков.

— Ведь это я надоумила колхозников с письмом в райком обратиться.

— Удружила! — прорвалось у Горчакова.

— Ничего, Николай Ильич, знаю: коль занял ты мое место, то будешь работать на нем не за страх, а за совесть. Все после себя надо оставить человека крепкого. Это перед каждым сопливым мальчонкой там мой последний

лог. Так что уж прости, если по моей вине ты с пьяного места сорвался.

— Какая же твоя вина, Мария Игнатьевна... — пробормотал Горчаков.

— Да и тебе на пользу это, — усмехнувшись, продолжала Ганина. Может, вернешься когда-нибудь на руководящую работу, хватит нашей председательской заботушки, умней руководить станешь. А о городском гнезде не тужи. Ведь твои птенцы не то что мои, давно на крыле. Владимир-то когда возвратится? Ты ему вели учиться. Какие они теперь без образования работники?

— Все-то мои заботы ты знаешь, Игнатьевна, — ласково усмехнулся Горчаков.

— Да ведь как же! В одном котле кипим. Ну, ступай, пожалуй. Устала я.

Горчаков пожал ей руку и вышел.

Было уже прохладно. Садясь в машину, он застегнул верхнюю пуговицу плаща и опять, к удивлению шофера, молчал всю дорогу до своего городского дома.

1952

Грачи

Однажды я пересек несколько областей, чтобы побывать в городке, издавна манившем меня своей стариной.

Когда я вышел из приземистого каменного вокзальчика, по оттаявшему перрону гулял огненно-рыжий петух, далеко расшвыривая лапами шлак. Стрелочница в длинном тулупе махала на него фонарем и смеялась. Был март, самый его конец.

Отряхиваясь от капели, попавшей на шапку, громко топая, чувствуя тот прилив светлого настроения, который всегда бывает в такие синие мартовские дни, вошел я в гостиницу.

В наших маленьких городках еще много старых деревянных гостиниц с темными коридорами, большими, сплошь заставленными железными койками комнатами, угарными печами и вечным отсутствием свободных мест. Именно такой оказалась и эта. На страже ее благоухающих карболкой недр за фанерной переборкой с окошечком сидела женщина в сером пуховом платке. Изо всех сил нажимая на карандаш, она писала под копирку квитанцию.

Я деликатно постучал в окошечко.

Ах, какие глаза подняла на меня от своих квитанций эта женщина! Огромные выпуклые глаза южанки, с черными зрачками и голубоватым блеском белков, который, казалось, не гаснет даже в темноте.

— Ах, гражданин, как вы меня напугали! — закричала она. — Разве обязательно нужно стучать у меня над самым ухом, словно где-то загорелось помещение!

Я попросил у нее номер.

— Им нужен номер! — саркастически воскликнула она. — Нет, я все же скоро уйду с этой нервной работы. Если бы вы спросили у меня койку, я все равно не могла бы ее сделать. У нас уже два месяца проживают [illegible]. А послушали бы вы, как они сломятся из-за [illegible] У них проживают вместе с несемейными, [illegible] на всех отдельные номера. Дикий бред — [illegible] работа. Вы давно бы уже бросили такую [illegible] стали бы с нее вполне нормальный.

— Ах, гражданин, сторонитесь вы, [illegible]
быт. [illegible] Уже ни поезда, ни автобусы и
отъезд [illegible] Вы лучше идите вниз пожаловаться в
ный [illegible] приют их главный, я спрошу, может, он во
свой [illegible] выступать в [illegible] Тогда вы [illegible]
временно на его койку, если он не семейный

— Ну, я семейный! — поинтересовался я

— Ах, гражданин, вы же не глупый, вы [illegible]
те, что тогда это вовсе неудобно.

Я оставил у нее свои чемоданчик и [illegible]
ран.

Там, как водится, во всю стену калмиевой мякотью разрезанного арбуза пылал натюрморт. При взгляде на него челюсти сводила кислая судорога. Официантка в накрахмаленном кружевном кокошнике, не подав меню, начала огрызком карандаша в блокнотик и быстро, [illegible]но проговорила:

— На первых есть борщ, суп-рассольник, из вто[illegible] — рагу с вермишелью, свинина отварная, компот, чай...

Выпив тепленького чаю, в который была сунута щербатая алюминиевая ложка, едва не всплывавшая в стакане от своей легкости, я долго катал по клеенке хлебный шарик. Эти маленькие невзгоды только забавляли меня. «Хорошо бы поселиться в этом городе летом,— думал я,— просыпаться на рассвете, когда из огородов пахнет помидорной ботвой и укропом, купаться в реке, покупать на рынке молоко, ягоды, свежую рыбу...»

Из ресторана я вышел в еще более светлом настроении. Даже как-то козлячье подпрыгивалось на ходу от его избытка.

А на улице густо вечерело. Освещенное заходящим солнцем небо из лимонно-желтого на западе к зениту переходило в зеленое, на востоке было дымчато-синим, почти фиолетовым, и чувствовалось, как оттуда со скоростью земного вращения летела на город ночь.

Я опять поднялся в гостиницу.

— Ай, граждани! — закричала дежурная.— Разве обязательно нужно так шибко стучать в дверь? Разве у себя дома вы обязательно так шибко стучите дверью, чтобы напугать вашу жену? И мне жаль вас, граждани. Мне так жаль, потому что никакого артиста не послали в колхоз и все будут спать на своих койках. Я даже не могу предложить вам этот диван в коридоре. Пусть бы на нем

спала я — таки нет! На нем спит такой же приезжий гражданин. Но вы не унывайте, я сейчас позову вам Георгия Семеновича.

Она вылезла из своего фанерного закутка, ушла куда-то по коридору и вернулась с маленьким, в чистеньких голубых сединах старичком, одетым тоже чистенько и аккуратно — в высокие белые валенки, суконные брюки и вельветовую толстовку под поясок.

— Иркутов. Звучная, черт возьми, фамилия, не правда ли? — засмеялся он уже слегка дребезжащим смешком, протягивая мне руку.— Что, ни сбывища, ни крывища, ни крова, ни пристанища? Прошу в таком случае ко мне. Чем богат, как говорится.

Был он, если так можно сказать, уютный старичок и очень понравился мне спокойным достоинством своим и непринужденностью обращения.

— Не стесню я вас?

— Это уж оставьте. Ни к чему всякие церемонии,— досадливо сказал он.— И, пожалуйста, не бойтесь, что попадете к чеховскому печенегу. Я хоть и говорливый старикашка, но меру знаю. Так идете?

— Иду,— согласился я.

— Вы будете благодарить меня, гражданин,— сказала дежурная.

Она вынесла из закутка Георгию Семеновичу длиннополую шубу с потертым воротником черного каракуля, такую же потертую шапку колпаком, и мы вышли на улицу.

Последний свет догорал на золоченом кресте древнего храма, высоко вознесенном над городом. Луковидные маковки церквей — зеленые, голубые в серебряных звездах, проржавевшие до сквозных дыр, удлиненные и приплюснутые, с крестами и без крестов — четко вырисовывались на стылом небе по всему кругу горизонта.

— Ночевать вам придется в церкви. Антураж самый экзотический,— посмеиваясь, говорил Георгий Семенович.— Я печенег, но работаю научным сотрудником музея, и квартирка моя оборудована в церковном притворе. Раньше холод там был анафемский, но потом я сложил печь с боровами собственной конструкции, заплатил пожарникам какой-то штраф, но борова все-таки не сломал и теперь живу в тепле.

Мы шли по длинной, прямой улице, лучом исходящей от центра окольцованного, как и во всех старых русских

городах, торговыми рядами. Стоило лишь немного напрячь воображение, чтобы представить, как сто лет назад сбивались на этой площади возы, парил на снегу свежий навозец, пахло морозным сеном, гужами, овчинами, трезвонили по всей округе колокола, гнусавили на папертях нищие...

— Вы не смогли бы завтра показать мне город? — спросил я Георгия Семеновича.— Вы, наверно, старожил и знаток его?

— Знаток поневоле, а старожил — не сказал бы. Я не люблю такие города. Старина, конечно, иное дело, но эти маленькие окошечки, угарные печи, выгребные уборные... Обставлять жизнь человеческую такими атрибутами — кощунственно. Я в прошлом архитектор и думал, что делом моей жизни станет создание новых городов, но обстоятельства сложились так, что я сам доживаю век здесь, в церковном притворе, возле уродливой самодельной печи.

— Об этих обстоятельствах, пожалуй, можно догадаться,— сказал я.

— Нетрудно,— согласился Георгий Семенович.— Поселиться мне было разрешено только здесь и нигде больше. А до того я пятнадцать лет, изживая свой талант, свои знания, копал в болотах канавы, валил лес, был истопником в бане и, в общем-то, из человека здорового, сильного, увлеченного превращался в полубольного замухрышку, в замкнутого и подозрительного неврастеника, в сомневающегося и растерянного изгоя. И уже не знаю, что было мучительнее: невзгоды плоти, постоянное унижение твоего человеческого достоинства или всякие сомнения. Стоило только телу насытиться и согреться, так мысль сразу же раскрепощалась от суетной забавы о жратве и уходила к вопросам, куда более сложным. Я спрашивал себя: «А может быть, я на самом деле виноват и только по своей политической ограниченности не сознаю этой вины? Может быть, я действительно посягнул на святыню народа?» Дело-то, конечно, как я теперь понимаю, было плевое, но по тем временам могло сойти за преступление. Ставили мы тогда в одном городе монумент. Ну, как обычно — сапоги, долгополая шинель, рука за отворотом. И вот инженер-прораб похлопал эдак ладонью по пьедесталу и сказал: «Символ эпохи. Под миллион штучка-то стоит». А мне тогда вдруг вспомнилось, как мы недавно ездили компанией за грибами и остановились погреться в какой-то мимоезжей деревушке. Вошли в избу — стол с прогнившей крышкой, кое-где грязного тряпья на лавке, шесть чумазых погодков и

...ика-плюха со вздутым животом под ломким от грязи ...фрунтом. Но у хозяйства принесли и, черт возьми, жизнерадостно. «Верка, бричит,— сносись-ка к соседям, принесь стаканы». Верка — нечесаный дьяволенок — шмыгнула по ... А на столе голой задницей сидит другое ... рит на нашу снедь со страхом и изумлением. Я ... бухну, кусок колбасы — он так и вился в них. ... случай я и рассказал тогда у монумента да еще и сообщил. «Если бы,— сказал,— на миллион-то поправить тот колхозишко, построить той вдове и ее ребятам новую избу — живите, дескать, трескайте колбасу с булками,— то ... и было бы самым точным символом нашей эпохи, а не мраморно-бронзовая глыба». Слышал мои вольнодумные слова не один прораб, так что не буду грешить на него — не знаю, по чьей милости загремел я на осушку болот, лесосплав, к башному котлу и наконец в этот городишко.

Мы остановились у железной церковной двери, Георгий Семенович достал ключ и, кланяя им в замочной скважине, сказал:

— Теперь, помните, как у Бунина? «Дней моих на земле осталось уже мало». Уехать отсюда некуда, да и не к кому. Привык околачиваться по вечерам в гостинице, болтать с приезжими, играть в шахматы. Иногда удается заманить кого-нибудь в свою обитель, как вот вас...

Ключ повернулся, дверь завизжала, заскрипела, загрохала.

На другой день я проснулся, когда сквозь окно, забранное ... решеткой, толстым сноп... солнце. Пахло воском и хорошим кофе. Георгия Семеновича не было. Я оделся, примерил остроконечный, с тонким узором шлем, потрогал ржавый, почти в ... рост меч и увидел на столе записку, прижатую за ... серебряной звездицей. «Пейте кофе. Меня найдете в ... Дверь заприте на два оборота ключа».

Мы долго бродили в тот день по городу. В древнем ... зодчестве нет броской красоты, разящей мгновенно, ... сердца. Оно полонит постепенно. Зная эту его ... , и, отразив силу, я подолгу стоял и смотрел ... церковку. Как и всегда, я думал сначала ... здесь, на этой самой паперти, тряслись ... в рубищах, выходили в подвенечных ... со своими потупляющими очи княгинями ... христианская кровь под ножами татар. А неж... предельная прямизна линий, точнейшая пропорцио-

волнение всех размеров невозможно делали сами [illegible], и я постепенно начинал испытывать ощущение чего-то, слитно и стройно стремящегося ввысь, чего-то поющего торжественно и печально.

Когда мы говорим, что у нас нет слов выразить прекрасное, то это не просто риторический оборот. И, может быть, вот из этого оцепляющего потрясения прекрасным родилась музыка...

Мы продолжали наш обход древностей, когда мимо прошел человек в расстегнутой шубе, с огромным портфелем. Он улыбался, смотрел на нас и, кажется, не видел. Весна стояла как раз на том перевале, когда человеку хочется вот так расстегнуть шубу и брести, не торопясь, по улицам, подставляя солнцу лицо.

— Смотрите, вот тащится замечательный реставратор памятников старины Аркашка Аристархов,— сказал Георгий Семенович.— Бессеребренник, энтузиаст, мало того — фанатик. Эй, Аркадий! Куда это ты, трудяга, с таким портфелем?

— Куда? — встрепенулся тот, точно проснувшись.— Да вот, говорят, грачи прилетели. Сидят на тополях в парке. Иду смотреть. Пойдемте?

— Грачи? Это интересно,— сказал Георгий Семенович.— Пойдем, пожалуй.

Мы тоже расстегнули шубы и вошли. На разметенных аллеях парка в переплетении тонких ветвей, пронизанных синевой и солнцем, возились, гомонили блестящие, как вар, грачи.

— Вот они. Работают,— удовлетворенно сказал Георгий Семенович, задирая свою голубую бородку и прикрывая ладонью глаза.

А молодой лейтенантик с очень красивой спутницей под ручку прибавил:

— Мало их пока. Должно быть, квартирьеры.

В это время неподалеку опустился на аллею крупный вечерне-синий грач, неторопливо, с достоинством уложил крылья, покосился на нас глазом в седом ободе и тюкнул носом комок снега.

— Хорошо! Стоим и на грачей смотрим,— сказал Георгий Семенович.

— В расстегнутых шубах,— глубокомысленно добавил Аркашка.

И, постояв еще немного, мы разошлись по своим де-

Головная боль

[illegible] обитая дерматином, не успела [illegible] за-
[illegible] слышал, как Некра Михайловна
[illegible] в приемной:
— [illegible] утренний не в духе.
— [illegible] — шепнул ей в ответ сквозь зубы Крылов —
[illegible]

[illegible] что сердце начинает колотиться неровно и
[illegible] [illegible] толстый синий карандаш, по-
[illegible] [illegible] опустил фрамугу и уперся лбом
[illegible] [illegible] рамы. От стекла тянуло в лицо сырым
[illegible] [illegible] Крылов находил своеобразную пре-
[illegible] [illegible] ном пейзаже с его ажурным переплетением
[illegible] [illegible] сбегающимися и разбегающимися
[illegible] [illegible] кельсами, с маленьким хлопотливым паровозом
[illegible] [illegible] и думал в несколько высокопарном
[illegible] [illegible], поэзия железных каркасов...» Но иногда
[illegible] [illegible] каменноугольный дым, этот колюче вспы-
[illegible] [illegible] солнце шлак угнетали его. И сейчас ему то-
[illegible] [illegible], что будь под окном какие-нибудь пестрые
[illegible] [illegible] ки, какие-нибудь золотистые аллеи, и у него
[illegible] [illegible] ильно ломило во лбу.
[illegible] [illegible] каркасов... Дурак!» — подумал он и
[illegible] [illegible] Когда и себя он ни за что ни про что обругал
[illegible] [illegible] ему окончательно стало ясно, что головная боль
[illegible] [illegible] сильна, что работать он не может и что
[illegible] [illegible] непорчен.
[illegible] [illegible] мелко семеня крепкими полными ногами в
[illegible] [illegible] вошла Некра Михайловна, остановилась
[illegible] [illegible] серые глаза и вопросительно устремила на
[illegible] [illegible], которому длинные прямые ресницы как
[illegible] [illegible]
— Придет директор, передайте — болен, еду домой. —
[illegible] как всегда, когда ему приходилось сознательно
[illegible] [illegible], сказал Крылов.

— Вызвать Мартынова? — спросила Некра Михайловна, умевшая перед лицом начальства в любом случае оставаться деловито-исполнительной и бесстрастной. В приемной же. Крылов знал, она напропалую кокетничала с молодыми инженерами и грубила рабочим.

— Вызовите,— сказал он.

Но когда у подъезда шофер Мартынов — миловидный курчавый мальчик допризывного возраста — распахнул навстречу ему дверцу новенькой черной «Волги», он решил пройтись пешком. Стоял, быть может, последний теплый день. Вагоны дальних поездов уже привозили на крышах снег, а здесь все еще не было даже утренников, и липы на улицах еще не облетели.

Сгорбившись, надвинув на глаза шляпу, шаркая ногами, Крылов медленно шел по солнечной стороне. Каждый шаг тупым ударом отдавался в голову. Он давно уже привык переносить эту боль, и теперь она не мешала ему думать о том, что дома у него нет обеда и если он сейчас ляжет, то вечером все равно придется вставать и где-то искать перекусить, потому что на голодный желудок голова будет болеть еще сильнее.

«Лучше уж сейчас,— решил он.— Днем в ресторане не так многолюдно и шумно».

Зал ресторана и впрямь был пустынен и бел, как снежное поле. Блистающими сугробами стояли под свежими скатертями столы. В большие окна ярко, холодно светило солнце. Крылов заказал обед и почти насильно впихнул его в себя, обильно запивая нарзаном, но, когда поднялся, вдруг почувствовал дурноту, быстро вышел в уборную, и там его судорожно, удушливо стошнило.

«Плохо»,— подумал он, глядя в зеркало на свое зеленое, осунувшееся лицо.

Он сразу так ослаб, что руки и ноги у него дрожали. Домой он едва дотащился, уронил в прихожей на пол пальто и, не раздеваясь дальше, повалился на тахту. Спать он не мог, думать последовательно — тоже и знал, что минуты и часы, наполненные болью, скукой, прыгающими мыслями, потянутся теперь нескончаемо долго. Это еще больше раздражало его. Ни с того ни с сего вдруг подумалось, что надо бы остричь голову под машинку, потом из красноватого тумана выплыло мальчишеское лицо Мартынова, и Крылов громко, со злорадством в голосе крикнул:

— А, Мартынов! Это ты убил Лермонтова?

Когда пришла заводская уборщица Домна Васильевна,

...ая его квартиру, Крылов ме-
...тахте и громко стонал.

— Али доктора позвать, Николай Андреич? — всполошилась Домна.

— К черту! — сказал Крылов.

...вил счеты с докторами. Вот уже боль-
...лет после контузии на фронте у него болела
— то слабее, то сильнее, но постоянно. А любое не-
...ние, будь то простуда, переутомление или просто
...настроение, вызывали приступы такой мучитель-
...боли, что у него мутнело сознание. С этой болью он
...в институте, с ней читал книги, ходил в театры, ра-
...ей и спал. Из-за нее не удалась его семейная жизнь.
Он всегда старался, чтобы окружающие не ощущали на себе его болезненное состояние — не жаловался, не капризничал, — но все-таки был, как и сам понимал, тяжелым, молчаливым и раздражительным человеком. Поэтому он осуждал не жену, которая ушла от него, а себя — за то, что женился, переоценив свои духовные и физические силы. Корил его только то, что ушла она с каким-то пошлым субъектом, который, имея, как оказалось, диплом инженера, ходил по домам травить крыс. Высокий, спортивного сложения парень с красивым лицом и надменным взглядом, он звонил в дверь и вежливо спрашивал: «Грызуны не беспокоят?»

— Николай Андреич, батюшка, — причитала Домна, — что же это с тобой делается? Перекрестись, батюшка, легче станет.

Справившись с приступом боли, Крылов широко осенил себя крестным знамением.

— Не помогло? Что, легче стало? Как бы не так!

— Надо мне раздеть себя и уложить в постель, потом ...
... Домна позвонила по телефону на завод Искра Ми...
... и приказала ее приехать.

«Еще чем?» — подумал Крылов, но воли его уже ...
... на то, чтобы препираться с Домной. Некото...
... он еще видел, как она входила и выходила, то ...
... его подушки, то смачивая губы чем-то кис...
... скоре перестал сознавать что-либо реальное и весь ...
... в тяжелый полубред. Ему казалось, что Дом...
... мать, и он каждый раз, когда она подходила к ...
... поймать и поцеловать ее руку. «Значит, ...
..., сказав, что она умерла», — думал он, и ...
... же время ясно помнил, как сам хоронил ее; к тому же

[illegible] Домна нисколько не была похожа на [illegible], с розовыми щечками старушку [illegible], и от бессилия разобраться во всей этой путанице [illegible] опять начинал стонать и метаться. Потом он почувствовал знакомый раздражающий запах духов Искры Михайловны.

— Что вы, Домна Васильевна, мне неудобно оставаться здесь на ночь,— сказала она.— Пойдут разговоры.

— Милая,— уговаривала ее Домна,— ведь у меня внученок один в квартире. Испугается малый, плакать будет.

— Ладно,— послышался фистулящий басок,— я могу остаться. Про меня разговоры не пойдут.

— Ты грубиян, мальчишка! — взвизгнула Искра Михайловна и, кажется, топнула ножкой.

Крылов с трудом открыл глаза, чтобы удостовериться, не бред ли все это, увидел перед собой Мартынова и опять крикнул:

— А, это ты убил Лермонтова!

Но теперь Мартынов не смолчал, как в первый раз. Он взял Крылова за плечи, прижал его к подушкам и сказал своей резкой фистулой:

— Ерунду говорите, Николай Андреевич. Лежите спокойно. Вам рыпаться нельзя.

— Грызуны не беспокоят? — спросил Крылов.

— Все в порядке,— ответил Мартынов.

В комнате задернули шторы, стало тесно и тихо. Крылов давно уже потерял счет времени, но все-таки чувствовал, что до вечера далеко, а впереди еще и бесконечная ночь. В минуты просветления, чтобы забыть о страданиях, он заставлял себя думать о чем-нибудь приятном и настойчиво возвращался памятью к далекому-далекому дню своей предвоенной юности, когда он — парень в белой рубашке с отложным воротничком — гулял с девушкой по редкому, пронизанному солнцем лесу. Как особенно чисто и радостно светит солнце в редком сосновом лесу! Косо ниспадая к земле сквозь высокие хвойные кроны, его лучи переливаются оранжевыми, голубыми, желтыми оттенками такой кристальной прозрачности, без единой пылинки, что кажутся отфильтрованными и освеженными в каком-то чистейшей прохладной влаге. Девушка молчит, не смотрит на Крылова и, приседая, рвет крупные ромашки. А когда с огромными букетами этих ромашек они возвращаются в город, за ними тянутся мальчишки окраинных улиц и звонкими голосами канючат цветочек. Крылов отделяет от

...сбил тонкий пучок и дает мальчишкам — от-
...довольна! Но тут женщина в фар-
...ках на босу ногу, набирая у фонтан-
...кричит на всю улицу: «Чтобы девушка те-
...любила, клещей жадный!»

Все это вспоминалось Крылову непоследовательно, от-
..., в его сонливых мыслях ускользающе мелькали
...мальчишки, то женщина у фонтанки, то
...девушки, широким кругом расплавившееся по зем-
..., когда она приседала, и только устойчивое ощущение
...ленного солнцем леса опять и опять возвращало его
к тому дню.

Наконец сон так утомил Крылова, что он забылся
...кислом, перемежающемся кошмарами сне. Потом и они
оставили его. Был ли это глубокий, без сновидений сон
или обморок, Крылов не знал. Он очнулся на другой день
и сразу понял, что именно другой день, потому что через
...торенное окно, выходившее на восток, в упор светило
...кое солнце. Чувствовалось, что там, за шторами, сквозь
...ными каждой своей клеточкой, его так много, что ему
...но даже среди глубоких небес осени и хочется поскорей
ворваться еще и сюда, в комнату.

Крылов встал и отдернул шторы. И сейчас же в ком-
...е все точно вспыхнуло: стекла нижних шкафов, блюдо-
...ражний плафон люстры, стакан с водой на тумбочке у
...вати, наручные часы, чернильница, авторучки на пись-
...ном столе — все так и брызнуло разноцветными оскол-
ками солнечного спектра.

— Ух! — глубоко вздохнул Крылов.

...ему показалось, что в комнате все еще мало света. «На-
...колоть Дому вымыть стекла»,— подумал он и, вы-
...я из гнезда шпингалеты, распахнул еще не заклеен-
...е окно. Медленной лавиной, окатывая Крылова
...олны до ног, в комнату потек холодный утренний воз-
...Далеко внизу на школьном дворе кричали дети, соло-
...в голых липах воробьи. Множество красных и зе-
...ых крыш лежало перед окном, как-то особенно весело
своей пестротой.

...ет, воробьи, крыши... Все это — мне!» — радостно по-
...Крылов, начиная дрожать то ли от холода, то ли от
...волнения.

...нул пижамные штаны и побежал в
...ней комнате вдруг с удивлением уви-
..., что на тахте кто-то спит, укрывшись рыжим бобрико-

...м пальтишком. На курчавой шевелюре можно было ...ать Мартынова. Чтобы не разбудить его плеском воды, Крылов поплотней прикрыл за собой дверь ванной и, пока стоял под горячим душем, все радовался, что в доме оказался живой человек и что сейчас он, Крылов, потихоньку оденется, спустится в магазин, купит там колбасы, сыру, свежего хлеба, потом вскипятит чай, разбудит Мартынова и они вместе позавтракают.

Но когда все было готово, Крылову стало жалко будить мальчика. Сон его на свежем воздухе, уже затопившем всю квартиру, был так глубок и спокоен, что сам по себе прервался бы еще не скоро. Крылов позавтракал на кухне один. Потом накрыл Мартынова одеялом, оставил ему записку и пошел на завод.

Голова болела не сильнее, чем обычно.

1964

[illegible] сырые дрова

[illegible] по всем есть у Никонова один счастливый день, который он вспоминает особенно часто.

Утром Никонов должен был ехать в лес за дровами. Он проснулся в том ясном состоянии духа, когда [illegible] за ночь на печи валенки, старый охотничий [illegible] и тулупчик, вчерашние щи из квашеной капусты, скрип под ногами промерзших досок в сенях — все такая радость, что хочется идти, напевая и чуть подпрыгивая.

По нашему времени было даже еще и не утро. Напряженно горя всеми своими звездами, широко распластался в небе Орион, чутко [illegible] к малейшему звуку тишина наполняла город, и совсем еще по-ночному был палящ и сух морозный воздух. И только дымки над печными трубами да [illegible] света в каком-нибудь небрежно замаскированном окне указывали на то, что люди уже проснулись и собираются на работу.

Поеживаясь плечами, чтобы чувствовать приятную [illegible] полушубка, Никонов шагал по улицам. Под шапкой-ушанкой было непривычно просторно и холодно. Он был [illegible] в армию, пострижен под машинку и, хотя [illegible] успевал посещать уроки в школе, со дня на день ждал [illegible] куда? На фронт? В училище? То время с мгновенной быстротой волшебника творило из школяг, курящих в рукава, солдат, чья жизнь простиралась [illegible] что-то, быть может, на несколько дней. Шла [illegible] военная зима. Никонов сам всего лишь через три [illegible] после того дня был ранен и едва остался в живых, [illegible] размашисто шагал по хрупкому снегу и еще как-[illegible], с нажимом, ставил ногу, чтобы снег взвизгивал [illegible] на всю улицу: «хррыпуни...»

[illegible] вспомнилось, когда он пришел к больничной [illegible] постучал в дверь, обитую драной мешковиной, прислушался на кашель и кряхтение за дверью:

— Зотыч! Отчиняй!

Конюх вывалился из крутого, пахнущего сыромятной сбруей тепла сторожки, долго кашлял и стонал.

— Покуда не закурю, буду вот эдак маяться,— пожаловался он.— У тебя нет?

— Нет, Зотыч. Сам стреляю,— засмеялся Никонов.

Его волновал и радовал едкий запах махорки, сбруи и лошади, исходившей от конюха, хотелось самому управлять-ся со всеми этими хомутами, подпругами, дугами, чересседельниками, которыми так суетливо и неловко, как ему всегда казалось, тыкал, растопырив локти, Зотыч, и в то же время было боязно принять на целый день в свое полное распоряжение лошадь и все ее санно-гужевое хозяйство. Между тем Зотыч закладывал в поскрипывающие сани мохнатую понурую лошаденку — вовсе не того литого начищенного, как сапог, до сизоватого блеска жеребца, в легких саночках с которым ездила по городу к больным до войны мать Никонова.

— Где-то теперь Резвый...— сказал Никонов, зная, что воспоминания о жеребце всегда томительно-приятны Зотычу.

И, как всегда, Зотыч, соединяя гордость своим любимцем с возможностью самого мрачного исхода его судьбы в это полное превратностью время, ответил:

— Либо под командармом, либо на колбасу пущен.

Кончив запрягать, он хлопнул лошаденку по крупу рукавицей.

— Час добрый!

Никонов сел в сани, на жиденькое сенцо, повозился, усаживаясь поудобнее, и причмокнул. Лошаденка напряглась и, кланяясь мордой до самых колен своих, потянула.

Недолгие сумерки ясного зимнего утра кончились. На пригородные пустыри с торчащими из-под снега кустиками бурой полыни лег желто-розовый отблеск восхода. Синела пробитая в глубоких сугробах дорога. Наста еще не было, и молодой легкий снег не сверкал, как это бывает к исходу зимы, а весь тонко и чисто просвечивал до самых своих глубин. Будущее, хоть и тревожило Никонова своей опасной неизвестностью, рисовалось ему очень смутно, и он, не чувствуя сейчас за собой иных забот, кроме той, что надо заготовить маме побольше дров, лихо покручивал над головой вожжами, а в груди у него само собой так и пелось:

В лесу, говорят,
В бору, говорят,

Рассвет, говорят,
Сосочка...

...спорым шагом
...возившие на отдых
...ственно и стройно
...Путь был не близкий. В
...ясь в наступление
...рыжие, с белой
...напряжения глоткой и белесыми
...то в темные заснеженные ель-
...сквозные сиреневенькие березняки, то
...порубку с пеньками под крутыми
...— все более плотным, не-

Лесник Никонов сам напилил здесь с корня пять кубометров. Теперь он только показал леснику уже выписанную квитанцию, и тот — косоглазый, с ...устремленными вверх к переносице зрачками парень в лыжных штанах, в пиджаке, надетом на нижнюю рубаху, — вывел «два кбм» и расписался.

— Ну, спасибо,— уверенно, но весело, не желая портить ...отношения из-за нескольких поленьев, которые он все ...прихватит в следующий раз, сказал Никонов.

— Бу аккурат — возразил парень, но все же, оглядев ...закуржавевшими боками лошаденку, взял из ...Никонова квитанцию и переправил два кубометра на ...— Я тебя помню, — дружелюбно сказал он.— Ты охотник, у тебя гончар хороший был. Цел?

— Нету его! — махнул Никонов рукой.— Продал. В зимню иду.

И кивнул в подтверждение своих слов шапку.

На делянке он промял к ближайшей поленнице тропку, ...полушубок и, легко вскидывая на плечо метровые бе...ревья, нагрузил и увязал воз. Теперь он шел ...сзади, свободно кинув на дрова вожжи, подпирая на взгорках воз колом, и вскоре из-под шапки у него потекли ...струйки пота. Тяжела была еще не наезженная дорога, сухой, сыпучий, как песок, снег. Собаки в деревне, видя в Никонове кол, лаяли теперь издали. За деревней Никонов остановил лошадь, присел на дрова и вынул из кармана ...полотенный ломоть хлеба и луковицу. Вкусен ...был этот ржаной хлеб; какое-то особое удовольствие было в ...том, что пережевывании среди этой морозной ...тишины, в хрусте луковицы, в том, что за едой можно бы-

...щурив глаза, смотреть сквозь пар своего дыхания ...дальние увалы полей и перелесков, на искристое в тон... мороза небо, на серые хлопья вороньей стаи над де... ..., на маленькую фигурку с дровенками, косо бреду... ...я посторонках по боковой дороге.

Никонов ...ел хлеб, кинул в рот с ладони крошки и пе... ...вельнул вожжами. Он хотел проехать стык дорог раньше, ...ем к нему выберется та фигурка с дровенками, и подго... ...л лошаденку, сам поспевая за ней. Он обогнал уже не ...дин такие дровенки. День был воскресный, город, как мог, вывозил из лесу свои дрова, и Никонов с неприятным оживлением совести чувствовал себя при этих встречах каким-то аристократом.

Упираясь колом в задок саней, он покрикивал:

— Шевелись!

Но уже видел, что опоздает. И вот фигурка выбралась на главную дорогу, выпрямилась, остановилась у обочины, дожидаясь, когда пройдет лошадь.

То, что случилось вслед за этим, было неожиданным, почти невероятным, но все же случилось. Когда фигурка, одетая в коричневый, выгоревший до рыжины плащ поверх чего-то теплого и толстого, выпрямилась и повернулась к Никонову, слепо глядя встречь солнца, он узнал Налю.

В тот год поредевшие десятые классы городских школ соединили в один. Никонов оказался среди новых, незнакомых ему людей, в незнакомой школе, перед незнакомыми учителями, и на первых порах чувство возбуждающей новизны не покидало его. Преломляясь в этом чувстве, действительность казалась интересной, девушки — загадочней и красивей. Наля Неведова выделялась среди них особой — смуглой зеленоглазой красотой, стремительностью, и в то же время ловкой гибкостью всех движений, быстрой, захлебывающейся от избытка темперамента речью. Когда она смеялась, запрокидывая голову, у нее надувалось горло и под смуглой кожей на нем трепетала голубая жилка. После каких-то взглядов на уроках, после каких-то с виду незначительных разговоров на переменах Никонов подбросил Нале записку, назначая ей свидание в парке. Он помнил колкую свежесть этого осеннего вечера, в который запах палого листа как-то истончался, становясь влекуще и томительно неуловимым. Сложное чувство будил этот запах. В нем соединялись и грустное ощущение осени, и острое наслаждение красотой черного, но в то же время со-

...ничного до самых небесных глубин ...ну... и жуть одиночества в этом парке, среди белых, точно ...мороженых статуй. Казалось, совсем недавно сверкал ... здесь в последнее предвоенное лето карнавал — ...ры, цветы, конфетти, перепутанный дождь серпантина. ... Никонове была полумаска с белыми навыкате глаз... ...клювичным носом, несколько перышек зеленого лу... ...в петлице. В беззаботно-дурашливом настроении он под... ...ходил к томившимся в своих киосках продавщицам и спра... ...шивал: «Квас есть?» — «Нет». — «А квас?» Теперь же ти... ...ина, тьма, холод, сухое, мертвое шуршание листьев под ...ами... Каким-то радужным, мимолетно пригрезившимся ...м казалась Никонову вся эта жизнь. В ней хорошень... ...девушка Наля непременно пришла бы на свидание, но ...ерь, он был уверен, не придет. Его вдруг даже скорчи... ...ло от стыда за свою небрежно-нагловатую записку, и он ...устился бежать вон из парка, пугаясь в палой листве, ...отыкаясь о затвердевшие бугры клумб. Лишь позднее, на ...кольном вечере, все само собою разрешилось между ...ми. Он взбежал на второй этаж, в темный коридор с ...ами зеленого лунного света на полу, увидел у ок... ...Налю, и оба они молча потянулись друг к другу. С той ...уты для них настало тяжелое смутное время взаимного ...вания, недоумений, оторопи перед чувством, с которым они еще не знали, что делать.

Продолжалось оно, это время, и сейчас, когда они встретились на лесной дороге.

Смуглые щеки Нали рдели темным румянцем, но под ...ами лежали голубоватые круги усталости, устал и мед... ...был жест руки, которую она подняла, чтобы загоро... ...ся от солнца. Смущение, нежность и жалость охва... ...Никонова. Забыв остановить лошадь, он шагнул к Але и близко заглянул ей в лицо.

— Ты? У вас что же — никого мужчин в доме нет?

— Нет, — сказала Наля. — Смотри, лошадь твоя ушла.

— Стой, стой! Тпру! — закричал Никонов и, увязая в ...ге, побежал по дороге, но лошаденка встала, и он вер... ...— Да-а-а, — сказал он, оглядывая Налин возок из то... ...ньких березовых кругляшей.

Он хотел добавить, что эти палки ни к черту не годят..., но вовремя спохватился.

— Ну что же, давай потянем, — сказал он, берясь за ...хватую веревку.

...ожки дровишки к саням и привязали их к

[illegible] не кормленная овсом, только [illegible] тупала в оглоблях и не брала с [illegible] палец на кол, как заправский возчик.— Выру-[illegible]

[illegible] дороге было неудобно. Работая [illegible], Никонов спрашивал Налю через плечо:

— [illegible] почему не сказала?

— Я [illegible] вожу,— с гордостью ответила Наля.— Мне с [illegible], чтоб на всю неделю хватило. Холодно, [illegible]

— У меня [illegible] останется,— с неожиданной для него [illegible] мягкой вырвалось у Никонова.

— Я буду к [illegible], если можно,— тихо сказала Наля.— Одной [illegible] трудно. У нас папа на фронте и брат. Оба пишут [illegible]. Ты [illegible]шь! — вдруг засмеялась она, и он понял, что она хочет отвлечь его от невеселых мыслей.— У брата не было девушки, и когда он уходил на фронт, положил в карман мою карточку, чтобы быть как все.

Оттого, что они приобщались сейчас к каким-то подробностям семейной жизни друг друга, заручались взаимной помощью в эти тяжелые дни, было Никонову хорошо и странно, точно его приласкали теплой и мягкой рукой. Когда они садились отдыхать на дровешки, он обнимал Налю, целовал ее в холодные губы, в щеки и уже не чувствовал той отчуждающей тяжести, которую несли они оба все это время.

Уже потянулись по снегу длинные синие тени от сосен, побледнело и ушло ввысь предвечернее небо, и прозрачный серпик на нем стал наливаться голубовато-молочным светом, а возок с дровешками на прицепе все еще тащился через бор и пригородные пустыри.

Никонов перестал ходить в школу. Каждый день он бывал теперь в лесу — если была свободна лошадь, то с ней, а чаще всего с дровешками, самопрягом,— или орудовал пилой и колуном во дворе у себя и у Нали. Вот как случилось, что предармейские дни его были наполнены свежестью зимнего леса, сладким истомлением мускулов, запахом березовых опилок и прежде всего новым для него чувством родственной близости к Нале, несущим его, словно теплая волна.

Из армии Никонов вернулся через шесть лет — лейтенантом, уволенным в запас. Вскоре он женился на Нале, [illegible] мать, потолкался с непривычки к мирной жиз-

…по и ее труду по разным должностям и, проявив некоторые способности к газетной работе, прочно осел в городской редакции. Но и тому уже много, много лет.

Никонов живет все в том же доме и зимой, верно, и летом, любит сам топить печь. Еще по осени, когда кажется, что вечно будут висеть над городом тяжелые, как мокрое сукно, тучи, ветер крутит вихри палой листвы и асфальты на главной улице потеет какой-то скользкой, отрадой становится печное тепло, сухой прогретый воздух деревянного дома. Никонов приносит из сарая большую охапку дров, и через несколько минут по всему дому начинает пахнуть березовым соком — хозяин он рачительный, и дрова у него всегда свежие, только что из-под пилы. Чтобы разжечь их, нужна немалая сноровка. Сначала Никонов тщательно готовит растопку: сдирает с поленьев бересту, потом ломает заранее высушенную смолистую лучину, ловко скручивает жгут из старой газеты и складывает все это в узкую нишу под дровами. Остается только чиркнуть спичкой. Хилый лепесток ее огня следует подносить сначала к газете, от газеты занимаются тонкие, как иглы, волокна на сломах лучин, а потом, жирно и черно коптя, сворачиваясь в трубки, загорается береста. В этом деле требуется неторопливость и терпение. Стоит свернуть слишком туго газетный жгут или не переломить лучину, и какое-нибудь из последовательных звеньев всей процедуры не сработает. Тогда, обжигая руки, пачкая их в саже, низвергая на пол каскады золы, приходится начинать все сначала.

Потом Никонов закрывает дверцу и слушает, как печь мощно сосет воздух. Она гудит на разные голоса в зависимости от погоды. В тихий, сырой и теплый день гуд бывает вялый, точно отягченный и обессиленный этой сыростью; на безветрие и сухой холодок печь отзывается ровным напряженным органным ревом, а при ветре в ней что-то клокочется, вздыхает и вдруг хлопает, как мокрое полотенце на веревке.

Когда дрова перестают стрелять и потрескивать, можно, слегка приоткрыв дверцу, заглянуть в печь. И если на поленьях нигде нет черноты, если все во чреве печи безмолвно синет золотистым, голубым и белым накалом, то уже можно совсем распахнуть дверцу, чтобы вдосталь полюбоваться бесконечными превращениями огня.

Никонов давно уже втайне от своих друзей и знакомых пишет книгу об огне, которая по его замыслу должна

[illegible] и ярлит, как сам огонь, рассказом о фан[illegible] огня, о его животворной силе, о гра[illegible] его силами. Огонь свечи, освещавший лист бумаги [illegible] пером Пушкина, охотничий костер Тургенева, светильники перепелиных тербов, согревающий огонь Пьера Мариона; пожар безумца Герострата, позорное пламя костров средневековой инквизиции и печей Освенцима — вся история самой Земли, ее цивилизации и культуры кажется ему озаренной светом огня и накаленной его жаром. Он хочет, чтобы ликующим гимном и печальным реквиемом звучал этот рассказ об огне, и потому работает упорно, придирчиво, зло.

Читает написанное Никонов только Нале. И часто, очень часто, едва запахнет в доме березовым соком и забьется в печи огонь, ему вспоминается тот далекий зимний день, соединивший их в чем-то гораздо большем, нежели та первоначальная хиленькая любовь, которая не устояла бы перед годами, разминувшими их в жизни.

1961

Снежные поля

Умер у себя в деревне Алексей Ефимович Буранш, бакенщик...

Я долго шел со станции через сверкающие снега, загораживаясь от бокового ветра пахучим на морозе каракулевым воротником, и узкая тропа в снегах отзывалась на мои шаги каким-то пустотным звоном.

Вечер. Лежу, свесив голову, на жаркой печи, а внизу, у передней, где полно людей, по приличествующе случаю тихо, какой-то мужичок рассказывает:

— Я три дни в городе луком торговал, а нонче иду домой, вижу, под деревней в поле человек кружит. Ближе подошел, он. Ты, спрашиваю, Алексей Ефимович, чего тут? Да зайцев, говорит, троплю. Я еще подивился: человек на снегу ничком лежал, душа с телом прощалась, а нонче зайцев тропит. И, главное, ружья при нем нет. Пришел домой, рассказываю бабе про диковинную эту встречу, а та мне меня бельмом вышибла: ты говорит, в уме ли? Алексей-то Ефимыч еще вчерась помер.

Кто-то протяжно вздыхает. Красноликая массивная старуха в черном, которую все здесь называют кокой, крестится. И уже другой — маленький, прямой, как карандаш, с выпуклой грудью солдата — рассказывает свое:

— Мы с ним одногодки, до войны четырнадцатого года вместе призывались, вместе служили. Он писарем был. Ротный приказ написать, он вмиг. А уж придет к нему солдат за отпускными документами, он не куражится зря, не проволынит, все оформит, как надо, и езжай себе, гости дома у отца-матери...

— Нет Алексея Ефимыча худого слова не скажешь, — говаривает кока.

И снова в передней оживает одобрительный шумок: вздыхают, ворочаются, кивают головами:

— Не скажешь...

[illegible] темной, хотя под полом [illegible] Что это? Быть может, от[illegible] мерцающее сине-голубое сияние [illegible], как и [illegible] устроена деревенская [illegible] ни [illegible] туда света, все равно будет [illegible] темной, в углах, стелиться по полу эта мутная темь. [illegible] холодильник как-то нелепо громоздится белой глыбой [illegible] под иконой божьей матери. Он выключен на зиму; стряпая к завтрашним поминкам, дочери и снохи то и дело [illegible] в сени за мясом, за рыбой, за медом, и передняя [illegible], как сарай.

Мне становится [illegible] так долго занимать место на теплой печке, но [illegible], засунув руки в рукава, тоже не хочется. Лучше уж [illegible] на воле. Я спускаюсь по лесенке, выбираю из груды старья за печкой большие [illegible], накидываю [illegible] на спине полушубок, шапку и [illegible].

Ветра нет уже. Но [illegible] морозной, навечно оцепеневшей от холода кажется ночь в этом безветрии! Ни вспышки огня, ни звука, ни движения в снежных полях.

Я по привычке отыскиваю на [illegible] знакомые созвездия, а сам неотвязно думаю о том, кто лежит сейчас за этой стеной в темной горнице, и вечность светил в сравнении с ним кажется мне какой-то раньше обнаженной.

«Нощь смертныя мя постиже неготова, мрачна же и безлунна...»

Иду подальше от темных окошек горницы, нарочно с нажимом ставлю ногу в неуклюжем валенке, чтобы хоть скрипом снега разогнать эту холодную тишину, а повернув в проулок, вдруг слышу из полей натужное урчание трактора. Огней его не видно за изволоком, но я знаю, что он пробивается сюда, к деревне, разгребая на завтра дорогу от кладбища. Это единственный звук, который дает ощущение жизни в замороженной, осыпающейся острыми кристаллами ночи, и я иду к нему, глубоко и крепко увязая в смерзшихся сугробах. Наконец вижу, как свет фар двумя столбами уходит из-под изволока в темное небо. Трактор неуклюже ворочается в глубоком снегу, откатывается назад, бьет тяжелым ножом в нагромождения снежных глыб, вспыхивающих под фарами голубыми искрами.

Становлюсь в полосу света, машу рукавицей. Тракторист, видно, рад человеку. Останавливает трактор, вылезает из кабины. Закуриваем с ним, разглядываем при коротком свете спички друг друга. Я вижу потное мальчи-

с широкими скулами и острым подбородком, [illegible] белобрысую прядку из-под шапки.

— Проедешь сегодня до деревни?

— Проеду. Не так уж работы осталось.

— Ровесник будешь Алексею Ефимычу?

— Нет. Знакомый.

— У него много знакомых. Зодовой был старик. Завтра посмотришь — со всех деревень соберутся. Любили его у нас.

«Про Алексея Ефимыча худого слова не скажешь»,— вспоминается мне.

— Садись,— кивает тракторист на свою машину.— Вдвоем время скорей побежит.

Лезем в кабину, в масляный запах машины, и меня долго валяет и дергает, пока наконец снежный навал перед носом не раздается надвое, и трактор вылезает на торную деревенскую дорогу.

Идем в избу. Там уже накрыт стол к ужину, и кока во главе стола медленно, округло и плавно раздает из-под самовара чашки с дымящимся чаем. В углу, у стола и вроде бы как-то вдалеке от него сидит вдова; невидимая тяжесть круто согнула ей плечи, и она не поднимает взгляда от колен, на которых лежат ее темные жилистые руки с искривленными на верхнем суставе пальцами.

Трактористу наливают полный, по самый край, стакан водки. Он кидает на пол у порога свою промасленную до глянца тужурку, шапку, скрутившийся в веревку шарф и, наколов на вилку большой груздь, пьет. И сразу глаза у него становятся белые и пустые. Он сам понимает, что сомлел, смущенно посмеивается, трясет головой, бормочет:

— Ничего. Это с устатку, с холоду... Мне только машину поставить...

Я провожаю его до трактора. Он, видимо, сразу трезвеет, как только берется за рычаги, трогает плавно, без рывка, и уверенно держится дороги.

Я долго смотрю ему вслед.

Ах, как длинна еще впереди ночь! Еще только ее начальный час, и время, которое надо прожить до утра, ощущается как тяжесть.

Утром я просыпаюсь поздно. Апельсиновый свет солнца рдеет в замороженном окне. Пахнет теленком, и сам он в углу за кроватью, чмокая, сосет край моего одеяла. Вспоминаю, что я в соседней избе, куда определили меня

...т, и терс... встать, пока ничего нет. ...тупит ... всем теле после глубокого ... Выхожу на крыльцо. Ясный ветреный день на ... и марта уже сияет густой весенней синевой. ... чисто и четко, как на гравюре,— заиндевелые ... березы, вороны у дымящейся проруби на ..., заборы, антенны над крышами, зубцы хвойного ле... по горизонту. На крыльце, в затишье, чувствуется, как ... совсем по-весеннему пригревает щеку, а на карни... ... с почти морозца сосулька уже сверкает на са... ... кончике алмазной каплей.

У избы напротив прислонена кумачовая крышка гроба ... венком из бумажных цветов; трауро темнеют на чис... снегу еловые лапы. У избы стоят закутанные в плат... ребятишки, в жуткой зачарованности смотрят на гробо... ... крышку, а по тропинкам в глубоком снегу идут, идут ... особенные фигуры стариков и старух, сверстников покойного.

— Вот денек-то дал бог Алексею Ефимычу на про...— говорит, останавливаясь возле меня, старик с за... ... красным платком ушами и долго вытирает сле... ... нестерпимого блеска снегов и солнца глаза.

Я тоже иду взглянуть в последний раз на Алексея Ефи... Снег ядрено хрупает под ногами, ветер колюче, су... обжигает лицо. Обиваю голиком валенки и вхожу в пе... ... Здесь черно от траурных платков. Старик, во... ... со мной, снимает шапку, крестится в угол на хо... ... и плечом, плечом пробивается в горницу. ... и тока в головах у покойного, при появлении новых ... начинают голосить с причитом. Вижу иззелена-жел... ... блестящий лоб, длинные, как у всех покойников, веки, ... усов. И сколько не мертвого, а какого-то торжественного, строгого покоя в выражении его лица, в ... подбородка к высокой, застывшей на вдохе груди!

Говорили, что умер он тихо, благостно,— иного слова ... подберешь, как «отошел»,— завещав играть над его мо... ... вальс «На сопках Маньчжурии». Было у него и при ... это спокойное, даже чуть ироническое отношение к ... «У нее блата никому нет»,— противоречащее ... что жизнелюбивому, деятельному характеру. Откуда? Что же все-таки оно такое, смерть,— ничто или вели... тайна? Что увидел и узнал он, когда сказал: «Я уми...»? Почему он принял ее с таким покоем, с легкой ..., тень которой еще лежит в уголках его сжатых

ство? Ведь она не была для него в детстве от тягот жизни,— он жил со вкусом, радостно, светло и безбедно... Часто, уже в старости, говаривал он: «Вот бы мне легкие ноги. Всю бы землю напоследок обежал. Так бы и стелганул по горям, по лесам, по болотам». И странно было видеть в нем, человеке, органично живущем в природе, какое-то слегка удивленное внимание к ней. Он часами просиживал возле ульев, явно непостижимо разумной работе пчел; мог вдруг начинал рассказывать о заречных озерах, лесах и болотах с таким в котором первооткрывателя, словно он был не житель в поперек исхоженный всеми местными рыбаками и охотниками край, а какое-то тридевятое царство, где ему удивительно встретить и бабу-ягу в ступе. На берегу он жил в чистой, оклеенной светленькими обоями избушке под березами и тополями. Там стояли две кровати с марлевыми пологами, стол, батарейный приемник, этажерка с историческими романами, два стула, шкафчик с посудой. И когда фотоэлемент, зажигавший бакены с наступлением темноты и гасивший их с рассветом,— крохотная штучка, умещавшаяся на ладони,— в отношении дела сделал ненужными и керосиновый фонарь, и долбленый осиновый ботник, и чистенькую избушку на берегу, и само дело, которому бакенщик отдал больше четверти века, он тоже не принял — ушел на пенсию, избушку выкупил у государства и летом жил в ней, как прежде.

Прочно был укоренен в жизни всякой радостью человек.

Стуча застывшими ногами, в переднюю входят музыканты. Все они в потертых демисезонных пальтишках, слегка хмельные и деловитые. Выпивают еще у раскрытого настежь стола, греют руки о стаканы с чаем, сетуют, что нет чистого спирта для труб, и садятся переписывать ноты для вальса «На сопках Маньчжурии».

И вот в деревенскую тишину, в безмолвие заснеженных полей ударяет грубый звук труб и тарелок. Выносят гроб, ставят его на розвальни. Сильная гнедая лошадь легко трогает их, и вся процессия быстрым семенящим шагом, толпясь, устремляется вослед по расчищенной накатанной дороге. Последний путь. Идет он ровным полем, через две деревни, к некрупному березнячку, в котором приютилось сельское кладбище. Режущий ветер летит над полем, не глазурного блеска подметая снежную корку. У околиц музыканты опять ухают в трубы. Какая-то старушонка, вся сносимая ветром, пе-

сквозь смотрит на проезжающие розвальни; концы ее платка, подол длинной юбки, полы нанковой поддевочки — все стремится по ветру, и кажется, что ее, такую легонькую, сухонькую, самое вот-вот понесет по сверкающему полю.

Укрытое от ветра некрутым взволоком кладбище погружено в холодное оцепенение. Пряменькие, как свечки, стоят заиндевелые березы, и на их коричневых веточках иней кажется фиолетовым пламенем. В чистом снегу безобразным рыжим пятном выделяется отверстая могила. Заранее слышу стук о крышку гроба этих смерзшихся комьев суглинка, чувствую, какой пустынной тоской отзовется он во мне, но не отхожу и вот уже наяву слышу и чувствую и этот звук, и эту тоску.

— Ой, папочка, как тяжело на тебя навалили! — рыдает дочь покойного, обвисая на поддерживающих ее руках.

И какой же равнодушной, величавой холодностью объят этот морозный день! Как невозмутима ясность его солнца, неба, снегов, хвойных далей. «Полноте,— как бы говорит он смятенным горем людям,— посмотрите кругом, все осталось, как было, и пребудет вечно».

Не оборачиваясь, быстрой деловитой походкой уходят в село к автобусной остановке музыканты. Самое тяжелое позади. Уже с гомоном, с толкотней все рассаживаются по стянувшимся к кладбищу саням и рысцой, рысцой — шевелись, резва-а-ая! — катят в деревню за поминальный стол.

Народу невместимо много для тесной передней. Родственники, друзья, соседи, сослуживцы-водники... Сижу стиснутый с обеих сторон плечами и — хочешь не хочешь — слушаю сетования колхозного бригадира, который кричит мне в самое ухо.

— Навозили мне вместо минеральных удобрений камней на поле, так лежат кучей. Хоть камнедробильный завод ставь. Можно такое делать?

И чем больше он пьет, тем решительней наступает на меня:

— Лен у нас спокон веку не родится, а нас каждый год заставляют его сеять. Можно такое делать?

День быстро гаснет. Окно сначала розовеет, потом заливается сиреневой мглой и вскоре становится иззе[illegible]-синим, почти черным. Поднимаются из-за стола вод[illegible]. Мне по пути с ними. Рассаживаемся в санях на мо-

...пахнущем сене теснее друг к другу, ноги мои в го... ...ких ботиночках спасительно придавливает крутой ба... ...бий зад, и трогаем, скрипя гужами, повизгивая полозьями. Ветра опять нет к ночи. Опять в полях такая тишина, что ...жный звук отчеканив, сух и чист, словно он тут же схва... ...тывается в звонкую льдинку. Но в санях, в сене, в овчине, в груде наших тел тепло и уютно. И уже без леденящего отчаяния, спокойно и грустно думается о том, что где-то за извилоком березки-свечечки стоят над суглинистым бу... ...ром, что вечные звезды с одинаковым равнодушием смот... ...рят на него и на наш угретый живым теплом возок, про... ...бирающийся по снежному полю.

1966

Первые заморозки

В сырой осенний день Воронов надел резиновые сапоги, плащ и вышел из комнатушки при больнице, покручивая через палец ременный поводок. Был Воронов высок, с поднятыми плечами, короткой шеей, смотрел вниз и потому казался угрюмым, старше своих двадцати пяти лет.

Откормленная на больничных объедках гончая сука, ласкаясь, завертелась у него в ногах. Он взял ее на поводок и повел через жидкую от дождей суглинистую дорогу к избе егеря Фиалковского. Егерь сгребал в саду палые листья. Он прислонил к стволу яблони грабли, пошел навстречу Воронову и потрепал гончую за ухо.

— Решил?

— Ну, а зачем же она мне в Москве на седьмом этаже? — мрачно сказал Воронов и подал Фиалковскому конец поводка.— Держи. Цену сам дашь, тебе виднее.

— Собака хорошая. И как раз к сезону,— сказал Фиалковский.

Он накинул петлю поводка на заборный столбик, ушел в избу и вскоре вернулся с пачкой десятирублевок, подал ее Воронову.

— Не считай, цена справедливая.

— Ладно,— сказал Воронов.

Он отводил глаза. Ему казалось, что этот горбоносый, по-охотницки поджарый Фиалковский смотрел на него пренебрежительно. Какой порядочный охотник продает собаку в самом начале сезона!

— Не нужна она мне в Москве,— повторил Воронов, стыдливо пряча деньги в карман.

Он пожал егерю руку и, не оглядываясь на забеспокоившуюся собаку, пошел прочь.

От ходьбы по скользкой грязи ему стало жарко. За селом он расстегнул плащ, ворот рубашки и глубоко вдохнул влажный грибной воздух леса. Великая тишина стояла

и в лесу, уже отшумевшем листопадом. Можжевеловые ометы рано успели побуреть, да и все кругом было теперь до первого снега буро, тускло, кроме изумрудно-зеленых, точно лакированных, озимей.

Ребенок, постояв и отдышавшись, вступил в лес, где [illegible] устланная листвой, уже не была такой трудной. Было тихо, и частый лес сквозил далеко впереди, но было все-таки сумеречно, так что день казался глубоким, послезакатным вечером.

Воронов за два года жизни в селе ходил по этой дороге, должно быть, не одну сотню раз, но теперь шел в последний. Это сообщало привычной обстановке привкус новизны, и Воронов острей приглядывался ко всему, что давно уже примелькалось ему, трепетней и глубже вдыхал знакомый запах осеннего леса, лиственной прели, мокрой земли. Он присел на скамейку из двух стесанных кругляшей под табличкой «Берегите лес от огня», покурил, бросил окурок в предназначенную для этого ямку, потрогал вырезанные на одном из кругляшей буквы «Л+З». Все — в последний раз. На душе у него было торжественно и грустно, ему хотелось бы не говорить ни с кем сейчас, побыть бы с этим приятно щемящим чувством грусти, но его ждали, и он, пересиливая себя, поднялся и опять зашагал по дороге.

Уже по-настоящему смеркалось, когда он наконец подошел к маленькой, в один ряд домов, деревне. Искристо засветились ее запотевшие от избяного тепла окна; заливались, вторя друг другу, собаки — басами, визгливыми фальцетами, с подвывом — всем бестолковым деревенским дворняжьим хором со скуки и предощущения страха. Воронов вымыл в пруду сапоги, вытер их на крыльце о чистый, круглый, плетеный из разноцветных лоскутков половик и привычно пошарил в темных сенях дверную скобу.

В горенке за столом, покрытым запачканной чернилами клеенкой, сидела девочка лет десяти, смотрела в раскрытую книгу и беззвучно плакала.

— Резеш? Опять задача не получается? — спросил Воронов, снимая плащ.

Девочка не ответила, даже не взглянула на него.

Сняв сапоги и сунув ноги в валяные опорки, приготовленные у порога, Воронов подошел к ней по чистым шестигранным половикам, которыми был застелен сплошь весь пол, сел на стул с гнутой спинкой.

— Сестра где?

Она к надомнице пошла, — сказала девочка.

Воронов подвинул к себе задачник, спросил, какая задача у нее не получается. Прочитал и долго смотрел на запыленное белобрысое лицо девочки, раздражаясь ее непонятливостью, думая о том, что в последний раз видит это перепачканное лицо, эти жиденькие косички хвостики, эти белесые тупенькие глаза, в последний раз — и слава богу: такую беспросветную скуку нагоняет на него их вид.

— Ну, что ж тут мудреного? — раздраженно спросил он.— В составе было восемь вагонов с каменным углем...

Он принялся толковать девочке задачу, но та, заранее приготовясь ничего не понимать, только смотрела в стол, моргала посеревшими от слез ресницами и наконец, не выдержав, крикнула своим басовитым окающим голосом:

— Что ты пристал ко мне, как со-о-оба-а-ака!

Воронов шлепнул на стол задачник, дрожащими пальцами выхватил из пачки папиросу. В это время застучали в сенях каблуки, и в переднюю, запыхавшись, вбежала женщина — без пальто, в одной только серой пуховой шали, накинутой на голову,— прижимая что-то под шалью к груди.

— Ох,— сказала она, приваливаясь плечом и виском к косяку,— ты уже тут... А я к надомнице бегала, задохлась совсем... Раньше-то не сообразила как-то.

Она, не нагибаясь, скинула туфли и в носках козьей шерсти мягко подошла к столу, поставила на него водку, белое десертное вино, несколько банок рыбных консервов.

— А ты, Люська, опять зареванная? Задача не получается?

— Тупица она,— сказал Воронов, хмуро глядя на пепел папиросы.— Дай пепельницу, Васена.

Васена подала ему из посудной горки стеклянное блюдце с золотым ободком, собрала со стола Люськины тетрадки, нетерпеливо запихала Люську в плюшевое пальтишко.

— Ладно, ладно, девонька, потом решишь. Ступай поиграй у Маньки Феоктистовой, там котеночки маленькие.

И когда закрылась за Люськой дверь, порывисто обняла вставшего ей навстречу Воронова, прижалась к нему всем своим крутым, сильным телом и тянулась губами к его лицу — была невысока ростом,— привстав, задержав дыхание в стиснутой груди, отчего лицо ее пошло синими пятнами, и шепотом выдохнула наконец:

— Последняя моя ночка...

— Ну! Я же говорил, что приеду летом в отпуск.

— Не приедешь,— сказала Васена.

Она стала собирать на стол, он опять закурил, смотрел на бутылку десертного и с отвращением думал: «Гадость, какая, боже мой! Сургучом пахнет... Частниковые консервы. И ведь не понимает, что холодный огурец из погреба, грузди с луком, с постным маслом — вот закуска пес plus ultra[1], а не эта «роскошь», от надомной торговли.

— Выпьем за разлуку,— сказала Васена.

Она откинула теперь шаль с головы на плечи, вся раскраснелась от быстрой ходьбы по холодному воздуху, от стопки вина и смотрела на Воронова блестящими, со слезой глазами.

«Только бы плакать не начала... А ведь любит меня!— вдруг подумал Воронов, точно лишь сейчас открыл это.— Уеду — мокрую подушку по ночам кусать станет».

Он встал, обнял ее с нежностью и силой, отшвырнув на пол шаль, чтобы чувствовать под тонкой кофточкой сильные плечи — он знал, что они очень белы, как и вся она, что только лицо, шея, кисти рук, икры у нее обветрены и загорели,— и рывком поднял ее со стула.

— Подожди, надо крючок накинуть. Как бы Люська не вошла,— шепотом сказала Васена...

Ночью в горнице напряженно горел зеленый глазок приемника. То затихая, то усиливаясь, звучала далекая музыка. Приемник весь светился внутри, точно приглушенный фонарь, и этого света хватало, чтобы Воронов мог видеть лицо Васены в раскиданных по белой подушке черных волосах.

«Всегда буду помнить ее...— думал он.— Вот ведь и старше она меня... На сколько? Кажется, лет на шесть-семь. И простая деревенская баба, вдова, дальше районного рынка не бывала, а знаю — буду помнить, даже тосковать первое время. И, может быть, действительно приеду летом».

Он считал, что жил два года после института в деревне, где был единственным врачом, серо, однообразно, глухо — начал уже ворчать по-обывательски и пить,— но теперь подумал, что выпало в его здешней жизни много и таких дней, когда он бывал по-настоящему счастлив. Осенняя охота с гончей, мелкая дрожь азарта, когда где-то в

[1] Самый лучший, непревзойденный (*лат.*).

гулком облетевшем лесу вдруг с подвизгом раздастся собачий лай, запах листвы, пороха, окровавленной заячьей тушки, лесная дорога в сумерках, таящих какие-то волшебные страхи, и потом чистая изба Васены в пестрых половичках, ощущение под руками крепости, силы, жара ее тела...

«Ах, ведь не теряю же все это навечно! Буду приезжать. Буду приезжать! Это же еще лучше, когда вместо привычного, доступного в любую минуту, опять мне выпадут, как праздник, несколько таких дней».

Он улыбнулся от ощущения легкости и удовлетворения, которые принесла ему эта мысль, вытянул в сладком зевке все здоровое молодое тело свое и уткнулся, продолжая улыбаться, в плечо Васены, чтобы спать, спать, спать...

Утром пили чай на серой льняной скатерти. Люська ушла в школу. Воронов поглядывал то на ходики с цветастым циферблатом, то на свои ручные часы.

— Ну вот и пора,— громко с неподдельной веселостью сказал он, отодвигая от себя стакан, тарелку, вилку.

— Присядем на дорогу,— серьезно сказала Васена, хотя оба они и так сидели.

Она положила руки на колени, выпрямилась и молча смотрела на пол. Наконец вышли. Утро было морозное — с инеем и тем острым блеском всего воздуха на солнце, который предвещает бесснежную ясную осень. На дороге теперь хрупал ледок, и уже не пахло из леса листом и сыростью, а стоял повсюду колкий запах инея.

Шли молча, и опять, как вчера, было тихо в лесу, но совсем по-другому — не глухо и ватно, а чутко к любому звуку — и «хруп-хруп» под их ногами раздавалось далеко окрест.

Когда вышли из леса, остановились. Воронов не хотел, чтобы Васена провожала его до села, потому что, кроме него, в машине на станцию ехали еще двое — бухгалтер колхоза и почтальон за почтой.

— До свидания. Я напишу,— сказал Воронов.

У Васены были холодные руки и губы, а щеки горели, она терлась лицом о его лицо, не целуя, и чтобы отстранить ее, ему пришлось сделать усилие.

Уходя, он представлял, как она возвращается одна по лесной дороге — идет медленно, опустив голову, пряча зябнущие руки под шалью,— а кругом это острое сияние, эта хрупкая тишина...

1967

Терновник

Старик Завьюжин всегда не стучит, а как-то почтительному вкрадчиво скребется в окно, выражая этим деликатным звуком свое почтение к моим письменным и книжным занятиям.

Вот и сейчас, принимаясь за кофе, я слышу этот звук, похожий на треск тоненькой щепочки, отрываемой от доски. За окном синеет рассвет студеной и ясной осени. Заоконные лесные дали еще однообразно мглисты и туманны, но я знаю, что там, куда мы сейчас пойдем, уже рдяно-чуткие к малейшему ветерку осинки, золотой прядью кое-где тронута зелень берез, под дубами щелкают, как тяжелые пули, опадающие желуди и пахнет... пахнет свежей лесной осенью, полной грусти и очарования.

Я открываю Завьюжину дверь. Он входит, погромыхивая двумя эмалированными ведрами, ошаркивает подошвами видавших виды кирзовых сапог о коврик у порога и, немного смущаясь великолепием убранства моей обители, бочком пробирается на кухню. Признаться, я и сам больше люблю в этом просторном доме, обставленном полированной мебелью и телерадиоаппаратурой, уютную кухню, где устоялся жилой запах моего кофе. Я живу здесь совершенно один — в этом совхозном доме для приезжих, от избытка не столько времени, сколько душевного покоя живу размеренной, упорядоченной жизнью, ложусь и поднимаюсь в определенный час, делаю гимнастику, принимаю ванну, варю себе на газовой плите кофе, много хожу пешком по поселку, по садам, по ферме, потом сажусь за работу, и вообще-то очень [illegible] Так-то, если бы не эта смена и тишина осенних вечеров в [illegible]ском доме, который [illegible] Вот и [illegible] Поэтому я [illegible] старика Завьюжина, который [illegible] а вообще-то старик шумный.

Я предлагаю ему кофе.

— Не пью,— отмахивается он.— Вот терпового мари́ю с утра хлебнуть — это я люблю.

Терновник — цель нашего сегодняшнего похода. По словам Завьюжина, за лесом, в заброшенных усадьбах обезлюдевшей деревни, этой ягоды — необеримое количество. Терновник мне совершенно не нужен, но, по словам того же Завьюжина, в деревне обитает всего лишь один двор, где живут старик со старухой («Вовсе ловинувшиеся люди»,— сказал про них Завьюжин), и я хочу познакомиться с ними.

Мы выходим уже при полном сиянии осеннего утра.

Заморозка нет, но воздух свеж и колок, и невысокое солнце в густо-синем небе еще холодно, как золотой поднос на стене.

Выйдя из дома, Завьюжин преображается; он бойко бежит вперед — маленький, складный, живенький,— размахивает ведром, издающим противный визг и скрежет, ругает грязь на дороге, директора совхоза, внучат-неслухов, и шуму от него не меньше, чем от старого тарантаса на булыжной мостовой. Я знаю, что в новой квартире, которую старик получил от совхоза, он тоже, как и в доме для приезжих, чувствует себя не в своей тарелке — мебель там понатыркана самым неудобным образом, всюду, за неимением русской печи и полатей, разбросаны валенки сыновей и внуков, кухня заставлена ненужными горшками, чугунами, плошками,— хотя, когда в степу его старой, вывезенной по бревнышку из деревни избенки двинул тяжелым ножом бульдозер и над ней взвилось облако оранжево-серой пересохшей пыли, он пришел в неистовый восторг — подпрыгнул, замахал руками, высоко подбросил шапку и завопил: «Валяй ее под корень, ребята! Литруху ставлю на помин!»

Дорога ведет нас через узкий хребет плотины. Каскад искусственных озер по обе стороны ее блещет синеватым никелем; то здесь, то там лениво выворачется на поверхность тяжелый карп, мелькнет смуглым боком, и вновь огустевшая от холода вода застынет в металлической неподвижности. Скоро, скоро ветер нанесет из лесу и садов на озерную гладь разноцветных листьев, испятнает ее пестро и ярко, а там и первый мороз охватит ее морщинистым ледком. Скоро... А пока сады за плотиной еще встречают нас запахом доспевающей антоновки — тонким ароматом первоначальной осени. В ухоженных шарообразных

кронах яблонь, среди темной листвы, висят восковые желтые плоды, и даже на глаз чувствуется их налитая тяжесть и утренняя осенняя прохлада. Поджав хвост в репьях, шарахается от нас сторожевая собака, отвыкшая в этих бесконечных садах от людей.

— Тунеядец! — напутствует ее Завьюжин.

Звучно шлепая полами брезентового плаща по голенищам резиновых сапог, появляется сторож, щурится на нас против солнца и, признав своих, просит закурить.

— Шалят? — спрашивает Завьюжин, протягивая ему тоненькую папиросу-гвоздик.

— Бывает,— сдержанно отвечает старик.

— Ловишь?

— Пугаю.

— Ха! Ты испугаешь... Ружье-то, говорят, потерял.

Сторож конфузится, показывает Завьюжину глазами на меня и, чрезмерно внимательно раскуривая папироску, лепечет:

— Да прислонил, понимаешь, к яблоне, а потом закружился и не нашел. Директор из зарплаты удержал. Теперь вот новое выдали.

— И это потеряешь,— убежденно говорит Завьюжин — любитель съязвить и задраться.— Сорви-ка нам на дорожку поспелей. Люблю антоновку. Пахуча.

Сторож кидает ему в ведро пяток крупных яблок, дробно ударивших словно в большой барабан, и мы идем дальше. Я на каждом шагу в каком-то наивном восторге дивлюсь таинственной силе земли, способной из крохотного семечка взлелеять это великолепие, это обилие плодов, стряхнуть их с себя по осени и к следующей опять напитать своими соками новый урожай.

— Ты бы помолчал, дед,— прошу я Завьюжина, перекатывающего языком какой-то вздор.

— В самом деле,— спохватывается старик.— Хорошо как!..

За садами, в предверии лесов, нас встречают несколько корявых раскидистых сосен. Поднявшееся солнце уже обогрело их вершины, и воздух здесь пахнет теплой хвоей, смолой, сухим деревом. Под соснами в рыжей хвое растут огромные старые маслята с завернувшимися наверх краями. В это щедрое грибное лето они пренебрегли грибниками, стремясь дальше за царь-грибом наших лесов — белым.

Старик мой опять забывается и что-то полувнятно бормочет себе под нос. На этот раз я прислушиваюсь.

— Хвойный лес зовется красным, а лиственный — черным,— говорит он по привычке высказывать свои текущие мысли вслух.— Красный строевой лес мы считали от шести до двенадцати вершков в отрубе... Кондовый лес — это сухорослый сосняк в двести пятьдесят слоев, полукрасный — в сто пятьдесят слоев, а пресной, пресняк, болотный — в восемьдесят. Зеленчак — тот совсем жидкий лес — до двух вершков, моховой, оболонь. Ну, а камышовый — и говорить нечего: тростник, плавни, камыши, дрянь. Дровяной лес — мелкий, что в стройку не годен. Поделочный — это для столярных работ: первое дело, конечно, дуб, потом ясень, ильм, липа, береза. Изделный будет, который на всякие промыслы идет: осина, скажем, на ложки, вяз — на полозья, ветла — на дуги... Леса, вы, леса чудесные... Выше вас только солнышко.

— Откуда ты все это знаешь? — спросил я Завьюжина.

— Как же! — удивляется он.— Жизнь моя длинная. Всякой работы пришлось попробовать, и в лесу работал, и в поле. Это сейчас наши садоводы три месяца зимой в отпуске нежатся. А бывало-то, с весны до осени землю ковыряешь, а зимой в леса с лучком идешь, чтоб в брюхе голод волком не выл.

Лес стоит еще зелен, кое-где дыхание осени багряно подпалило молодую осинку или дикую рябину, позолотило ветку березы, но во всем, во всем — в густой синеве неба, в прозрачности далей, в отчетливости каждого звука, в запахе увядающего листа — чувствуется грусть осени, и уже пора лететь журавлям, потому что, по словам старика Завьюжина, сегодня Иван-постный, и, значит, «журавли потянули на Киев».

За лесом от самого подножья последних деревьев раздольно ложится перед нами озимое поле. Уходит оно далеко за изволок, к пенистым купам лип и вязов той деревни, куда мы держим путь, а по нежно-зеленому ковру озимой бежит прямая желтая от пыли дорога, слегка опрыснутая мелкозернистой росой.

Не знаю ничего упоительней ходьбы налегке босиком в жаркий летний день по такой дороге, когда между пальцами пыхает пуховая горячая пыль, а кругом во ржи свиристят, куют и пилят неугомоны-кузнечики. Но осень, осень, во всем осень, и в росе, должно быть, холодна, как сырое полотенце...

— Недалече,— говорит Завьюжин.

Но прозрачная осенняя даль обманчива. Видно далеко; мы долго еще идем меж изумрудных озимей, и купы деревенских деревьев медленно поднимаются нам навстречу из-за изволока. Наконец показывается раздерганная ветром соломенная крыша старой риги. Печален вид этой серой соломы, печальны вьющиеся над ней серые вороны. Неужели, — думается невольно, — здесь еще есть жив человек? Но неоспоримым тому доказательством являются копошащиеся между столбами риги белые куры, меченные по капюшонам лиловыми чернилами. Зачем, если, как говорит Завьюжин, здесь обитаем всего лишь один двор? А вот и сам его обитатель. Сидит на крыльце еще крепкой избы с подновленными голубой красочкой наличниками, ничего не делает, просто смотрит, как мы подходим к нему по заполоненной полынью и татарником деревенской улице. Он и сам еще крепок на вид — большерук, плечист,— но как-то весь запущен и, сдается, нечист. Борода с густой проседью и волосы на голове перепутаны, ворот рубахи-косоворотки засален дочерна, пиджачишко словно нарочно мят и валян в пыли, из рваного носка сапога торчит клок портянки.

— Здорово живешь, Кузьмич! — приветствует его Завьюжин.— Ну, как? Убрался с огородишком-то?

— А, это ты,— без всякого оживления отзывается хозяин.— Здорово. Капуста еще на корню, а остальную овощь всю убрал.

— Хозяин ты справный.

— Известно.

Пока они разговаривают так, я оглядываюсь вокруг. Некогда деревня была, наверно, дворов на двенадцать, но сейчас вразброс, далеко друг от друга, стоят лишь шесть заколоченных изб, седьмая — Кузьмича, и еще одну уже начали раскатывать по бревнышку на вывоз. Запустение. Сады в усадьбах выродились и одичали, только терновник, заглушив все остальное, разросся непролазной крепью.

— Не надумал к нам в поселок-то перебираться? — спрашивает Завьюжин.

— Зачем мне? — все так же равнодушно, как и встретил нас, отвечает хозяин.— Я землю люблю и никуды с нее не тронусь.

— Никуды-ы, — передразнивает Завьюжин.— А у нас не земля, что ли?

— У нас не та земля. На той земле мне нечего. У вас ведь как? Нынче тебя в сад посылают, завтра на поле свеклу дергать, послезавтра еще куды-нибудь затыркнут, и нет никакой отрады хозяйствовать на земле, понежить ее. Там у вас земля вроде бы своя, да не своя. Не будет у меня за нее душа болеть.

— Вот-вот! — начинает сердиться и напрягать голос Завьюжин.— Не в земле дело, милок Кузьмич, а возьми ты, к примеру, меня. Я что, не за совесть на совхозной земле семнадцать лет работал? Пенсию восемьдесят четыре целковых не за почетный труд получаю?

— Ты — одно, я — другое,— тянет Кузьмич, которому этот разговор, затеваемый, видимо, не впервые, кажется недостойным внимания.

— Ясно, ты — другое! — саркастически усмехается Завьюжин.— Ты тут, как вон тот тёри, без пользы землю полонишь и сам задичал.

— Я тебя знаю,— неожиданно жалобным голосом говорит вдруг хозяин.— Тебе человека обидеть — первое удовольствие. Помирать ведь скоро будешь! Что перед богом-то скажешь?

— Уж чего-нибудь наплету. Ты об этом не пекись. Бога, вишь, вспомнил! — опять с сарказмом усмехнулся Завьюжин.— Совсем ты тут в уме подвинулся без людей-то.

— Почему без людей? Чай, со мной старуха.

— Одно название, что старуха. Совсем ветхая и не слышит ни черта. Ты хоть бы собаку завел.

— Была собака. В прошлом году с приезжими охотниками сбежала.

— Вот видишь.

— Что, видишь?

— Сбежала, говоришь, собака-то.

— Сбежала.

Привычка задираться и спорить, видимо, борется в Завьюжине с состраданием к Кузьмичу, в котором как-то мгновенно не осталось ничего от спокойно-самоуверенного, знающего себе цену хозяина, и старик мой некоторое время молча смотрел на него, потом миролюбиво спрашивает:

— Ну, а здоровье-то как?

— Вроде бы не слаб. Вот только по ночам зябну... Да и мерещится...

— Чего?

— Всякое... Особенно Кузька.

— Кто?

— Чертенок. Шустренький такой, пужливый, как мышонок. Разорется — я ему только крикну: «Шалишь, Кузьма!» — он шмыг за занавеску и притаился. Я каждый вечер ему сахару на пол щиплю.

— Балуешь, значит?

— Любит. Отчего же и не побаловать.

Мы долго молчим. Как-то подавляют запущенный вид и полубредовые слова этого человека, чья великая и святая любовь к земле нелепым образом обернулась против него. Стоит только представить глухие осенние ночи в заброшенной деревне, где вокруг ни огня, ни звука, лишь неприкаянный ветер свистит в голых ветвях деревьев или позванивает в окна унылый дождь...

— Тоскливо, поди, здесь одному-то? — спрашиваю я, втайне надеясь на удовлетворительный ответ.

Напрасно! Кузьмич вновь обретает спокойный, уверенный тон и неторопливо возражает:

— Зачем? Мне тосковать некогда, я работник.

Завьюжин безнадежно машет рукой.

— Пойдем, однако. Ведь за делом пришли, а не лясы точить.

В терновых крепях действительно обилие ягод. Через полчаса выбираемся из зарослей с полными ведрами, все в паутине, исхлестанные, исцарапанные, со сведенными кислой судорогой ртами и опять идем мимо избы Кузьмича. Его уже нет на крыльце; через низкий плетешок видно, как он ходит по своему огороду, дерет грабельками с картофельника в кучу жухлую ботву — хозяин на своей земле.

— Вот так и живет. Вовсе несуразный мужик,— говорит со вздохом Завьюжин.

С полевой дороги я в последний раз оглядываюсь на деревню. Над соломенной крышей риги серыми хлопьями летают вороны, пенно вздымаются еще густые купы лип и вязов, и солнце — кроткое, ласковое солнце осени — глядит из синей глубины небес на этот отживающий мирок.

1972

Сапоги

Начальник инженерно-геологической партии Косарев вылез из палатки и, любуясь эластичной игрой мускулов на своем торсе, стал делать утреннюю гимнастику.

Он был молод и еще не успел до конца переболеть обязательной, как корь, болезнью, симптомы которой состоят в навязчивом стремлении подвергать любое явление жизни пробе на вопросы «почему?» и «зачем?». Нагибаясь, приседая и подпрыгивая, он думал о том, почему настроение человека зависит от таких в сущности преходящих мелочей, как погода, сон, завтрак. Он отлично спал — недолго, но глухо, без сновидений, без проблеска сознания,— утро вставало над степью свежее, ясное, в сухом сверкании осеннего солнца, завтрак обещал быть гурманским — кумыс, мясо подстреленной вчера дрофы, растворимый кофе,— и вот настроение у него такое, что хочется рвануться в солнечную синеву небес и купаться в ней, как вон тот канюк, парящий высоко над палаточным лагерем.

Косарев упал на руки, чтобы тридцать раз отжаться от земли, и канюк, словно подражая ему, тоже ринулся к земле, заметив с подоблачных высот какую-то добычу.

— Ах, дуралей!— сказал Косарев, увидев, что канюк нырнул в заложенный геологами шурф.

Охотясь за змеями, эти птицы часто попадали в шурфы и бились там до изнеможения в тщетных усилиях расправить свои широкие крылья и снова взмыть в родную стихию небес. Тогда приходилось накидывать на пленника куртку, спускаться в шурф и помогать канюку выбраться на волю.

Косарев отжался тридцатый раз, поднялся и полез в палатку за курткой и сапогами. Без резиновых сапог в шурф спускаться было нельзя, потому что за ночь туда набивалось до десятка гадюк, которых надо было еще

[illegible] или геологическим молотком на длинной ручке.

Куртку и молоток Косарев нашел, а сапог на [illegible] не оказалось.

Он вспомнил, что вчера его заместитель по хозяйственной части Сосновка [illegible] у него отслужившие срок [illegible] и вот — не принес.

Но почему людям вокруг него нужно напоминать о [illegible] обязанностях? — спросил себя Косарев, и [illegible] спросил у него сам же сказал плохое, но все-таки хуже, чем давеча.

Сосновка он нашел в складе, где тот обычно ночевал, если [illegible] ссорился с женой. По той же причине завхоз, наверно, забыл и про сапоги.

— Сосновка, — сказал Косарев, — времени полвосьмого, и, между прочим, дай мне сапоги. Взял вчера мои, а новые не принес. Почему?

— Одну минуту, Юрий Михалыч,— ответил сиплым со сна голосом завхоз.

Он долго зевал, потягивался, кряхтел, отплевывался, потом закурил, и Косарев, глядя на его серое даже под степным загаром лицо, думал:

«Ну, почему люди так наплевательски относятся к своему здоровью? Курят до завтрака, пренебрегают физическими упражнениями, ссорятся на ночь с женами, встают утром в дурном расположении духа... Почему?»

Он думал так, и настроение у него самого становилось от этих мыслей все хуже.

— Размер какой? — спросил Сосновка.

— Сорок первый.

Завхоз, согнувшись, ушел в глубь склада и вскоре принес новенькие, в седой пыли только сапоги.

— У меня, Юрий Михалыч,— сказал он,— пар тридцать списанных. Надо бы уничтожить, а то ведь их в складе не повернешься.

— Уничтожь. За чем же дело встало? — сказал Косарев.

— По инструкции положено в вашем присутствии.

— Ну, вот оно — мое присутствие. Валяй действуй, как положено, усмехнулся Косарев, а про себя подумал, что на такие пустяки зачем-то существуют специальные инструкции.

Сосновка опять ушел в склад и стал шарить [illegible], но не пошарил больше чем [illegible] груд [illegible]

поблескивающую на солнце глянцевыми голени-
щами. Потом он вынул толстый чурбан, поставил его
на торец, как плаху, и топором с широким лезвием стал
ловко и ухарски отрубать сначала от головок носки, а потом
головки от голенищ. Удары по резине получались плос-
кие, как выстрелы. Отрубив пар десять, Сосновка сло-
жил готовую работу в кучу, и, полив
из бутылки сапожным, вскоре Черныш
нул в сторону по ровному стеклу. Потом в
том деле
ванном плакате.

К
ник, крупный костистый рябой — старик Авдей Мирон-
ов. Когда
на работу, его из-за ветхости не
хотели брать, но он вымолил у
дал, да
и из дуба
стал из двух зверей больше всех. Он был маленький,
тот старик, с гнутой, как серп, спиной и длинными тол-
стыми руками.

— Здрасьте, живете, начальники,— сказал он.— Эко товару-то сколь накидали — купцы!

Он поднял из груды один сапог и стал вертеть его у
своих глаз, щупать, пощелкивать по подошве.
Сапог был целехонек, как, впрочем, и все остальные. Со-
сновка тем временем опять принялся за свое занятие —
отрубил топором раз, и отскочила чашечка носка, стукнул
раз и отвалилась, покатился на колено трубы, головка.

Вот, только теперь, Авдей Миронов уяснил смысл
происходящего. Он прижал ко груди сапог и в изумлении
уставился на орудующего топором Сосновку, а потом на
Косарева, тоже недоумевая, почему начальник не оста-
новит работу, который не иначе как сбесился. И Косарев
тоже с другого ракурса как бы со стороны увидел и себя,
и суетящегося Сосновку, и этот инквизиторский кос-
тер, и все то, что здесь делалось, стала ему до
крайности противной.

— Они что — сапоги-то... Заразные, что ли? — неуве-
ренно спросил Авдей Миронов.

— Какие они черта — заразные,— прикрякнув, отве-
тил Сосновка.— Вышел им срок носки, и — под топор.

— Да ведь прочные совсем сапоги!

— Прочные не прочные, вышел срок носки — подле-
жат уничтожению.

— Так, милок,— быстро заговорил Авдей Ми-

, придерживая занесенную руку Сосновки.— Ты, ма... ...дай их мне. Я в них полесья обую, в поле ходить.— К ... их не привозят, сапоги-то... Зачем же добро под топор?

«Да, зачем?» — спросил себя Косарев и, морщась, сказал вслух:

— Ты, Сосновка, и верно, отдай-ка сапоги старику, пусть в село унесет.

— Нельзя, Юрий Михалыч,— возразил завхоз.— По инструкции мы не имеем такого права.

— Почему?

— А я знаю?

— Ну, продай,— настаивал Авдей Миронов.

— Еще хуже придумал! Не могу, дед. Да отпусти ... руку-то мою, черт двужильный! Впился, слозно ... ней,— отбивался от него Сосновка.

— Хоть одну пару продай!

— Уйди!

— Сосновка,— опять вмешался Косарев, но уже ... так уверенно.— Отдай, право, ну их к черту...

— Да что вы, Юрий Михалыч! — взмолился завхоз.— Порядка не знаете? Я раз вот так же на Кольском раз... валенки, а потом пошел слух, будто я их пропил... Вы... вор по партийной линии схлопотал, едва под суд не у... дил... Хватит с меня, учен...— Он вдруг криво усмехнул... в сторону Авдея Миронова и прибавил

— Ты лучше укради, дед. Хватай пару и тикай из... лусогнутых. Мы глаза закроем.

— Вот и вышел дурак,— без злобы, но угрюмо ска... старик.— В мальчишестве на ярмарке украл глиня... свисток — до сих пор ухи горят.

Он бросил в кучу сапог, который все еще при... одной рукой ко груди, и отошел в сторону.

— Кончай, что ли,— раздраженно сказал Косарев, ... почувствовал, что от его хорошего настроения не ост... и следа.

Когда обрубки после... сапога были брошены в ко... тер, он вспомнил о кашке, полавшем в шурф, и пошел ... ...мотреть его. Геологи берегли этих птиц, помогали им бороться со змеями. Шел он и в утешение себе думал о том, что скоро сюда придут строители и возведут боль... шой новый завод и что такие мелочи, как поношенные сапоги, не стоят того, чтобы из-за них портилось настро... ние.

Но оно все-таки было у него испорчено...

Отойдя шагов на двадцать, он оглянулся. Сосновки не было,— должно быть, ушел в склад, а старик Авдей Миронов сутуло стоял над костром и, видимо, в знак порицания содеянного над сапогами злодейства мочился в черный дым и оранжевый огонь.

1972

Последнее лето

В [illegible] большой реки, [illegible] санатории [illegible] Сапатории как [illegible] ряда, [illegible] бильярдных шаров в холле, запах пригорелой каши из кухни, баян, культурник Сеня в шелковой тенниске, скука.

Сюда-то и приехал в начале августа отставной полковник Иван Степанович Крестьянинов после тяжелой и долгой болезни. Первые дни он почти не покидал плетеную качалку на веранде; от слабости часто засыпал и, а проснувшись, не сразу приходил в себя и крепко тер лицо сухими ладонями, улыбаясь растерянно и смущенно.

Через неделю глазный врач назначил ему прогулки по маршруту на двести метров. Он спускался через темную орехозую рощу к реке, шел берегом до купальни пионерского лагеря, возвращался, отдыхая несколько раз по дороге, и все думал о том,— думал иронически и грустно, — что эти педантично отсчитанные метры уже не имеют для него никакого значения. И если бы ему сказали, что жизнь стены с которой он считал покончеными, послезавтра взбудоражит его душевным потрясением неверной силы, он бы только так же иронически и грустно усмехнулся. «Разве что это сама костлявая?»

Стоял прекрасный август — один из тех, когда [illegible] излишняя жара перемежается освежающими ложными [illegible] грозами, и горизонт [illegible] светит, греет сильно, ярко, благоуханно, обильно.

Иван Степанович Крестьянинов гулял уже по маршруту на шестьсот метров. К пижаме за свою военную жизнь [illegible] не удосужился привыкнуть, надевал теперь [illegible] брюки, отглаженные [illegible] и [illegible] ходил [illegible] с [illegible] тонкой ореховой палочкой.

Однажды, как обычно, собираясь гулять, он спустился по трем широким ступеням санаторного портала и остановился на секунду, чтобы потянуть остуженный недавним дождем, пахнущий грибами воздух. В то же самое время он увидел идущую мимо женщину с таким знакомым лицом, таким знакомым, близоруким прищуром, такой знакомой походкой, что замер на полувздохе и, не сознавая в испуге, что говорит вслух, спросил:

— Кто это?

Его соплатник, читавший на лавочке под липой мокрую газету, усмехнулся.

— Ну, батенька, значит, окончательно ожили, если вас красивые женщины стали интересовать. Это жена главного.

— Невозможно.. Извините..— пробормотал Иван Степанович.

Соплатник вскинул на него поверх очков удивленный взгляд, но ответить ничего не успел, только плечом пожал: блажит-де старик, и опять углубился в газету а Иван Степанович, сорвавшись с места, задыхаясь на быстром ходу, сдавленно крикнул вслед женщине:

— Да постой же! Это я!..

Она остановилась.

Она оглянулась.

Она близоруко прищурилась на него.

Она выговорила совсем неподходящее к случаю, нелепое слово:

— Подтяжечки...

И он увидел, как мертвеет ее еще такое яркое и свежее лицо.

Машинально они пошли прочь от санатория, от любопытных глаз, смятенные и подавленные. Наконец она сообразила, что ему трудно поспевать за ней, обернулась, сжала ладонями его виски и заплакала. У Ивана Степановича тоже плыло и туманилось перед глазами ее лицо.

— Как же так?— сказал он.

— Я ничего не понимаю,— ответила она — Ведь я сама видела на тебе голубые подтяжечки... Я сама их видела!

— О чем ты?

— Пойдем, я все расскажу... Давай сядем где-нибудь, меня ноги не держат.

Она прошла еще немного по берегу и села на влажную

[illegible] скамью. На реке, смеясь, визжа и горланя, [illegible] пионеры, вожатая что-то крича[illegible] [illegible] до [illegible] [illegible] горной [illegible] прибрежным [illegible]

— [illegible] — [illegible] спросил Иван Степанович, [illegible] осторожно подставляя еще под один, [illegible] последний удар.

— Жив, — сказала она. — Работает в Мурманске [illegible]ской инженер.

— Невероятно, — прошептал Иван Степанович.

Она взяла его волосатую жилистую руку, прижала к своей щеке.

— В тот день, когда ты приказал женщинам и детям покинуть заставу... Который это был уже день?

— Девятый.

— Да, девятый день. [illegible] держались?

— Четыре.

— Так вот, мы шли и все оглядывались на [illegible] Там [illegible] ничего не было видно, а наутро с высокого берега [illegible] увидели над заставой красный флаг и поняли, что вы еще держитесь. Смотрели на флаг и плакали, [illegible] ребятишек и никак не могли уйти, [illegible] в кустах. Ушли лишь ночью, когда флаг перестал быть [illegible] Вы все еще держались.

— Да, еще четыре дня держались, — машинально [illegible] Иван Степанович. — Потом меня ранило. И не знаю [illegible] в болото или кто-то из живых товарищей [illegible] меня, только очнулся я уже в деревне. Там мне [illegible] что [illegible] которые ушли с заставы, немцы расстреляли, а детей увезли куда-то.

— Почти так, — сказала она. — Вышли мы удачно, нас спрятали у себя крестьяне, но потом все-таки какой-то [illegible]

[illegible]

пор помню, что у него на пальце было кольцо с черепом.. Там уже были Дуся и Клава... Он требовал, чтобы мы показали на заставу дорогу, которой вышли. Мы отвечали, что шли наугад и никакой дороги не знаем. Да, впрочем, так оно и было на самом деле. Несколько раз нас водили к сараю, а потом вдруг перестали, словно забыли, и мы поняли, что на заставе все кончено. Через несколько дней нас проводил туда старик, у которого мы прятались. Дусе некого уже было там искать, она осталась с детьми в деревне. А мы с Клавой пошли. Клава сразу нашла своего Он был с отрубленными ногами, голова замотана шинелью Мы сняли шинель, и Клава увидела бинты, которые сама накладывала на его рану А тебя мы долго не могли найти, приходили на развалины заставы несколько раз, разрывали могильные холмы Наконец в одной яме, куда были свалены и убитые лошади, нашли обезображенный труп . Документов в гимнастерке не нашли, но на нем были новые голубые подтяжки... Ты, наверное, уже не помнишь, что накануне налета ходил в баню, и я положила тебе в чемоданчик новые подтяжки. Ты их выкинул, а я опять положила, и мы даже немного поссорились из-за них. Поэтому они мне запомнились, и я решила, что это ты.

Похоронила, несколько раз после войны ездила туда, на могилу...

Она опять прижалась щекой к его руке.

— Я потом сложными путями все-таки перешел через линию фронта,— сказал он,— пробовал наводить о тебе справки — ничего.

— Где же было найти! Я до сорок четвертого была в оккупации, потом поселилась вот здесь, работала поварихой Тогда это был не санаторий, а госпиталь... Вадика я привезла из оккупации еле живого, и, скажу откровенно, если бы не моя работа на кухне, он врял ли бы выжил.

— Он помнит меня?

— Нет. Но знает, что отец его погиб.

— У тебя есть еще дети?

— Да. Двое. А ты женат?

Он покачал головой:

Так и не смог Прожил было с женщиной около года, а потом оба почувствовали, что мы совершенно чужие друг другу, и разошлись.

— Ведь, наверно, тебе и стакан воды подать некому, когда заболеешь?

Да, и сразу зопу неотложку, и — в больницу
Она заплакала, бормоча сквозь скомканный платок, которым закрыла рот, чтобы не разрыдаться:
— Что нам делать? Что же нам делать?..
— Ну, хватит, перестань,— ласково сказал он.— Ну теперь доделаешь? Ничего делать не надо. Я уезду сегодня в Москву
— Ты очень болен?
— Да.
— Позволь мне навещать тебя. Оставь адрес.
— Хорошо, — подумав, сказал он.— Только ничего не говори. Все должно остаться так есть.
— Я сама не своя сейчас. Я ничего не соображаю.
— Успокойся и подумай. Ведь у тебя еще двое, а я, пожалуй, уже не жилец, я говорю, уже не жилец.
— Не надо так!
— Что уж там. Это правда.
В тот же день, сославшись главному врачу на «семейные обстоятельства», Иван Степанович уехал из санатория.

В Москве после санаторных приволий ему показалось жарко и душно, он плохо спал по ночам, садился в майке у открытого окна и, подставляя грудь потоку прохладного ночного воздуха, думал. Жена навсегда осталась в его памяти тоненькой, худоплечей девочкой с маленьким ребенком на руках, какой он видел ее в последний раз, когда она покидала осажденную пограничную заставу, и теперь с чувством смущения и недовольства собой не находил в себе никакого чувства к ней, теперешней сильной, уверенной женщине, кроме прежнего чувства беззащитной и доброй, которым раньше точила его мысль о ее смерти.
«Это, может быть, самое страшное, что накорежила проклятая война,— думал он.— Никто из нас не убит, но жизнь нашу она все-таки унесла... Где, где в этом мире ты, моя девочка с маленьким сыном на руках?»
Ночь помаленьку в окно неяркими летними звездами. Иван Степанович становилось холодно, он кутал плечи одеялом и, отрезвившись, спал лишь незадолго перед самым рассветом.

Это беспокойство, конечно, не могло не отразиться на его здоровье, и, хотя в остальном он чувствовал себя прекрасно и держался так до осени, пока вдруг [illegible] не случился опять. Он сам не заметил его [illegible] и ужин он принял по-настоящему бодрый, [illegible] с аппетитом, а обедал

в столовой неподалеку от дома. Он так привык к этой столовой, к ее сложным запахам из кухни, к ее кружевным занавесочкам, к одной и той же официантке в кружевной наколочке, к тусклой копии с фламандского натюрморта на стене, что, когда в конце лета столовую закрыли на ремонт, он не захотел изменить ей и готовил себе на обед сам какую-то убогую стряпню на электроплитке. Но вот столовая наконец открылась, и он с раздражением, переходящим в бешеное раздражение («Открыли тоже заведение!»), не нашел в ней ничего от прежнего. Исчезли занавесочки и салфеточки, исчез фламандский натюрморт, исчезла официантка в наколочке, и вместо запахов из кухни — запахов жареного лука и печеного теста — стало пахнуть от разноцветных пластмассовых столиков сальной мочалкой. Но главным, что вызвало его неудовольствие, было самообслуживание. Все приходилось таскать на стол сразу — и суп, и жаркое, и кофе, затем возвращать поднос, идти в буфет за минеральной водой, и при всем том у него начали дрожать руки, и он расплескивал суп и кофе по подносу.

Однажды он уронил поднос и, уже не владея собой, стал громко бранить новые порядки, а заодно и горничную, убиравшую битую посуду. Его посчитали пьяным; вышла из своего кабинета заведующая, холодно сказала:

— Пойдемте со мной.

«Упаду. Скандал»,— успел подумать он и повалился на подвинутый кем-то стул.

Через несколько дней он оправился и пожелал увидеть сына, мурманским адресом которого заручился еще раньше. Одевшись в свою безукоризненно отутюженную форму без погон, с колодками всех орденов и медалей, он приехал в такси на вокзал, купил билет, но, выбравшись из душной очереди у кассы, вдруг схватил за рукав милиционера и сказал:

— Скорей проводите меня в медпункт.

Там, на жестком, обитом холодным дерматином топчане он умер, прежде чем ему успели оказать какую-либо помощь.

1972

Листопад в больничном парке

После жаркого лета встала какая-то медлительная осень — в октябре деревья были еще зелеными, и тепленькие дождички стали выгонять на газонах иглы свежей травы. А потом вдруг вслед за тихой звездной ночью часа на три завернул сверкающий солнечным инеем и перепончатым ледком лужиц утренник, и в больничном парке полетела, полетела золотой метелью листва вязов.

С непокрытой головой, завернувшись в теплый халат, чудесно было бродить в этой студеной свежести, в синеве и золоте.

Здесь, за Соколь никами, было тихо. Трамвайный грохот Стромынки слышался лишь по вечерам отдаленным рокотом. Весь этот день сухой шорох палого листа стоял в парке, и под ногами гуляющих, под метлой дворника все утихал все тот же, похожий на шипение, шорох.

Не один я, пренебрегая режимом, не ушел после обеда на тихий час. Было жалко проспать этот час, быть может, единственного дня осени, одаренного теплом прощального сентябрьского солнца. С десяток выздоравливающих сидели на лавочках и прохаживались в глубине парка, за бульваром, где их не было видно из окон больничных корпусов. Знаком мне был только актер театра кукол Миша Енькин, вихрастый, с застенчивым и добрым лицом человек, с таким несильным и мягким голосом, что, не спрашивая, знал, что в жизни это должно быть вполне [illegible], человек. Вместе с ним и Кларой Барабас [illegible] спустившись в длинном больничном халате, и рядом с ними [illegible], да поселились на жестких [illegible]. Мы [illegible]

[illegible] клетки с голубями [illegible] перед [illegible]
В такие времена здесь была богадельня, и у [illegible]
в ней стариков имелась своя церковь. Со [illegible] куполами, стоял другом богу, стояла она и [illegible] же каменные корпуса больницы, и корявые, [illegible] пусов звезды парка были тоже от тех давних времен. Вязы старели. Сменить их должны были каштаны. Они уже вымахали в полколокольни, и прижившаяся здесь их южная красота вызывающе выступала темной сочной зеленью на фоне поблекших стариков вязов. В это жаркое лето каштаны, должно быть, буйно цвели, и теперь среди их лапчатых листьев пряталось много плодовых шишек. За ними, досадливо нарушая тишину этого жаркого дня, охотились трое парней в нижнем. Один из них, стоя в развилке дерева, колотил по тонким ветвям палкой, а двое других подбирали похожие на маленьких ежиков шишки и со всей силой швыряли их о кирпичную стену вивария, чтобы расколоть и достать блестяще-коричневое налитое ядро.

Актер смотрел на парней и мученически кривил свое треугольное лицо. Вдруг он оживился, заерзал на лавочке и улыбнулся. С бокового крыльца вивария спускалась Настя-Кнопка, неся на руках обезьянку Мими, завернутую в полинявшее байковое одеяло.

Настю-Кнопку знали все выздоравливающие, со скуки навязчиво осаждавшие виварий, чтобы поглазеть на животных. Настя непреклонно стояла на страже покоя своих подопечных обезьян и кроликов, а слишком напористых любопытных пресекала таким крепким словцом, что одни — деликатней — конфузились, другие — побойчей — давились хохотом и отступали. Лишь актеру было позволено иногда приносить для Настиной любимицы Мими что-нибудь из фруктов.

Хоть и говорится, что маленькая собачка до старости щенок, Настя-Кнопка при всей ее точеной миниатюрности была все-таки рано состарившейся женщиной, и [illegible] ухищрения — крашеные в соломенный цвет волосы, подведенные брови и губы, серьги с красными стекляшками — делали ее только жалкой, а в глазах молодых парней и смешной. Наверно, они и прозвали Настю Кнопкой, затушевав этим прозвищем и ее отчество, и фамилию.

Спустившись с крыльца, она села рядом с актером и, [illegible] поглаживая ручки Мими, сказала:

— Пусть нежится на солнышке. Зябнет. Никак нам еще не прогреют наши кирпичи.

Мими бережно схватила тонкой волосатой ручкой протянутую актером кисть винограда, но есть не стала, а вся зарылась в сено и, спрятав где-то там лакомство, снова высунула свою маленькую головку с плотно прижатыми ушами. Выражение мордочки у нее было грустное.

— В банановом лимонаде Сингапуре, — вздохнув, сказал густущим басом актер. — Откуда она?

— А кто ж знает? Должно, сухумская,— ответила Настя.

Она держала обезьянку бережно, как ребенка, и та жалась головкой к ее плечу.

— Жалеешь? — спросил актер.

— Люблю я их, хвостатых-мохнатых, балую,— сказала Настя и, протягивая руку, крикнула парням: — А лейте-ка нам, мальчики, орешков поиграть!

— Рублишко, — засмеялся парень с длинными мокрыми локонами, изрядно засалившимися в больнице.

Он шутил, но было в его мгновенном, готовом ответе что-то затверженное, ставшее манером — развязной, жеманной — и шутка не получилась.

Настя опустила руку. От какого-то недуга руки у нее всегда мелко тряслись, тряслась и голова, приведя в дрожь все ее ранние складки на лице, а когда она сердилась, то начинала еще и заикаться.

— Д-дай,— сказала она.

Парень, конечно, понял, что шутка его, как говорят, не прошла, но, из упрямства и злясь то ли на себя, то ли на эту неприятно дрожащую Настю-Кнопку, он опять скомкал бумажки и сказал на ладонь:

— Рублишко!

— Вот д-дурачок,— сказала Настя.

— Я? — [illegible] — Гречишка по четыре рубля с рестораном прошли, а ты [illegible]? Все равно мартышка грош [illegible] цу и — привет.

— Д-дурак! Злой дурак! — взвизгнула Настя и, прижимая к себе обезьянку, путаясь в размотавшемся одеяле, бросилась на крыльцо.

[illegible]

— Др-р-рянь! — на весь парк рявкнул актер.

Ребята все неохотно стали собираться в гимназию.

— Кто ти обидел? — грозен актер. Он, может, рад был бы говорить иное, не привыкший всегобоится, но это у него просто не получалось. — Тебя спрашиваю! Не прячь глаза! Кого ти обидел?

Перед ним стоял Гриша. В нем видно, будущего и даже настоящего мужчину. Крепкого, мускулистого, но мягкого, напористо, нагловато.

— А что я ей такого сказал? — оправдывался Гриша.

Обращаясь уже не к нему, да, пожалуй, и вообще ни к кому не лично, актер медленно говорил. Все его существо до предельных нот и тона как рокот потока в глубоком ущелье.

— Представьте ее девятнадцатилетней санитарочкой на фронте... Маленькая, щупленькая девочка. Сапожки тридцать второго размера на заказ... В Ниных больных вытащила на себе из-под огня восемьдесят раненых. Последний сам тащил ее и подорвался на мине. С тех пор она трясется от контузии, не может ни писать, ни лекарства накапать, ни укол сделать и всю жизнь только ухаживала за больными, а теперь вот за животными, потому что уж и полный стакан чаю подать не может.

— Откуда ви это знаете? — спросил парень — не тот, что носил длинные локоны, а другой, что все еще стоял в развилке каштанового дерева.

— Знаю, и всё тут, — ответил актер.

— А может, враки? — усомнился теперь уже тот самый парень, с локонами.

Актер встал. Халат не по росту повис на нем чуть не до земли. Это делало маленького актера с его широким лбом похожим на бродячего античного мудреца в бедной тоге.

— У нее есть орден за этот подвиг. Единственный. Но зато главный, высший орден страны, — сказал он и мелкими шажками пошел по дорожке, выстланной желтой листвой старых вязов.

1972

За лесами, за долами...

— Ну и дороги у вас тут, дядя!

Место такое гиблое, — отвечает возница.

Да, видно уже не часто торят колеса эту дорогу. Из леса на нее наползают сырые мхи, по обочинам жидким месивом оплывают огромные шлепки подосиновиков, которые некому срезать вовремя, мостики полегли, гати проросли между бревнами стрелолистом — заливной и обветшалость...

Возница Еремей Осмолов — дюжий старик за шестьдесят с грубым в синих прожилках носом, с колечками стриженых волос на шее и за ушами. Имел свои заботы и потому не очень разговорчив. Заботы у него не малые. Третий день он перевозит из старого деревенского скарб на свое новое место жительства — в отдаленный поселок Саловый — и, видимо, неспроста связывает с переездом свои судьбы в большое смятение, которое выражает полным недоумения вопросом: «Мыслимо ли?!»

Путь обратный — порожняком. В телеге только мешок с овсом, да мы с Еремеем Ильичом невелики, и лошадь тянет, и поскрипывает так, что болят уши и грудь.

Я не был здесь со времен объединения колхозов, стало быть, без малого лет двенадцать; Еремей Осмолов помню еще буйно курчавым мужиком, в распахнутой на волосатой груди рубахе, неистощимо работящим и ко... Он и тогда не помнил более — где ночь, где день, где дом, где место и Севере тех лишь одну ночь.

...лавного луга. И стояли сорок дворов Северки особняком от всего районного мира. Человек да конь, как встарь, справляли здесь всю крестьянскую работу, потому что эмтээсовские трактора и комбайны ломались уже на гиблых дорогах к Северке. И все-таки малоземельный колхоз «Искра» считался не из последних в районе. Его иногда похваливали на районных совещаниях передовиков, на заседаниях бюро райкома, на советах МТС, сюда нередко наезжали корреспонденты районной газеты, вроде меня, и трудодень в «Искре» был поувесистей, чем у многих соседей, так что не ради красного словца, а ради истины говаривали северковцы со скромным достоинством: «Ничего, не хуже других живем-можем...»

Это наглядно подтверждал и самодовольный вид прочных, кондового леса изб, убористо разместившихся в два ряда. Летом их почти не было видно за рябиновыми и терновниковыми палисадниками, зато зимой взгляду сквозь голые ветви открывались добротные, с кружевной резьбой фасады, непреложно вызывавшие представление о достатке, тепле и мире.

Семьи в деревне жили многочадные и дружные, делились редко; все здесь успели, бог весть в каком колене, переродиться, и поэтому в Северке обитали люди преимущественно трех фамилий — Лыковы, Башкины да Осокины. Из прочих, но не числом, а запальчивым, озорным и непоседливым нравом, были заметны Шайтановы. Не внешне они ничем не отличались от других — такие же светлоголовые, льноволосые, кудрявые,— но бывало, что в великий стан их нет-нет да и пополнялся таким калмыцким отпрыском с глазами-антрацитами, с прямыми, конской толщины волосами, со смуглыми скулами, что только диву можно было даваться, как ярко и бурно способна вспыхнуть веками дремавшая капля азиатской крови, неведомо когда и как занесенная в русскую деревню Северку.

Когда объединялись колхозы, Северке не повезло. Ее богатых не трогали ни с одним из колхозов, и стала она просто дальней бригадой большого нового колхоза, с пятериком и сбруей. Порядели ряды изб, сосновый тес, заменил пеньк, ветшали конные дворы и коровники, и прудовое хозяйство все больше теряло сноровку и власти под душой крестьянина. Потом стал на землях колхоза совхоз, и вовсе была забыта ... Северка.

— Мыслимо ли?! — в который уж раз плачет Гремя Семенов.

Опять мы долго шагаем молчком сбоку тарахтящей [illegible] с [illegible] тяжкими по сочинениями, груз[illegible] Гремя [illegible] безучастный вид.

И [illegible] Митька, дядь? — спрашиваю я. — Не-ка погост переезжаешь, наверно.

— Деревня! — [illegible] Гремя. — Деревню мне мо[illegible]! Ты, говоришь, бывал у нас в прежние годы, [illegible] помнишь, какая то была деревня. А теперь [illegible] дворов, [illegible] старух, и до [illegible] еще один девка. От все в мои жизни и [illegible] бей смуты. Черной души парь. Я какую [illegible] в свой век? Думал, зернется из армии мой Митька, приведет в избу сноху, и зацветет моя бобыльская жизнь вторым цветом, захозяйствуем мы в родном гнезде при внучатах. Не задалось! Эта девка Санька Шайтанова, головешка черная, враз Митьку обратала. Поначалу мне было все равно — Санька так Санька. Она, по совести сказать, девка первых статей — сильная, крепкая, спина как лежанка, глаза — уголья... Бес!

Оголов жмурит глаза и долго причмокивает, — до чего, видно, и впрямь хороша эта Санька Шайтанова.

— Стали они, не таясь, в обнимочку у меня под окнами похаживать. Я не препятствую. Только спросил Митьку, — это, дескать, у вас всерьез, парень, али баловство? Всерьез, — говорит, — папаня». — «Ну, мол, валяйте, благословляю, хозяйству давно молодой хозяин требуется, я уж — поленый». Вижу, парень на мои слова крепится и жмется. «Ты, — спрашиваю, — чего?» — «Ничего, мол, папаня». Не гом и разговору нашему конец. Да и не спится мне. Как-то с вечера, вышел я на крыльцо, стою и слышу их шепот с лавочки. Митька, тот опять бормочет, а Санька, шельма, так и сыплет мелким бисером. Папаня, дескать, живешь здесь, в Северке, со скуки все сохнешь, перегрызлись и петухи передрались, и поедем мы-де, мол, мил мой Митенька, в совхоз Садовый, в Читай. Я жду, что Митька скажет. Тот малость покрякал и говорит: Папаня, хозяйства не строишь, а я согласен [illegible] в Северке. Санька опять ему [illegible], [illegible] говорю, отродье бросовое! Ты мне парня не смущай, катись, куда хочешь, а мы другого найдем, не

[illegible] Змеилась только, словно монетки звонкие рассыпала, и пошла прочь. Митька то [illegible] не вернется, потом шваркнул картуз оземь и ударился прогоном в пол. Я тогда тоже освирепел, схватил в сенях топор и разметал всю ту лавочку под окном на мелкие щепочки.

Отголосок прежнего [illegible] должно быть, снова прошелестел в Осмолове, он встряхнулся, поежился и обладил лицо [illegible] кривой бровью. Недоброй истории мне уже [illegible], и, только чтобы поддержать разговор в небыстрой и нескорой дороге, я спросил:

— Уехали?

— Уехали, — вздыхает Осмолов. — Мыслимо ли! Мы с ним недолгих семь дружили с Митькой напоследок [illegible] и расстались, как [illegible] Он первый весточку подал, к себе звал, обратный адрес полностью обозначил — поселок Садовый, улица Первомайская, дом — пятый, квартира — двадцать два. Все на городском манер. Не то что у нас, по-старинке, — Северка, Осмолову Еремею и — точка. Эта выкрутасина меня еще больше задела. Задается, думаю, парень, форсит перед отцом. И копил я обиду целых два года, каждую мелочь Митьке в счет ставил, а про Саньку без матерного слова и вспомнить не мог. Осатанел вовсе. А тут еще дворы в Северке, как зубы у старика, редеть стали. То один хочет в Садовый избу перекатить, то другой. Я же на этот поселок, как на проклятое место, глядеть не хотел. Однако не знаю, что случилось со мной прошлой зимой, — наваждение какое-то. Подохла у меня собака. Так, зряшная собачонка, пустобрех. Потосковала два дня и подохла. Кинул я ее на зады, — думаю, весной оттает земля — закопаю. Лег вечером спать, а она, проклятая собака эта, так и видится мне рыжим пятном [illegible]. Всю ночь с боку на бок вертелся, утром позавтракал со светом — нет! Опять видится. Нехорошо мне стало с тех пор, как потерял, кусок в рот не лезет. Про Саньку про ту давно и думать забыл, а тоска не проходит. Очень помню, как собрался однова дни и пехом двинул в Садовый к Митьке. Пришел под вечер. Вдоль улиц огни [illegible], на клубе — вывеска красным заревом, аж снег под ней [illegible]. Эх, думаю, палят энергию-то, не то что у нас с керосинцем смеркнешься — из леса сажа хлопьями [illegible]. Разыскал по адресу Митьку. Дом этот номер пятый [illegible] этажа, сам Митька проживает в комнате с бал-

[illegible] люстра с висюльками, на полу — [illegible] дорожка с зеленым кантом, на стене — ковер с [illegible], на столе — электрический самовар. Митька су[illegible] «Вот — говорит,— так и живем, папаня». Стерва [illegible] Стала чем меня потчевать. Варенье выста[illegible], [illegible] сдобные, колбасу, селедку. Митька, гляжу, [illegible] из-под кровати тянет. Все как следует. Несет сюда тоску, да горечь, да обиду, а сам чувствую, что радостно [illegible] за Митьку. Я, известно, своему дитю худа не желаю. До того рассолодел,— чуть слезу не пустил. Они у стариков-то близкая. Однако спрашиваю Митьку: «А что, сынок, из родного гнезда, значит, фер[illegible] улетел навовсе?» — «Сам,— говорит,— посуди, папаня. Мне там и руки-то приложить не к чему. Ведь я шофер второго класса». Наутро стал я домой собираться. Митька — шварк на стол две полусотенные бумажки: «Вот,— говорит,— тебе, папаня, от меня гостинец...» Взял, а сам думаю — на кой черт они мне сдались. Их в Северке-то и за год не избудешь. Так и вышло. Только нынешним летом и определила те бумажки в дело: нанял троих удальцов-плотников избу в Садовой перекатать...

Осмолов долго молчит и потом, точно подбадривая себя, заканчивает:

— Я еще работник, мне силы не занимать стать. А все же поближе к сыну надо держаться, хоть и жалко мне местов этих до судороги.

Уже чернеет восточный склон неба, когда мы подъезжаем к Северке. О, как дико разрослись здесь неухоженные, обезлюдевшие вишневые и терновниковые сады, как буйно вымахали лопухи и полынь на хорошо удобренных в прежние годы усадьбах, каким запустением веет от бесформенных груд битого кирпича на месте некогда гордых русских печей, что пекли и варили, сушили и томили, грели и врачевали!..

А ночью, когда за окнами черной стеной стоит [illegible] и мы с ним и осмоловской избе на [illegible] и лавках под богунеславшим тулупом, Гремен [illegible] протяжно вздыхает:

— Мыслимо ли?!

— Ты чего, дядя?

— [illegible] — приподнимается на локте Гр[illegible]

каждый сам себе покупает. Мыслимо ли, я спрашиваю, чтоб крестьянин без коровы был?

Утром чуть свет я ухожу с ружьем в пойму. Там тоже уже все внове для меня — заросли старые тропы, прорублены в кустарниках новые, затянулись знакомые болотца, скопились в ямах другие озерки... И сам-то, сам-то я не нахожу к вечеру сил, чтобы вернуться в деревню, а коротаю ночь под стогом, слышу сквозь чуткий сон плеск реки о глинистый берег, возню и писк мышей в стогу.

И только к полудню, после утренней зорьки, я снова в Северке. Удальцы-плотнички уже ободрали с Еремеевой избы крышу, сняли стропила и теперь раскатывают стены. С озорными прибауточками два парня без рубах подают сверху за концы бревно, третий, постарше, пособляет им снизу багром, бревно падает, и по ветру летят серые хлопья сухой истлевшей пакли...

Скоро, должно быть, очень скоро дикий лес и одичавшие сады сомкнутся на месте старой Северки.

1972

Весна, старый писатель, маленький мальчик и рыжая собака

Этот маленький случай в жизни маленького мальчика произошел ранней весной, когда на освещенной первым теплым лучом дороге появился первый грач.

Утром сквозь частый березняк желто светило на снег туманное солнце, и в колеях дороги, в каждой впадине, за каждым комком лежали синие тени. Все это мальчик увидел через оттаявшее окно избы. Зимой стекла были сплошь покрыты лапастыми морозными узорами, и за ними ничего не было видно, а в это лучезарное утро вдруг открылась вся холмистая снежная даль, широкая деревенская улица, прямые медленные дымы над крышами, молодой тополек, золотившийся каждой своей почкой, и большой блестяще-черный, с седым носом грач, долбивший на дороге навозные комки.

Мальчик еще не ходил в школу, и делать ему было нечего. Одевшись, крепко подпоясавшись по шубенке широким армейским ремнем, он вышел на улицу. В деревне у него был друг — старый писатель в сверкающих золотом и серебром очках. Он жил здесь и прошлым летом, [illegible] мальчику рыболовные крючки-заглотыши, длинные перяные поплавки, крепкую леску-жилку, и они подружились. Мальчику нравилось, что писатель держался с ним, как с равным. Он, мальчик, даже покровительствовал ему в той жизни, которую они вели на берегу реки, в [illegible], в лугах, показывая дорогу к рыбным заводям, лучшим сенокосам, малинникам и грибным местам. И теперь [illegible] было [illegible] сказать писателю о том, что прилетели грачи.

[illegible] к нему без стука. Писатель повернулся на скрипучем стуле, медленно снял очки и, сведя густые брови, сказал:

— Я [illegible] чтоб ты [illegible] по утрам [illegible]

— Это другое дело.

Писатель встал. Он был невысокий, с круглой спиной и

тонкими ногами, свободно болтавшимися в раструбах поношенных валенок. Одеваясь, он по-стариковски кинул полушубок сначала на спину, потом трудно полез в р- кава.

Мальчику всегда становилось жалко его, если приходилось замечать, как он стар. Почему-то особенно тяжело ему было видеть, как писатель наматывает на шею длинный узкий шарф — наматывает и натягивает окостенелыми руками, пока не останется маленький кончик, который будет торчать у него из-за воротника на затылке. Мальчик даже плакал перед сном в постели, когда вспоминал этот шарф; ему казалось, что ночь и холод за окном никогда не пройдут и люди больше не увидят друг друга в этой ледяной тьме.

Он и сейчас отвернулся, чтобы не видеть, как писатель будет наматывать шарф, но зеленовато-голубое сияние мартовского дня уже померкло для него, и ему хотелось плакать.

— Пойдем,— сказал писатель.

В сенях им под ноги радостно кинулась рыжая собака.

— Пойдем,— сказал и ей писатель.

И все трое спустились по мокрым обтаявшим ступеням крыльца. От собаки в теплом влажном воздухе сразу густо запахло псиной; сырно и кисло запахло от нового полушубка писателя. Мальчик показал рукой вдоль широкой, как площадь, улицы:

— Он там.

Они пошли по тропе между высокими сугробами, и синие неподвижные тени двигались вместе с ними. Трема была очень узкая, что идти приходилось друг за другом. Мальчик волей-неволей видел кончик шарфа на шее писателя и чувствовал в горле тугую слезную судорогу. Он завидовал собаке, которая бесшумно и резво бежала впереди всех, на бегу хватая зубами мокрый снег. Она не понимала, что хозяин ее стар, что когда он кончит свою работу и уедет в город, то вряд ли уже вернется сюда, в деревню среди ржаных полей и березовых перелесков, к этому мальчику, который так любит его.

Трема не сказала и на прежнем месте. От этого мальчику сделалось так обидно, что он наконец не сдержался и всхлипнул.

— О чем ты? — спросил писатель.

Но мальчик был не в силах выразить словами то, что неясно и тяжко гнело его. Он сказал только:

— Ты уже кончил свою работу?

Писатель умел угадывать в словах большее, чем они значили сами по себе.

— Ну,— сказал он,— я скоро уеду, но ты не горюй, мы опять увидимся с тобой.

— Нет,— потупившись, сказал мальчик.— Ты очень старый.

— А-а, вон оно что! Вытри слезы.

Они пошли дальше, туда, где в проеме улицы сияли чистые снега полей и на них ощутимо лежала толща голубого мартовского воздуха. За деревней, прислонившись к прясле, писатель долго молчал. С тихим звоном рушились под напором солнца сугробы в полях, и дрожащий фиолетовый прозрачный пар поднимался над березовыми перелесками, пробудившимися к соковдвижению. Было тепло здесь, на угреве; присмиревшая собака села у ног хозяина, по каштановой шерсти ее лились золотые солнечные блики. Мальчик тоже затих, лишь изредка прерывистый вздох — последыш плача — сотрясал под шубейкой его тело.

— Я скажу тебе,— заговорил писатель,— скажу тебе то, что ты, быть может, не осилишь сейчас ни душой, ни разумом, но со временем обязательно поймешь, если не будешь жить по гнусному закону эгоизма. Жизнь моя прошла, как большой праздник. Я радовался тому, что принимал от природы и людей, и еще больше радовался тому, что отдавал людям. Уходя, я оставляю им все и через это остаюсь вместе с ними. Будешь ли ты писать книги или пахать землю, делай это не для себя, а для них, и никогда глухое отчаяние конца не сожмет твое сердце, потому что ты будешь знать, как знаю я, что сотворенное тобой возродится в новой жизни — в новых людях, деревьях, цветах, птицах и зверях...

— И в собаке? — спросил мальчик.

— И в собаке,— улыбнулся писатель.— А вообще-то, все, что я наговорил тебе, давно уже сказано проще: помирать собираешься — рожь сей.

Мальчик по-своему все понял. Он в последний раз прерывисто вздохнул и сказал:

— Я тоже заведу себе такую собаку, чтобы и у меня собака была.

— Правильно,— одобрил его писатель.

Ничего особенного не случилось в это утро: опять, как [illegible] всем живому.

1972

Повести

Падучая звезда

Уродился юноша
Под звездой безвестной,
Под звездой падучею,
Миг один блеснувшею
В тишине небес

Пушкин

I

В наступательных боях тысяча девятьсот сорок четвертого года рядовым пехотных войск принимал участие некто Митя Ивлев.

Был июль, ночь. В сосновом лесу позади окопов стояла гулкая, как в пустом храме, тишина. Сняв каску, Митя положил голову на бруствер и смотрел на верхушки сосен, плоско и четко, словно аппликации, чернеющие на фоне неба. Случались у него в детстве минуты, когда, разглядывая голубые жилки на своих руках или слушая стук своего сердца, он вдруг волнующе и странно удивлялся тому, что все это именно он — несомненный, живой и, разумеется, вечный в будущем мальчик Митя. И сейчас, слушая эту смущающую своей необычностью тишину, глядя на небо, виновато и грустно помаргивающее редкими звездами, он так же был наполнен этим странным ощущением своего присутствия в подлунном мире. Вот холодок тумана на лице, смолистый запах леса, покалывающе голубой вдох. И, боже мой, неужели есть границы его, Мити, — вплетенного в маленький индивидуальный окопчик, неужели может без следа исчезнуть все, чем уже наполнено оно за восемнадцать лет?!

Он помнил себя с младенчества. Впрочем, это еще не воспоминание, а какое-то мучительное впечатление хаоса, который внезапно обрушивался на него раздирающим скрежетом, катастрофическим смещением окружающих предметов, потрясением всех клеточек мозга и позже долгие годы был самым ужасным кошмаром его детских снов. Возможно, это впечатление было оставлено у него трогающимся с места вагоном, потому что в то время Митю часто перевозили из города в город его неустроенные родители, но кто же знает...

Потом была больница, наполненная зеленым полумраком штор комната, в которой по белому потолку разбегались какие-то неразборчивые, переплетенные на манер

[illegible] бумажка с соской, и был холодящий ужас, ког- [illegible] стола поднялась седая, [illegible] сказали, что это медведица унесла ее своим [illegible]

[illegible] это — и комната, и божница, и ружья — было на [illegible] Эти [illegible] и грязи, [illegible] на [illegible] дом Мити — [illegible]; он сам построил [illegible] для, мечтая со временем разместить [illegible] просторе свою многодетную семью, но [illegible] унесли почти всех его сыновей, сам [illegible] после Октябрьской революции, и дом [illegible] для [illegible] Весь нижний этаж [illegible] квартиранты, а в трех верхних [illegible] просторной террасе, увитой [illegible], с бабушкой, мамой и дядей жил Митя. Отец в то время [illegible] из его жизни.

Летом на дворе Мите стелили два застиранных и еще хранящих запах речной воды половика, он садился на [illegible] и часами мог оставаться один. Елка уловило пахло нагретыми [illegible], [illegible], арбузной. Роясь в пыли, мирно [illegible] куры; важный селезень, тонконосо поиварливал, [illegible] ленивых уток; рядом с Митей [illegible] Ему [illegible] кубами на докучливых [illegible] Этот [illegible], рыжий, неуклюжий пес был добродушен и [illegible], часто задумывался со слезой в [illegible] глазах и вдруг прерывисто вздыхал, словно [illegible] после продолжительного плача. Во сне его преследовали [illegible], он [illegible], убегал, и тогда приходили [illegible] Он всегда видел в Мите [illegible] жизнь, [illegible] с разорванными ушами, кровавым [illegible] и [illegible] губой после драки с [illegible] собакой, обитавшей во дворе, — угрюмой рыжей [illegible] Пиратом. Это был [illegible], но по-боецки ловкий, [illegible] и смелый зверь. Его прозрачные глаза [illegible] и [illegible]

О, как [illegible] Митя [illegible] одной минуты горжелюбие [illegible] и [illegible], источавшей сладкий [illegible] и [illegible]

[illegible] до [illegible] глубокой

[illegible]рости, он не помнил, а вот Пирата, из обореза убитого [illegible] на первом даже плотниками, он сам [illegible] с трёх и часто потом плакал, вспоминая в лохмотья иссеченную топорами рыжую тушку с одним [illegible] голубоватой мутью.

2

Первым его ощущением матери было, пожалуй, ощущение необыкновенно душистого тепла. [illegible], он часто украдкой целовал ее одежду, чтобы почувствовать этот мамин запах. Но лицо, лицо ее существовало [illegible] с грустными, много плакавшими глазами, которые всю жизнь будут ему самым [illegible] упреком за то, что он часто бывал виновником их скорбных слез.

Один только день раннего детства, связанный с матерью, брезжил в его памяти. Они шли мимо торговых рядов по раскаленным булыжникам мостовой, он держал в руках коробку с оловянными солдатиками и, несмотря на обладание этой вожделенной коробочкой, капризничал, [illegible] что устал и хотел пить. И, должно быть, какой счастливый день был у мамы, если, обычно раздражительная и усталая, она в ответ лишь весело подтрунивала над Ми[illegible] потом — о радость! — подошла к извозчичьей пролетке, [illegible] сажала его на высокое, стеганное ромбами сиденье, и [illegible] покатили, покатили по солнечным улицам города ми[illegible] белых стен и сверкающих окон...

Мама, мама! Когда-то за величайшее счастье почи[illegible] Миша ласку и нежность ее, но с годами (и почему это [illegible]) [illegible] открытого проявления своих чувств к ней и, уезжая на фронт, старался лишь об одном: в последнюю минуту расставания найти в себе силы [illegible] горькую любовь напускной холодностью. [illegible] прекрасное воспоминание хранил теперь [illegible] надежду прожить честно и [illegible]

Тогда он беспредельно [illegible] в его [illegible] Он [illegible] и потом [illegible] церковных иконостасов, [illegible] тившись на колени перед божницей, полный искренней ве-

— Боженька, верни мне папу.

Высокая, красивая дородной румяно-белой красотой русской женщины, бабушка была заметна и почитаема в их маленьком городе. С достоинством домовитой хозяйки, в длинной синей юбке и белой свободной кофте, она плавно шествовала через толкучий воскресный базар, а из-за лотков и прилавков ей кланялись молочницы, мясники, зеленщики. Летний базар всегда волновал Митю своей пестротой, разноголосым гомоном, запахами лошадей, рогож, сена, солений, рыбы. Отстав от бабушки, он путался в толпе среди телег, зачарованно глазел на красноглазых кроликов, на чистых, как хлопья снега, голубей, на россыпи ярких безделушек, которыми торговали китайцы, невесть каким ветром занесенные в этот городок средней России. Китайцы были самые настоящие — с желтыми лицами, узкими глазами, длинными косами, — но торговали местным товаром. Чего только не было насыпано на их ковриках, расстеленных прямо на булыжниках базарной площади! Всевозможные пуговицы, пряжки, шпильки, иголки, глиняные свистульки, батарейки, мартышки, паяцы и черти на пружинках, литые пугачи, пробки... Вот один из китайцев, распаляясь все больше, торгуется с флегматичным человеком в пыльном пиджаке из-за батарейки для карманного фонаря.

— Это плохая? — возмущенно кричит он, вертя батарейку перед носом снисходительно улыбающегося покупателя, и вдруг изо всех сил шмякает ее о камни мостовой. — Не держу плохого товара!

У Мити дух захватывает и батарейку жалко, и китаец делает что-то неведомым, незнаным.

По пути с базара они всегда заходили в маленькую кладбищенскую церковку Иоанна Предтечи. Бабушка молилась божьей матери и Христу, а Мите нравился бородатый Никола, похожий на деревенского старика Василия Васильевича, которому иногда завозил в бабушке попить чаю. Отец Василий был веселый, обыкновенный, этот Никола, а у него не совестно было попросить все, что угодно, от пары старых пробок до пугача, тогда как бабушкины иконы своими скорбными, мученическими ликами вызывали в Мите робость и почтение в неспособности отдарить его чем-то вещественным.

Молились они недолго. И каноническим молитвам бабушка от себя импровизации, одинаково хватало [illegible] побаловать.

выходила из церкви, и они прямо с паперти вступали в царство [illegible] кладбищенских берез, в пестроту трав и цветов, [illegible] к могиле, где лежал Мит[illegible] [illegible] зеленым клубом вздымалась [illegible] Нина [illegible] над ним на лавочку, бабушка [illegible] платком глаза, а Митя... Он еще никогда не [illegible] и в эту минуту ему тоже до горьких слез [illegible], но не было, над кем трепетал свежий [illegible] крест.

3

[illegible] страшный образ жизни. Он был нищенски [illegible] и потому (так было принято считать в [illegible]), что убогий их города не строили дорог, скитался по всей стране, присылая открытки то с Северного Кавказа, то из Средней Азии, то с Дальнего Востока. Иногда он внезапно появлялся. Входил загорелый, худой, [illegible] и ни с кем не здоровался, точно вышел из дому всего на час назад. А через несколько дней уже сидел у стола, [illegible], рассеянный, угрюмый, напевая песню, которую в их дни вызывала у Мити раздражение своей пошлостью:

Лиловенький цветочек
Испанской красоты,
Ты меня не любишь,
А я — наоборот.

Любил ли он отца? Пожалуй, нет. Его любовь к [illegible] была [illegible] безраздельно принадлежала тем [illegible]. С ним было [illegible] стрелять к таким волнующим [illegible], как ружье, [illegible], пистоны, порох, собачий [illegible], блесна, крючки, лески, удилища, блесны...

Возвращаясь с охоты, дядя клал возле его постели убитую [illegible] дичь, а утром он с любопытством и трепетом перед [illegible] рассматривал, поворачивая в руках, [illegible] побуревших перьев, щеголеватых весенних селезней, [illegible] пестрых куропаток или тяжелого окольцованного [illegible]. Чем-то страшно пахло от них — порохом? кровью? порохом? снегом? болотом?..

[illegible] Он лежит с дядей под одним [illegible] на [illegible] с трех сторон террасе и, за всю ночь [illegible] так и не сомкнув глаз, смотрит на окно. Там, сквозь лозы [illegible], [illegible] неподвижный, как глаз, [illegible],

[illegible] серпик луны чуть сбоку от [illegible] и [illegible] рощицу черных обнаженных августовских [illegible] Вся [illegible] весь этот [illegible] бессолнечный и [illegible] Но [illegible] рассеянный серпик, подвешенный [illegible] как будто [illegible] бледнеть, [illegible] ярче [illegible] заиндевевшая, и Митя [illegible] подброшенный тугой пружиной.

— Пора?

Все [illegible] быстро одеваются, [illegible] и выходят за ворота.

Очертания [illegible] и страхи [illegible] в предутренней [illegible]. Где-то [illegible] щелкают по мостовой каблуки [illegible] прохожего, [illegible] в себе, без ветра, вдруг [illegible] листва [illegible], пропущен, опустив голову, не глядя по сторонам, собака, и оттого, что у нее есть какая-то своя, непонятная, не [illegible] людям жизнь, леденящий холодок мистического страха на миг обожжет с головы до пят, точно это и не собака вовсе, а оборотень. Митя старается держаться поближе к дяде. Они спускаются по крутым окраинным [illegible] к реке, которая вся — с берегами, плотомойками, редеющим ивняком, лодочными причалами — укрыта, как мокрой ватой, густым туманом.

— Ов! — негромко кричит дядя в этот туман.

И через минуту из него неуклюже вылезает огромная фигура, неся с собой крепкий запах махорки, пропотевшей одежды, рыбы. Мите удается разглядеть заросшее щетиной [illegible] с крупным носом, глубоко ушедшие под лоб глаза и больше, по самой земли, только широченный тулуп с длинными болтающимися рукавами.

— [illegible], — радушно гудит фигура, приглядываясь к дяде. — Не отбил-то тебе, Егорыч, охотку впустую-то мять-ся? Я бросил. И фувею свою взятю продал. Нет той силы, милок, а этой и не надо, напрасное дело.

Митя преисполнился важности оттого, что дядю знают все окрестные, ждет этот лодочный сторож, и ему хочется как-то особенно подчеркнуть свою близость к дяде и ко всему дядиному.

— Лай! — негромко, но строго зовет он и берет за ошейник Лая, который весь мелко дрожит от возбуждения.

Дядя и сторож исчезают в тумане, отчетливо слышны [illegible] их голоса, гремит лодочная цепь, стучат уключины. И [illegible] Митя садится на корму, привычно

...ает в лодку Лай, и дядя начинает легко, без толчка, ...отребать от берега.

— Напрасное дело, — еще раз со вздохом напутствует их сторож.

На воде тихо. Но если прислушаться повнимательнее, тишина полна мелких шорохов, бормотания, булькания, ...веплесков — невнятных звуков реки, звуков ее жизни и ее движения. Куда и долго ли плыть в этом розовом от восходящего солнца тумане? Но дядя уверенно направляет лодку по реке, по старицам и протокам, пока из тумана вдруг не выступают очертания изб, плетней и сараев. Это деревня, где живет тот самый Василий Васильевич, который похож на Николу-угодника. Должно быть, какое счастье — жить здесь, в этой зеленой деревне! Пока дядя привязывает лодку к врытому в берег бревну, Митя вслушивается в далекое мычание коров, в щелканье кнута и воображает себя рослым, живущим в такой же деревне. Лодка, ружье, собака — больше ничего не нужно ему в жизни; он встает каждый день на рассвете, кладет в сумку хлеб, лук, соль и, свистнув собаку, уходит в поля и поймы бить дичь...

...Тем поднимается выше. Сквозь ...ое, больше желтое солнце, блестят мокрые ...в деревне, и весь поселок, сбегающий к ней от горизонта ...залит поспевшей рожью.

— Слышишь? Это коростель, — говорит дядя.

— Коростель? — грустно повторяет Митя, прислушиваясь к ...и прибрежных кустах.

И ...ся, что больше никогда в ...ит на дядю, на Лая, на ружье...

4

...Может быть, это особенность впечатлительных ...Митя ... прилив ... но только ... ни ночей, ни ненастья, точно все оно было залито необыкновенно ярким ласковым солнцем. А может быть, все дело в том, как сам оцениваешь в зрелом возрасте события ...ших дней? Разве не казался ...

...теперь этот с...

И в ту же ранюю пору жизнь одарила его настоящим ...лением.

Один конец улицы выходил прямо в небо, на закат; там, за рекой, дымчато синел лес, отчеркивая горизонт ясной прямой линией. Выходя за ворота, Митя всегда встречался с этой далью, поглощавшей по вечерам то багровое, то желто-туманное, то золотистое солнце, и, конечно, думал о том, что же скрыто там, за синей кромкой леса, куда ниспадал потухающий купол неба. Ни религиозным объяснением бабушки, ни научным — матери равно остался он неудовлетворен. Возчик Андрон, этот санитар города, вывозивший на свалку отбросы от помоек, маленький, несоразмерно широкоплечий, весь от ворота до сапог, закрытый громыхающим брезентовым фартуком, долго смотрел из-под руки в конец улицы и сказал:

— А ничего там нет. Ветер.

Тогда Митя сбежал однажды вниз по улице, пересек капустные огороды на заливном лугу, намотал на голову трусишки и майку и ступил в быстрое течение реки. Он уже бывал в заречной пойме, где собирал с мальчишками орехи, переходя реку вброд, и все же панический страх охватил его, когда течение напористо ударило в бок, завиваясь маленькими быстрыми воронками, и он увидел, как далеко оба берега и как одинок он в этом сверкающем потоке. Он хотел засмеяться для бодрости, когда ноги все же зацепились за ребристый песок отмели, но лишь как-то судорожно вдохнул всем нутром, и долго потом, уже на берегу, крупная дрожь время от времени сотрясала его худенькое тело.

В зарослях ивняка и орешника на том берегу он шел без дороги, натыкаясь на мелкие озерца, где среди зеленых водорослей плавали красноперые мальки окуня; видел сползающего в корни и палую листву ужа; ел щавель, орехи, черную смородину, ежевику, а когда вышел на серебристый, выжженный солнцем пустырь, простиравшийся от края самого леса, за которым небо сходилось с землею, замер в восторге и удивлении. Он увидел пастушью будку. Неподалеку от нее на пне сидел красноармеец с винтовкой.

— Вот и отгадка, папа, — сказал он — Нельзя.

И надолго потом осталось у Мити убеждение, что часовой и винтовка и пушки охраняют ту заповедную черту, за которой, по непреложным словам Андрона, будто бы нет ничего, а только ветер.

Еще в детстве жизнь связала его с природой, не обошедшей [illegible] щедрым даром.

Городской двор был обширен и дик, весь в лопухах, [illegible] и [illegible] десятой акации и бузины, в непролазных яблонях и вишенье. В подворотне [illegible] и ящерицы, мокрицы и червяки. Под крыльцом [illegible] стрижи и ласточки, в сарайчике жили кролики и птицы.

Двор [illegible] деревьев и трав, всех [illegible] и [illegible] птиц.

За [illegible] на этом дворе — спал в обнимку с [illegible] на подушках, ел стручки акации, яблоневую завязь, пил теплые куриные яйца, которые находил в лопухах и крапиве. Смазывая зеленкой его цыпки, мама грустно вздыхала и уносила к себе на постель, чтобы хоть ночью овеять теплом своей ласки.

В одно из июльских лет, еще до того, как дядя первый раз взял его на охоту, Митя на целый месяц попал в деревню. Ему запомнились теплые сумерки, высокое бледное небо, розовенькие облачка по горизонту и две пролетные колеи во ржи, разделенные муравчатой бровкой. Он сидит с мамой в телеге; ему очень хорошо с ней, но он пока не ведает всей меры своего счастья, потому что то, что будет у него впереди, окажется еще прекраснее и запомнится на всю жизнь, как лучшее время близости к маме.

«Спать пора, спать пора» — посвистывает во ржи перепел.

И Митя засыпает. Уже темно, когда он открывает глаза, кто-то большой, чужой, загородивший ему [illegible] полнеба, идет, держась за край телеги, и Митя в полусне слышит разговор:

— А ты, парт, откуда будешь-то? — спрашивает [illegible] ница.

— Я-то? Дальний. Это тебе знать не обязательно.

— Ишь запоза! Ну хоть, как звать, скажи, а то идешь, и [illegible] известно, кто ты.

— [illegible] зовут, зовут, а величают [illegible]

— Смотрю, строптив ты, паря.

— Это верно, я гордый.

И оба умолкают. Снова лишь скрип телеги да непре-

...ее, наполнившее весь ночной воздух свирестение ку...

Деревеньку — в один ряд домов, с часовней и кирпич... кладовыми — с трех сторон окружали ржи и пша..., а с четвертой — почирял редкий, но могучий ... и сосновый бор. Тихой музыкой ... ...ался в ветреную ... ...лу его шум; что-то непривычно ... ...ливающее ... Митину душонку было в прилив ... ...ей, а некоей невозмутимости ... ... и почти бе... Он никогда не кричал, не бегал там, ... держался ... к маме, и она спрашивала:

— Боишься?

— Н-нет, — ... ответил он, не понимая, что ... творится с ним.

Он любил бывать в бору только с мамой, чувствуя ... то счастливое ... с ней, ... в ее душистую теплую грудь.

Никогда не забудет он, как ... она его, ... он ... с воза сена, и отчаянно плакала, ощупывая его ... руки, ноги, и он тоже плакал — не от боли и страха, ... жалости к ней, такой неутешно несчастной в эту минуту.

Но если в бор Митя бывал только с мамой, то ... деревня и вся ее округа были открыты ему деревенскими ...ьчишками. Из них он помнил приземистого, кривоногого Толяжку, ловкого во всех играх и удалого во всех ...ческих проделках. Помнил босоногую, рваную, ...ату ребят вдовы Натальи, но все они слились у него в одно курносое сопливое лицо, и только Игнаша — ...ьшой и большеголовий мальчик, спокойный, добрый и ...ра...вый, — выделялся как-то особо. Вот, пожалуй, и все.

В ... Митя вместе с пастухом. Этот маленький коряжик в лаптях и в каких-то словно наречно ра... и грязных лохмотьях удивительно хорошо играл на ... И навсегда в Митином представлении туманный де... ...ки рассвет ... ...ился с этой чистой песней рожка, ... о тростниковой дудочке, заговорившей человеческим голосом, но и пастуший рожок тех мест — вовсе не ... ...ая дудочка. То были места известных влади... ... ...ей, и, боже мой, как же играл этот терпеливый ... ...ей, если в неотразимую ... Митя ... не только сам ... ...ся, ... и сама от поты до поты ...

расцветало утро. В бору кукушка ку-
сколько лет им жить, и ра-
сь со счета, а она все еще про-
тывать годы.

звонким перестуком своих моло-
Блока, веселый кудрявый силач и красавец,
силам. Добродушно
мальчишек за их докучливость, от охотно отгонял их
резу.

сты были утренние звуки в деревне, не
шной, уже привычный для слуха. Вот прогалдели петух,
шлепнулась на влажную землю
ко в саду.

С
и жизнерадостно влетел Мит
мир. Возле мелкого теплого пруда, ко-
Барский двор, росли пышные ги-
от деревни к бору, пе-
ями иван-да-марьи, а вдоль
по золотой полосе лоп-
— по розовой — клевера. Дружно
цветами
ой привычки тащили
букеты луговых цветов.

с удивлением предавались
, обожженной солнцем
от рук, живота, груди, ног
— в
торая, как известно, пуще неволи.

Возле машины с ржавыми зубь-
рубили, кофты,
в пыльном воздухе золотые снопы.

Мите разрешили покрутить ручку машины, но сил его
лей, поднимаясь наутро со сладостной ломотой во всем

И надо же было случиться такому, что именно в эту
пору лета — пору зрелости плодов, самую богатую

шору природы и человека, — на деревню обрушилось бедствие.

Ночью Митю разбудил встревоженный голос хозяйки:

— Оно хоть и далече от нас занялось, а надо вынести.

Мама крепко обняла Митю. За окном бился багровый отсвет, звякал набат, но Митя еще никак не мог связать этот тревожный свет, этот набат, дрожащий шепот хозяйки и оцепенение мамы в одно понятное слово — «пожар», пока мама не спросила:

— Кто горит?

— Наталья. Ох, лишенько! — вздохнула хозяйка.

И тогда Митя понял. Что-то слабенькой птичкой тоненько-тоненько затрепетало, забилось у него в груди, он выбежал вместе с мамой из избы, увидел огромный, разодранный на вершине столб черно-красного пламени и уж не помнил из этой страшной ночи ничего, кроме самой пустяковой подробности: кто-то остервенело мотал створку Толяниного окна, стараясь оторвать ее от рамы.

Утром Наталья сидела на сундуке у россыпи курящихся серым дымом головешек и плакала. К Мите подошел Игнаша.

— Яблочки теперь у нас печеные, — сияя, сообщил он. — Айда в сад!

И они побежали в сад сшибать палками яблоки с высоченной корявой яблони, дочерна обожженной пожаром.

6

К счастью для Мити, его бабушка была грамотной. Он не помнил, чтобы у него были детские книги, и даже Пушкин открылся ему не «Сказкой о рыбаке и рыбке», не «Золотым петушком», не «Семью богатырями», а «Сном Татьяны» да еще, пожалуй, сценой сражения Руслана с Головой. Их он мог слушать бесконечно и сам отыскивал в толстом томе по каким-то едва заметным пятнышкам на страницах. Бабушка читала как будто бы монотонно, но ровный, без повышений и понижений голос ее, правильная русская речь, выговор на какой-то изумительно точной границе между владимирским «о» и московским «а» создавали особую прелесть ее чтений.

Обычно они происходили по вечерам у горящей печки. В доме было несколько печей, и топили их одну за другой, чтобы коротать весь долгий зимний вечер у огня. Митя приносил уже раскрытый том, бабушка надевала очки в

тоненькой серебряной оправе и, по временам задремывая, тихо вязала словцо к словцу в длинную нить рассказа.

Пред ними лес: недвижны сосны
В своей нахмуренной красе;
Отягчены их ветви все
Клоками снега; сквозь вершины
Осин, берез и лип нагих
Сияет луч светил ночи их;
Дороги нет, кусты, стремнины
Метелью все занесены
Глубоко в снег погружены.

В печи с тихим звоном осыпалась груда березовых углей. Морозное окно вспыхивало голубыми искрами, и, когда Митю относили в постель, какие сны витали над ним, заставляя то счастливо улыбаться, то безудержно и горько рыдать?

Всемогущим чародеем этих снов был Гоголь.

«Подымите мне веки: не вижу! — сказал подземным голосом Вий. — И все сонмище чудовищ кинулось поднимать ему веки».

Явь и небыль перемешались в податливом Митином воображении — блеск луны над снеженными крышами с «Ночью перед рождеством», прозрачные весенние сумерки с «Майской ночью», летний базар с «Сорочинской ярмаркой», папоротниковые заросли в лесу с «Иваном Купалой».

И через много книг прошло впоследствии его детство, знал он, конечно, и Робинзона, и Гулливера, и Гаргантюа, и Мюнхаузена, и каждый очаровывал его своей особой доблестью и славой, но никто из них не жил с ним в какой-то почти осязаемой близости, как гоголевские казаки, дивчины и парубки. Когда же спустя несколько лет счастливое провидение занесло в его городок оперную труппу и он увидел на утренних спектаклях «Майской ночи» и «Черевичек» знакомые образы, воплощенные в живых людей, в музыку, в детство, то окончательно уверовал в их реальное существование.

С этой, быть может, не такой уж наивной верой не расстался он и поныне.

7

Последнее Митино лето перед школой прошло среди плотников, конопатчиков, кровельщиков, маляров, отстраивавших во дворе маленький, в две комнаты, флигель.

К тому времени бабушка продала двухэтажный дом, который ей не под силу стало обихаживать, и семья доживала в нем последние дни, дожидаясь завершения постройки флигеля.

Плотники были все из деревни. Они и ночевали прямо тут же, во дворе, кто на куче пакли, кто на стружках, и только их старшóй — низенький, юркий мужичок Михайла — заявил, что будет спать в доме, на русской печи.

— Я, милок, по теплу на всю жизнь еще с войны соскучился. Ежели разобраться, у меня в глубину и на полпальца-то не оттаяло. А уж ноги, ноги! Постучать друг о дружку — зазвенят, как плашки.

Он залезал на печь и, угнездившись там на полушубках, на всяком рунье, долго бормотал, слушали его или нет, о невзгодах гражданской войны, с избытком выпавших на его долю.

Митя не отходил от плотников целыми днями, привлеченный проснувшейся в нем страстью ко всякому инструменту, ко всем этим топорам, пилам, фуганкам, рубанкам, шерхебелям. Топор ему еще не доверяли, фуганок оказался слишком тяжел для него, в работе рубанком недоставало сноровки, зато забористым шерхебелем, который плотники называли шершелкой, он махал без устали, в листик исстругивая всякие дощатые огходы.

Счастливыми были для него ночи, когда мама отпускала его спать к плотникам.

Сложно и крепко пахло в недостроенном флигельке, смешались тут запахи сосновой стружки, потных рубах, махорки; в зияющие проемы окон черным-черна глядела усыпанная звездами ночь, а в кустах, в подзаборных бурьянах что-то копошилось, попискивало, шарахалось.

Плотников, не считая Михайлы, было четверо. Красивый, озорниковатый Валька Хлыстов, распевавший во все горло пахабные песни, но до того не терпевший телесной нечистоты, что три раза в день бегал на речку, мылся там с мылом и стирал свою некогда синюю рубаху, ставшую от частых стирок совершенно белой; Яков Вороженя — многодетный семьянин, говоривший только о своих митьках, зойках, тоньках, федюшках и заблаговременно накупивший им целый мешок гостинцев,— сядет на пол, обнимет мешок ногами, вынет платочек, рубашонку, ботиночки и гладит их, мнет, улыбаясь при этом светло и отрешенно; Глебушка — тихий и от бессловесной тихости своей казавшийся придурковатым подросток, который еще только

обучался плотницкому ремеслу; и, наконец, Роман Тимофеевич. Этому — по мастерству своему, по уму, по бывалости, по честной и справедливой натуре — и быть бы старшим в артели, но он не любил рядиться, относясь вообще ко всему, что касалось денег, с несвойственной мужику брезгливостью. За расчетом пришла из деревни его жена — тугой румяно-смуглой красоты бабонька в шали с кистями и хромовых сапожках,— а он стоял в стороне и криво, через цигарку, усмехался, глядя, как товарищи его муслили ветхие, слежавшиеся в бабушкином комоде бумажки.

Засыпали плотники быстро, но всегда перед тем, как заснуть, успевали перебросяться несколькими словами, чаще всего с туманным для Мити смыслом.

— Нашлялся, кобель? — ворчливо, с укоризной спрашивал Вороженин.— Ведь женился только на покровах, черт поганый.

Похохатывая и сплевывая сквозь зубы, Валька Хлыстов как бы нехотя, но с явным самодовольством отбивался:

— А ты мне, дядя Яков, не тесть, чтобы за... держать. Давай-ка лучше я тебя тоже к одной пристрою — кисель с молоком, за уши не оттащишь.

— Роман Тимофеи-ич! — плачущим голосом взывал Вороженин.— Приструнь ты его, паршивца, он тебя послушает. Ведь тут мальчонка.

— Он спит. Нет, дядя Яков, право,— не унимался Валька. — В шелковом платье ходит. Поглядишь — электрические искры так и брызжут во все стороны. А сама — мешок с арбузами. Ась?

— Отстань, дурак! Роман Тимофеи-ич!

Но иногда начинал говорить сам Роман Тимофеевич, и тогда уже никто не спал, ловя каждое слово его спокойной, гладко обкатанной на многих и разных слушателях речи.

— Илья Муромец, сказано, сиднем сидел тридцать лет и три года. Вот и я до зрелых лет, почитай, не видел свету, окромя как в окошке. В армию меня не взяли по причине плоской стопы, потом привязала к себе бабья юбка, и замечаю я однова дня, что жить мне становится скучно и пресно. Разверну иногда газетку, вижу — Урал, Амур, моря Каспий. Там-сям народ колготится, рушит-строит, я же на жену, хоть в раму ее вставляй, гляжу с утра до ночи. Бледна, думаю. И уехал.

Он был на многих больших стройках страны, отовсюду

упося в памяти не трудности, невзгоды и лишения, а в первую очередь красоту и своеобразие тех мест, примеры людской доброты, бескорыстия и отваги, о которых рассказывал просто, без тени удивления и желания поразить, как о чем-то органически неотъемлемом от жизни.

— Эта работа сейчас мне заместо отдыха, почищу перышки и опять улечу,— говорил он.— Век бы не закрывались мои глазоньки на такую жизнь.

8

В те дни мальчишеской вольницы школа была для Мити всего лишь серым каменным зданием с большими окнами, в которых он видел склоненные над партами ребячьи головы. Никто не постарался внушить ему о школе более того, что там его научат читать, писать, считать и что — боже сохрани от злого провидения! — нужно слушаться учителя.

Фотокарточка тех лет сохранила облик миловидного мальчика с прямой челкой, приоткрытым ртом и вишнеподобными глазами, полными наивного изумления перед шаманством фотографа. Таким Митя переступил порог школы. Выросший почти без сверстников, в одинокой свободе дикого двора, прививался он к школе трудно, не понимая на первых порах даже смысл тех стараний, которых от него требовали и учительница и мама. С недоумением вертел он в руках табель успеваемости за первую четверть года, с недоумением выслушал дома нагоняй за то, что в табеле по всем предметам, включая поведение, были «уды» — что это за бумажка? Чем «уд» хуже других отметок?

Учительница Наталья Георгиевна — немолодая, сухопарая женщина с растрепанным комлем на затылке — называла его рассеянным и в течение всего года гоняла с парты на парту, выбирая место, с которого он не мог бы глядеть в окно. Но хоть краешек из трех огромных окон класса всегда был в поле его зрения, и как только недисциплинированный умишко его хватался за какую-нибудь фразу учительницы, вступала в работу неудержимая, как пружина, фантазия, и он устремлялся взглядом в окно, пока Наталья Георгиевна, отчаявшись вернуть его к действительности окриком, не клала руку ему на плечо.

И все-таки школу он любил. Любил поздний зимний рассвет, когда в синих сумерках повсюду еще горели огни,

скрипел снег под валенками прохожих и сам он брел среди них по заснеженному городскому бульвару с портфельчиком в руках. Любил кафельные полы школьных коридоров, по которым, разбежавшись, можно было катиться, как по льду. Любил высокий светлый класс, всегда пахнувший с утра вымытыми полами, и басовитый голос своей некрасивой, постоянно озабоченной какими-то внешкольными делами Натальи Георгиевны, и спортивный зал с турниками, брусьями, конями, кольцами, и суматоху перемен, и нарочито шумную, драчливую давку у буфета за «французской» булочкой... Какое ликование распирало его, когда он перешел в третий класс, казавшийся ему рубежом между презренной школьной мелкотой и маститыми старшеклассниками! Словно в цветном кино, видится Мите этот весенний день, полный пахучего шелеста тополей, солнца, голубого неба и синих теней на дорожке бульвара. Он в белой рубашке бежит по этим теням, и все в нем кричит миру о несравненном счастье быть третьеклассником.

9

В этом классе дети становились пионерами. Митя не запомнил, какими церемониями сопровождалось это событие, но один зимний день, день его первого пионерского поручения, крепко запал ему в память.

Для макета по некрасовскому «Морозу» звену нужны были елочки: утром он подвязал свои короткие лыжи и еще в сумерках выехал за город. Крупный сосновый лес начинался сразу за окраинными постройками — складами, базами, ледниками — и, занятый под новое кладбище, был как-то особенно холоден и нем в своем зимнем оцепенении. Митя много раз до той поры видел зимнее кладбище, пробегая по нему на лыжах то с товарищами, то с дядей, но теперь, один на один с его холодным безмолвием, замер на месте — маленький человечек в коротком пальто под прямыми, устремленными в стылое небо соснами. Ледяной озноб окатил его с головы до пят, голова наполнилась вибрирующим звоном, он тряхнул ею и, быстро-быстро работая лыжами и палками, заскользил прочь.

День простоял ясный, с желтым солнцем в морозном тумане, с искристым сиянием чистых снегов. Митя заехал далеко, к мелким сыпикам, заполнившим склоны ям, из которых некогда брали глину для кирпичного завода. Летом здесь при каждом звуке, как упругий мячик от стенки

к степке, каталось и прыгало эхо, а сейчас стояла какая-то ватная тишина, и крик сразу же потухал в пушистых шапках снега. Присев на палках, Митя ел замерзший в кармане хлеб. В голом осиннике вертелись и трясли хвостами сороки; был только январь, зимние каникулы, а от осинника уже едва уловимо тянуло горьким запахом коры, и такой разлив солнца затоплял все вокруг, что Митя, памятуя дядины заповеди, думал о том, что пришла весна света. Какое обаяние таилось в одних только этих словах — весна света! И этот горький запах осинника, и темно-зеленые елки в снегу, и туманная даль в игольчатом сверкании изморози — какой сладкой любовью и грустью входили они тогда в Митину душу!

Митя возвращался с елочками под вечер, когда на западе уже сгущалась рдяная мгла, а на востоке, где был город, мигали лучистые огни. Он думал о том, как пройдет через кладбище, не пронижет ли его опять тот железный холод, который и не страх вовсе, а что-то более могущественное и неотвратимое, но в то же время чувствовал, что у него есть какая-то защита — елочки, что ли? весна света? сороки в осиннике?

И ничего, прошел.

10

Весной он тяжело заболел. Жуткие видения и кошмары мучили его в начале болезни. Днем он еще бегал, забивая с мальчишками в лапту, а к вечеру почувствовал сонливость, истомное поламывание в ногах и плечах, прилег на сундук в чуланчике, где обычно спал в теплое время, и сейчас же какая-то громада песочного цвета ослепительно разорвалась над ним и колюче рассыпалась по всему телу. Вернулась со службы мама, потрогала его лоб и заплакала. Потом несколько дней и ночей подряд все сыпались и сыпались на него эти колючие песочные осколки или комната вдруг начинала наполняться жесткими, спутанными, как в матраце, волосами, которые шевелились, взбухали, лезли ему в рот, стараясь задушить.

Лечил его доктор Краснов, приезжавший на больничной лошади в высоком извозчичьем тарантасе. Когда болезнь пошла на спад и Мите было позволено сидеть в подушках, он видел через окно, как подкатывал этот тарантас, как доктор осторожно спускался с него, брал миниатюрный саквояжик и неторопливо, спокойно шел через

двор в аккуратном черном костюме, черном галстуке и черной шляпе — ни дать ни взять старозаветный доктор, имеющий частную практику. Он был лыс, смугл и неулыбчив, а в деле своем добросовестен и педантичен. Прикрыв выпуклые глаза длинными темными веками, он изнурительно долго выстукивал, выслушивал, прощупывал Митю и, слава богу, назначал не более одного лекарства за все время болезни.

Благодаря этому доктору Митя увидел море.

Был уже август, знойный, сухой и ветреный. В Москве, на площади Курского вокзала, катки утюжили дымящийся асфальт; оранжево-желтое небо низко висело над крышами домов; из улиц, как из труб, тянуло горячим пыльным воздухом. Митя впервые попал в Москву и, конечно, не мог не испытать того смятения, которое испытал бы всякий человек, выросший на затравевших улицах маленького городка, вблизи неторопливой речки и стоверстного леса во все четыре стороны. Именно там, в суете и громе большого города, он как-то особенно реально ощутил, что на свете кроме мальчика Мити Ивлева, его мамы, бабушки, дяди, учительницы Натальи Георгиевны живут еще миллионы таких же мальчиков, мам, бабушек, дядей и учительниц и что он никогда не узнает их всех, как они не узнают его. Это смутное ощущение не поддающейся воображению бесконечности было каким-то ранящим и гнетущим. Оно сопровождало Митю всю дорогу в поезде, когда через окно вагона он смотрел на далекие горизонты степей, на поля подсолнечника и кукурузы, на щетку пшеничной степи, на знойную спячку маленьких станций, и еще раз с новой силой охватило, как ледяная вода полыньи, все его существо, когда перед ним вдруг распахнулось море. Это было утром за Туапсе. Он с натугой отодвинул дверь купе, шагнул в коридор и вдруг словно наткнулся на зыбкую стену, сотканную из голубых, зеленых и синих бликов. Поезд стоял. Ветер, пахнущий чем-то незнакомым — резким, гнилостным, тревожным,— трепал почерневшие занавески на окнах; вдыхая его, хотелось расширять ноздри, наполнять им грудь до отказа, до боли. А за окном слышались увесистые удары волн, шуршание гальки, и взгляду — боже мой! — открывался такой беспредельный простор, что в Мите зародилось, крепло и становилось невыносимо потребным желание полета в этом голубом и солнечном пространстве.

11

Когда кончится война... От этой отправной формулы исходили сейчас все мечты людей: от самой немудрой — о возможности поспать вволю, до самой сложной — о человеческом счастье. Среди них жила в Мите мечта когда-нибудь опять лечь на спину в беседке из лоз черного винограда, смотреть, как рубиново просвечивают на солнце его грозди, как пробиваются сквозь чуть шевелящуюся листву радужные лучи света и за ажурным проемом входа далеко-далеко дрожит и льется над морем воздух.

Благословенный совет доктора Краснова и остатки бабушкиных сбережений от продажи старого дома внесли в Митину жизнь дни, которые он и умирая, наверно, вспомнит. По утрам море едва поблескивало лишь у самой кромки берега, а дальше было как чистое выпуклое стекло, незаметно, в мутной дымке, сливаясь с небом. Потом, к полудню, оно закипало зелеными у берега и густо-синими вдаль волнами, кидалось на берег, шипело пеной, шуршало галькой, йодисто пахло водорослями, а вечером уже только лениво и плавно катило длинные волны, красновато вспыхивающие на гребнях и тлеющие во впадинах мрачным фиолетовым светом.

Жил Митя в белом домике на низких сваях, у плотненькой, круглолицей и даже чуть курносенькой грузинки Анечки, похожей на грузинку разве лишь черными, с блеском волосами и огромными, влажными и тоже черными глазами. Был это какой-то вихрь улыбки, звонкого смеха, маленьких ловких рук, развевающихся юбок. Она кормила Митю опаляющим харчо и давала запить его глотком кислого мутного вина.

— Э, — сказала она перепуганной маме,— виноград пьет солнце, мальчик пьет вино, значит, и он пьет солнце. Все будет хорошо. Смотри на моего сына. Разве вино повредило ему?

Ее сын, студент Вахтанг, рослый, боксерского сложения парень с массивным подбородком, молча, застенчиво улыбался. Потешен он был Мите, ну прямо смешон до колик, потому что не знал, что такое коньки. По лицу его блуждала снисходительная, но в то же время смущенная улыбка, когда Митя, дрыгая ногами, катался по топчану в виноградной беседке, и вдруг он сам захохотал, оцерия частые белые зубы, а вслед за ним засмеялась Анечка, по-

ном пришли се девятилетняя дочь Этери и мама, узнали, почему они так неистово хохочут, и все долго смеялись среди этой сухо шелестящей листвы, солнца и ветра.

Под руководством Вахтанга Митя смастерил рыболовную снасть на бычков: длинную леску с грузом и несколькими крючками. Утром Этери влезла на алычу, тряхнула ее, и на Митю посыпался золотой дождь спелых ягод. Они собрали ягоды в его панаму и пошли к морю. На Этери было короткое желтое платьице; юркая, как маленький зверек, она все время забегала вперед, встряхивая тонкими косичками и мелькая босыми пыльными пятками. Солнце выбросило из-за гор широкий веер лучей, но само еще не показалось, и на всей прибрежной долине, змеисто прорезанной мутной и быстрой рекой, лежала синяя тень. Пыль на дороге, словно корочкой, была покрыта налетом матовой росы; холодный воздух струился по ногам, и Митя видел, как на тоненьких икрах Этери собирается гусиная кожа. Навстречу, позванивая колокольцами, брели в упряжках волы, тащившие на рынок арбы с персиками, грушами, помидорами, алычой, баклажанами, перцем. Сухолицые абхазки, до бровей закутанные в толстые темные платки, каменными изваяниями сидели на арбах; мужчины в рубахах под узенький поясок, в обтягивающих ногу сапогах шли, негромко перекликаясь друг с другом и покрикивая на волов.

На берегу Митя размотал, наживил кусочками соленой сельди и забросил в море свою снасть. Этери сразу притихла, села рядом, прижимаясь к нему острым плечиком, и так они сидели у меланхолично поплескивающего моря, пока маленькое в своем зените, зло палящее солнце не прогнало их домой, под тень виноградной беседки. И уж ни олеандры набережных Сухуми, ни пещеры Афона, ни продутые ветром палубы парохода «Чичерин», ни студеная голубизна Рицы не вспоминались ему потом с таким томительно счастливым чувством, как то свежее утро на пыльной дороге к морю и острое плечико Этери.

12

Этими днями, овеянными йодистыми ветрами моря, кончилось его детство. Когда он вернулся домой, друг его, Володя Минский, удивленно вскинул на него свои прекрасные зелено-серые глаза, и Митя сам вдруг заметил, как перерос он Володю за это лето, как окреп и налился ка-

кой-то упругой силой, которая так и струилась в каждом его мускуле.

— Ноги-то, ноги-то! — только и сказал Володя, ощупывая его икры.

Тогда они напропалую увлекались футболом, и крепкие ноги были достоинством и гордостью каждого игрока.

Дружба с Володей была, пожалуй, первым глубоким и прочным чувством Мити после любви к маме. В душе этого мальчика была туго натянута и чисто, нежно звенела поэтическая струнка, резонирующая и в Мите волнующее чувство прекрасного. Митя жил в природе как-то слишком органично для человеческого существа, без острого щемящего наслаждения ею, а Володя был способен заметить и глубоко, с трепетным волнением пережить каждое, большое и малое, ее явление: немеркнущий свет июньской ночи, когда запад, север и восток сливаются по всему горизонту в сплошную лимонно-розовую полосу; черный омут августовского неба, пересеченного фосфорической туманностью Млечного Пути; буйство запахов над вечерним лугом; косой ход пестрого поплавка в зеленую глубь реки... Под его влиянием постепенно и Митя, точно прозрев, вдруг осознал, сколькими радостями он повсеместно и повсечасно окружен, сколько чудесного может открыться вдруг в простом трепетании листа на какой-нибудь махонькой, прутиковой осинке. Даже город, который давно примелькался ему и был для него просто улицами, просто домами, стал видеться и восприниматься совсем по-иному. Они любили побродить по своему городу, особенно весной, когда вечерами под ногой жестко хрустит крупчатый снежок, а днем сверкают и звенят капели. Еще морозно, но по всему чувствуется, что март: уже небо иссиня-синее, уже почки на тополях золотятся, уже потянуло за реку проседки, а по ночам от зари до зари красным углем тлеет Марс. На базаре в это время крепко пахло морозным сеном. Тротуары ослепительно блестели мокрой наледью. Они любили остановиться на пешеходном мосту и смотреть на тяжко громыхающие товарные составы, на суету тонкоголосых маневровых паровозов, на приливы и отливы пассажиров пригородных поездов. Город, строивший тогда новые заводы, властно притягивал к себе людей из окрестных деревень и уже переставал быть тихим уездным городком с заросшими гусиной травой улицами, окружавшийся кольцом рабочих поселков, оттеснил от своих окраин леса, и мещанско-купеческое двухэтажное убожество цент-

ра вламывались кубические сооружения из камня и стекла.

Их мальчишеской мечтой было путешествие вниз по реке на плоту или в лодке; они тщательно выверяли по карте маршрут, копили на «французских» булочках деньги, составляли списки необходимых вещей, и какой упоительной музыкой звучали им тогда слова: топор, палатка, порох, котелок... Осуществлению этой мечты помешала война. Но и так им немало досталось от щедрот российских градов и весей. Пионервожатый Коля Ладушкин — щуплый, очкастый, сам похожий на подростка в своих походных сатиновых шароварчиках и тапочках,— возя их на экскурсии во Владимир, Суздаль, Ростов, Касимов, Муром, распевно читал им над Окой в Карачарове:

Из того ли то из города из Мурома,
Из того села да Карачарова
Выезжал удалецкий дородный добрый молодец.
Он стоял заутреню во Муроме,
А й к обедне поспеть хотел в стольный Киев-град.
Да й подъехал он ко славному городу к Чернигову.
У того ли города Чернигова
Нагнано-то силушки черным-черно,
А и черным-черно, как серна в поле.

Оглядываясь теперь назад, Митя видел, что детство его не прошло даром; оно дало ему ощущение России, укоренило на родине не этнографически, а морально и привязало к ней неистребимой любовью. Все, что есть Россия, будь то шагающая с песней рота красноармейцев, стихи Есенина, мелодия пастушьего рожка, стая галок в осеннем небе, цветущая вишня или рдеющая кистями хваченных первым морозом ягод рябина, соборы Владимира, тополиный пух в небе его городка — все отзывается в нем волнением и каким-то высоким чистым чувством, которое он никак не может даже назвать. Гордость ли это? грусть? любовь? Все, пожалуй, вместе, и все это, пожалуй, можно назвать чувством родины.

13

Начало отрочества давало себя знать смутным душевным и телесным томлением. Приходило оно с ветреным, сырым апрелем, с витыми ручьями по косогорам, с надсадным криком грачей в старых липах. Уже по-другому Митя бывал рассеян на уроках в школе, замыкался в упрямом молчании или грубил на замечания учителей, сам того не желая и терзаясь потом запоздалым раскаянием. Особен-

но мучительны были приступы мизантропии, когда и мама и друзья точно ранили его каждым словом своим, каждым жестом. В такие дни он брал дядино ружье и вместо уроков шел в лес, шатаясь там по мокрому снегу, пока усталость не валила его где-нибудь на обтаявшем косогоре. Обхватив руками колени, уткнувшись в них подбородком, зло смотрел он перед собой на мокрое воронье над падалью, на грязный ноздреватый снег, на длинные лохмы серых облаков. Стараясь обмануть себя, он думал, что виною всему апрель, а сам со стыдом и нечистым томлением в каждой клеточке своего существа настойчиво возвращался мыслями к случаю на реке, когда попал в компанию выпускников, устроивших веселый пикник на лодках, с абрикосовой наливкой и закусками. Его двоюродный брат Саша, редко снисходивший к нему с высот своего старшинства, небрежно бросил:

— Садись, козявка, в лодку. Будешь нам картошку печь.

На берегу, где горячо пахло ивовым сухостоем, луговыми болотцами, мятой, играли в мяч, купались, пили теплую тягучую наливку, Митя выкатывал из костра печеную картошку и кидал ее веселящимся выпускникам, сейчас же начинавшим из-за нее шумную свалку. Потом все пошли на озеро за кувшинками, а Митю оставили сторожить лодки. Осталась и высокая черноволосая девушка с широкими бровями, точно бросавшими тень на все ее смуглое, даже как будто янтарное лицо.

— Смотри, Калерия,— смеясь, сказал брат,— не испорти нам его.

И, погрозив пальцем, скрылся в кустах. Митю точно пришибли его слова, он весь сжался, боясь взглянуть на Калерию, а она подошла к нему сбоку, села рядом, касаясь плеча большой крепкой грудью под трикотажем купальника, сгребла его за волосы на затылке и, улыбаясь одним уголком красиво изогнутых губ, бесстыдно спросила:

— Ну?

Митя был тогда уже рослым, тонким, загорелым в самом начале лета, как головешка, парнем, с очень развитыми греблей плечами, с длинными, тренированными в ходьбе ногами, на которых мускулы свивались, точно канаты, легко переплывал без отдыха в оба конца широкую в тех местах Клязьму, прыгал на водной станции с третьей вышки и вообще ощущал во всем теле четкую слажен-

ность, послушность и легкость. Чувствуя, что он старается высвободить волосы из ее цепких пальцев, Калерия уже нетерпеливо и капризно повторила:

— Да ну же, дурашка!

Он оттолкнул ее обеими руками, вскочил, бросился в воду и саженками поплыл на другую сторону реки.

В те дни апреля Володя Минский, сам того не подозревая, внес новое смятение в его и так уж растревоженную жизнь своим неожиданным вопросом:

— Послушай, ты влюблен в кого-нибудь?

И, не дожидаясь ответа, рассказал, что сам он уже давно, с тех пор как месяца три назад они всем классом были на катке, влюблен в Ниночку Печникову — эту херувимски красивую девочку с игривым прищуром близоруких глаз.

— Нет,— быстро сказал Митя,— я ни в кого не влюблен, ни в кого.

— Чудак! — усмехнулся Володя. — Все наши мальчишки в кого-нибудь влюблены.

Митя почувствовал себя уязвленным и стал судорожно перебирать в памяти девочек своего класса. Так же как воспоминания о Калерии, его волновали и бесовский прищур той же Ниночки Печниковой, и покатые полные плечи Киры Вооруховой, и вывернутые губы Нельки Манизер, которыми она однажды на уроке географии так плотоядно хватала большие черные сливы, что Митю даже замутило от тягостного влечения к ней, но все эти чувства он не хотел назвать любовью. И вдруг вспомнил тот же вечер на катке, в меру морозный, тихий вечер, гирлянды разноцветных лампочек, белую шапочку с помпоном, курчавый парок у надутых в обиде губ, укоризненный взгляд из-под заиндевевших ресниц... «Митя, почему ты всегда убегаешь вперед, я не поспеваю за тобой, дай руку...»

Ну конечно же!

— Ладно,— как будто бы сдаваясь, сказал он Володе. — Лиза Нифонтова.

Этот разговор происходил вечером на улице. Непроглядная темь, густой туман, сырость. Разбухшие огни фонарей висели высоко над землей, не достигая ее своим светом. Митя быстро простился с другом и, оставшись один, вдруг остановился, вконец обессиленный этим смятением всех чувств и мыслей, поднял разгоряченное лицо к туманному небу и громко, с мукой в голосе спросил:

— Когда же это кончится?! Господи, боже мой...

Ночью он не спал. Переворачивая подушку холодной стороной, прижимался к ней щекой, видел фланелевое Лизино платьице, в котором она часто приходила в школу, видел полудетское круглое лицо ее с припухшими, словно после плача, губами, видел белую ниточку пробора на маленькой голове, и странным образом эта Лизина незрачная обыденность оборачивалась для него чем-то трогательным и милым.

Наутро в классе он уже был скован перед Лизой той оболванивающей робостью, которая сопутствует первой влюбленности.

14

Жалкой была эта любовь, хотя и разделенной. Пугливая, застенчивая, таящаяся от глаз людских, она была не радостью, а разладом всех душевных сил. В школе они боялись заговорить друг с другом, Митя незаметно совал Лизе записочки, назначая встречу где-нибудь на окраинной улице. Молча бродили они по городу, держась все тех же темных улиц, не решаясь показаться вместе даже в кино, разобщенные своей робостью и как будто даже враждебные друг другу. Выходили на загородные пустыри; из мглистой темноты полей и дальних перелесков валил тяжелый, пахнущий талым снегом ветер, в клочковатых, стремительно летящих тучах нырял новорожденный месяц, и как-то дико, запустело шуршала прошлогодняя полынь.

— Ох, как тяжело! — сказала однажды Лиза.— Может быть, нам не встречаться?

И этими словами вдруг выразила и Митину подспудную надежду на какой-то исход всей этой неразберихи чувств, в которой они барахтались, словно в трясине. Впервые тогда он поцеловал Лизу, исполненный благодарности и нежности к ней за то, что она несла с ним одну тяжесть и сумела сказать за них обоих хоть какие-то слова ободрения и надежды.

В мае начались экзамены. Митя стал приходить в маленький, уже заметно скособочившийся домишко, где Лиза жила с теткой — учительницей музыки, миловидной, рано состарившейся женщиной, которую он мысленно прозвал одуванчиком за мягкую, грустную и добрую улыбку, никогда не сходившую с ее запавших губ. Во дворике с густым запущенным вишенником вдоль забора, за столиком, врытым в землю, он растолковывал Лизе доказательства геометрических теорем, неприятно убеждаясь в ее непонят-

ливости. Когда была сдана геометрия и Лиза перестала нуждаться в его помощи, он поймал себя на том, что был рад предлогу реже встречаться с ней, потом уехал с Володей и Колей Ладушкиным в Ростов и там, на сверкающих просторах озера Неро среди возвеличивающегося ансамбля кремлевских соборов, почувствовал себя раскрепощенным от всех томивших его недоразумений, с каким-то волнением первооткрывателя вдруг поняв, как бесценна и прекрасна молодость, как преисполнена она должна быть здоровьем, радостью и душевной ясностью. Нет, никогда больше не повернет он громко клацкавшее кольцо калитки и не войдет в тот игрушечный дворик, само существование которого показалось ему теперь неправдоподобным: «А был ли дворик-то? Может, дворика-то и не было?..»

Но эта безмятежная ясность владела им недолго. Вернувшись домой, он через несколько дней встретил Лизу на улице.

— Ты приехал! — обрадовалась она.— А я одна... Понимаешь, тетя уехала в дом отдыха. Не отдыхать, а работать. На все лето. Она каждое лето уезжает. Понимаешь, там танцы, самодеятельность. Я тоже уеду, если у нее будет отдельная комната. А сейчас я совсем одна. Ты заходи, пожалуйста.

Митя был обескуражен. Он думал, что Лиза будет рада развязке их отношений, но ее счастливое смущение при встрече, торопливость слов, ласкающий и просящий взгляд — все говорило о том, что она вопреки всему любит глубоко и прочно. Не найдя в себе сил сказать правду, он пообещал прийти к ней и не пришел. Готовясь в те дни к путешествию по реке, он покупал в магазине рыболовные снасти, яростно торговался со знакомым бакенщиком из-за лодки, еще и еще раз составлял с Володей списки необходимых вещей, а в сердце среди этих милых забот то и дело тупой занозой входила жалость к Лизе.

И только большая беда тех дней постепенно отрешила его от всего, что считал он доселе важным и трагически неразрешимым в своей жизни.

15

С утра этот день был прохладным и тихим, с мелкой росой на капустной рассаде в огородах, через которые Митя бежал к реке. Огороды были матово-серебряные, с прочерньем. Митя бежал, размахивая полотенцем, легко, упруго, и что-то ликующе пело в нем без слов, так, должно

быть, поется по весне у поднебесного жаворонка. Песок на пляже по утрам бывал холоден, а вода в реке слишком тепла, чтобы освежить, и Митя предпочитал купаться на Ключах — полукруглой заводи, песчаное дно которой, видное на большой глубине, шевелилось и кипело маленькими фонтанчиками, словно жидкая каша. Как ожигала ледяная вода Ключей! Какой приятный холодок исходил после в течение всего дня из каждой поры, судорожной дрожью пробегая по спине! Когда Митя, выкупавшись, шел потом в ремесленное училище, где знакомые ребята выковали ему новые уключины для весел, то чувствовал именно эту игольчатую прохладу во всем теле и пошевеливал плечами, чтобы ощутить приятное прикосновение к ним свежей рубашки. А в училище, в длинном, с серым бетонным полом коридоре уже толпились у радиорепродуктора преподаватели, ученики, мастера, повара из столовой, и физрук — широкогрудый парень в футболке, — махнув рукой, сказал:

— Ведь только на финской отвоевал — и снова!

Войну Митя и его товарищи восприняли с бодрящим легкомыслием, верили, что к осени все должно кончиться, что несокрушимая Красная Армия, о которой они знали столько хороших песен, в два счета расколотит каких-то там немцев. У них даже возникла тревога: успеют ли они приложить свои силенки к общему делу победы над врагом. Ходили слухи о каких-то спецшколах, куда принимают ребят с семилетним образованием и готовят из них летчиков. Они написали запрос в «Комсомольскую правду» и вскоре получили из редакции совет обратиться в местный военкомат. Там их принял военком с полкольодческой фамилией Суворов — громадный полный молодой капитан, осовело моргавший налитыми кровью глазами. Он, видимо, мало спал в эти дни. В кабинетах и коридорах военкомата, на широком дворе, где уже была вытоптана вся трава, ходили, сидели, лежали люди с вещевыми мешками, в телогрейках, старых гимнастерках, мятых пиджаках. Сразу несколько гармоней пьяной дурью орали на дворе, и в жарком воздухе над ним колыхались серые полосы табачного дыма.

— Какие еще школы! — поморщился военком, сжимая лоб пальцами правой руки.— Куда торопитесь? С какого года? Ну вот! — нервно хохотнул он.— В конце сорок второго пройдете приписку, а в начале сорок третьего проложу вас на фронт.

Мальчики все разом загудели что-то ломкими голосами.

— Да идите вы к черту,— не крикнул, а как-то очень проникновенно попросил он.— Ведь там война, там стреляют, понимаете? Вот на эдакий манер.

Он встал — дегтя под матицу,— судорожно повел шеей в стороны, и левая рука его маятником закачалась, словно подвешенная за петлю на крючке. Он подхватил ее правой и протянул вперед — грубый протез из черной кожи, уже вытертой до белизны на кончиках пальцев.

— Пока я здесь,— ворчливо сказал он, бросив эту страшную руку,— ни один доброволец из сопливых не просочится через меня туда. Каждому овощу свое время.

Сорок третий! Незримо, военком знал, видел и понимал больше них, и все-таки к его словам Митя отнесся недоверчиво. А между тем эти слова ежедневно находили подтверждение во всех больших и малых событиях тогдашней жизни. Немцы стремительно катились в глубь России, город падал за городом, школу заняли под госпиталь, в садах, огородах и дворах по приказу штаба МПВО жители городка, от которого в любую сторону скачи — ни до какой границы не доскачешь, рыли щели, спиливая для перекрытий двадцатилетние яблони. А потом первая — не учебная — тревога. Надсадный вой сирен, рев заводских и паровозных гудков. Хлопанье зениток, трескотня пулеметов, гороховая россыпь снарядных осколков по железным крышам. А в светлом небе июльской ночи — крестообразные силуэты медлительных, даже как-то пренебрежительно к этой наземной шумихе медлительных бомбовозов, идущих на бомбежку Горького.

16

В эти дни неожиданно появился отец. Митя нес два ведра воды и увидел, что возле калитки стоит и смотрит на него туго, щеголевато затянутый в ремни военный с каким-то странным, похожим на скрипичный футляр, предметом в руках. Только подойдя ближе, Митя понял, что это был жесткий чехол для охотничьего ружья.

— С полными ведрами меня встречаешь — хорошо! — сказал отец, по обыкновению своему не здороваясь.— Я на час. Кто дома? Мать? Теща? А ты вырос, малыш.

Он был все так же, как и раньше, по-южному загорел, ослепительно белозуб, но уже густо сед на висках и чуть полноват в талии. Мама работала тогда операционной сестрой в хирургическом отделении городской больницы, превращенной, по сути дела, в госпиталь, и редко бывала до-

ма, ночуя в ординаторской комнате. Митя сказал об этом отцу. Тут подал ему ружье, цепко взял за плечо длинными пальцами и заглянул в глаза.

— Возьми на память. Штучное, бельгийское. Бил я из него косуль, фазанов, дроф, джейранов, кабаргу и даже снежных барсов... Ну, да не в этом дело. Я сейчас схожу попрощаться с матерью, а потом ты проводишь меня.

Его эшелон стоял далеко от вокзала, среди грязных, масляно поблескивающих цистерн, платформ с углем, лесом, дощатыми ящиками, станками, прикрытыми брезентом, контейнерами и даже мостовыми фермами. Митя и отец сели наверху, на краю крутого песчаного откоса. Отец снял пилотку и натянул ее на согнутое колено. Митя чувствовал себя неловко с ним, не зная, о чем говорить, что делать. Ему казалось, что отец испытывает такую же неловкость и нетерпеливо ждет снизу сигнала к отправке, но он вдруг заговорил со спокойной прямотой и твердостью человека, свободного от всяких условностей.

— Ты, может быть, осуждаешь меня, хотя мне на это решительно наплевать, малыш,— усмехнулся он.— Я скажу тебе кое-что, но не в п[illegible]ание, а для того, чтобы ты воспринял, если сумеешь, некоторые полезные, на мой взгляд, истины. Одной из миссий Иисуса Христа на земле было разрушение семьи.— (Он опять усмехнулся.— «Я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее. И враги человека — домашние его». В этом есть своя изюминка. Мы с твоей матерью поженились очень молодыми, не зная как следует не только друг друга, но и самих себя. Я оказался человеком неоседлым и от одного вида фикуса в углу покрывался нервной экземой. Первое время мать моталась со мной, но, может быть, есть не более трех десятков женщин на весь мир, которые не мечтали бы о «своем гнезде», как они это называют. А мать как раз из дюжинных свивальщиц гнезд. И я ушел от нее, ушел от тебя. Возможно, мои убеждения покажутся тебе крамольными и циничными, но я уверен, что семья аморальна, потому что в своем историческом развитии всецело подчиняется законам экономики, а чувство играет при этом второстепенную роль. К тому же оно стихийно, малыш, у него нет законов... Останься я в семье, и это было бы фальшивое сожительство людей, мелочно терзающих друг друга.

Он надел пилотку, поднялся — высокий и все еще стройный, несмотря на свою полноту, этот совсем не знако-

мый Мите подполковник, в щеголеватой форме, и, глядя прямо ему в глаза, сказал:

— У меня нет к тебе отцовских чувств. И ты тоже, наверно, не будешь очень горевать, если меня убьют. Поэтому прощаемся без мелодрам. Живи, малыш!

Он стиснул Митину руку повыше локтя и большими прыжками стал спускаться вниз по осыпающемуся откосу.

17

Встреча с отцом возбудила в Мите острое любопытство к людям. Не суть рассуждений отца, проникнуть в которую Митя еще не мог по своей незрелости, смутила его, а то обстоятельство, что отец оказался человеком с особым, неповторимым складом характера и образа мыслей. В минуту какого-то озарения Митя вдруг увидел, как разнообразны люди, живущие вокруг него,— мама, бабушка, дядя, классный руководитель Обаюдов, по прозвищу Фюзис,— как неповторим их внутренний мир, неисповедимы судьбы, непостижимы тайные мысли. До той минуты он жил в Природе, теперь же с трепетом перед новой загадкой жизни, с острой жаждой нового познания заглянул в Лицо Человеческое. Он прямо-таки заболел какой-то неотвязчивой наблюдательностью, и даже самые близкие люди с недоумением замечали на себе его пристальный и чуть удивленный взгляд, словно он видел их впервые. А он, во многом еще не разбираясь, многое не умея объяснить себе, накапливал в памяти встречи, случаи, фразы, лица...

Как-то вечером с мамой пришел хирург Радимов — очень худой, желтолицый, с отвисшим левым веком старик — и, пока мама готовила ужин, заснул в кресле, уткнувшись подбородком в грудь. Во сне он стонал и вздрагивал, а когда Митя подошел к нему, чтобы разбудить, то увидел, что со щеточки его прозеленевших от никотина усов капают на пиджак слезы. Митя не разбудил его, стоял и смотрел, пока старик не проснулся сам, вытер слезы вздрагивающими пальцами и очень просто, не конфузясь, сказал:

— Старею, близко слеза стала... Приснился узбек, что лежит у нас в коридоре, на моей «большой дороге». Каждый раз, как прохожу мимо, норовит схватить за полу халата и бормочет: «Спасибо, браток, хорошо работаешь! Зачем пешком ходишь — бегать надо! Правильно бегаешь, браток!» Браток... Смешно, право.

Запомнил Митя утро после случайной беспорядочной

бомбежки города с самолетов, рассеянных под Горьким. Он прибежал в больницу сказать маме, что с ним, бабушкой и дядей ничего не случилось. На больничном дворе в рябинах содомно кинели дрозды, пахло липовым цветом, яркие скользящие тени пятнали белые стены корпусов. На деревянном крыльце хирургического отделения сидел парень лет шестнадцати в чалме из бинтов и, явно польщенный вниманием сгрудившихся вокруг него больных, рассказывал, коверкая в зубах мундштук дорогой папиросы:

— С вечерней смены мы с отцом пришли голодущие, и только по первой ложке хлебнули — загудело. Мать всполошилась, подалась в щель, а мы сидим, в мисках скребем. Отец говорит: «Это, знай, как всегда, учебная. Давай, Илюха, дверь на ключ, а то не ровен час уличком придет, загонит в щель». И вдруг шибануло где-то в отдалении эдак громовито, а потом ближе, да еще раз, да еще... Тут у нас стекла — вон, и меня по голове чем-то урвало. С непривычки я сознания лишился на короткий миг, а очнулся — не верю, что жив. Фасадная стена начисто снесена, и всю нашу жизнь в разрезе с улицы видно. Театр!

— Бывает же так! — восхищенно сказал невысокий вертлявый человек в очках. Подняв загипсованную ногу, он суетливо попрыгал на своих костылях и быстрым движением обоих рук подбрасывал очки, съезжавшие ему на кончик носа.

Парень выплюнул пожеванную папиросу. Смех так и распирал его.

— Бывает. Можете сходить на Вторую Заречную и посмотреть на этот театр. Декорации немного попорчены, зато бесплатно. Эх, Сенька! — хлопнул он себя по коленям.— Чуть-чуть не пришлось зарывать тебя в земной шар! — И, уже не сдерживаясь, захохотал весело, раскатисто, сверкая золотым зубом.

Человек в очках, поскорбев и кланяясь, допрыгал до качалки, в которой глубоко сидела красивая женщина с удлиненными к вискам глазами.

— Вот ведь досадно! — возбужденно заговорил он.— Это непостижимо! В нашем захолустье — и вдруг такие события! Никогда не предполагал!

— Не понимаю, чему вы рады,— поморщилась женщина и, поправив на коленях разъехавшиеся полы халата, отпихнула голову на спинку качалки.

— Я не радуюсь, помилуйте! — обиделся человек на костылях.— Я просто сказал, что с трудом могу предста-

вить наш город... ну-у, так сказать, в водовороте... и тому подобное. Если хотите, я даже горжусь... Правда, уж лучше бы все произошло не в такой драматической форме, но тем не менее.

— Все вы воспринимаете как-то навыворот,— рассердилась женщина.— Видели тяжелораненых? Хотя бы эту женщину с раздавленной грудью? К ней сегодня приходили дети — два мальчика. Одному лет четырнадцать, другому не больше трех. Я видела, как эта кроха просила няню передать матери подарок — пачку станиолевых оберток от конфет... Ее уже перевели в изолятор.

Резким движением поднявшись на ноги, она быстро пошла по хрустящему гравию дорожки, держа стиснутые кулаки в карманах халата. Ш[illegible] раскачивалась качалка. Человек на кост[illegible] провел се рукой, потом снял очки и, протирая [illegible] негромко сказал вслед уходящей женщине:

— Да, да, к[illegible]... Мария Николаевна.

Запомнились Мите ее [illegible]а — удлиненные египетские глаза с маслянисто темными [illegible]ами. Была она уже немолода, но глаза так и пере[illegible]лись мокрыми смородинами и очень не вя[illegible]лись с [illegible]авшим се голову серым пуховым платком, таким [illegible] над светлым взглядом северных женщин.

Каждое мимолетное впечатление волновало Митю тогда и этим волнением, этим движением души прочно укреплялось в памяти. Он ходил по улицам, приглядываясь к лицам, одежде, походке людей, ловил их слова, обрывки фраз. Вот кто-то, укрытый воротником, шарфом, шапкой, сказал на ходу другому, мелко семенящему рядом с ним: «Ведь я какое сознание тебе даю? Умственное. Чтобы ты отца слушал. А ты все поровнишь поперечь делать». Прошли еще двое, прихлебывая в легких ботиночках, громко хохоча: «Ни одной пластинки не осталось: все фокстроты в деревне на картошку обменяли». Вспыхнула в тумане, как глаз циклопа, фара автомобиля, окруженная радужным ореолом, и тут же погасла; от локонов по плечам, от пуховой шапочки набекрень наволокло тонким, неожиданным на морозе запахом гвоздики; с какой-то бесшабашной непоследовательностью вдруг вспомнилось, как мама сказала: «Когда кончится война, первым делом сдеру маскировку и вымою окна». И все это, каждая мелкая подробность мгновенно сливалась в Мите вспышкой острого ощущения жизни, обтекающей его со всех сторон. Каждый

день приносил с собой какую-нибудь памятную встречу. Запомнился ему ветхий старичок в переполненном вагоне рабочего поезда; помаргивая слезящимися глазами, он жаловался на свое деревенское одиночество, на пустой сенник, на худую крышу, на власть, забравшую всех сыновей в армию, и выходило, по его словам, так, что впереди у него одна ограда — погост. Сидел он шестым на лавочке, плотно стиснутый замасленными плечами рабочих, в черной косовороточке, в нанковом полосатом пиджачке и, казалось, совсем не занимал места — такой сухонький и тихий.

— Не ной, дед! Повернется и твоя жизнь на светлую сторону,— сиплым басом сказала из угла мощная деваха, у которой на груди едва сходилась кофта, угрожающе натягивая петлями пуговицы.

— Да я разве отрекаюсь от хорошей жизни! — встрепенулся старичок.— Как набились в вагон — стояли, теперь вот сели, а потом и лечь можно будет. Так оно и в жизни двигается. Вот только бы войну избыть.

На всем лежала печать войны. Нигде такой яркий, шумный, веселый базар расцвел, как в громкую барахолку, где ни во что ставились деньги и приобретали значение валюты хлеб, соль, мыло, спички, спирт. В порте по темным аллеям угрюмо волочилось урезанное комендантским часом гулянье. Вокзал пропах карболкой, махоркой, заношенной одеждой и прелой обувью. На городской бульвар в теплые осенние дни выходил Юрочка Дубов — юноша с нежным девичьим лицом, с глубокими, точно темные колодцы, глазами. На нем была ладно пригнанная по его фигуре молодого античного бога шинель, маленькая пилоточка и зеркально начищенный сапог на единственной ноге; костылики черт знает из какого совершенно невесомого дерева заворачивали изяществом работы. Этот скромный, застенчивый, умный красавец был, однако, злом Мининого, да и не только его одного, детства. Матери всего города корили своих детей Юрочкиными достоинствами: «Посмотри, оболтус, на Юрочку Дубова, а ты?» — и тем невольно восстанавливали их против Юрочкиной непогрешимости. На бульваре он выбирал лавочку поукромней, садился и, прикрыв мохнатыми ресницами глаза, подставлял лицо солнцу. Иногда к нему подсаживался кто-нибудь из знакомых. Однажды Миня слышал, как Юрочка, застенчиво улыбаясь, оттого, очевидно, что ему приходится рассказывать о себе, и с недоумением разглядывая длинные узкие кисти своих рук, говорил:

— Как-то на прогулке с няней я нечаянно убил камнем цыпленка и заплакал. Меня не могли утешить до вечера, пока я не заснул. Таким, в сущности, и на фронт попал. Ночью пошли в разведку, проникли в немецкий блиндаж и спокойно, без шума, вырезали восемь спящих солдат. Я сам заколол двоих. Но при выходе немножко подшумели, попали под обстрел. Меня слегка задело, я упал, а немецкий офицер стрелял сверху из вальтера. Странно, когда он попадал в грудь, я почти не чувствовал боли и крутился, как вьюн на сковородке, а когда раздробил коленный сустав, боль прихлопнула меня, точно пресс. Раз! — и нет Юрия Дубова. И теперь я весь какой-то другой, точно заново родился, точно прежнее мое духовное наполнение вылилось вместе с кровью, и теперь постепенно накапливается иное — и все.

18

Да, война по-новому раскрывала людей. Классный руководитель Фюзис любил держать школярскую душу в трепете, на уроке был едок, саркастичен и часто говорил про себя: «Я жестоко мудрый». Ученики знали, что он пил, и если видели его в несвежей рубашке, небритым, в перекрученном, как веревка, галстуке, то ликовали: урок будет посвящен «байкам» из жизни великих ученых и всякой занимательной математике, не имеющей никакого отношения к учебной программе. Но когда Фюзис появлялся отутюженным, выбритым до синей матовости на щеках, когда от самой двери ловко швырял на учительский стол свой тяжелый портфель и, перелистывая классный журнал, прокурорски смотрел на учеников поверх очков, сердца их начинали биться где-то в горле, а на лицах застывали натянутые улыбки пойманных с поличным мошенников. Его боялись и не любили.

Но однажды Митя видел его через классное окно на улице шагающим по весенней распутице в порыжевшем пальто, чешком свисавшем с его острых плеч, в разбухших от сырости ботинках; обхватив обеими руками, как ребенка, свой раздутый портфель, он нес ученикам пятидесятиграммовые булочки, которые им давали тогда на большой перемене, нес через весь город в окраинную школу, куда был заброшен их класс.

В другой раз он сидел перед классом, весь как-то опустившись на стуле, сощурясь и повернув голову, смотрел в окно и тихо говорил как бы сам с собой:

— Всегда у нас между учителем и учениками лежит некая полоса отчуждения. А это плохо, жесткий мужичок. Вчера провожали наших десятиклассников. И когда запели «Интернационал», мы все встали — и ученики, и учителя, и сопровождающие командиры. Вот так же и перед жизнью, как перед гимном, мы все должны быть едины. Какой только к этому путь, жесткий мужичок?

Летом он вместе с учениками работал в колхозе. Когда они шли в деревню, поднимаясь к ней от светлой речушки на пологий взволок, несколько встречных женщин с молочными четвертями в корзинах остановились и умиленно, грустно смотрели на них, а одна сказала:

— Ребята-то какие хорошие! И как только их оставили?

— На семена, тетка, на семена! — ответил весь просиявший гордостью Фюзис.

В колхозе под жилье им отвели сарай, набитый сеном; на ночь дверь не закрывали, потому что комары все равно лезли в бесчисленные щели; полная луна выглядывала под голубым светом; в бурьянах у плетня сдавленно хихикали деревенские девчонки и кидали в открытую дверь камешки.

— Бесстыдницы, русалки халды! — ворчал Фюзис, пряча голову под одеяло, потом выскакивал из сарая и кричал в шевелящийся бурьян — Отставить безобразие! Понимать надо, что мальчики весь день работали и должны отдыхать. Я жаловаться буду!

Мальчики корчились на сене в приступе неудержимого хохота.

19

Солнечные морозы стояли в ту зиму первых подмосковных побед. Часто вспоминал Митя сухонького старичка в вагоне, замечая, как изменилась жизнь города: размашистей стала походка людей, повеселее их стали, оживленнее разговоры в очередях за газетами. Митя и сам ходил, как-то подпрыгивая от радостного возбуждения и ожидания больших перемен на фронте, которые непременно, казалось ему, должны были произойти к будущему лету. Откуда появилась эта общая уверенность в скорой победе, когда Ростов, Харьков, Орел, Смоленск, Старая Русса и Новгород были нашим тылом, Митя и теперь не мог понять, а тогда, прощаясь по вечерам с Володей, они говорили друг другу: «До лета, старина!» Нетерпелив и легковерен человек в ожидании счастья...

Из школы Митя часто заходил в подшефный школьной комсомольской организации госпиталь. Там у него завязалась дружба с майором Куликовым, которому он приносил из библиотеки книги, всегда удивляясь их странному подбору. Майор заказывал одновременно толстовских «Казаков», «Рубиновую брошь» Немировича-Данченко, стихи Блока, «О войне» Клаузевица и читал все это вперемежку, с любой страницы, а однажды попросил принести бабушкину библию. До войны он был секретарем райкома партий, осенью с отрядом парашютистов выбросился в немецком тылу на помощь развертывающемуся партизанскому движению, был тяжело ранен и переправлен на Большую землю. Он рассказывал обо всем Мите как-то небрежно, мимоходом, словно речь шла о приятной прогулке за город, а не о прыжке с самолета в неизвестность, в ничто, а Митя, оглядывая его коротко остриженную голову, крепкую шею, толстые мускулистые руки, лицо с резкими складками от крыльев носа до подбородка, думал с чувством восхищенного удивления, что ведь именно он, вот этот живой человек, качался на стропах парашюта в кромешной тьме осенней ночи.

Однажды, поправив Мите жгут, маленькая, горбатая, с угловатыми чертами лица, как у всех горбатых, нянечка сказала:

— А у нас концерт, артисты пошли.

И наверху в этот же миг, точно обвал, загрохотали аплодисменты. По выбитым гранитным ступеням Митя взбежал на второй этаж, в палатку, где лежал майор Куликов.

— Митя пришел! — радостно встретил его майор и высоко подбросил подушку. — А я тебя жду. Поедем скорей на концерт.

Митя помог ему перебраться в каталку и повез в зал, который все еще гремел и буйствовал: хлопали в ладоши, стучали об пол костылями, кричали, свистели. Круглоголовый парень с красным вспотевшим лицом повернулся к Мите и Куликову: «Ведь незатейливо поет, котенок, а так... ведь вот так, а!» — он ковырнул большим пальцем грудь и, весь опять устремившись к сцене, завопил:

— Еще! Браво! Спасибо!

На сцене стояла девушка с высокой соломенной прической, в синем бархате, открывавшем ее худенькие плечи, и, кланяясь, улыбаясь, целовала свои кулачки, горстями рассылая в зал воздушные поцелуи, потом, обернувшись к аккомпаниатору, поощрительным жестом руки заставила

его встать и поклониться. Тот — худой, длинный, с белой клочковатой шевелюрой — переломился в пояснице, клацая роялю, и снова сел, обреченно положив на клавиши сухие кисти рук.

— Ее без пения, просто так можно со сцены показывать — хороша.— восхищенно сказал Куликов.— Однажды я вот так влюбился из двадцать шестого ряда партера в актрису...

Он тоже стал звучно и редко хлопать в ладоши, а Митя помимо своей воли вдруг надулся какой-то глупой, самодовольной гордостью, потому что знал эту девушку — выпускницу их школы, первую и единственную любовь брата Саши: «У Азки гипертрофированное желание нравиться,— говорил как-то Саша в минуту откровенности,— и ей дано сполна, чтобы повсечасно удовлетворять его. Но все-таки красоту не назовешь счастьем. Счастье, братишка,— область духовного». Саши уже не было в живых, и, может быть, теперь Аза Павловна — дитя человеческое редкой, ошеломляющей красоты — переживала большое горе, но Митя не думал об этом. Как-то довелось ему слышать разговорчик. «У вас в городе и театра-то, кажется, нет»,— пренебрежительно сказал один, другой обиделся за свой город и, надувшись, возразил: «Ну как же! Конечно, есть». Что-то сродни этой чепухе, милой и гордые чувствовал и Митя, стараясь обратить на себя внимание Азы, когда раненые окружили ее после концерта, не давая пройти к раздевалке.

— Митя! Митенька!— закричала она, наконец, вытягиваясь на носочках, и махая ему рукой над головами обступивших ее.

И он с удовольствием накинул ей на плечи невесомую беличью шубку, взял сверток с туфлями и вывел под руку в морозный туман вечера.

Сквозь этот сиреневый в свете догоравшего заката туман неясно вырисовывались контуры заснеженных зданий, фонарные столбы, заиндевевшие деревья. Визжал под ногами прохожих утоптанный на тротуарах снег.

— Ну как я выглядела из зала? — спросила Аза.

— Чудесно, Азик! Чудо! — с искренним восхищением воскликнул Митя.

— Ах, как хорошо, что ты оказался там! — сказала она.— Если бы не ты, за мной увязался бы комендант госпиталя, этот... с косыми бачками... Видел? В подъезде полез бы целоваться. Ох, Митенька, нелегко быть красивой.

Иногда, если на меня только смотрят сальными глазками, мне уже хочется принять ванну. Тебе этого не понять, это надо кожей почувствовать. А я, Митенька, уважаю свою красоту. Я вот часто раздеюсь донага и смотрю на себя в зеркало — любуюсь и удивляюсь, как это могло такое получиться. Ты говоришь — чудо. Право же, чудо какое-то... Самой не верится...

Митю смущали ее слова и волновали откровенностью, рассчитанной уже не на мальчика, а на мужчину, сознавать себя которым было приятно ему и лестно для его самолюбия.

Дома, сняв пальто, он долго стоял под вешалкой, растерянно улыбался и нюхал свою ладонь, сохранившую запах духов и холодного беличьего меха.

20

Теперь он просыпался по утрам с мыслью о том, что в его жизни, несмотря на войну, есть много огромному счастью, что вот это узорчатое окно, этот крутой морозный пар из открытой форточки, эти солнечные пятна на полу — все несказанное счастье и радость. Он вдруг стал легко, с уверенностью в своих силах учиться, много смеялся, часто пение с собой начинал петь и с какой-то дотоле незнакомой самому себе нежностью относился к товарищам по школе, точно добрый взрослый человек к милым малышам.

Ему хотелось движения, постоянного ощущения упругости и силы своих мышц. Почти каждый день он уходил на лыжах в лес. Ему был приятна тяжесть ружья на плече, приятно прикосновение холодной рубчатой шейки приклада к ладони, приятен запах порохового дыма из ствола. Выстрел не гремел в завалённом снегом лесу — хлопал глухо и вяло,— и голубовато-бурая тушка белки медленно катилась по еловым лапам в облаке сухого, колючего вспыхивающего мелкими искрами снега. Под выходной день он иногда оставался ночевать в первой попавшейся деревне, в какой-нибудь Погорелке, Говядихе, Селянинке, одно название которой уже волновало его своей русской исконностью, свободно входил в незнакомую избу, давая наперед, что скажутся сами собой у него слова, отзывающиеся доверием и приветом. А сон в душном тепле полатей или русской печи после долгой ходьбы по рыхлому снегу, после железного мороза, стягивающего кожу на ли-

не! А вздох какого-нибудь деда в кромешной предутренней темноте: «Ох-хо-хо, да будет ли конец-то зиме этой треклятой...» Еще в сумерках Митя покидал гостеприимную избу, вставал на лыжи и, оглядываясь на вертикальные дымки деревни, предвещавшие сухую морозную ясность, опять уходил в леса. Днем там без конца можно было любоваться превращениями солнечного света, то густо синеющего на затененном слями снегу, то оранжево и желто вспыхивающего на открытых полянах, то фиолетово и серо сочащегося сквозь чистый березняк. И где бы он ни был, что бы ни делал — во всем и всюду ему хотелось присутствия и участия Азы, на все вокруг смотрел он глазами их двоих, и какой же счастливой тоской по ее лицу, голосу, улыбке томили его эти дни! Так навсегда и соединилась для него Аза со свежестью зимних лесов, их заколдованной тишиной и блистанием чистых снегов. Но тогда же памятью брата Саши поклялся он ни словом, ни намеком не выдать ей своего чувства. И странно, это подвижническое молчание не доставляло ему никаких мучений; напротив, он был радостно убежден в том, что делает для Азы что-то правильное и нужное.

В тот вечер после концерта в госпитале она просила заходить к ней.

— Ты всегда был славный мальчуган,— сказала она.— Помнишь, мы приходили с Сашей посидеть вечером у вас в дворе, и ты отпирал нам калитку, потом выносил мне чай в большом деревянном ковше и говорил, что он сделан в каком-то там веке...

Голос у нее не дрожал, был как-то отчетливо звонок, но М. я вдруг почувствовал, что она плачет. Уронив сверток с туфлями, он сжал ладонями ее горячие от слез щеки и с пронзительным чувством жалости и нежности к ней стал целовать в глаза, лепеча какие-то бессвязные слова утешения

Он редко заходил к ней, в глубине души не веря, что может быть чем-то интересен этой красавице, живущей, как ему казалось, какой-то особенной, нездешней, недоступной для него жизнью. Эта иллюзорная жизнь представлялась ему полной света, музыки, радостного смеха, вихрей танцев и как-то заслоняла от него ее подлинную жизнь, в которой она ходила на работу, уставала, недосыпала, недоедала и вообще-то была, как и все другие девушки, которых он встречал по утрам бегущими с поднятыми воротничками давно подбившихся пальтишек к заводским

воротам. Но как-то ее мать, Валентина Васильевна, сказала ему:

— Вы, Митя, почаще приходите к нам. Только вам Аза и рада, а без вас все одна и одна, даже подруг от дома отвадила.

И он вдруг увидел, что никакой этой выдуманной им жизни у Азы нет, что даже, наоборот, его, Митина, жизнь чем-то привлекает ее, и она с вниманием слушает рассказы о древних городах, в которых он побывал, об окрестных озерах и реках, об охоте и рыбалках. Обычно, вернувшись с завода, где теперь работали по двенадцать часов, она садилась на широкий, под ярким козырем, диван, подбирала под себя ноги и, придерживая у горла расходившийся ворот скользкого шелкового халата, приопустив свои длинные ресницы, от которых на щеки падала тень, говорила:

— Ну, ты рассказывал что-нибудь. Только самое простое, что было на самом деле. Про пароходиков... Про собак...

И сидела не шевелясь, лишь по временам молниеносно взмахивала на него своими ресницами, но тут же опять прикрывала глаза, о чем-то думая так сосредоточенно, что две побелевшие от напряжения складки сбегались между ее бровями.

21

Выписавшись из госпиталя, к Мите пришел Куликов,— постучался нежданно-негаданно в дверь, зашумел, затискал его в борцовских объятиях, вывалил на стол из мешка сухой паек: галеты, консервы, сыр, сахар, копченых лещей, фляжку со спиртом.

— В школу я, конечно, не иду,— сияюще глядя на Куликова, сказал Митя.

Куликов заговорщицки подмигнул:

— Отпускаются грехи рабу божьему Дмитрию.

Они сели за стол, открыли банку с тушенкой, разодрали по жирному янтарному лещу. Чокаясь, Куликов высоко поднял стопку с помутневшим от воды дрянным спиртом и серьезно, торжественно сказал:

— Я пью, Митя, за нашу дружбу. Некрепко говорю, я полюбил тебя. Есть в тебе что-то такое, что заставляет меня не чувствовать разницу в нашем возрасте. Не знаю пока — что. Буду дорожить этой дружбой как чем-то возвышенным и чистым, без чего жизнь тускнеет и пресмыкается.

Митя не любил ни торжественных, ни сентиментальных

слов, но в словах Куликова была искренность, и прямота, и то же самое чувство, что переживал сейчас и сам Митя, и он смущенно и счастливо смотрел в его глаза, спокойные, мужские, исполненные воли и честности глаза в редкой щеточке рыжеватых ресниц, в лучах тонких морщинок.

Потом Куликов, расхаживая по тесной комнате, внимательно разглядывал каждую вещь в ней — чучела птиц, книги, самодельную люстру из кривого дубового сука, полочку из чаги, аквариум с вьюнами и карасиками. На письменном столе лежала стопка толстых тетрадей в клеенчатых переплетах. Куликов взял верхнюю из них, не раскрывая, подержал и положил обратно.

— Дневники?

Митя вдруг заметил, что Куликов попросил разрешения почитать их, и он [illegible] от стола. Тогда Митя поспешно сказал:

— Читайте, читайте, если хотите.

— Правда,— обрадовался Куликов, но, подумав, спросил: — А может быть, не надо? Тебе не будет потом неприятно взяться за них?

— Нет, что вы! — [illegible] Митя.

Но Куликов все-таки не взял тетради.

— Знаешь,— сказал он,— я подумаю. Боюсь, тебе все же будет неприятно потом.

Тот день Митя считал одним из самых счастливых дней своей жизни. С ребяческой серьезностью старожила он показывал Куликову город: [illegible] бульвара, показал, рассказ... по преданиям старины, первым в этом лесном, озерном краю поселился зверолов Епифан, на месте Епифановки стал городок худых, не громких славой князишек, потом был [illegible] татарами, опять поднимался из праха, строил дома, кабаки, [illegible], мастерские. Широкая река делила город на две части. Туманен был расчет первого поселенца деревянной стороны, который ставил свой дом на низком заливном берегу,— то ли был он упрям и своенравен, то ли имел какую-то тайную и пока еще не разгаданную цель — но, так или иначе, за рекой с его легкой руки осела деревня не деревня, село не село, поселок не поселок, так, не поймешь что, чему со временем определилось название — Заречная слобода. Сходясь на речном льду стенкой на стенку, городские мещане, превосходящие слобожан числом, кроваво били их, били и на городском базаре, били в одиночку, [illegible] где-нибудь на улице и

поневоле битый, затравленный слобожанин становился осторожным, замкнутым и злым. Боясь появляться в городских церквах, он ютился по молельням и тайным скитам, сколачивал секты, выдумывал своих святых. И хотя давно уже был положен конец этим междоусобицам, давно уже город и слобода были связаны мостом, давно уже горожане и слобожане перероднились, перетружались, работали на одних заводах и учили детей в одних школах, все еще кое-то особо зверовал и детей били взгляд слобожанина из-под сдвинутых бровей, а мальчишки и парни порой еще бились без причины то в трубе, то в парке, то просто на улице.

— Ну, знаешь! Послушал тебя — и как будто век здесь живу,— говорил Куликов, с любопытством приглядываясь ко всему, что показывал ему Митя.

Тоненькой рдяной полоской уже догорал за домом слободки закат.

— Вы помните ту девушку, ту, которая пела в госпитале? — спросил вдруг Митя. Он даже не подумал, что этот вопрос может быть неожиданным для Куликова, потому что, как и всю ту, Аза была связана с ним в этой прогулке по городу.

— Ту, что так красива? Разве можно ее не помнить! — воскликнул Куликов.

— Хотите, зайдем к ней?

Куликов колебался, видимо все-таки обескураженный этим предложением, и Митя, боясь отказа, боясь, что хоть в какой-то малости прервется их дружеское мужское единение, и трепетно, ревниво дорожа им, продолжал настаивать:

— Пойдемте же! Мне почему-то хочется, чтобы вы пришли. Может быть, вы опять думаете, что мне будет неприятно потом от моей откровенности? А у меня нет от вас никаких секретов, поверьте мне...

Куликов обнял его одной рукой за плечи.

— Ну что ты, дурачок, разволновался! Пойдем, ведь я же не отказываюсь.

Когда они, натыкаясь на противопожарные ящики с песком, поднимались по темной лестнице на третий этаж дома, где жила Аза, Митя предупредил:

— Она ничего не знает.

— Понятно,— ответил Куликов.

Дверь им отворила Валентина Васильевна — женщина, должно быть, не менее красивая в молодости, чем дочь, и теперь еще сохранившая былую красоту пятидесятилет-

ней дамы. Она непритворно обрадовалась гостям, помогала Куликову стаскивать тесноватую шинель и сразу настроила и его и Митю на непринужденный домашний лад.

— Да-а-а,— говорил Куликов, растирая озябшие руки и с улыбкой оглядываясь по сторонам,— отвык я от таких квартирок. «Свет хрустальных люстр отражался в черной крышке рояля. Белоусый генерал, облаченный в роскошний бухарский халат, сидел в старинном вольтеровском кресле, посасывая длинный чубук с крепким турецким табаком...» Хрустальных люстр нет, генерала нет, рояль, правда, есть, и вообще все тут чудесно и располагает к стакану горячего чая.

— Могу предложить любой сорт,— в тон ему ответила Аза.— Есть морковный, есть на ржаных корках, есть на шиповнике, есть на липовом цвету.

Позвав сюда Куликова, Митя был озабочен тем, чтобы эти дорогие ему люди понравились друг другу, чтобы в мечтах о будущем он как-то мог соединить их обоих с собой, и теперь видел, что именно так и случилось.

Что за чудо был для него этот вечер! Впервые он видел Азу такой оживленной, такой открыто радостной, точно она очнулась от какого-то оцепенения и, как большая яркая бабочка, затрепетала крыльями в счастливом ощущении своих сил и красоты. Никогда раньше, несмотря на его просьбы, она не пела дома, а теперь сама села к роялю, начала было перебирать ноты, но вдруг отложила их, тронула клавиши, отозвавшиеся на это легкое прикосновение неожиданно мощным, наполненным звуком, и запела.

Покуривая, постукивая папиросой о край пепельницы, задумчиво смотрел на нее Куликов. Валентина Васильевна почему-то всплакала, застыв в напряженной позе на краешке стула.

Музыка всегда вызывала у Мити яркие зрительные впечатления; закрыв глаза, он и теперь видел кривой, как цыганская серьга, месяц над пустынной долиной — ни куста, ни былинки — и через всю долину огромную тень всадника со склоненной головой.

Ночь тиха, пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит...

А когда музыка смолкла и он открыл глаза, что-то со сладким смятением забилось и оборвалось в нем. От встретил взгляд Азы. Она шла к нему через всю комнату и, пока не было здесь ни Куликова, ни матери, подошла, при-

поднялась на носки, провела рукой по мягким упругим волосам на его верхней губе и поцеловала их.

Утром, переночевав у Мити, Куликов уехал. Через несколько дней, открыв дневник, Митя увидел под своей последней записью плотные, энергичные и прямо бегущие строчки: «Милый друг мой Митя! Я все же не удержалась и прочитал твои тетради. Знаешь, дружок, я прочитал еще одну из прекрасных книг, которые рождает талант и правда. Мудрость разума приходит с возрастом, но есть еще одна мудрость, которую не наживешь ни за какие годы. Ты из тех, кто счастливо одарен ей. Она в твоей душе, чистой и открытой всему прекрасному. Помни, что ее легко растранжирить по мелким стяжаниям жизни, а без нее даже люди большого таланта и [illegible] мудрости разума часто становятся пошлыми себялюбцами, уходят в круг своих личных интересов, [illegible]жая, однако, что каждую минуту совершают [illegible] народа деяние. Любишь ты Чехова? Помнишь, кто-то писал: «Все мы народ, а то лучшее, что мы делаем, есть тоже народное. Храни в себе твое лучшее».

22

Прямота, с которой Аза [illegible] их дальнейшие отношения, избавила Митю от всех казавшихся ему неразрешимыми сомнений. Она была старше его и уже успела изжить многие из тех предрассудков, которые превращают первую любовь в мучительный недуг робости, ложного стыда и неутоленной страсти. Нетрудно было заметить, что Митя любит ее, но с удивительной проницательностью поняла она, что он никогда не скажет ей об этом, и тогда она сама сказала ему о своей любви, сняв с него этим признанием добровольный обет молчания.

— Ты знаешь, Митенька, я заметила, что красота моя начала оборачиваться моим несчастьем,— говорила она.— Все было соткано в моей жизни из недоверия. Я чувствовала на себе столько похотливых взглядов, что недоверие стало моей самообороной от явных и мнимых налетчиков в любви. Я и Саше не поверила. И только потом, когда его уже не было, поняла, что он-то любил меня по-настоящему. Но я так и не успела его полюбить, и мучилась этим, и уже думала, что никого не смогу полюбить, зачумленная этим недоверием. Ты меня отогрел. Я сейчас думаю только о том, что бы мне сделать такое для тебя, что могло бы сравниться с тем, что сделал для меня ты. Ты заметил, что,

когда мы идем по улице, на нас оглядываются? Но ты не тщеславен, и я не могу думать, что тебе доставляет удовольствие считать мою красоту твоей. Что же я могу еще отдать тебе? Подскажи!

Шло лето, его последнее лето перед сроком, который определил им всем воинком Суворов. Фюзис опять увел своих мальчиков на работу, теперь уже в лес, на заготовку дров для города, и это лето осталось в Митиной памяти полным шелеста берез, запаха их сока, сладкой рабочей усталости и неутолимого счастья редких встреч с Азой.

По военному времени при конторе лесоучастка во всех должностях сразу состоял лишь древний, но отменного здоровья дед Агафангел Саввинович Преображенский, попович. Историк нарекся [illegible] этим трудным именем он рассказывал так:

— Родитель мой был деревенским батюшкой, вот и нарекли меня, стало быть, по-дурацки. Страшные они, царство им небесное, пьяницы были. Бывало, мужички придут к нам под окна и кричат: «Пожалуемся владыке — расстрижет!» А родитель [illegible] от своей слабости, угощали мужиков водкой и сами пили. В таком виде, конечно, и до беды недолго. Упали они пьяные с колокольни и ушиблись насмерть. С тех пор я к крестьянству прибился, хлебопашил, а [illegible] так и осталось за мной. Впрочем, зовут меня все Афоней.

Устойчивой прочностью веяло [illegible] Мите от этого старика Афони. Казалось, что всем — [illegible] и [illegible] своей, обычаями, привычками — он так утвердился на земле, что и татарское иго не искоренило его, да не искоренит, думал Митя, и никакое другое, даже самое злое. Сам старик высказывал непоколебимую уверенность в этом.

— Нет,— заговорил он,— не заглушить нас немцу.

— Как это «не заглушить»?

— А так — развыряй снег на поле, под ним все одно зелена озимь.

Никогда еще не ощущал и сам Митя такой, как в те дни, уверенности в исходе войны, основанной не на доводах разума, не на слепой вере, не на бездумной нетерпеливости желания победы, а на глубоком и спокойном чувстве невозможности, нелепости, несовместимости со здравым смыслом всего иного, кроме нее.

Время в лесу летело быстро. Вставали с рассветом, но еще раньше успевал подняться старик Афоня и уже возился у костра очажка, помешивая в большом черном котле ка-

...то замысловатое варево из пшена, картошки и лу... которое он называл «кондер».

— Варкое-то как будете готовить — артельно или ка... поличию? — спросил он в первый день.

— Артельно! — ответили ему.

И весь скудный провиант с тех пор поступил в умелое распоряжение старика Афони, бог знает как умудрявшегося удовлетворять дюжий аппетит молодых здоровых парней.

— Больше чаю пейте,— советовал он.— Чай на чай — не палка на палку.

Пилы влажно шоркали в податливой древесине, выбрасывая фонтанчики рыхлых белых опилок. Обмахивая вершинами небо, падали прямые стройные березы, не переставая и на земле тихо лопотать под ветром чутьем к сентябрьской ласке листьями. От нагретых солнцем поленниц кисловато пахло набродившим в коре соком.

Вечером, если успевал, Митю увозила Аза. Он шел в город, к Азе. Сначала шли рядом, потом, и он размашисто шагал вместе со своей тенью через поляны, полные мягкого вечернего солнца и мглистых сумерек, уже заползавших под кусты и еловые лапы; потом, когда совсем смеркалось и дорога выходила на унылые пригородные пустыри, усталость брала свое, каждый шаг казался последним, а пустыри все тянулись и тянулись, однообразно залитые прозрачным полусветом летней ночи.

Аза приносила ему таз с теплой водой, он погружал в нее гудящие ноги и засыпал бы прямо на стуле, если бы Аза не тормошила его. Потом, умытый, освеженный, он ложился на диван, изо всех сил стараясь не уснуть, но через несколько минут пестрый ковер на стене начинал шевелиться и плыть у него в глазах и вдруг гас сразу всеми своими красками. Но даже в глубоком сне не переставала жить и неугасимо пульсировать счастливая мысль, что вот сейчас он все-таки приволочет этот сон, откроет глаза и в упор встретит опаляющий взгляд Азы и ощутит на лице ее душистое дыхание.

23

Было последнее лето, была и последняя осень. Город... ставил в окна зимние рамы, убрал огороды, приготовился... встречать еще одну военную зиму. Учеба как будто бы потеряла в те дни свой смысл, но чувство славянской и одной судьбы каждый день гнало десятиклассников в школу, за-

ставляя, как никогда раньше, добросовестно отсиживать все уроки.

Из школы, иногда даже не заходя домой, Митя шел к Азе.

— Что ты делаешь? Где твой дом? — выговаривала ему мама, но можно ли и нужно ли было сдерживать в чувствах этого уже не мальчика, а солдата, которому бог весть какая судьба уготована на путях войны. Поэтому и не был решительно строг ее голос, а глаза в предчувствии скорой разлуки смотрели на него ласково и горько.

Как-то Аза сказала, что у нее есть два свободных дня. Утром Митя, подпоясанный патронташем, в стеганке, сапогах, встретил ее на вокзале. Наполненный вагон пригородного поезда, скрежеща и дергаясь, долго тащил их через пустые поля и голые перелески неяркой, уже отгоревшей листопадом осени. В вагоне плавал густой махорочный дым, стучали костяшки домино. Аза была одета, как обычно, в шапочку легчайшего пуха, пальто с меховой оторочкой, блестящие резиновые боты, и Митя сначала боялся, что она будет как-то неловко выделяться среди рабочего люда ночной смены, едущего сейчас в деревни по домам. Но видя, как спокойно и просто вошла она в переполненный вагон, как охотно потеснились рабочие, уступая ей краешек скамьи, как узнал ее парень, весь замасленный, черный, словно помазок, он успокоился. Обчмокивая короткими затяжками маленькую цигарку, парень отрывисто спрашивал:

— Отгул дали?

— У меня два дня заработанных,— отвечала Аза.

— Куда едешь?

— На охоту.

— С этим?

— С ним.

— Твой?

— Мой.

— Ты смотри,— сказал парень Мите и, бросив окурок на пол, крепко растер его подошвой.

— С кем балакаешь? Кто такая?— спросили из-за синей завесы дыма.

— Лаборантка наша,— громко ответил он.— На охоту едет со своим парнем.

— Знаем мы эту охоту.

— Много ты знаешь, таракан запечный.

Кого-то обругав, кого-то толкнув в плечо, парень завла-

стол отполированный до черного блеска листом фанеры и
замаркированными фишками домино. Сели играть — Митя с
пожилым рабочим в аккуратной бобриковой тужурке про-
тив Азы и парня. Ему, видимо, льстило знакомство с такой
красивой девушкой, на которую смотрели все соседи по
вагону, и он всячески старался подчеркнуть это знакомство,
разговаривая с Азой покровительственно и грубовато, как
говорил бы со всякой заводской, свойской девчонкой. Вы-
игрыш подогрел его самодовольное настроение; он хлопнул
Митю по плечу и, ища одобрительные взгляды, громко
сказал:

— Почаще надо с нами ездить, тогда научишься.

На маленькой станции с прифельным огородиком за
прялами и стожком [illegible] кудрями, под рваными ку-
сками толя Митя и Аза [illegible] вагона. В огородике на
комках земли, на плетях невыбранной ботвы серебрился
тончайший зернистый [illegible] холодным ясным небом
плоско лежали осенние [illegible] — все это четко отграненные
друг от друга клетки живой, живительной,— рыжели
дубовые кустарники, черной [illegible] тянулся по гори-
зонту хвойный лес, [illegible] голые березняки и
осинники. И как сладко [illegible] грустью и нежной лю-
бовью к себе эта древняя земля, как трогательно и щемяще
близка была каждой своей [illegible] каждым увалом,
беспредельно простирающимся в холодном блеске послед-
него солнца! Когда-то в этих местах бывал Некрасов, и от
того, что он вот так же, наверно, проходил здесь, подпоя-
санный патронташем, в высоких сапогах, с ружьем за
плечами, как-то особенно волнующе чувствовалась их
неистребимая русскость. Пусть проходят годы, строятся
новые города и разрушают их новые войны, но всегда бу-
дет греть человеческую душу неизбывная печаль русских
полей под стылым небом поздней осени.

Охота вышла совсем бедной. Раньше здесь, в камышах
и осоке пересохших болотц, было много зайцев, но теперь
они куда-то исчезли, и только одичавшие кошки, прижав
уши и злобно сверкая желтыми глазами, шарахались из-
под ног в кусты, в просяные ометы.

Под вечер пришли в деревню. Старик Василий Василь-
евич был еще жив и румяно свеж тугими щечками, чисто
был своею апостольской бородой.

— Бабушка, Варвара Павловна-то, жива ли? — спро-
сил он Митю, вставляя в лампу стекло с отбитым верхом,
[illegible] этого сидел в темноте, берег керосинец.

Митя все рассказал ему: бабушка была жива, дядя демо и нощно пропадал на заводе, охоту, конечно, забросил, мама постарела, устала, он скоро уходит в армию.

— И мы со старухой скрипим помаленьку,— сказал Василий Васильевич.— В колхозе работаем, трудодни в книжечку пишем, после войны — расчет.

Митя привез ему в подарок кусок мыла — сухой легкий кусок ядрового мыла,— и старик, радуясь, щелкал по нему ногтем, рассматривал на свет, нюхал.

— Вот завтра баню истопим,— вожделенно крякал и стонал он.— С паром, с веничком, с полком. Ах, уважил, Митрий, ах, потрафил! Уж я тебя тоже за это отдарю, я завтра барана зарежу, я его, врага, не пощажу.

Потом он вышел в истопленную горницу набрать свежих яблок и помани[л] с собой Митю.

— Это кто же такая с тобой будет? — зашептал он, вплотную присунувшись в темноте к его лицу.— Невеста? До жены-то вроде рано тебе, а?

— Как ни назови, Василич,— тоже шепотом ответил Митя.— Люблю я ее, одним словом. На всю жизнь.

— А она как?

— Тоже.

— Ну, Митрий, ну, ловок,— быстро забормотал старик, щекоча его шею бородой и обдавая горячим, с крепким запахом самосада дыханием,— вишь эдакую красаву в избу взял — по углам засияло. Всякого будет тебе в уши дуть — дескать, красота приглядится, красота прах... Не смущайся! Слушай меня — радость это. Старый ворон мимо не каркнет...

Деревенская осенняя ночь длинна. Митя выспался, лежал в самый глубокий час ее на полу, на овчине, боясь шевельнуться, чтобы не потревожить Аву, спавшую на его руке, и в неясных, несвязанных мыслях с резким томлением молодости переживал ее близость, и этот сладостно-грустный осенний день, и свое неведомое, загадочное, но непременно счастливое будущее.

Дробясь в кривых оконных стеклах, светила луна. Он опять забывался глубоким коротким сном, опять просыпался, и время казалось ему застывшим, как воздух этой ночи, сверкающими кристаллами осыпавшийся за окном.

В последний раз он проснулся от какого-то незнакомого звука, который царапался, свистел и повизгивал над самым ухом. Это Василий Васильевич, придвинув поближе лампу, насадив на кончик носа очки, с какой-то лихой, раз-

бойной веселостью точил на оселке длинный узкий нож, видно, и впрямь собирался резать барана.

— А, проснулся, охотничек! — крикнул он, сверкая поверх очков задорным взглядом.— На зайцев твоих нет надежи, будем в хлевушке искать хлебушек. Зайцев нонче лисы подавили. Такая пропасть лис развелась — страшное дело. Должно, их война из смоленских лесов сюда подгрудила. Мне бы стрихнинчиком разжиться, я бы их вязанками добывал. Такие сеть огневки — бежит, ну прямо как пожар по полю стелется.

И опять неярко цвел холодный день с прозрачными далями, с чистым сиянием голубого небесного купола, с острым блеском соломенных ометов в полях. Даже неопытному глазу было видно, как редки эти ометы, и Василий Васильевич, выйдя проводить Митю и Азу за гумно, сказал, всматриваясь в пустынную ширь полей:

— Остудили мы землю, ободрали, искалечили. Не удобрена, не ухожена. За три года, что боюем, сюда и птичка с... не летала.

Было это сказано с такой горькой жалостью к земле, какая может быть только у человека, живущего землею, и крепкое слово в выражении этого бедствия было так естественно, что совсем не резануло слух.

С гумна было видно далеко окрест. Сквозь толчею золотистой изморози в воздухе на горизонте проступали высокие песчаные обрывы берегов Оки, до которой отсюда было километров тридцать. Постояли, помолчали, вдыхая полной грудью ядреную предзимнюю свежесть, и разошлись. Василий Васильевич оглядывался, махал рукавицей, потом крикнул что-то, прежде чем свернуть за сарай, но слов его уже нельзя было разобрать.

— Живи, Василич! — ответил ему Митя.

24

В цепи воспоминаний тот день как бы стоял на грани былого и настоящего. За ним начиналась череда дней и событий, приведших Митю на ту опушку соснового бора, где, зачарованный минутой тишины, лежал он в окопчике, глядя на скупую россыпь звезд польской ночи.

Когда его уже призвали в армию, остригли наголо и он, дожидаясь отправки на фронт, все еще продолжал ходить в школу, чтобы продлить эти дни, вдруг такой прилипчиво-близкой стала ему жизнь, в которой он вырос

...бый, зелено-серый с воскресного похмелья, и, глядя через слезу на стриженые головы своих питомцев, держал длинную речь.

— Вы еще придете ко мне доучиваться после войны,— сказал он между прочим.

Его слушали с насмешливо-снисходительными улыбками. То ли по молодости, с которой смерть кажется такой несовместимой, то ли по легкомыслию, с которым так совместима молодость, никто не верил, что именно его могут убить в этой войне, уже перемоловшей столько жизней. Не верил и Митя. В последнюю ночь перед отъездом он не мог уснуть, поднял на окне рулон маскировочной бумаги и, глядя на освещенные луной заснеженные крыши, на темные провалы теней между ними, вдруг услышал, как в соседней комнате громким шепотом молилась бабушка. Она молилась за него. «Господи Иисусе Христе, боже наш, смиренно молю тебя, владыко пресвятой, рабу твоему Дмитрию твоей благодатью спутешествуй и ангела-хранителя и наставника посли, сохраняюща и избавляюща его от всякого злого обстояния видимых и невидимых врагов, мирно же благополучие и здравие препровождающа и паки целу и безмятежну возвращающа...» В ангела-хранителя Митя, конечно, не верил, но со спокойной и осознанной верой чувствовал, что любовью б...их людей и своей любовью к ним он прочно утвержден на земле. «Какой непростительной глупостью,— писала ему Ася,— каким ничтожным предрассудком кажется мне теперь стыд, удержавший меня тогда иметь твоего ребенка. Сейчас бы я глядела в его глаза, твои глаза, и видела бы в них любовь, выше и значительней которой нет ничего...»

Ночь была на исходе. В предрассветный час, как это всегда бывает, сгустилась темнота, и на небе проступили новые звезды, терявшие до сей поры свой слабый свет в пути через Вселенную.

По окопам передали приказ: «Короткими перебежками вперед. Сигнал — хлопок в ладоши».

И когда взорвался в тишине этот едва различимый слухом хлопок, Митя вскочил на ноги и, остановив на глубоком вдохе дыхание, чувствуя в себе такой запас молодой, упругой, послушной силы, что бежал бы и бежал, охлестывая сапогами венчики ромашек, рванулся вперед.

Через несколько шагов он упадет, раскинув руки, на истерзанную грудь земли, чтобы не подняться с нее никогда.

Собственный дом

I

Жил да был в городке в сердце России портной Роман Половодов.

Городок невеликий — были в нем только районные учреждения, машинно-тракторная станция, пекарня да кроме того кладбище, отливающий из чугунного лома сковородки, кованые двери и статуэтки «Мефистофель». Но, кроме всего этого, как и всюду, здесь был свой рабочий класс, своя [illegible] команда, своя газета, свои патриоты, которые лучше их Ульева нет места на земле, и свои [illegible], утверждавшие как раз обратное. Различаясь и большими городами была только величиной. Он [illegible] резко выступала там, где кончался [illegible] и начинался неизвестный предел, окружая как-то каждый [illegible] ореолом единственности. Так было и с портным, и если в городке говорили: «Иду к портному», то все знали, что речь идет не просто о портном, а об определенном человеке с фамилией, судьбой и характером.

Надо заметить, что шел этот портной прескверно. Благодаря ему ульевцы сделались не модными, никогда не существовавшими, но давно уже привыкли к этому и на приезжего человека, одетого со вкусом, смотрели как на чудака.

Судьбы Роман Половодов был с виду ровной и прямой. Он жил в городке с молодых лет, здесь же состарился, нажил двух дочерей, похоронил жену и выстроил большой пятистенный дом на высоком каменном фундаменте.

Строил он его долго и тяжело, весь вытянулся на работе, сссутулился и стал похож на длинный гвоздь, который долго вбивали, но не вбили, а только согнули слегка. Зато и дом стоял грудов. Он выделялся даже среди добротных построек Ульева и с каким-то высокомерием смотрел на улицу поверх долговязых мальв, словно и в нем отразился самодовольный нрав хозяина, непоколебимо убежденного теперь в том, что жил он не зря и так, как надо.

В летние вечера Роман Половодов любил открыть окно, поставить на подоконник радиолу и сотрясать тихий воздух мощью ее музыки. В этот час у каждых ворот стояли хозяйки, встречавшие с выгона коров, и Роман, скрытый тюлевой занавеской, наслаждался тем, что лишний раз может подчеркнуть перед людьми свой прочный достаток. Из тех же побуждений принимал он заказчиков не в передней, а в самой задней комнате, чтобы те, пройдя через весь дом, были должным образом потрясены и ковровыми дорожками, и диваном с высокой спинкой, и зеркальным шкафом, и пианино, и горкой с хрусталем, а главное — развешенными немецкими литографиями, на которых в целомудренных позах возлежали синие русалки и порхали жирненькие ангелы.

На исходе шестого десятка Роман женился во второй раз.

Случилось это в ту самую зиму, когда он шил пальто вдове Мурыгиной. Полненькая разбитная вдова прибегала на примерку в лихой смушковой папахе набекрень, строчила каблучками через весь дом, а Роман при этом выпячивал грудь, старался не горбиться, не шаркать ногами и угощал вдову чаем с вареньем.

Свадьбу он сыграл, как молодой, с показным разгулом, даже с битьем горшков, за что многие из тех, кто вволюшку пил и ел на свадьбе, осудили его.

В жизни Романа впервые случилось так, что людская молва не одобрила его поступок, и он вначале даже смутился, но потом, укрепясь сознанием своей независимости, высказался так:

— Собака лает, ветер носит. Я у людей не занимал, чтобы свадьбу играть. Значит, пусть подожмут языки.

2

В молодости вдова Олимпиада Сергеевна Мурыгина была очень хороша собой. Маленькая, крепенькая и смуглая, с золотистыми насмешливыми глазами, она считалась в селе Акулове первой красавицей. Многодетная семья жила бедно, но даже в обносках старших сестер Липа вызывала между парнями мордобития и более серьезные столкновения, после которых сельский старичок фельдшер выстригал чубы и сшивал на головах раны.

— Хороша у тебя, сват, девка,— говорил на ее первой свадьбе отец жениха, толстогубый мордастый мельник,

известный тем, что ел живых пескарей,— да сел на цветок порхун мотылек. Ей бы моего старшенького из армии подождать: агромадная шельма! А этот ни нажить, ни прожить не умеет, только исть горазд...

Жених— белокурый, ясноглазый великан, глядевший на мир с каким-то радостным изумлением,— имел пристрастие к певчим птицам. Он добывал перепелов, дроздов, канареек — любил особенно последних, отличал среди них поющих россыпью, дудкой, овсянкой, колокольчиком,— а потом, чуждый всяких помыслов о выгоде, отпускал их на волю.

Пьяненький отец невесты на слова свата только хихикал и крутил головой. Никто не знал, что перед свадьбой между отцом и дочерью происходил такой разговор:

«На что тебе этот недотепа сдался, Липка?»

«И-и-и, батя, полно! Мне ума не занимать. Своим проживу, без мужниного, а уж выйду из грязи в князи».

«Семьишка-то крепкая, уважительная,— соглашаясь, тянул отец,— да парень-то того... Он в старших у них, на отшибе».

«Зато моя власть будет. Я его, как соломенное чучело, куда хочу поверну».

И тот действительно вился в жизни исключительно волей жены, покуда эта воля не привела его к тому, что, забросив птиц, стал он приискателем и живоглотом не хуже мельника и в пору раскулачивания поехал вместе с ним на Алдан мыть советское золото.

Чтобы не мозолить глаза односельчанам, Олимпиада Сергеевна исчезла из Акулова, запершись и осела в безвестном городке Ульеве, где вскоре вышла замуж за капитана речного катера.

Какая же красивая была эта пара — стройный, широкоплечий, мускулистый капитан и статная, гибкая, с грациозно ленивыми движениями сытого зверя Олимпиада Сергеевна!

Жили они в маленькой комнатке капитана, увешанной по стенам репродукциями с Айвазовского на кнопках. Капитан бредил морем. Ему надоело возить торговок луком, надоело отрывать им длинные ленты трамвайных билетов на рубль сорок, на два с полтиной, на пятерку, надоела оскорбительная придирчивость кассира пристани, надоело все, что было связано с этим обшарпанным катером, носившим, словно в насмешку, такое сурово-романтическое имя — «Прибой»... Но Липа взглянула на работу мужа по-иному. Всеми хитрыми и верными, как осада, бабьими средствами

...а понуждала капитана, поелику возможно, укорачивать ...енты билетов. И тот вначале оскорблялся, ссорился с же... ной, переселялся на катер и там в дни безденежья валялся ...а койке, машинально ковыряя пальцем стенную шпаклев... ку, а когда случались деньги, напивался так, что однажды ...видел на крыше галиона русалку, а в другой раз — кру... тую дырочку в самом центре луны. Потом в минуту по... дельной слабости и раскаяния он уступил. И уж с тех пор запил беспросветно, не сумев столковаться со своей со... вестью.

Через три года это был совсем больной человек, кото... рый, вызывая у соседей сочувствие к несчастной Олимпиаде Сергеевне, ходил зимой по улицам в калошах на бо... ногу и выпрашивал у знакомых «до завтра» денег. Просил он всегда почему-то восемь рублей и кончил тем, что замерз пьяный в рубке катера, стоявшего на зимовке в затоне.

Итог Олимпиада Сергеевна подвела для себя печальный. Годы уходили, а за душой у нее не ... ни дома, ни семьи, ни заначки.

В сороковые военные годы, когда жулье и спекулянты со сказочной быстротой ...двигали карточные домики свое... го богатства, ей опять не повезло. Тогда в Ульеве про... мелькнул молодой грузин в грязном габардиновом макин... тоше Жора Микадзе, делавший гигантские обороты с цит... русовой водкой. Он увел ее путь истинного демобилизован... ного по ранению председателя Ульевского райпотребсоюза, и тот — человек веселый, бесшабашный — открыто загулял на дурные денежки, бросил семью и переселился к Олим... пиаде Сергеевне. Он умел легко, не мучаясь потом и горем ... везти, пропить все, что у него было, умел, не чувствуя себя должником, погулять на чужой счет, умел ударить по струнам гитары и со страстным придыханием выгово... рить: «Эх, раз, еще раз...» — но все это было не то, к чему стремилась Олимпиада Сергеевна. Ей хотелось иметь собственный дом. Он виделся в ее грезах большим, просторным, полным дорогих вещей — надежным залогом благополу... чия и счастья. Но сколько ни старалась Олимпиада Сергеевна с помощью Жоры Микадзе утихомирить разгулявшегося пред... седателя, тот не слушал никаких советов и вскоре попал под суд, на котором, впрочем, не было Жоры Микадзе.

На этот раз Олимпиада Сергеевна вложила долго. Она сильно сдала — потеряла прежнюю румяную смуглоту, по... полнела, округлела в талии и при своем маленьком росте стала похожа на кубарь. И вот когда она уже почти при...

мирилась с мыслью, что ей придется вековать во вдовьей комнатушке с застиранными тюлевыми занавесками, на ее пути попался Роман Половодов...

3

Старшая дочь Половодова — Анна — вела домашнее хозяйство, а младшая, Елена, или Елка, как звала ее покойная мать, училась в школе.

Анна была уже не молодая, крупная девица, похожая широким глазастым лицом на сову, когда, ошалев от яркого света, та бессмысленно ворочает круглой головой. Потеряв надежду выйти замуж в Ульеве, она ездила в места, где преобладало мужское население — в Магадан, на Сахалин, на Курилы,— но через пять лет вернулась ни с чем.

Сознавая, что некрасива, Анна всячески старалась подчеркнуть роскошную силу своего тела — рослого, стройного и подавляюще жизнеобильного. С этой целью она одевалась во все узкое, короткое и открытое. Мужчины, словно загипнотизированные кролики, смотрели на ее высокую острую грудь, на полные жел[illegible]тые, как свежее масло, руки и постепенно начинали испытывать нездоровый гнет, точно окормленные каким-то дурманом.

Анна редко улыбалась, еще реже смеялась, с отцом и младшей сестрой была груба и надменна, зато наедине с собой много плакала, и после этого лицо у нее становилось бледным, с синевой под глазами, и все догадывались, что она плакала, но не решались заговорить с ней, боясь налететь на грубость.

В предсвадебной суете она не участвовала, делая вид, что все это ее не касается. Зато Елка с откровенным упреком смотрела, как незнакомые тетки перетаскивали из комнаты в комнату столы, рубили на пороге мороженое мясо, палили телячьи ноги, переливали из четвертей в графины мутно-розовый самогон.

— Папа, ты бы не звал гостей,— улучив минутку, попросила она отца.

Но Роман в мечтах своих давно уже видел обильный стол, себя в дорогом бостоновом костюме, дорогой пиджак (нигейковую шубу первой жены), который он на глазах гостей преподнесет невесте, и нелегко ему было отказаться от предвкушаемого удовольствия подмечать на себе одобрительные, завистливые, уважительные взгляды: крепко-де живет Половодов Роман...

— Бывало, добрую свадьбу целую неделю гуляли. Княжий стол был, пирожный стол, у свекра...— с мечтательной рассеянностью ответил он дочери.

Утром Елка взяла свой портфельчик, будто собралась в школу, и пошла на кладбище.

В городе было два кладбища — старое и новое. На старом давно уже не хоронили, и все оно заросло акацией, жимолостью, бузиной и сиренью, а в позеленевшей у земляк церковке расположился краеведческий музей.

Мама была похоронена на новом кладбище. Елка долго шла по булыжному шоссе, ужасаясь яркому на мартовском солнце, потом свернула на запыленную грязными подошвами тропу и направилась к сосновому бору, густо и четко синевшему среди сверкающих снегов. В этом бору и было кладбище. Здесь стоял запах мерзлой хвои, с которым всегда связан погребальный обряд, и он, этот запах, живо напомнил Елке день мамины похорон. Туманное солнце висело тогда над желтыми соснами за гробами, визжал под ногами промерзший снег, и звук шумбала среди морозного солнечного покоя пронизал душу какой-то леденящей безнадежностью, ощущением вечного холода и пустоты... И теперь, как только сумрак бора накрыл Елку, это ощущение опять вошло в ее душу, заставив со стоном закрыть глаза и беспомощно прислониться плечом и щекой к шершавому стволу сосны. Где-то кукушка — и она бросилась бы прочь в страхе перед опасностью тихого зимнего кладбища, но услышала над головой тихий шорох и, вздрогнув, открыла глаза. По стволу деловито бегали два поползня, прятались за толстое корье и со смешным любопытством косились вниз, на розовый помпон Елкиной шапочки. И Елка при виде этих крохотных существочков жизни успокоилась, пошла дальше по тропке, петляющей между едва заметными под снегом холмиками. Иногда она останавливалась, чтобы прочитать надпись на кресте или сварном чугунном обелиске, выкрашенном серебряной краской. Эпитафии были простые, лаконичные: «Иван Петров Васильев. Родился в году 1879, июля 7 дня. Почил в году 1938, апреля 3 дня». Были и пространные, витиеватые, с перечислением всех добродетелей и мирских заслуг покойного. Одна из них, написанная стихами, гласила:

Средь нас он жил и весел и умен.
И с честью нами же захоронен.
Скончался он от роду двадцать лет.
Красив и молод был. Порукой в том — портрет.

На пожелтевшей, с потеками карточке почему-то не вышли только зрачки и резко черкнули двумя точками, словно проголотые. К стихам, выведенным каллиграфическим почерком, была сделана корявая приписка: «Сынок, мы тебя никогда не позабудем». И в сравнении с пошлостью стихов эти слова глубоко искреннего горя были так трагически просты, были так трогательны своей непосредственностью, что жалость к тому, кто писал их, пронзительно коснула Елку. Когда она подошла к мамиой могиле, слезы давно уже бежали жгучими струйками по ее стянутым холодом щекам.

«Ах, зачем, зачем так устроено!» — с отчаянием подумала Елка.

Она постаралась представить и себя в мерзлой глине вот здесь, под снегом, но воображение ее сущего воспротивилось этой мысли, и смерть показалась такой далекой, даже невероятной, и представить ее просто не удалось.

Подложив свой портфельчик, Елка села на смерзшийся сугроб. Отсюда сквозь стволы [illegible] ей была видна улица городка на высоком берегу [illegible] яркие вспышки солнца в окнах домов, ребятишки на [illegible], собаки, куры, выпущенные на первые проталины, — вся нетерпеливая, будничная жизнь улицы. Вот вышла женщина с ведром, пустила по речному склону поток помоев и заглядела из-под ладони на сверкающий мартовский снег. Проехал мужчина в тулупе на возке дров, отмахнувшись кнутом от ребят, ладивших пристроиться сзади. Потом вылез на крышу парень в рубахе, замахал, засвистал — и с конька сорвались белые, палевые, сизые голуби, взмыли ввысь, упоенные полетом в солнечной синеве неба.

Елка вспомнила, как пять лет назад шла за маминым гробом и думала, что теперь и ее собственная жизнь бесповоротно кончена. Потом решила, что останется жить, но откажется от всех развлечений, будет только учиться, помогать Анне по хозяйству, и никто никогда не увидит на ее лице улыбки. И что же? Время летит над головой — только шапку держи, чтоб не сдуло: скользнули пять лет — и она хохочет, запрокидывая голову, бегает по субботам в заводской клуб на танцы, а в новогодний вечер танцевала с десятиклассником и вот уже больше года никак не может забыть об этом случае.

Елка все еще плакала, сидя на сугробе, но уже не глухое могильное отчаяние вызывало у нее эти слезы, а грус-

...ю нежность к маме, которую она теперь считала забытой всеми, кроме нее. Это чувство даже радовало Елку, как что-то хорошее в ней, и она старалась продлить его, переносясь на все, что видела перед собой. И никогда еще, казалось ей, не думала она с такой любовью и нежностью о серебряных поползнях, о ребятишках, о женщине с ведром, о голубях, о всем этом мире, наивно обрадованном пыли такому малому пустяку — первому теплу весеннего солнца-бокогрея...

II

Вернувшись домой, Елка едва протиснулась сквозь толпу любопытных, забивших крыльцо, сени и кухню.

— Подойди поздравь отца,— сказала Анна, сильно толкнув ее в плечо.

В зальце, как называли эту просторную комнату, было людно, тесно, шумно и так накурено, что дым голубовато-серыми языками утекал под потолком в смежные комнаты. С холода у Елки слезились глаза, она ничего не видела, кроме блеска посуды на столе, и, шагнув наугад, на голос отца, сказала, целуя его в мокрые усы:

— Поздравляю, папочка...

— Прошу любить и жаловать! Дочка моя! Наследница! — орал Роман.

От вонючего самогона все тупо охмелели, бестолково кричали в уши друг другу каждый о своем, и было не весело, как могло показаться, а просто шумно. Плясали без улыбки, с бледными потными лицами, и когда на эту визжавшую, трясущуюся в тесноте толпу упал через окно красноватый отблеск заката, пляска стала похожа на безобразную оргию дикарей, бесновавшихся вокруг костра. Движок с литейного завода еще не дал ток; комната погрузилась в дымные фиолетовые сумерки, и среди них из кухни вдруг донесся взрыв хохота, потом наступила вялая...дательная тишина и послышалась песня. Пели ее две мужчин, внося в комнату на плечах женщину, сидевшую в-рхом на гладильной доске. И что это была за песня! Сложенная на мотив «Лубушушка», она состояла из гнусенней похабщины, но не так сама похабщина была страшна и отвратительна, как женщина, восседавшая на гладильной доске. Толстая, коротконогая, она была слеплена из каких-то пузырей, обтянутых блестящим шелком, и все колыхалась при каждом шаге мужчин. А шагали они ри...

ками — шаг вперед и тут же полшага назад,— и женщина, колотя в такт мерзкой песне вилкой по жестяному чайнику, визгливо выкрикивала:

— Нейдет! Нейдет!

— Пойдет! — уверенными басами обещали мужчины и заунывно начинали новый куплет.

Елка, сидевшая возле двери, гадливо отшатнулась от этой процессии и взглянула на отца, как бы призывая его встать и прекратить разгул своей властью хозяина дома. Но тот даже не заметил ее взгляда. Он сидел, подавшись вперед, прерывисто дыша разинутым ртом, испытывая, очевидно, только одно — восторг и безграничное довольство собой: «Вот как гуляет Иванов Роман!..»

В кухне Елку схватили, усадили на табурет и стали подкидывать к по[illegible]

— Пустите... пустите! — задыхаясь от бессильной злобы, шипела она и, не помня себя, ударила кого-то по лицу...

Потом долго сидела [illegible] на перевернутом поросячьем корыте, [illegible] к щекам и темени ломотно-морозный свет. Было уже [illegible] темно. Строгий в своих очертаниях, холодный и [illegible] блистал в небе Орион. Кто-то в этот [illegible] до сухости вечер, быть может, навел на него телескоп, где-то мчался по своей орбите маленький спутник, чья-то мысль билась над созданием новой машины, звучала в каком-то театре увертюра «Лебединого озера», а совсем рядом стены половодского дома глухо гудели от пьяной песни:

— Нейдет! Нейдет!

— Пойдет...

5

Анне сразу же пришлось потесниться в своем положении хозяйки дома, и хотя она продолжала справлять всю кухонную работу, уже не получала от отца на хозяйство ни копейки. Чуть свет Олимпиада Сергеевна, надвинув на ухо каракулевую папаху, подведя глаза и губы, сама убегала на рынок за покупками, и все чаще Роман на вопрос Анны, что приготовить, как сделать то или это, отвечал:

— Ты уж спроси у Лины. Пусть она распорядится...

В ответ Анна лишь надменно усмехалась, а если при этом была и Олимпиада Сергеевна, с нарочитым безразличием говорила:

— Всякая потаскуха мне не указ, это вы оставьте, папаша.

— Онара перекисшая. Невеста застоялая,— парировала Олимпиада Сергеевна.

Они жалили друг друга зло, расчетливо, в самое больное место, потом разбегались по разным комнатам и плакали.

— Зачем, зачем вы привели ее в наш дом? — кричала Анна, когда отец приходил утешать ее.— Ослепли, что ли? Думаете, вы ей нужны? Посмотрите на себя! Разве вы муж такой бабе? Ваш дом ей нужен, наследство.

— Ну, Аннушка, полно,— бормотал старик.— Вы-то с Елкой разлетитесь из родного гнезда... Фрр! А я-то на старости лет с кем останусь? Кто за мной ходить станет?

— Фрр! — передразнила его Анна.— Я ли за вами не ходила, чего вам еще? А [illegible] бьется грелка под бок, так могли бы и без свадьбы [illegible]. У нее это просто.

— Цыц, паскудница, сама [illegible]! Нахваталась по сибирям-то! — топал [illegible].

Он шел утешать Олимпиаду Сергеевну и там слышал:

— Уйду я, нет моих сил [illegible] терпеть от нее. Ну что плохого я ей сделал? Зачем она меня грязью поливает?

Роман ладонью вы[illegible] и сопел, глядел в побелевшее, но все еще милое лицо, и в груди у него страшно теплело, глаза тоже подплывали [illegible] горячей слезой.

И спать во время этих омерзительных сцен всем было нельзя Елке. Она уходила из дому, шагала по улицам, по весенней распутице и упорно думала:

«Уехать бы отсюда. Вот только папу жалко... Нет, не жалко. Ничего здесь не жалко! Уеду! Разбегусь на все четыре стороны — хорошо!»

Она принималась мечтать, грезила о сияющих вокзалах больших городов, о какой-то еще неведомой для себя, но, конечно, интересной работе — чтоб по ночам не спать, мучиться, а потом будет ликовать победу, о громадном белокаменном доме, в котором будет светиться и ее окно.

— Анечка! — просила она сестру, обнимая и целуя ее.— Зачем тебе этот дом! Поедем далеко, где ты была. Пусть они здесь остаются. Уедем!

Анна отбивалась, губы у нее тряслись, ломались.

— Отстань! — закричала она наконец громко, срываясь на визг.— Зачем дом! Нишь, богатая! У тебя вон оно, богатство-то, на роже. Дурёха смазливая! А у меня что? Мне теперь только и жить, что какой-нибудь свистопуга

из-за дома женится, куркуль какой-нибудь, мешочник, лу-
ковник... Я теперь непривередлива стала. Мне теперь хот.
дрянненького, да своего мужишку... Чтоб дети были, семь
была... Уйди!

Елка попятилась от нее, закрылась руками и, точно ог-
лушенная, упала на диван, затихла.

6

Весной старик Половодов заболел. Возвращаясь из об.
ластного города на автобусе, он вдруг почувствовал бол.
в сердце, переменил положение, сел поудобнее, но боль ус-
усиливалась, и уже заболела левая лопатка, потом плеч
рука, нога... До дома Роман добрался, волоча ногу, держас.
за стены и заборы, и, как только переступил порог, отчае-
венно заплакал, расслабленный нестерпимой болью.

К нему пригласили знакомого доктора, тоже старика,
Почемуева, которого, как и портного, знал весь город. Он
был высок, сухогледен, прям, с бородой и усами короля треф,
с дремучими бровями, говорил по-стариковски много и ко
всем, будь то мужчина или женщина, обращался одинако-
во — «брат». При этом он так нажимал на звук «р», что
возводил его до дробного рокотания. С больными Почемуев
обходился так, словно те, заболев, совершали непростите.
ную глупость.

«Ну, бррат, удружил! — распекал он какого-нибудь боль-
ного на приеме в поликлинике.— Покажи-ка обувку-то.
Это что же, по-твоему, обувь? Нижон ты, брат, франтишка.
Выпишу тебе рецепт на галоши. А еще лучше — купи
ботинки на микропористой подошве. Обувь сухая, теплая и,
если хочешь, красивая. За нее от нас, врачей, великое спа-
сибо химикам. Молодцы ребята, но шибздики, гении...»

— Что, брат, рухнул? — пробасил он, входя к Роману.— Ты! — приказал Анне.— Открой форточку, душно, как в сундуке.

— Сердце у меня,— простонал Роман.— Болит, будто дверью его прищемили или холодным ножом поддели...

— Стенокардия,— бормотал Почемуев.

— Чего?

— Ну, грудная жаба.

От этих слов Роман испугался и упавшим голосом спросил:

— А от чего она бывает?

— От различных причин,— Почемуев выпятил из-под

мана извивавшийся, как змея, фонендоскоп и стал запихивать наконечники в свои волосатые уши.— А у тебя, брат, главным образом от некультурности. Отгрохал домище, как дворец, а ванны нет, и в комнатах при сквозняке воняет выгребной уборной. Вспомни, сколько лет ты не был за городом, в лесу, на речке! И, наверно, каждый день трескаешь по две тарелки жирного супищу и пьешь водку. А работа! Пока был силен, гнулся и день и ночь, хоромы наживал, а теперь силенки уж нет, одряб, а жадность-то прежняя осталась.

— Оттого и жаба? — недоверчиво спросил Роман, уверенный доселе, что все болезни бывают от простуды или оттого, что съел что-нибудь нехорошее.

— А ты как думал? —сердито сказал Почемуев.

В кухне, вытирая руки чистым полотенцем, которое ему подала Елка, он глянул из-под густых бровей ей в глаза и вдруг ахнул, словно в изумлении:

— Господи, боже мой!

Потом положил на плечо тяжелую волосатую лапу и сказал:

— Я, брат, тебя серьезно прошу.— В голосе его действительно скользнула просительная нотка.— Работай за десятерых, люби во все лопатки, страдай до отчаяния, но только не кисни и не живи по гнусным законам обывателей.

И ушел, оставив Елку в недоумении и какой-то тревоге — что за человек?

К Роману приходили медсестры; одна — веселенькая, быстрая, черняво уколола в палец, надавила в стеклянные трубочки крови, а другая — красивая и строгая, с подведенными бровями-дугами — долго опутывала какими-то проводами, а Роман, дожидаясь, когда его шибанет током, замирал и закрывал глаза.

Спустя несколько дней доктор Почемуев опять шел навестить своего больного. Был май, и доктору, когда он шагал по улицам, хотелось весело помахивать всем встречным оттого, что мягко грело милое майское солнце, пахло тополями, и еще оттого, что у пациента не оказалось той опасной болезни сердца, которая в лучшем случае надолго укладывает человека в постель, а в худшем... Но о худшем в такой день доктору и думать не хотелось.

Возле половодовского дома он не удержался-таки и подмигнул соседке Половодовых Катерине Козловой, высокой сухопарой старухе, которая была так худа и костиста, что лопатки торчали у нее на спине наподобие сложенных

крылец. За нрав непримиримый, напористый и деятельный ее называли в городе «Рабочий клич», отождествляя с районной газетой того же названия. Она давно была уже на пенсии, но, не занимая никакой должности, умудрялась находить для себя дело и в райсовете, и в суде, и в редакции, и даже в клубе, где вела собственный аккомпанемент на гармошке пела русские песни.

Когда доктор увидел ее, она что-то с жаром доказывала участковому милиционеру Спирину, медленно отступавшему перед ней.

— Давай, давай, Катерина!— ободрительно сказал доктор.

— Да как же, Иван Власыч! — тотчас же закричала старуха.— У нас на улице второй день война идет, а он без внимания.

— Мы в семейное дело избегаем встревать,— угрюмо сказал Спири, глядя на полураскрытые окна, которые в этот теплый благостный день почему-то были наглухо закрыты.

— А что там такое? — с тревогой спросил Почемуев.

— Не знаешь? — искренне удивилась Катерина.— Липка-то, как старик занемог, подъехала к нему насчет дома: запиши, мол, дом на меня. Анна узнала и сейчас же: «Как так на тебе? Кто ты такая? Где...» Уж и повторять не смею, как она ее обрезала. Вчерась за волосья друг дружку таскали и давеча утром таскали... А Глушка-то их вся слезами облилась, смыгнула со двора, и до сей поры ее нету. Непременно у них до беды дойдет, если так оставить.

— У-у-у, собственники! — прорычал доктор и со всей своей немалой силой двинул ногой в калитку. Она не поддалась: в дом сегодня никого не впускали.

Но уже на следующий день все пришло там благопристойный вид: открыты окна, отперта калитка, натянута улыбочка на лицо Олимпиады Сергеевны. Доктор, дивясь, только качал головой: умеет же эта порода не выносить сор из избы.

Елка в тени готовилась к выпускным экзаменам, лежала целыми днями в траве, на старом половичке, и читала учебники.

— Да, брат,— говорил доктор, проходя по двору и заглядывая через ее плечо в учебник.— Толстой! Велик старичище. Как бог. Все знает и не боится сказать... Я видел его однажды, когда был молод.

У Елки круглели глаза. Она смотрела на старого доктора и усмехалась недоверчиво: Толстой был для нее нето-

дней, прошлым веком, могучей, но не материальной силой, и видеть его было нельзя. А доктор, словно подслушав все ее мысли последних дней, продолжал:

— Читай, проникайся. Может быть, именно на тебе порвется в вашем доме цепь обывательщины и мещанства. Ух, не терплю мещан!

Елка слушала, прикусив горькую травинку, глубоко втягивая ноздрями запах первой листвы. И ее точно манила куда-то его рокочущая речь; казалось, шагни за порог, и тебя подхватит, завертит светлый поток жизни.

«Уеду!» — радостно думала она.

И ей казалось, что трава и цветы шептали:

«Шагни...»

«Шагни за порог...» — звала первая вечерняя звезда, серебристо лучась в прозрачном небе.

«Шагни, шагни, шагни...» — вторило все кругом — кусты, деревья, грачи, засыпающие в старых вязах, нежный вечерний воздух и отблеск солнца на длинных перьях облаков...

7

После болезни старик Полэводов стал задумчив, тих и непонятен. Достал из сундука иконы, развесил их в спальне по стенам; часто поминая бога, твердил:

— Бога отменили, и от этого весь беспорядок в жизни произошел. Коли был бы в нас бог, вы не собачились бы с утра до вечера, а жили бы в любви и согласии. Все на земле не наше, а боговo, нехорошо это рвать из рук друг у дружки. Сказано вам господом в десятой заповеди: не пожелай жены некрещеного твоего, не пожелай дому ближнего твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла, ни всякого скота его, ни всего, елико суть ближнего твоего.

— Ну, понес! И скота и осла... — ворчала Лина.

И они еще злее схватывались с Олимпиадой Сергеевной, чувствуя, что старик скоро оставит их и в жизни и в доме один на один.

— Вот ужо я вас всех помирю,— загадочно говорил Роман.

Когда доктор наконец разрешил ему выходить на улицу, он взял палку, не велел никому провожать его и ушел из дому на целый день. Но хоронясь за углами и заборами, Лина выследила его.

— У нотариуса, папаша, были? — с угрожающим спокойствием сказала она, когда он вернулся.— Вот это видели? Я. Если подпишете на Липку дом, отравлюсь. Тогда уж с богом-то и не расквитаетесь.

— Врет! Это у нее мятные капли в пузырьке,— раздался за дверью голос Олимпиады Сергеевны.

— Заперлась! Боишься, гварь! — захохотала Анна.

— Ну-ка, открой, Липа,— сказал старик, берясь за ручку двери.— А ты, сквернословка, тоже иди сюда. Елену позовите.

В его голосе было что-то торжественное, непреклонное, и женщины выжидающе примирели, почувствовав, что старик уже принял решение.

— Елены нет, папа,— покорно сказала Анна.

— Ладно, она добрей вас, не взыщет с меня, старика.

Роман сел, и женщины тоже чинно расселись по разным углам зальца.

— Я вам скажу,— начал он петушко, — а вы, если жалеете меня, примите это без злобы и вражды, потому что они ускоряют конец мой. Тебе, Анна, я купил дом на Садовой улице. Ты его знаешь — хороший дом, новый. Елке куплю, когда будет подходящий, — сейчас пока нет. Этот дарю супруге моей Олимпиаде Сергеевне с тем, чтобы она соблюдала мою старость до смерти, после чего может владеть им по своему усмотрению... Хоть с квасом стрескать... Гм!.. Прости меня, господи.

Он встал и, прежде чем женщины успели опомниться и решить, кто же из них все-таки остался в накладе, вышел из комнаты, грузно опираясь на палку.

А Елка в это время сидела в школьном зале и, подавшись вперед, прижав к груди руки, даже чуть приоткрыв рот, слушала Борю Кудеярова.

Он был ястребино-горбонос, черен волосом, колюч и цепок взглядом, рубил кулаком воздух и приглашал поголовно весь десятый класс работать на строительстве гидростанции. Слушать его было интересно и жутко — ведь все-таки это не кто иной, как Боря Кудеяров, Кудеяр-разбойник, голубятник, уличный коновод, первый ученик в школе, человек непонятный. В любой школе есть такие выпускники, которых долго после их выпуска помнят учителя и ученики. Зовут их активистами, выбирают в комитет комсомола, в учком, в редколлегию стенгазеты, некоторые из них отлично играют в шахматы, другие — конструируют физические приборы, третьи — просто горазды на все руки,

и часто их фотографии висят на почетной доске среди медалистов школы. Таким был и Боря. Все, как о решенном и не поддающемся сомнению факте, думали, что он поедет учиться в столичный институт. Но Боря вдруг, к общему удивлению и даже разочарованию, ограничился лишь заочным отделением одного из институтов в областном городе и стал работать на строительстве гидростанции в ста километрах от городка, на большой реке. Теперь он приехал в отпуск — ни у кого из сидящих в зале никогда не было отпуска, только каникулы; он говорил о зарплате — никто никогда не получал еще зарплаты; он рассказывал о шпунтах, дюкерах, шлакоблоках — никто в точности не знал, что это такое,— и поэтому у всех перехватывало дух от заманчивой неизвестности: как это так — из палисадничков с мальвами и сиренями да вдруг к шпунтам и шлакоблокам!

Как в детстве обязательно перебаливали корью, так, подрастая, все школьные девчонки ненадолго влюблялись в Борю. Было такое и с Елкой. Но он ее не замечал — она шла двумя классами младше и поэтому была достойна если уже не презрения, то полного равнодушия и пренебрежения. Лишь один раз он снизошел до нее с высоты своего старшинства. Это было на новогоднем вечере, когда Боря первый раз в жизни выпил вина. Пили на школьном дворе, за поленницей, причем все ребята делали вид, будто пить — занятие для них самое привычное, и он тоже опрокинул свою чашку небрежно, как гусар. Было морозно, гулко лопались столбы, звезды на небе сияли необыкновенно ярко, а голову так странно, так непривычно покружило. Боря вошел в зал, огляделся. К стенам жалась всякая мелюзга в белых фартучках. Он мог осчастливить любую из них, пригласив танцевать. С этим сознанием своей великой щедрости он подошел к Елке, щелкнул каблуками и молча склонил голову.

— От вас холодно, как от айсберга, — сказала она, кружась с ним по залу.

И долгим взглядом глядела в глаза тоненькая, глупая, счастная восьмиклассница...

— Я помню тебя совсем маленькой, — небрежно сказал Боря. — Ведь ты портновская дочка?

— Да! — счастливо просияла Елка.

Когда-то он приходил с отцом к портному, и маленькая девочка, блестя в полутьме глазами, кидала в него с печи

лучиной, показывая язык, а он дергал отца за рукав и громко тянул:

— Отец, пойдем...

После Бори выступал Глеб Андреев. Когда он вышел на сцену, Елке показалось, что все, кто был в зале, смотрят на нее, потому что уже знают, что вчера да и позавчера, и на прошлой неделе в среду она каталась с Глебом на лодке.

Он вырос в далеком селе Венец, про которое говорили, что оно всему миру конец. Завалилось это село за торфяные болота, за дикие вырубки, за петлистые речонки и, чтобы добраться туда, приходилось в наш век космических ракет и атомных двигателей закладывать в телегу какого-нибудь сивку-бурку и пускаться под грохот колес на узластых корневищах в далекий и нескорый путь. Лишь в межень речных вод, когда подсыхают и болота, да по глубокой осени, если снег запоздает, а мороз накрепко свяжет землю, становилась на Венец гладкая дорога. Но бывали года дождей, года киселя сеяги-развезихи, и уже тогда сивка-бурка — незаменимый, испытанный, извечный трудяга — один нес на этих гибких ногах транспортную службу.

А вокруг Венца до черты леса ходили волны ржи, зимой лежали синие сугробы. В играх — спицы, хомуты, навоз, в забавах — пастуший кнут, бабки, ореховые удочки знал с детства Глеб. Позже, в техникуме, по-мужицки упрямо, по-крестьянски выносливо он давил на учебу, во внешности сохранил что-то тяжелое, ржаное, васильковое и вообще-то мало обломался на городской лад.

Теперь он работал механиком в мастерских МТС и обстоятельно, спокойно, неопровержимо доказывал десятиклассникам, что они должны немедленно идти в сельское хозяйство.

«Конечно! Куда же еще?» — думала Елка, стараясь не глядеть ни по сторонам, ни на Глеба, чтобы окончательно не выдать себя.

— Нет, брат! — загремел на зала доктор Иван Власич Почемуев и крепким шагом пошел к сцене, заставляя тихонько звенеть оконные стекла. — Если уж пригласили, послушайте и меня.

Давным-давно вот точно таким же шагом проходил он по коридору больницы и мимоходом бросил тоненькой, бледной девушке, которая мыла пол:

— Молодая еще, учиться надо.

И с тех пор часто ловил на себе ее диковатый, недру-

желобный взгляд. Он верно разгадал его и, выбрав момент, спросил девушку:

— Ну что, брат? Больное разбередил?

И осторожно выведал все. Она училась в сельской школе, но отец попрекал ее дармоедством и, когда решил, что она достаточно грамотна, сжег все учебники и тетради. Она убежала из дома в город, была судомойкой в столовой, уборщицей в конторе завода, санитаркой в больнице...

— Помытарилась, конечно, брат, но все это — тьфу! Не горе. Помогу, — обещал Иван Власыч.

Здоровьишком и силой она была не богата; он перевел ее на несложную, оставлявшую много свободного времени работу в регистратуре, отвел в школу взрослых, где во всех классах было тогда шесть учеников, а через три года помог сдать экзамены в медицинский институт, со стипендией.

И хотя все уже знали эту историю и знали, что речь идет о знаменитом хирурге, чей портрет висит теперь в краеведческом музее, выслушали Ивана Власыча с вниманием и должным уважением к его авторитету и седой бороде.

— Я вам, брат, вот что скажу, — гремел он со сцены.— Идите учиться дальше.

«Конечно! — думала Елка. — Обязательно учиться! В Москву. В университет! Куда же еще?!»

8

Елка шла по глубокому, уже остывшему песку речного острова и говорила:

— А что, если нашу лодку унесло течением? Согласен ты быть Робинзоном, добывать себе пищу охотой, рыбной ловлей, одеваться в шкуры? Я стала бы твоим верным Пятницей. Мы сражались бы с дикарями, приручали бы диких коз, а потом... потом... Ну, подскажи, Глеб, что случилось бы с нами потом?

Она остановилась и требовательно взяла своего спутника за рукав.

— Ну, подскажи!

— Тебе, как недавней школьнице, должно быть известно, что подсказки не поощряются, — в шутливо-наставительном тоне сказал Глеб.

Он очень близко увидел ее лиловый от ежевики рот, два сияющих глаза, и никто, наверно, не сможет понять и объяснить, как это случается в жаркие дни лета, когда пылят в скошенной траве кузнечики, пахнут лины, плывет мгла

над рекой, — как это случается, что истома сухих горячих дней разрешается вдруг первым поцелуем... Случается, да и все тут.

Взявшись за руки, они медленно пошли по хрустящему песку, принимавшему лиловатый оттенок заката. Потом на лодке, повизгивающей уключинами, пересекли широкий проток, отделяющий остров от берега, сдали лодку сторожу водной станции и поднялись в городок. Они давно уже молчали. Было немного душно, как перед грозой, и она, очевидно, проходила где-то поблизости, потому что в самом зените неба нет-нет да мелькал бледный сполох — отражение недалекой молнии. В такие ночи бывает напряжен каждый нерв и трудно собраться с мыслями.

— Погуляем? — спросил Глеб.

— Да, — почти шепотом ответила Елка.

Они свернули в маленький парк. Здесь тоже, как перед грозой, тревожно попискивали в кустах разбуженные птицы и при полном безветрии по кустам пробегал шум. Сквозь темные кусты проступали белые статуи — подарок городу от учащихся областного художественного училища. По очертаниям можно было узнать Павлика Морозова, Виктора Талалихина, Пушкина, Зою Космодемьянскую, но Глеб и Елка знали, что здесь еще были Исаак Ньютон, Гарибальди, Виктор Гюго, и этих в темноте уже трудно было отличить друг от друга.

А час спустя по парку проходили Иван Власыч Почемуев и Боря Кудеяров. Они допоздна заигрались в шахматы, и теперь доктор вышел проветриться перед сном и заодно проводить Борю. Они остановились у церковки и смотрели на ее стены, освещенные ныряющей в волокнистых облаках луной.

— Древность, брат, древность... — говорил доктор. — Помню, нас, мальчишек, наняли помогать научной экспедиции в раскопках... Жуткое и странное чувство испытал я, когда кость за костью из пыли веков выступал скелет человека. Позеленевшие бронзовые браслеты свободно болтались на предплечьях, и я невольно представил себе, как эти браслеты когда-то туго охватывали женскую руку, а под бронзовой диадемой, обрамлявшей голый побуревший череп, билась живая человеческая мысль. Она когда-то ходила, смеялась, пела, страдала, любила, была матерью, эта женщина... И вот история, которую я так не любил в приходской школе, открывалась мне не через букву, а через человека. Я мог представить себе как живых ремесленника,

смерда, воина, юродивого на паперти собора... И с тех пор так и изучал историю, подставляя на место буквы человеческих. Бывает теперь, проснешься светлой ночью, смотришь вот на эту луну и думаешь — черт возьми! Светила она так же и сто лет назад и тысячу, будет светить еще миллионы лет — кому? Даже страшно станет. А потом вспомнишь ту женщину, которая в точности, как мы, смеялась, пела, страдала, любила, и думаешь — ничего страшного нет, если в прошлом и будущем ты все можешь понять через современного человека и в том числе самого себя! Неразрывная цепь, связывающая прошлое, настоящее и будущее. Все мы — звенья этой цепи. Мы, брат, — настоящее народа.

Было уже далеко за полночь, когда Боря вернулся домой. Он вошел, не стуча, не щелкая замками, не гремя засовами: все двери были снабжены запирательными механизмами его собственной системы, рассчитанной на абсолютную бесшумность действия. Но никакая хитроумная техника не могла усыпить мамину заботу и тревогу о нем. В какой бы час он ни возвратился, его встречал один и тот же вопрос:

— Вернулся, Боря? Ну, слава богу...

И теперь уже можно было шуметь, стучать, бегать, топать — мама все равно спала, спала до своего часу, когда над городком, поглощая и растворяя в себе все остальные звуки, неслся тонкий свист заводского гудка.

Боре было больно замечать в маминых глазах признаки постоянной тревоги о нем, но он понимал, что с этим ничего не поделаешь. Эта тревожная печаль залегла в них после гибели отца на фронте — гибели самоотверженной и славной, во имя спасения товарищей — и не слабела с годами, а, наоборот, приобрела оттенок какой-то затаенной просьбы, словно в Борином сходстве с отцом и особенно до жути похожих глазах, больших, раскаленных, мама видела какую-то роковую предначертанность и его пути.

Мама!.. Боря помнил, как давным-давно, когда он был еще совсем мальчиком, вошел к ним в дом, прихрамывая и держа зябнувшую правую руку в кармане, старый друг отца доктор Иван Власыч Почемуев. Многие тогда, видя его, такого моложавого, высокого, крепкого, недружелюбно косились: «На фронт бы тебя, жеребца эдакого...» Но почти никто не знал, что еще в гражданскую войну он был сильно контужен и теперь временами у него немела вся правая сторона тела, он волочил ногу и не мог даже вписать ремень. Боря думал, что ему просто не здоровится — так за-

жело он стоял, припав лбом к намокшей раме, смотрел на рябое стекло и барабанил по нему пальцами. А потом повернул к Боре чуть перекошенное лицо и сказал (Боря до сих пор помнил, с каким трудным спокойствием он это сказал):

— Бориска, приготовься, брат, к плохому. Погиб твой отец. Ты должен подумать, как сказать об этом матери.

И, должно быть, потому, что на Борю вдруг легла эта забота о маме, он не зашатался, не упал, не онемел и не умер. Он понял — ему надо держаться.

Поэтому в конце концов и не мог он допустить, чтобы еще долгих пять лет, пока он учился бы в институте, мама носила единственное платье, ограничивала свой обед сухой булкой в заводском буфете и засиживалась по ночам над вышиванием дорожек, наволочек и салфеток.

Он хорошо держался все время.

— Спи, — сказал он. — Я вернулся.

И еще одного человека можно было видеть на улицах города в ту ночь. На Садовой, против крепенького домика, фасонно, в елочку, обшитого тесом, с мезонином, шпилем и шаром на нем, стояла Анна. Она уже не первый раз приходила сюда, но там, в доме, прикрытая тюлевыми занавесками, еще гнездилась чужая жизнь и уже чем-то мешала Анне, вызывая у нее раздражение и досаду.

Покуривая тоненькую папироску-гвоздик, долго сидел на лавочке возле общежития Андреев Глеб. Курил он основательно, спокойно, как делал все: курить так курить, спать так спать, работать так работать. Он вырос в семье крепкого мужика, который не любил никаких неожиданностей в жизни, самолюбивого от сознания своей незыблемой уверенности в завтрашнем дне, презирающего всякое непонятное ему проявление неустойчивости, сомнения, необдуманного порыва, — и воспринял эти черты отцовского характера. В школе он знал, что поступит в сельскохозяйственный техникум, в техникуме знал, что будет работать в Ульевской МТС, потом женится, а потом... потом начнет просто жить. Один только необдуманный шаг сделал он на этом прямом пути. Приехал на побывку домой и широко, разгульно праздновал окончание техникума. Брага, выдержанная к его приезду на изюме, удалась отменно, и даже самые стойкие выпивохи с трех кружек несли околесицу, лезли к хозяину обниматься и вопили дурными голосами «Казыш». Когда бражничание перевалило на третий день, в избе появился председатель колхоза — мужчина, широ-

ченный в плечах, угрюмого вида. Подгулявшие парни и
девки притихли, кое-кто шмыгнул из горницы в кухню, от-
куда — в сени. Не отказавшись от медовухи, председатель
медленно, с почтением к ее опьяняющим достоинст-
вам вытянул полную кружку и, ткнув Глеба пальцем в лоб,
сказал:

— Хватит, Глебка, сосать, отвались. И главное — моло-
дежь мне не смущай, завтра косить начинаем.

— У молодежи-то об эту пору и другие дела есть. Не-
жто позабыл, председатель? — блестя глазами, спросила
бойкая бабенка Санька.

Глеб засмеялся.

— Все равно день разменяли. А завтра, обещаю, — ко-
лец. Руку, председатель! Выше еще.

И он зачерпнул из корчаги полную кружку.

Рассмешив всех, председатель показал здоровенный, из
толстых растрескавшихся пальцев шиш и молча вышел,
а Глеб напоследок нагрузился так, что очнулся в незнако-
мой избе на чужой постели и в той похмельной немощи ду-
ма, когда человек до исступления противен сам себе.

Рядом на белой подушке темнела растрепанная Санькина голова. Глеб лежал с детским, не ботинок на нем не было. Решив, что потихоньку все равно не уйти, он толкнул Саньку и спросил:

— Спишь?

Та вздрогнула и сейчас же прильнула к нему — видно, не спала всю ночь и, должно, ждала и ждала, когда он проснется.

— Идти мне надо, — угрюмо сказал Глеб. — Скоро светать начнет.

Руки у Саньки сделались вялыми, мягкими, оттолкнули его и упали на одеяло.

— Ступай, милок, ступай, коли ты только по ночному времю храбрый ко мне ходить. Катись!

Голос у нее был пренебрежительный, насмешливый, и Глеба даже скорчило от нового приступа отвращения к себе.

— Ничего я не боюсь, — зло сказал он. — Так только с языка сорвалось... Захочу — и женюсь на тебе могу. Слышь, что ли?

— Слышу, — вздохнула Санька и опять повернулась к нему. — Все вы так говорите...

Утром, не заходя домой, Глеб ушел в луга. Там уже блестели косы, стрекотали косилки, ветер трепал рубахи парней и яркие кофточки девушек.

Глеб поддался общему рабочему азарту, косил, обедал вместе с косарями, но мысль о Саньке нет-нет да и царапала его, как острый коготок: «Говорил, женюсь... Ах, дурень пьяный! Привяжется теперь, быть сраму... Она баба отчаянная».

Дома за ужином, когда он сидел над блюдом с кислыми щами, мать подошла к нему сзади и больно стукнула по затылку твердой, как доска, ладонью.

— Где шлялся, прод?

— Не дерись, мать! — взвился Глеб. — А то, знаешь...

— А то что, сынок? — спросила мать и еще раз ударила его по уху.

Глеб заскрипел зубами, сломал алюминиевую ложку и ушел в горницу.

— У Саньки, прод, почевал! — кричала в кухне мать глухой старой бабке. — Утром соседка Матвеевна шла из колодца, а он и выкатывается от Саньки, как ясный месяц...

— Он! — обмирала бабка.

— Да-а-а. Выкатывается — и бежка в луга. Домой-то, значит, совестно глаза показать, так он в луга...

— Ой!

— Да-а-а. Я разве худа ему желаю? Учение кончил, теперь, значит, обрастай, как колень мхом, женись, бери девушку, становй свое хозяйство. А он — на тебе! Связался с... тьфу, прости господи! То-то она, язва, вертелась тут возле него всю неделю. Муж был бы отец жив, он бы за всем доглядел, он бы все наладил отседа. Нишь, язва, учуяла, где жареным пахнет. Еще бы — парень ученый, видный. Авось, думает, к рукам приберу...

Мать рассказывала, бабка охала, а Глеб думал:

«В самом деле! На кой черт она мне! Не по плечу дерево рубит баба...»

И на другой день уехал из Вешна в Ульев.

В общежитии он облюбовал место у окна. Поставив под кровать деревянный чемодан с висячим замком, положил на тумбочку несколько технических справочников, на стенку повесил портрет отца, потом на танцах в парке, в кино стал приглядываться к девушкам и приглядывался целый год: жениться так жениться.

Два раза приглашал он в кино участкового агронома МТС — миловидную девушку с пухлыми детскими губами, которая во время сеанса снимала туфли и засыпала от усталости. Ну разве это жена, если она по целым неделям пропадает из колхоза в колхоз? Потом ему приглянулась

примадонна клубной самодеятельности — крупная девица, сильным контральто певшая арии из опер. Но та весь вечер проговорила с ним о своих планах на будущее, связанных с Московской консерваторией, и он подумал: «Э-э-э, лучше синицу в руке, чем журавля в небе...» Провожал он несколько раз после танцев кассиршу промтоварного магазина, и та очень нравилась ему — спокойная, ласковая, мягкая, — но у нее было такое количество меньших сестер и братьев, что маленький домик их на Набережной улице был похож на детский сад. Где же тут поселиться еще и молодоженам? И Глеб всем этим девушкам сказал одно и то же:

— Останемся друзьями.

Елку Половодову он случайно встретил на улице в солнечный, сверкающий капелью день ранней весны. Ах, что за весны бывают на земле! Морозным красным днем по наезженной дороге скакал боком блестящий грач, долбил и подбрасывал крепкие комки, потом вытянулся, разбежался, полетел, и, словно вдогонку за ним, сорвался откуда-то тяжелый ветер. На чердаках, почуя его, заорали хриплым мясом коты. Ветер быстро нагрудил мокрых облаков, дул весь день, всю ночь, взноздрил снега, а еще через день сломал на реке лед. Точно тешась своей удалью, шальной и разбойный, он носился по улицам, мотал на скрипучих петлях ворота, подхватывал юбки, а когда сквозь облачное мутиво опять проглянуло солнце, завалился куда-то за реку, в словый лес, в чащу, в теплую сырь и запах. И уж давно сбежали по оврагам ручьи, уже пылили дороги, земля взгоняла яровые, а Глеб все вспоминал тот день, когда он случайно заглянул в глубокие синие глаза и, как доктор Почемуев, тоже ахнул в радостном изумлении.

Нашел он случайно, и познакомился с ней в клубе на танцах, и проводил до ворот, и был в воскресенье дома, и всем там понравился спокойный, рассудительный, трезвый. Ему тоже понравилось у Половодовых, и только одно смущало его в Елке — уж очень красива. Красивая жена — чужая жена.

Глеб докурил папиросу, пригасил окурок каблуком и пошел спать.

А Елка в ту ночь бродила до рассвета. Как только стихли за углом шаги Глеба, она тоже пошла, сворачивая из улиц в улицу, отдыхая на лавочках у незнакомых ворот, прямо в туфли в холодной утренней росе... Было уже совсем светло, когда она увидела себя на базарной площа-

ди. У ног ее дрались, безобразничали воробьи. Базара здесь давно уже не было, но все до сих пор напоминало о нем. Его следы хранило и само название площади, и архитектура окаймляющих ее зданий, и блестяще-круглые камни мостовой, источавшие специфический базарный запах истертого в пыль навоза и сена, и даже эти драчливые воробьи, и большая витрина моментального фотографа. В ней на покоробившихся от жары карточках, в кривобоких сердечках, осененные кудрявой надписью «Люблю навеки» застыли молодые парочки, отпускные солдаты и сержанты; был один моряк; был полузадушенный галстуком жених с бумажным цветком в петлице — и все они кого-то любили, любили пожизненно, навеки.

«Во все лопатки», — вспомнила Елка и вдруг засмеялась глубоким счастливым смехом.

9

Иван Власыч проиграл Боре третью партию подряд и обиделся.

— Где это, бррат, ты насобачился так играть? Или я уж старею, что нет того проворства в мышцах?

— Уметь надо, — подтрунивает Боря.

Они сидели в маленьком саду, с ухода за которым обычно начинался летний день Ивана Власыча. На первый взгляд с деревьями он обращался грубо, насильственно — резал ветви, обрывал цветы, — но они отвечали на его вмешательство в их природу бурным взрывом жизненных сил. Боря еще в детстве любил бывать здесь и слушать яростные споры отца с доктором, в которых ничего не понимал, но которые его всегда так смешили, потому что, казалось, отец и доктор вот-вот начнут драться, а вместо этого они вынимали папиросы и предлагали друг другу зажженную спичку. Милое время, такое далекое, что кажется, будто было все это не с ним, а с каким-то другим, хоть и очень знакомым, мальчиком!.. Разве мог тот мальчик вот так, с полным сознанием своего равенства и даже с иронической снисходительностью к чудачеству старика, спросить доктора:

— Ну как, Иван Власыч! Не накатывает пока?

И разве мог с серьезной откровенностью старый доктор поделиться с тем мальчиком:

— Из последних сил крепюсь, бррат Бориска.

В общем Иван Власыч много работает, подвижен, жизнеобилен, но иногда годы все-таки дают себя знать.

— Опять, брат, киснуть начинаю,— говорит он.

В такие дни его раздражают все — больные, сестры, няньки, — и начинает думаться, что времени его на земле осталось мало. И тогда он прибегает к испытанному средству. Он берет небольшой, дня на три, отпуск, уходит из дому с мешочком за плечами, идет, куда ветер лист несет, без ружья, без удочек, потому что он слишком азартен,— говорит он,— и охота поглощает меня всего, я становлюсь слепым и глухим, а мне надо видеть, мне надо слышать, мне надо трогать и нюхать... Сначала он приходил на пристань, где о размочаленные бревна трется боком его фрегат «Паллада», его «Беглый», его «Бель Ами» — маленький катерок «Ракушка». Потом слезет на какой-нибудь стояночке поглуше, махнет с вещи рукой и уйдет в леса, поля, в даль и ширь, пока не подстережет его где-нибудь на перекрестке дорог необходимая для жизни тоска, которой всегда кончается одиночество,— тоска по живому человеку.

— Значит, накатывает?

— Подступает, брат.

Кто-то сильно, почти истерически застучал на улице в окно.

— Не заперто! — крикнул Иван Власыч.

И его рука инстинктивно сдернула со спинки стула чесучевый пиджак, потому что он привык к тому, что за таким стуком обычно следовал вызов к больному. Распахнув калитку и позабыв закрыть ее, в сад вбежала Елка Половодова.

— Отец? Что? — отрывисто спросил доктор Почемуев и сильно потряс ее за плечи, потому что она не отвечала, глядя на него полными ужаса глазами.

— Он, кажется, умер... — сказала наконец Елка.

В экстренных случаях здесь по старинке обращались не в «Скорую помощь», а прямо к доктору, и поэтому Иван Власыч всегда держал наготове чемодан со шприцами и медикаментами.

— Воды со льдом кран,— коротко бросил он Борису, ушел в дом и тут же появился опять со своим неотложным чемоданчиком.

В городке все было недалеко, и, наверно, поэтому здесь редко вызывали доктора, пожарники и милиционеры. Но Роману Половодову их расторопность была уже ни к чему. Иван Власыч прошел из половодовского дома, не открыв чемоданчика, посмотрел на пышную траву, на поникшую

к вечеру темную листву сирени и подумал, что перед лицом случившегося он уже не врач, а только старый заказчик портного, которому он вскоре отдаст последний поклон у гроба и будет донашивать сработанные его руками вещи, пережившие мастера.

— Ну, брат Елушка,— ласково и горько сказал он,— ты надейся на свою молодость. В ней найдешь силы пережить это горе. Как согнутая ложинка, выпрямишься и опять закачаешься радостно на вольном ветру. Я старик, мне тяжелей видеть смерть, а видел я ее много и дважды был уверен, что моя очередь. И оказалось, что страха нет. В первый раз подумал о близких, о том, как им тяжело будет. А во второй раз почувствовал злость и раздражение: устроено же, дескать, так на белом свете! Нет страха и теперь, когда спокойно думаю о будущей встрече, и только жаль, что многое недоделано в жизни... А теперь, брат, пойдем-ка со мной. Не надо тебе сейчас быть здесь.

По дому и по двору уже деловито сновали какие-то старухи с поджатыми губами, тащили газы, корыта, шепотом спорили о похоронах, о поминках и были отвратительны в своем упоении этой деловитостью. Елка вспомнила свадьбу, и ее с ног до головы передернула нервная дрожь.

— Пойдемте,— сказала она.

Боря все еще был в саду и, когда они вошли, порывисто повернулся навстречу. Он понял все.

И без суеверия, без бодрячества, с пониманием истинной глубины горя, с искренним сочувствием ему двое мужчин — старик и юноша — отдали Елке все свое внимание и заботу.

10

Лето было ясное, жаркое, обильное солнцем, но вот на несколько дней повисло ненастье, а потом с полудня опять вдруг стало открываться небо, но глубже, прозрачней, холодней — и это уже пришло бабье лето.

В эти дни последнего тепла Елка готовилась к отъезду из Ульева. Она жила теперь на Садовой в доме Анны и, не находя ничего, что могла бы искренне пожалеть здесь, собиралась в дорогу с радостью и нетерпением. Боря прислал со стройки уже несколько писем, на все лады расхваливая независимую рабочую жизнь.

— Значит, со стервой не хочешь судиться? — уже не в первый раз спрашивала Анна Елку, но та наконец переста-

ла отвечать ей, и Анна только качала головой: — Дура и есть дура, что скажешь! Но я это дело так не оставлю! Я стерву по судам затаскаю! Я ей покажу дарственную!

Был ясный, свежий с утра день. Перед дорогой на минуту присели, чтобы соблюсти внешнюю добропорядочность проводов, шли до пристани молча, отчуждению, и только когда внесли в каюту катера чемодан и опять присели на узкий кожаный диванчик, Анна, всхлипывая, ткнулась Елке в плечо.

— Ты не осуждай меня, милая. А о нем не жалей. Не стоит он того, чтобы ты о нем жалела. Зачем тебе такая дрянь? Ты красивая, найдешь другого, а я и этому рада, мне деток хочется.

Елка сначала только брезгливо отводила плечо, но потом тоже расплакалась и обняла Аллу.

С тех пор, как Глеб сказал ей: «Останемся друзьями», — словно какой-то хрусталик, пропускающий через себя жизнь, сместился в ее сознании. Жизнь полилась грязным густым ленивым потоком, и она никак иначе не могла воспринимать ее, мучилась этим, стала искать одиночества и постоянно кривила губы в брезгливой усмешке. Однажды она пошла опять на кладбище, увидела тех самых голубей, парящих в небе, и вдруг неудержимо разрыдалась прямо на дороге.

— Что же они со мной сделали!

Совсем еще недавно любила и этих голубей, и свой просторный дом с квадратами солнечного света на полу, и отца, и некрасивую Аню... И вот эта любовь оказалась опоганенной, оскорбленной, вытравленной. А что такое человек без любви? Чем он еще-то привязан к жизни?

Тогда она решила уехать из Ульева навсегда.

А Глеб и Анна готовились в эти дни к своей свадьбе. Он, не стесняясь присутствием Елки,— ведь они остались друзьями! — приходил в дом, обсуждал с Анной, что надо купить, сколько надо потратить, кого надо пригласить и как ущемить в будущем стерву Лишку Мурыгину, влакущую теперь половодческим домом.

Он был доволен собой, чувствуя, что Анна будет той самой женой, какая ему нужна — заботливой, домовитой и верной. К этому выводу он пришел давно, с тех пор, как стал бывать на Садовой улице и узнал, что, по сути дела, успел купить для нее дом, а денег в третьей доле доста-им с Елкой и жить-то будет негде — ведь старик так и не лось ей сущие пустяки. К тому же некрасивая Анна по-

своему влекла его к себе — такая крутотелая, большая, одетая во все короткое и узкое,— и, увидев ее раз, он потом весь день чувствовал какое-то нездоровое неудовлетворение. И он был очень доволен собой за то, что не давал Елке никаких обещаний, как и тем другим девушкам, потому что нарушенное когда-то в Велце обещание запомнилось тем, что легонько царапнуло его совесть.

Катерок протяжно гуднул сиреной.

И когда уже убрали сходни, на причале с рюкзаком за плечами, в гетрах и бутсах на толстой подошве появился вдруг доктор Иван Власыч Почемуев. Команда знала его, и несколько голосов с катера приветственно закричало:

— А, борода!

— Здорово!

— Разбегись подальше по воде!

— Вам только на вышний конец сесть. Не уйдете! — в свою очередь, отшучивался Иван Власыч, разбежался и ловко перемахнул с дебаркадера на палубу катерка.

Катерок резко побежал вниз. Сначала он удалялся от городка, но вдруг стал опять приближаться и долго петлял по извилистому руслу реки, очень хитро путал следы свои.

Иван Власыч и Елка стояли на палубе.

— Средний!.. Тихий ..— слышался в рубке голос штурмана.

Затуманенное красное солнце спускалось в луга и гривы левобережья. Справа, где был городок, оно дробилось на сотни солнц, отраженных окнами домов, и нежнейшим розовым отблеском ложилось на строгую белую, как невеста в кружевах, церковку.

— Прав я, брат, оказался. Вот и порвалась цепь,— говорил Иван Власыч.— Я, брат, если хочешь знать, в революцию пошел потому, что она силой своей меня очаровала,— чуял, прихлынет она мещан, вот и пошел. Мещане, брат, это гниль. Каждый сам по себе мелок, а скопом могут чистое тело жизни опаршивить. Но ты, брат, думаешь, мы его совсем прихлопнули? Черта лысого! Российский мещанин ушел в подполье. Он лишен опоры — собственности и государства, охраняющего ее,— он затаился, но гнилая мораль его еще заражает воздух. У него, брат, еще есть сила. Медленная, тупая сила болота, которое, только недоглядишь, затянет ложбинку и пойдет... Будем противостоять этой силе!

Елка даже голову откинула, глядя вдаль перед собой,— эти слова возвышали ее, настраивали торжественно, даже сурово, как гимн.

Доктор умолк, сел на сверток каната, дыша взволнованно, часто, так, что отлетали усы. Потом постепенно успокоился и, глядя на удалявшуюся церковку, думал о старшине, о воинственном князе Федоре Пестром, заложившем ее на крутом берегу, и, как обычно, старался зримо представить его себе. Вот он — рябой, с колючими глазами, скуластый, в шапке из куницы, пойманной за рекой,— сидит на гнедом коне впереди дружины. В нехоженом лесище скрылась дружина, и вдруг... Чу! Где-то за лесным угром гикнули, завизжали всадники, заржали татарские кони, и полетели через городские стены огненные стрелы. Гонец — бражник и озорник Еропка — ужом пополз по оврагу: «Воротись, князь!..» А над городом уже воет пожар, клубится на ветру черно-красный дым. Уже идут, спотыкаясь об острые камни, босые, полонянки,— «Воротись, дружина!» — и среди них девушка с разметанной по плечам русой косой печально смотрит синими глазами Василисы Прекрасной... Долго смотрит на него милыми глазами Елки Половодовой...

— Жизнь! — сказал доктор.— Л-люблю!

А когда Елка просыпается рано утром, его уже нет на катере. Она идет босая, поджимая пальцы, по вымытой, еще сырой и прохладной палубе; матрос, зачерпнув воды ведром на веревке, дает ей умыться; и это обыкновенное утро с золотистыми облачками на востоке, с криком чаек над рекой, с маленьким черным жучком, пробирающимся куда-то по спасательному кругу, исполнено для нее величайшего смысла, потому что сегодня она, как это говорится, начинает новую жизнь.

И сама река уже не та. Она приняла в себя, как много других рек, и Елкину речку,- в ней нет ни капризных излук, ни мелководных тинистых стариц, ни спокойных заводей с белыми лилиями и желтыми кувшинками, ни плакучих ив, склоненных над водой. Бутылочно-зеленая вода с радужными разводами нефти монолитной массой стремится вниз. Катерок обгоняет белые стройные красавцы дизель-электроходы, закопченные буксиры натужно тащат плоты, от которых пахнет винный запах распаренной коры, покачиваются широкие, как черепахи, самоходные баржи.

И не всему даже находится у Елки название, что видит

ее глаза. Сходит она на пристани, заваленной крепко сбитыми ящиками с надписью «Не кантовать!», огромными катушками освинцованного кабеля, металлическими прутьями, свертками каната... На берегу экскаватор, словно громадная птица с длинной шеей, методично клюет хрусткий щебень, выплевывая его в грузно осевшие кузова самосвалов. На широком плёсе реки не спеша ворочается, лязгает, скрежещет какое-то громоздкое плавучее сооружение, неутомимо гоняя цепь ковшей с кусками жирного зеленовато-черного ила. А правей и выше берег разорван, искорежен, вспорот, и там слышится тяжелое урчание многих машин, стук металла о металл, и катятся в небо валы пыли, окрашенной восходящим солнцем в желтый и розовый тона.

Елка смотрит на свою загорелую ладошку, пересеченную белым рубцом от чемоданной ручки, — ей вечного страшно и одиноко в этом незнакомом мире и не верится даже, что люди могут здесь любить, веселиться, грустить, а должны только работать, стучать железом о железо, трещать моторами и чадить бензиновой гарью. Но, упрямо сжав губы, она идет дальше. Она еще не знает, в каком шлакоблочном доме и какую открыть ей дверь, не знает, что сказать новым людям, кроме «здравствуйте», но здесь есть Боря, и он-то уж, наверное, знает все и научит ее. А раз есть Боря, есть Иван Власыч, она спокойна. Раз они есть, она верит, что будет и в ее жизни и любовь, и грусть, и радость, придется работать за десятерых, а может быть, и страдать до отчаяния... Хорошо, что они есть.

1960

Живая вода

Родина. Что скажет о ней дитя ее, что откроет,— не откроет чужой, прохожий человек. И то, что увидит чужой, не знает рожденный на ней.

М. Пришвин

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В низовьях реки Клязьмы до сей поры стоит на берегу избушка, в которой жил некогда бакенщик Алексей Ефимович Бударин, или попросту дядя Леня.

Был он уже в преклонных годах, когда сидели мы с ним однажды вечером на обрубке бревна возле избушки и смотрели на реку. В ногах у нас дотлевал маленький нежаркий костер. Тяжелая майская вода бежала широко и стремительно, пенно завиваясь у берегов. Мглистые болота, ольховые крепи и дубовые рощи левобережья медленно затягивали натрудившееся за день солнце.

— Посмотри-ка, чегой-то там плывет? — спросил дядя Леня, глядя из-под ладони на речной плес.

Я посмотрел и ахнул:

— Лось!

— Лось! Право, лось! Вот ведь беда — лось! — заволновался дядя Леня.

Выставив из воды горбоносую, увенчанную широкими, как чаша, рогами голову, лось преодолевал напористое стремление воды. Вот он уже ступил на дно, мощным рывком вынес из пенистой воды грудь, вышел на берег, отряхнулся и медленно зашагал в глубь поймы. Много величия, силы и даже как будто сознания своей красоты было в осанке этого заповедного зверя, и дядя Леня весь как-то потянулся к нему, упираясь руками в обрубок бревна. В это время за излобом реки коротко и резво рванул тишину поймы пароходный гудок. Лось метнулся, вскинул голову и, все убыстряя бег, помчался к лесу, без усилия выбрасывая тонкие, с широкими копытами ноги в белых чулочках.

— Вот бы мне лосиные-то ноги!..— с каким-то томлением сказал дядя Леня.— Всю бы землю напоследок обежал. Так бы и стеганул по болотам, по гарям, по лесам...

Он сразу обмяк и маленьким комочком свернулся над костериком.

С тех пор часто бывало, что мы поглядим друг другу в глаза, и я спрошу:

— А что, дядя Леня, вот бы лосиные ноги?

Он так и встрепенется весь:

— Умрилея бы по болотам — ух!

В то время я давно уже собирался в новое путешествие по древней владимирской земле, моей родине, но всегда какие-то дела и заботы житейской повседневности мешали мне.

«Время свистит над головой — только шапку держи, чтоб не сдуло,— подумал я.— Далеко ли те годы, когда мне придется мечтать о [illegible]»

И в то же лето, кинув за плечи рюкзачок, уже шагал навстречу ветерку по пути, предопределенному всей моей предыдущей жизнью, и снова спустя десять лет повторил его на лодке.

Зачем я пошел и чего искал? Кому-нибудь этот вопрос, может быть, покажется лишним: ты, мол, писатель, вот и пошел «собирать материал», кропать вечным перышком в записной книжке [illegible] наблюдения. Но такой нужды у меня не было, и я ни в тот, ни в другой раз не искал никакого «материала», не делал никаких записей, а просто нуждался в непосредственном ощущении родины — ее людей, неба, солнца, ветра, рек, озер, болот, лесов, лугов, полей... И эта маленькая повесть есть не что иное, как отрывочки с воспоминания о тех днях счастливой близости к ним.

КЛЯЗЬМА

Оба раза путь мой лежал вниз по Клязьме. Выбор его был для меня естествен. Кого, выросшего на любой реке, не манила она вниз к неизведанным своим излучинам, перекатам и плесам! Вспоминается мне наивное детство, когда надо было непременно иметь с друзьями общую тайну, чтобы эта тайна скрепляла дружеский союз. А жизнь была проста и не дарила мальчишек никакой, хоть самой завалящей, тайной. И тогда трое мальчишек выдумали ее сами. Каждый надрезал около большого пальца руку, выдавил капли крови и расписался ею в

клятве отправиться на будущее лето в путешествие по Клязьме.

Один из мальчишек переусердствовал: размахнул ру-ку так, что пришлось перетянуть ее жгутом и бежать в больницу. Врач, накладывая швы, качал головой:

— Хлеб резал! Как же ты ножик-то держал, пострел? Отец есть? Мать есть? Вот и скажи им, чтобы сняли с тебя штанишки да чик-чик, чик-чик... В другой раз не станешь баловать.

Кровавая клятва была вложена в бумажный цветок и спрятана в вентиляционную отдушину, чтобы летом быть вынутой оттуда и приведенной в исполнение.

Но жизнь рассудила по-своему. Был ветреный летний день. По улицам, вихрясь, носилась пыль, в лицо хлестало колючим песком, и как-то остро, неприятно блестели стекляшки, всохшие в подметенную ветром землю. Мальчишки в тот день ходили по родительскому заданию то ли покупать электрический утюг, то ли отдавать в починку часы. На мосту через железную дорогу им попались и тущие на обед рабочие, они были возбуждены, шли большими толпами и все повторяли слово, которое до сих пор означало для мальчишек игру, а теперь раскрывалось в истинном своем смысле: «В-о-й-н-а»...

Так еще детской клятвой был предопределен мне путь по Клязьме.

Я видел много российских рек и вовсе не по пристрастию туземца могу сказать, что Клязьма с ее притоками Киржачом, Пекшей, Воршей, Колокшей, Нерлью, Судогдой, Нерехтой, Уводью, Тезой, Лухом, Суворощью и другими, более мелкими,— один из самых красивых речных бассейнов средней России. Все эти реки и речушки не похожи друг на друга; одна бежит, прозрачная до дна, студеная летом и незамерзающая зимой; другая медленно, едва заметно влачит сквозь камыши и темные ямы свою зеленую воду; третья несется через смуглые пески, через лесные завалы изжелта-коричневым пенным, водоворотным потоком; четвертая серебристой чешуйчатой змейкой вьется в ромашковых и лютиковых лугах, ныряет под мосточки, тоненько звенит в проселеневших сваях старых плотин и мельниц...

Я давно замечал, что река, вблизи которой вырос человек, откладывает своеобразный отпечаток на его характер. Даже глаза щурят по-разному волжане и дончаки, днепровцы и уральцы, клязьминцы и десенницы. И если

говорить о Клязьме, то я сказал бы, что она вплетает в характер человека какую-то лирико-меланхолическую жилку, начинающую нежно вибрировать от соприкосновения с природой даже в каком-нибудь отчаянном ковродском ушкуйнике, кому, как известно, сам черт не брат. Что тому виною? Медленные рассветы в розовом тумане, ветреные полдни с грудами золотисто-синих облаков на горизонте, крик перепела во ржи бледным вечером июля или переливчатые звезды в черном провале августовского неба?..

Все эти чары есть, пожалуй, и у других рек, но есть, есть у каждой из них своя, одной ей свойственная сила, которую поди-ка разгадай и назови!

О Клязьме, пересекающей Владимирскую область с запада на восток, я мог бы рассказывать бесконечно, потому что она пересекла и всю мою жизнь, но только в обратном направлении — от мальчишеских рыбалок на неприхотливую уклейку до [illegible] мыслей на ее берегу в седой теперь уже голове. Но впереди и без того о ней еще много, много скажется потом.

МЕДУНИЦА

Весна в самой зрелой [illegible] цвет цветет медуница. В плену у водяного царя по ней новгородский гость Садко:

Теперь, чай, и птицы и всякий зверь
У нас на земле веселятся,
Сквозь лист прошлогодний пробиваясь, теперь
Синеет в лесу медуница.

И такое это время, что не только пленного гостя — нынешнего свободного человека точит червь. Ходит он взъерошенный, говорит невпопад и все поровит или дров на свежем воздухе поколоть, или с женой поругаться. Счастливей тот, у кого в душе живет охотник. Тот хватает ружье, и помчал как вихрь. Возвращается он успокоенный: бродяга в нем уполз, и опять в семье — мир, на душе — покой, на лице — улыбка.

Одним из таких дней и был тот день, когда сидели мы с дядей Леней на обрубке бревнышка возле костра. А вскоре, собрав вещевой мешок, купив фуражку с каким-то вопиющим клеймом на подкладке «Кепи-спорт», я двинулся в путь.

Пестрый летний базар встретил меня шумом, духотой, сенной и навозной пылью. Здесь вперемешку стояли лошади, грузовики, тележки; несступленно визжали поросята; поодаль от мясных, молочных и овощных рядов толкалась барахолка. Молодой человек, размахивая трикотажной рубашкой, кричал с кавказским акцентом:

— Бобочка! Бобочка! А вот персидская бобочка!

Кучка охотников, жарко дыша друг другу в затылки, разглядывала ружье. Пожилая колхозница долго старалась заглянуть через их головы, вытягивала шею, подпрыгивала и, наконец, потянула одного охотника за рукав.

— Милай, чегой-то тута продают?

Тот медленно повернулся, окинул ее ленивым взглядом и сказал:

— Аэроплан.

— А вот свежее! А вот, молодчик, утрешнее! — наперебой кричали молочницы, стоило только кинуть в их сторону обнадеживающий взгляд.

Я искал попутную машину, чтобы выехать за черту города. Наконец шоферы показали мне на грузовик, который уже подрагивал от конвульсивных усилий мотора.

— Подвезн! — крикнул я издали шоферу.

Бывает так — знаешь человека с детства, а он идет мимо и отворачивается. Хочешь кивнуть, ищешь его глаза — нет!

Так и этот шофер, мой одноклассник, отворачивался, а когда, наконец, столкнулся со мной лицом к лицу и отвернуться было нельзя, сказал:

— Зазнался. В шляпе ходишь.

— Постой, Пашка! — оторопел я.— При чем тут шляпа?

— А при том, что ученый стал — зазнался.

Потом мы долго молчали, очень недовольные друг другом. Пашка, казалось, всецело сосредоточился на преодолении валких районных дорог.

— А у меня как не задалось в седьмом классе с немецким языком, так с тех пор и не учился,— сказал он наконец.

— Жалеешь?

— А чего? Вот сейчас ждет меня на дороге мужичок, дровишки ему надо перебросить. Полтораста возьму.

— Значит, сытно живешь?

— Хорошо. Жена пятьсот получает, я — сот девять. Да калым на машине всегда есть. Дом купил.

— Ну, Пашка, ты счастливый человек,— сказал я.— Один мой приятель по немецкому языку вот как лихо учился — в шляпе теперь, вроде меня, ходит, а нет у него ни дома, ни жены, ни калыма.

— Не везде калым бывает,— рассудительно заметил Пашка.— Что он делает-то?

— Адвокат.

— Неужели нет калыма?

— Нет.

— Ну и дурак твой приятель.

Машина встала, осаженная хваткими тормозами.

— Вот мой мужичок голосует,— сказал Пашка.— Шагай теперь сам. Я оглянусь в нее поверну.

И я шагаю.

КЛЯЗЬМИНСКИЙ ГОРОДОК

На высоком берегу Клязьмы, взметнув к облакам колокольню старинной церкви, стоит Клязьминский городок — древний Стародуб, некогда удельный город князей Стародубских, Рюриковичей, от которых пошли Пожарские и прочие известные на Руси князья, а первым в Стародубе был посажен седьмой сын Всеволода Большое Гнездо — Иван.

Был Стародуб рушен и татарами, и поляками, и просто временем, но поднимался снова и стоит поныне под именем Клязьминского городка. Снизу, с берега, приходится задирать голову, чтобы высоко на круче увидеть его дома и колокольню, окруженную березами, липами и вязами. Наверху домам стало тесно, они сползли вниз крутыми улицами, а внизу их как бы остопоривают кирпичные корпуса текстильной фабрики.

Эта фабрика всегда оттягивала из колхоза рабочую силу, и до объединения здешний колхоз иронически называли «Семь Петров», потому что в нем было только семь мужчин и все Петры.

В сельском Совете я не застал председателя, моего давнишнего знакомого. Когда-то он руководил богатым соседним колхозом «Красное знамя», но вдруг выиграл по двум облигациям сразу восемьдесят тысяч рублей, купил в городке дом, перевез туда семью, а колхозные дела за-

пустил. В городке все-таки выбрали его председателем Совета...

В большой прохладной комнате сидели за столом две ответственные девушки, был еще какой-то парень не у дел и молодая мамаша, санитарка больницы, пришедшая регистрировать рождение дочки Леночки.

— Хорошее имя,— сказал я.

— Редко сейчас называют Еленами,— заметила одна из ответственных девушек.

— На святую Елену родилась, вот и выбрали,— улыбнулась мамаша, прикрыв скуластое личико девочки с пористым носиком.

— А кто отец?

— Газосварщик в МТС.

Я невольно улыбнулся. Святая Елена и сестра милосердия как-то еще вязались, а вот газовая сварка явно портила весь ансамбль.

Мне давно уже мозолил глаза большой стандартный плакат с жирной надписью: «Изучайте и охраняйте исторические памятники!» Под верхним плакатом от руки было написано чернильным карандашом: «Граждане села Клязьминский городок, бывшего удельного города Стародуба! Вы живете в историческом месте!»

— А какие у вас исторические памятники? — поинтересовался я, когда мамаша ушла.

— Какие? — равнодушно переспросила ответственная девушка.— Церковь... Бугры да ямы

— Как же называется эта церковь?

— Не знаем.

— Ну, а охраняете вы ее?

— Как же! Сторожа охраняют. Там пекарня, склады.

Таков был для меня урок краеведения в Клязьминском городке.

СЛАВА

Девушки, ходившие к Клязьме на ключ за водой, озорно сверкнули на меня из-под платков белозубыми глазами, и одна из них сказала:

— С полными ведрами вас встречаем. К счастью.

И это было действительно счастье, когда за мелколесьем обрывисто открылось все сразу — и поднебесно обрывистый берег, и серебристые чайки над ней, и даль вокруг Клязьмы с серебристыми чайками над ней, и

кипень дубовых рощ, и груды золотистых облаков, и глубокое, словно пьющее глаза твои, небо.

Когда у изгиба реки я подошел к лесу, невидимая в чаще птичка сказала мне:

— Добро пожаловать.

Я усмехнулся этой совсем детской догадке и остановился послушать: если пискнет еще раз — значит, пищит просто так, по птичьей надобности, а промолчит — значит, на самом деле приветствовала меня. Она промолчала, и я, осчастливленный еще больше, зашагал вперед. Дорога вела дубовым лесом, где еще сохранились крупные ландыши. Здесь стояла парная духота, вились тучи комаров, и хотелось поскорей выбраться к речному простору, чтобы опять с головы до ног обдал свежий ветер. Наконец он мягко пахнул в лицо.

У прорвы, как называлось это место Клязьмы с отходящей от нее заросшей старицей, сидели на берегу неводники. Когда я подошел к ним, они не спеша докуривали, собираясь дать ход неводу. Они ждали меня, похватывая дымок из коротеньких цигарок, и один спросил:

— А ты, случаем, не Никитин?

Я почувствовал, что улыбаюсь смущенно и самодовольно: вот ведь узнали меня читатели, эти заросшие недельной щетиной, пропахшие тиной и чешуей рыбаки!

— Точно, он,— признался я.

— Похож,— сказал рыбак

И другой сказал.

— Похож.

И третий подтвердил, что да, похож, пояснив при этом:

— На братишку, говорят, своего похож, на Гошку. Он только-только тут с нами был, в Ивлево пошел. А знаешь, почему так называется — И-вле-во?

— Нет,— обескураженно ответил я.

— Жила тут раньше барыня. Вот в Москве она и звала к себе гостей: доедете, мол, до Коврова, потом до Репников — и влево. Так и получалось — Ивлево.

Я поднимался молоденьким березняком на высокий берег к этому самому Ивлеву и посмеивался над собой. Все относительно! И на этих берегах имя моего двоюродного брата Гошки, искуснейшего, удачливого и вездепролазного охотника и рыбака, куда громче любого литературного имени. А сам я, конечно же, всего лишь похож на него.

ГОСТЕПРИИМСТВО

Деревни гостеприимней городов. В деревне можно постучать в любой дом, и это в порядке вещей, а в городе, потому что в нем есть тесная гостиница с запахом карболки и дуста, это считается неприятным и даже предосудительным.

Усталость как-то свалила меня под шиповым кустом на песчаной косе. Сапоги мои были в пуху одуванчиков. Убранное цветами шиповника, ликовало первоначальное лето; медовый зной струился над лугами, и с широкого речного плеса доносился дремотный плеск, каким дышит в полдень всякая река и слушая который хорошо лежать без мыслей на смуглом прибрежном песке, смотреть в глубокое небо, следить, как тают в нем облака, уплывают куда-то и возникают вновь — чистые, белые, легкие...

Под вечер на песчаную косу пришел истерзанный комарами рыболов, расспросил, куда иду, и стал уговаривать, словно давнего знакомого:

— Зачем тебе куда-то тащиться? Живи у нас, рыбу станем ловить. Не хуже мы, наверно, других.

Вскоре я уже сидел в просторной кухне за выскобленным до янтарной желтизны столом и пил кисловатый грушевый чай.

Встретив корову, вернулась хозяйка.

— Вы на берегу нашим бабам бумагу показывали? — спросила она.

Я вспомнил, что просил колхозниц, расчищавших капустное поле, показать мне по карте дорогу.

— Вот дуры,— осторожно сказала хозяйка.— Гомонят по деревне, что у нас человек подозрительный: дорогу не знает и никуда не торопится.

— Да-а-а,— задумчиво протянул хозяин.— Был у нас случай, нашла моя собака в лесу парашют.

Помолчал и как бы невзначай рассказал еще случай.

— В войну объявился тут поп. Гадатель. Бабы, известно, к нему валом валят. Интересуются про мужей да сыновей узнать. Руку давал им целовать... А потом обнаружилось, что он в парике. Рыжий такой детина, молодой. Ружилось, что он в парике. Рыжий такой детина, молодой.

Потом привалило в избу сразу человек двадцать, и тут получилось совсем по Твардовскому:

„Ну что ж, понятно в целом,
Одно неясно мне
Без никакого дела

Ты ездишь по стране.
Вот, брат! — И председатель
Потер в раздумье нос.—
Ну, был бы ты писатель,
Тогда другой вопрос.

И надо же было видеть, как обрадовался мой гостеприимный хозяин, когда оказалось, что гость по всем документам и есть писатель.

— Эх, бабы! — сказал он и покачал головой.— Все вы балаболки и трясогузки.

А потом нарочно уговорил меня выйти и до потемок просидел со мной на завалинке.

ЖАРКИЙ ДЕНЬ

В тот день я поднялся рано и сразу за деревней, как в коридор, вошел по узкой тропке в росистую рожь. Здесь кончалось прохладное поречье, и теперь меня долго будут сопровождать на пути ржаные поля, пыльные картофельники, будет палить солнце, и только изредка накроет своей тенью какая-нибудь узенькая тучка, овеяв легким ветерком.

Из-за синей кромки далекого леса уже вставало солнце. Оно, как фокус огромной линзы, наведенной на небесный свод, становилось все меньше, все горячей, и казалось, что небо вот-вот задымится и вспыхнет в этой ослепительной точке маленьким язычком пламени. Какой-то жаркий, тяжелый вставал день.

В нескончаемо длинной попутной деревне под плетнями истомно стонали в лопухах куры; мутноглазые собаки вяло тявкали из-под крылец.

Даже легкая «кепи-спорт» тяготила меня. Я снял ее и подумал в тоске: «Дождя бы...»

Два плотника, покуривающие на срубе, заметив меня, подмигнули и засмеялись:

— С праздника-то шапка всегда лишняя.

Я вспомнил, что вчера мимо меня, пыля и грохоча, прокатила телега с нарядными парнями и девчонками. Один из парней завалился на спину, задрыгал ногами и хмельно крикнул:

— Престол нынче! Гуляем!

Вот и меня плотники, должно быть, приняли теперь за похмельного гуляку, которому и шапка-то на голове тяжела.

ПРОБЛЕМА

В пути достала меня телеграмма из редакции одного журнала: «Просим написать острый проблемный очерк о современной деревне».

На выходе из Кочетихи, как поверпуть к селу Троицко-Татарову, я попросил в крайней избе напиться. Все признаки указывали на то, что хозяин был прибит гой чугунной похмельной тоской, когда не только в каждой телесной жилочке человека, но и в бесплотной душе его до того погано, словно он предал, ограбил или убил кого-то. Сидел он на крыльце помятый, в распущенной рубахе, свесив босые ноги с корявыми коричневыми пятками, а рядом жена, похожая на татарку, собирала щепки и точила мужа, как ржа железо. Поэтому, наверно, хозяин и обрадовался моему появлению. Он вынес кружку с квасом и сказал:

— Сейчас все квас дуют.

Я присел на крыльцо. Не торопясь выяснили, кто я, кто он, чей это громадный дом напротив и почему в такую снежную зиму все-таки цветут сады. Василий (так звали хозяина) говорил, а сам все посматривал, как у конюшни мужик закладывал в борону лошадь, неистово матюгая ее.

— Нет, не работники нонче,— подвел он итог своим наблюдениям.— Квас дуют.

Хозяйка вдруг бросила на землю уже собранные щепки и в сердцах плюнула себе под ноги.

— Как бревно посередь дороги у нас престол этот. Наедут — и стоп. Считай, два трудодня корова языком слизнула.

Она опять принялась подбирать щепки, а Василий опасливо покосился на нее и вздохнул:

— Я же сказал, квас дуют. Главная проблема сейчас — опохмелиться, а в сельпо ни четверки. Всю вчерась пили.

— Ну вот тебе и здоровый климат! — возразил я, вспомнив о «проблемном очерке».— Завтра все пройдет, и никакой проблемы не останется. Какая же это главная!

— Верно,— засмеялся Василий.— Главная — картошку прооборонить.

— А потом траву скосить, а потом хлеб обмолотить, а потом ту же картошку выбрать,— подхватил я.— Нет, это не главная.

— Э-э-э, куда ты загибаешь,— протянул Василий.— Погоди, дай подумать.

Он подумал немного, как-то очень своеобразно помогая себе мышцами лба, и сказал убежденно:

— На данном этапе — по десятке нам на трудодень получить. Сейчас по четыре получаем, а надо до десятки достичь.

Однако «на данном этапе» мы не остановились, забрали дальше. И я подумал:

«Да, сколько бы проблем ни перечислили мы, все они будут разрешены Василием или уже разрешены им. И только он сам — главная и вечная проблема».

МСТЕРА

За каждой вещью лежит целый мир, о котором она может рассказать дотошному уму. Кто сделал ее, из чего, зачем, кому она принадлежала, как была добыта — не значит ли действительно открыть мир, загадочный и неповторимый, если узнать все это?

Так однажды рисунок акварелью, висевший у меня над столом в деревянном доме, открыл мне прекрасную душу русского человека, которого уже давно-давно нет в живых... Но о рисунке есть отдельный рассказ. А сейчас это рассуждение об истории вещей нужно лишь для того, чтобы объяснить, как большой разговор начался с маленькой статуэтки.

Это незатейливое изделие художественной керамики, изображавшее зобастого птенца, украшало в Мстере стол художника Игоря Кузьмича Балакина. Заметив, что я рассматриваю статуэтку, жена художника Нина сказала:

— Раньше я работала вот на таких изделиях, ведь я по профессии техник-керамик, а мстерский живописец из меня получился случайно.

— Как же так?

— Да вот вышла замуж во Мстеру за своего Игоря, а керамику тут делать нечего. Попробовала себя на росписи шкатулок в художественной артели, и неожиданно дело пошло. Теперь вот и малюю...

— Нет, ты заметил, как она это сказала! — встрепенулся Игорь Кузьмич.

— М-м-да,— только и нашелся ответить я.

— Вот именно! А знаешь почему?

— Нет.

— А вот пойдем завтра со мной в артель, станет ясно.

Утром мы пошли в артель. Цех живописи представлял собою несколько просторных голых комнат, невольно наводящих своим видом на мысль о том, что вкус и уют должны присутствовать не только в домашней обстановке, но и на производстве, где человек проводит треть своего времени.

За столами самой грубой работы и, мне кажется, очень неудобной формы сидели художники. Во всех комнатах их было около ста. Я не пропустил ни одного, каждому глядел через плечо и со многими разговаривал. Работали они очень напряженно, не тратя много времени на разговоры. Некоторые расписывали сразу две, а то и три коробочки, шкатулки, пудреницы.

Я начинал кое-что понимать. Лишь вчера на витрине, хранящей лучшие образцы мстерской живописи, я видел работы изумительной тонкости, полные изящества, носящие печать несомненного таланта и нежной души. Рисунки были так легки, так хрустально-хрупки, что стекло и дерево витрины казались слишком грубым для них хранилищем, и они невольно сочетались в воображении с мягчайшим бархатным или замшевым футляром.

Другое я видел теперь из-за плеча художников. Что-то увяло в рисунке, хотя он по-прежнему был радужно ярок, что-то исчезло в нем, как будто погасла искра божья.

— Купили бы вы, скажем, такую морду? — грубовато, но с искренней горечью спросил меня вдруг художник Громов, показывая коробочку, расписанную на тему «Что ты жадно глядишь на дорогу?».

Я взглянул. Русская красавица с красной лентой в черных, как ночь, волосах действительно выглядела на рисунке препохабно.

— Мне не все еще понятно, — сказал я Игорю Кузьмичу. — Что же заставляет художников, простите за прямоту, так откровенно халтурить?

И тогда дружный хор голосов твердо ответил:

— Вал.

Расшифровывалось это так. Оказывается, в системе промкооперации художественные артели были поставлены в совершенно одинаковые условия со всеми прочими артелями. Таким образом, артель, делающая, например, скалки, и артель, выполняющая тончайшую творческую

работу, получали план выпуска валовой продукции, просто выходя из механической мощности. Специфика творческого труда в расчет не бралась: может художник физически сделать три миниатюры в день, пусть делает. И получалось в конце концов так, что если двадцать лет назад художник делал три-пять миниатюр в месяц, то теперь, чтобы обеспечить себя минимальным заработком, он должен плодить их по сорок штук.

— Докатились, что и говорить! — вставил свое слово бывший живописец старик Куликов Александр Николаевич. — Вон Паклушка Снятков сразу по четыре коробки пишет. Нам в прежнее время иконы-то не позволяли так писать.

Не нова мысль, что торговля и искусство сочетаются всегда в ущерб последнему. И грозный «вал», который вздымался над искусством Мстеры, еще раз с очевидностью подтверждал ее.

УРОК КРАЕВЕДЕНИЯ

Александр Николаев [illegible] уже не писал: не тот уже был глаз, не та рука. Работал он в цехе черной лакировки, где я и познакомился с ним. Ссутулясь над шкатулкой, он повернул ко мне морщинистое лицо и, быстро метнув из-под очков, оправленных медью, живой взгляд, сказал:

— Заходите ко мне часиков в шесть. Ленинская улица, дом пятьдесят три. У дома — вяз.

И вот я сижу в этом просторном доме, который когда-то знавал более шумные дни. Тогда с Александром Николаевичем жили его сыновья: двое из них погибли на фронте, другие в свой срок разбрелись по белу свету.

Александр Николаевич был первым председателем артели «Пролетарское искусство», в которую сорок лет назад объединились бывшие мстерские богомазы. Свои воспоминания об этих давних годах Александр Николаевич записал в тетрадь под заголовком «Некоторые данные по истории развития мстерских артелей художественных ремесел».

Я приготовился пережить скучные часы, просматривая эти испещренные старческими каракулями страницы, но, едва углубившись в их содержание, уже не мог ото-

роваться до конца. Беллетристическая живость записок прочно удерживала мое внимание.

«10 января 1923 года Владимирский артсоюз прислал на мое имя отношение с просьбой создать группу из бывших иконописцев-мастеров для росписи деревянных изделий, которые могут быть направлены на предполагаемую в 1923 году Всероссийскую сельскохозяйственную выставку...

В марте первые изделия, исполненные созданной группой были отвезены во Владимирский артсоюз. Правление разложило их на большом столе, рассматривая работу каждого мастера в отдельности. Вещи были приняты... За них учинили расчет и дали вторую партию деревянного белья, более изящного. Кроме того, артсоюз в виде поощрения дал авансом под вторую партию работ сливочного масла, крупы и пшеничной муки.

Я помню тот день, когда ехал на двух подводах со станции с этой мукой и маслом. По-праздничному грело теплое мартовское солнце. Очевидно, кто-то передал товарищам, что Куликов, мол, везет вам два воза муки, но товарищи не поверили. Еду я около перелесков из деревни Раменье, а мои товарищи идут меня встречать и, когда увидели, что я действительно везу муки, масла и крупы, пришли в восторг. Александр Федорович Костягин даже сказал:

— Ну, надо еще лучше нам работать. Видно, что нашу работу ценят».

Эта тетрадка оказалась не единственной. Александр Николаевич, видя, что я заинтересовался его записками, выложил передо мной еще несколько тетрадок. В рукописи «Кому принадлежали каменные строения до Октябрьской революции 1917 года в поселке Мстера» была дана яркая сжатая картина дореволюционного мстерского быта.

«Двухэтажное каменное здание по улице Нижней (ныне Ленина) принадлежало Зайцеву Ивану Васильевичу с сыновьями. Зайцевы имели фольго-уборочную мастерскую, но главным их занятием были поджоги складов на реке Тюмбе и в Затоне. В этих деревянных амбарах, стоявших до двадцати штук в ряд, хозяева фольго-уборочных мастерских хранили стекло, краски и другие товары. Сыновья Ивана Васильевича — Митька, Петр (немой) и Ванька — воровали из этих складов, что поценнее. В ночное время амбар очистят и зажгут. За что сын Ваньки пошел в тюрьму и там погиб».

Удивительно много — история, уклад целой семьи, судьба ее отпрысков — спрессовано в этой короткой справке. И так почти о двухстах домах с той же точностью, краткостью и выразительностью.

Надолго остановила мое внимание и тонкая синяя тетрадочка, на которой было написано: «Некоторые сведения о мстерских обрядах и обычаях в XIX — XX веках, до Октябрьской революции».

В наше время обряды почти начисто исчезли из народного быта, кроме, пожалуй, свадебных и похоронных. Живы они лишь в воспоминаниях стариков, которые понемногу уходят, унося с собой сокровища своей памяти. От обряда не остается ничего; его невозможно восстановить во всей полноте по каким-нибудь черепкам, как, скажем, керамическое искусство прошлого. Поэтому обряды надо сохранить в записях — литературных и музыкальных, сохранить с любовью и заботой, как великую ценность, ибо они дают яркое, образное представление о быте народа, дают ключ к пониманию строя его души, образа его мыслей, его эстетических пристрастий, семейных и экономических отношений. Они одушевляют книжную историю народа.

И синяя тетрадочка Александра Николаевича Куликова как раз делает это великое скромное дело. Вот обычай, называемый капустником, как он записан Куликовым.

«Население Мстеры после праздника Воздвиженья, 14 сентября, начинало убирать на своих огородах капусту. До первого октября (по старому стилю) всю ее нужно было обязательно убрать, так как с покрова пастух выгонял на огороды скотину. Кто к этому дню не убрал капусту, тот уже пенял на себя.

Когда начиналась рубка капусты, по обычаю приглашались девушки, подруги. Они-то и рубили ее в больших корытах, становясь по четверо с каждого боку. Во время работы девушки пели, величая в песнях хозяина и хозяйку дома. Тут же проказили и шутили. Если к ним подходил парень, девушки тайком брали из корыта белой капусты, подкрадывались к парню сзади и натирали ему капустой лицо. Парень бежал за девушкой и проделывал то же самое. Никто не обижался. Это почиталось за шутку».

Разве не видишь сквозь эти бесхитростные строки картину хрустально-чистого, подмороженного первыми

утренниками дня, не слышишь стук тяпок, песни девушек, их смех, безобидную перебранку с парнями?..

Время близилось к ночи, а Александр Николаевич все подкладывал мне рукописи. Среди них были записки по истории Мстеры, над которыми он работал уже двадцать лет; история прилегающего к Мстере села Барско-Татарова и других селений мстерской округи; труд, посвященный возделыванию мстерского лука, и, наконец, дневник текущих мстерских событий...

Когда я вышел от Александра Николаевича и шагал потом притихшей ночной Мстерой, все эти дома, калитки, заборы, деревья как-то ожили в моем воображении. Вот дом воров и поджигателей Защевых, обративших эти темные дела в доходное ремесло. А вот дом владельца иконописной мастерской Василия Сосина, который предпочитал держать у себя спившихся мастеров, платя им втридешево. Эти липы и вязы посажены любителем садов и парков фабрикантом Крестьяниновым. А тут жила «художница цветными шелками» Мария Морозова, чьи изумительные вышивки я видел вчера в местном музее...

Я шел и думал о том, сколько интересного и нужного пропадает в забвении из-за того, что редки такие самородные краеведы, как Александр Николаевич Куликов. Ведь краеведение зачастую считается у нас делом, не стоящим серьезного внимания. Это видно хотя бы из того, что в школах оно целиком передано кружкам, которые, как правило, занимаются от случая к случаю и охватывают далеко не всех школьников.

А между тем краеведение нужно не столько как самоцель, но как мощное средство воспитания. Ведь любовь к Родине начинается не с абстрактных понятий, чуждых детскому уму и сердцу, а с привязанности к тому, что повсечасно окружает нас: к вязу под окном родительского дома, к светлой речке, куда бегал в детстве удить пескарей, к сосновому бору, чей шум слушал в ветреный день, ко всем близким и милым людям, кому отдана наша любовь. Поэтому знать природу своего края, его историю, быт, экономику — это значит укоренять в себе любовь к Родине.

КАПЛИ ДОЖДЯ

Однажды, рассказывая Михаилу Михайловичу Пришвину о газетной работе, я обмолвился о том, что в редакции поступает огромное количество стихов непрофессиональных рифмачей, но, как правило, стихи эти малограмотны и бесталанны. Он длинным сравнением по-своему объяснил это явление:

— В лесу, в трудных условиях борьбы за существование, дерево тянется вверх, к свету и вырастает исполином. А на поляне, где хорошие световые условия, лес растет вширь, по земле.

И добавил весьма двусмысленно:

— Вот я в лесу вырос.

По дороге через поле спелой ржи мимо катил красный автобус. Из окон его высовывались пионеры в белых рубашках, махали руками, что-то кричали. И таким юным праздником веяло от всего этого, что и сам потом весь день чувствовал себя счастливым мальчишкой.

Зимой я приехал из Сибири и когда уже ехал на электричке из аэропорта в Москву, то пытался вспомнить все, что видел за эти несколько часов пути. Вспомнил, что ел жареного сига в Свердловске, видел в розовой морозной дымке синие хребты Урала, потом полюбовался красной россыпью огней Казани — и все. Правда, кругом были люди, но, отгороженные друг от друга высокими спинками кресел, они так и остались для меня просто пассажирами — без имени, без биографии, без судьбы.

И мне, под стук колес подмосковной электрички, пришла на память мысль неутомимого землепроходца Короленко о том, что поезда, пароходы и прочие виды транспорта, которые подарила нам цивилизация, отрывают писателя от страны, от ее природы, от ее народа.

Быть может, чтобы сократить этот разрыв, я и шагаю теперь по проселочным дорогам...

Я люблю говорить с деревенскими стариками. Кроме того, что большинство из них — чистейшие родники русской речи, свободной от всякой словесной дряни, вроде «ассортимента», «метиза», «оргвыводов», они еще много знают. Богаты они, конечно, не теми книжными знаниями, которые даются образованием, а теми, что исподволь

накапливаются в течение всей жизни. Они знают, где и как поймать рыбу, как замесить хлеб, как отделить пчелиный рой, вспахать землю и посеять зерно.

Мы часто даже не считаем это знаниями, а между тем они не менее важны, чем алгебра, биология, история или физика.

Парень сидел на крыльце, бил прутиком по широкой штанине и рассказывал, что его друг Васька, перебравшийся недавно в город, влюбился там в актрису.

— Васька в актрису влюбился? — переспросил большой, спокойный кузнец Ватулин с обидой в голосе. — Фу, какое свинство! Ведь она его мизинца не стоит. Хорошая, говоришь, актриса? Все равно не стоит. Ведь Васька в прошлом году на празднике самого меня перепил и на гармони играет так, что душа рвется.

Узнать и понять себя как человека в природе и в обществе — это уже так много, что хватит рассказывать на всю жизнь. Нельзя, однако, смотреть только в себя. Надо переносить свое на окружающих, а от них на себя.

НОЧЛЕГ В ЗАБОРОЧЬЕ

В полную силу полыхало над пыльными дорогами солнце. На многие километры вокруг дремали в полдневном оцепенении поля, и казалось, что все живое, всякая былинка молитвенно просит: «Дождя!»

О, эти косые солнечные дожди первоначального лета! В ясном небе сгустится вдруг сине-серая дымка, и до самой земли падет от нее соткавшая из золотистых нитей завеса. Добродушно проурчит гром, скатится куда-то за горизонт, словно телега по бревенчатому мосту; зазвенят под ударами капель лужи, и начнется бойкий, веселый разговор воды с травою, с крышами, с деревьями, пшеницей и овсами...

Такой дождь пережидал я в деревне Золотая Грива. Светлое название — Золотая Грива и темное — Дегтярка. И просто поразительно, как пристали они двум соседним деревням. Золотая Грива стоит на песчаном бугре, открытая со всех сторон, тянет к небу белую колокольню и смотрит окнами на светлые стороны — восток и запад. Дегтярка же прикрыта дубами, ветлами, и, полойла к ней, упрешься в глухие стены сараев. Лицом она повер-

нулась к темному бочагу с илистыми берегами и глядит на север.

Здесь я остановил красивого парня в серой рубахе распояской и спросил дорогу.

— Факт тот, что вам надо идти вот здесь,— показал он вдоль бочага.— Но все равно вы собьетесь, поедемте лучше с нами.

Появились еще парни с корзинами, набитыми свежим, еще дымящимся мясом; мы сели в утлый ботник, готчас же наполнившийся до половины водой, и переплыли на другую сторону бочага, где стоял в дубовой роще грузовик.

Он быстро домчал нас до большой деревни Заборочья. Здесь у колхозного правления, ожидая чего-то, толпился народ, и все принялись бестолково рассказывать мне дорогу, упоминая кустики, вешки, сухие сосенки, возле которых надо было повернуть налево, или направо, или чуть-чуть.

— Куда же идти об эту пору, ночь на носу,— вмешался председатель, рослый мужчина с густой, совершенно седой шевелюрой.— Полинка, проводи его к Генке, пусть ночует. Где Генка?

Пока искали Генку, мы сидели с председателем на пороге правления, отбиваясь веточками комаров. Подошел Генка — в майке, босой, с вожжами в руке — и к нашему разговору о хозяйстве прибавил:

— Скотина в прошлом году была изо всех. Нынешний год тоже сена хорошие, прозимуем.

— Погоди,— сказал председатель.— Сперва скосить надо.

— Скосим. В сенокос дашь по три рубля авансу на день, и скосим.

— Погоди,— опять сказал председатель.— Пожалуй, по три-то не выйдет.

— Ну, а для колхозников прошлый год как был — «изо всех»? — спросил я.

— Изо всех,— сказал Генка.— Четыре года подряд за так работали, а в прошлом получили по два рубля, по полкилу хлеба, сколько хошь картошки да сена.

Парни сгрузили с машины мясо, и шофер — тот, что первым встретился мне в Дегтярке,— спросил председателя:

— Кому нести? Студень кто будет делать?

— У нас завтра праздник,— объяснил мне председатель.— Приедут делегаты из «Маяка», будем подводить

итоги соревнования. Только тут дело ясное: у них шестьдесят гектаров кукурузы не посеяно. Мы вчерась проверяли. Оставайтесь посмотреть, наши речи послушать.

Когда, поужинав душистым ржаным хлебом с холодным молоком, я укладывался в чистой Генкиной горнице, он зашел погасить лампу и сказал:

— У маяковцев шестьдесят гектаров кукурузы не посеяно. Слабы они выйдут против нас.

Утром тяжелая синяя туча принесла дождь. Приезд делегатов из колхоза «Маяк» совпал с ним, но они, даже не зайдя в правление, отправились смотреть хозяйство. Председатель, волнуясь, несколько раз подходил к окну и твердил:

— Пусть смотрят, ничего. У них шестьдесят гектаров кукурузы не посеяно.

Туча вскоре иссякла, и собрание разместилось на лавках в тени огромной березы, еще ронявшей на кумач стола крупные капли. Председатель вынул записную книжечку и, особенно упирая на достижения, зачитал длинный ряд цифр. Его не перебивали. Только один раз к столу подошли гуси, и председатель, махнув на них книжечкой, сказал:

— Полинка, прогони эту тварь.

В речах бесконечное число раз вспоминались шестьдесят гектаров кукурузы, сделавшие-таки свое дело: маяковцев признали побежденными. И обед для них потом был такой прочный, что маяковский председатель, отодвигая от себя тарелку с почками в масле, признался:

— И тут одолели. Мы для вас намедни жиже постарались.

А вдоль деревни уже ходила гармонь. Был веселый, в меру хмельной праздник. Только под самый вечер шофер сел в свой грузовик и сказал, что поедет жениться. Его с хохотом вытащили из кабины и заставили плясать. Да еще какой-то мохнатый дедушка, сидевший на завалинке, вдруг спросил меня:

— Хочешь, я тебе про пчел все расскажу?

— Все?

— Все,— подтвердил дедушка.

И упал носом в песок.

А когда пришла поздняя летняя ночь, на чьи-то ворота, за которыми мычала корова, повесили экран, и кинопередвижка показала фильм про кубанских колхозников, которые только и делали, что пели, влюблялись и лихо катались на комбайнах.

ЛЕС

Когда в раннем детстве я ходил за грибами, то лес, помню, был у самого города. А недавно там, где рос мой первый гриб, я у знакомого судьи мылся в бане и после баловался пивом под воблу.

Я вовсе не в осуждение людям говорю, что они потеснили лес: пусть живут шире и удобнее! Но можно было сделать так, чтобы лес остался, как прежде, у самого города. Можно было занять то место, где рос мой первый гриб, а ту чащу, куда я боялся заглянуть и где сейчас загородный пустырь, свалка, тощий картофельник, ту чащу оставить под первый гриб моего сына.

Конечно, зрелый лес надо рубить — не давать же ему стариться и гибнуть, но [illegible] уже промышленность, и не об этом я говорю...

Теперь люди все больше [illegible] свою оплошку, и вот недавно я прочитал в газете, что мой город победил в соревновании по [illegible] улиц. Да и сам я, не по газете, а по жизни, вижу, как лес входит в город и как долговязые лесные липы [illegible] обрастают стволами и круглеют кронами на вольном просту наших широких улиц.

Мне при этом всегда вспоминается безвестный волжский Ставрополь, прославившийся потом как центр строительства Куйбышевской ГЭС. Был это одноэтажный деревянный городок с лемощеными улицами и с таким обилием серого, грязного городского песка, что вполне оправдывал свое прозрачное название, данное ему строителями,— Ставропыль. Однако здешние старожилы почитали другие времена, когда улицы города сплошь зарастали мягкой гусиной травой, а в палисадниках перед окнами домов цвели кусты сирени и жимолости. Тогда вокруг города гудели на ветру могучие сосновые боры. Их корни цепко держали песок. Но чья-то лихая рука свела вокруг Ставрополя лес; оголенные пески, подхваченные заволжскими суховеями, ринулись на город, затопив его улицы.

Люди поняли свою оплошку и там. Ставрополю все равно было стать дном морским, но в новом городе на высоких сосновых холмах уже ревностно берегли каждую ветку. И куда бы я ни заходил — в клуб, школу, столовую, в квартиры и даже в автоколонну,— всюду смолисто пахло хвоей и лежали светлые зыбкие тени соснового бора.

У меня лично жизнь связана с лесом, как и с рекой. Я часто думаю, что им я обязан и своим творчеством. В минуты восторга, которым так щедро может дарить природа, человеку хочется, чтобы все люди глядели одними с ним глазами, чувствовали одним с ним сердцем; он сам щедр. Не потому ли так часто берется за перо именно тот, кто по роду своей профессии или по рыболовно-охотничьей страсти стоит близко к природе? Я не помню, когда мне впервые открылось, что я писатель. Но первый сознательный позыв к слову родился именно из этой потребности делиться с кем-то счастливыми минутами близости к природе. Так было нацарапано обычное детское: «Один раз мы ходили за грибами». И теперь, когда родственники мои удивляются: «В кого ты? Никто в роду у нас не писал, откуда ж это у тебя-то?» — я, смеясь, говорю:

— Из леса, вестимо!

ЛУХСКОЕ ПОЛЕСЬЕ

Был нежаркий, туманный час рассвета. Дорога шла сырыми кустарниками; сквозь них просвечивала темная вода болот; бревенчатые гати колыхались и пружинили под ногами. Я миновал окруженную ржаными полями деревеньку Симбирку, и передо мной, величественный и строгий, встал сосновый бор. По обочинам песчаных дорог еще проглядывали кое где неяркие цветы, но вскоре и они исчезли, уступив место седым мхам, ржавой хвое и жестокому, точно жестяному, черничнику.

Лес поглотил меня. Я замотался в нем, потерял дорогу, ел сухари, чернику, лесную малину, пил из ручьев, а утомившись, ложился в сухой глубокий мох и смотрел, как ветер комкает облака и как падают, падают и не могут упасть бронзово-красные стволы сосен.

Уже вечерело, когда я сидел под засохшей сосной. Желтые лучи закатного солнца косо прошивали лес, полный того невыразимого покоя, который помогает ощутить его без себя, то есть таким, какой он стоит сам по себе, не воспринятый ничьим глазом и ухом. И сам я так окаменел в этом покое и слился с лесом, что тетеревиный выводок вышел на дорогу, как он выходит, когда здесь никого нет. Птенцы — желто-коричневые пуховые комочки — принялись бегать взад и вперед, ныряя на бегу маленькими головками. За ними следила тетерка, вытягивая длинную шею и мирно квохча.

Наконец я шевельнулся. У тетерки вышло совсем особенное «квох», и птицы стремительно брызнули в траву, в мелколесье, а сама тетерка перелетела у меня на глазах раз, другой, приглашая поверить ее наивной хитрости и броситься в погоню.

Мертвое дерево надо мной роняло с веток сухую шелуху.

«Дерево падает, а лес стоит»,— вспомнил я поговорку знакомого лесного объездчика Феди.

Федя любил лес беззаветно. «Безлесье неуговже поместье»,— говорил он и в сухую пору лета, когда в красномелесье стояла горячая смолистая духота, а в болотинах трещал пересохший мох, с неподдельным хозяйским беспокойством принюхивался к ветру, не наносит ли гарью. Он так прочно соединялся душой своей с лесом, что решал через него самые сложные вопросы человеческого бытия. Эти откровения, по-видимому, являлись ему без усилия мысли, в результате чего-то целого и непроизвольного обобщения опыта и выражались в пословицах, как издревле выражалась всякая народная мудрость. Наверно, десятки раз он легким прикосновением валил трухлявый ствол березы, видел ржавую крону засыхающей сосны и, наконец, заключал: дерево падает, а лес стоит.

Но, как всегда, в пословице смысл слов перерастал их буквальное значение, и в этом случае она по-Фединому выражала мысль о том, что в одиночку человек смертен, а в массе вечен. Какими бы то ни было путями, но надо дойти до нее, потому что, не будь человек защищен подспудным сознанием бытия, он не мог бы пережить даже мысли о смерти — об ужасной трагедии, о миллионах лет, стремительно скользящих во Вселенной.

КЩАРА

Одно из чудес Лухского полесья — озеро Кщара. Если верить карте, к нему ведет единственная дорога. На самом же деле весь лес был изрезан машинными дорогами, проторенными тяжелыми лесовозами, дороги эти разной свежести пересекались, кружили, разветвлялись, и, хотя еще раньше знатоки уверяли меня, что «там кругом указки», никаких указок я не встретил и вскоре обнаружил, что сбился. Следы человека встречались повсюду: отпечатки шин кое-где были совсем свежими: вчерашний дождь не смыл следы босых ног на песке; то справа, то слева слы-

шался далекий гул автомобильного мотора; стояли целые леса сосен со стрелообразными надрезами, из которых в железные стаканчики капала тягучая живица,— но самого человека не было, и я не мог ни у кого спросить дорогу.

Лишь под вечер совсем неожиданно сквозь сосны блеснуло мне отраженным светом зари лесное озеро. Чистое, без единой травинки, оно, как в чаше, лежало в сухих песчаных берегах и было наискось перечеркнуто резкой границей света и тени. Светлая полоса быстро сужалась, за ней, бороздя багряно-лимонную воду, спешили две точки, но тень догнала их и накрыла, как ястреб крылом. Озеро померкло. Надо мной предвестницей ночи метнулась летучая мышь. На дальнем берегу верхушки сосен еще золотились в лучах солнца, но вокруг меня весь берег с его старыми кострищами, рогатками, остовом шалаша и полусгнившей землянкой уже погрузился в настороженную полутьму и походил сейчас на древнее становище, покинутое в предчувствии беды племенем, услыхавшим недобрый гул под землей. Меня предупреждали, что в этих местах недавно провалились три гектара векового леса. Теперь это предостережение довершило иллюзию покинутого становища, и все вместе было так прекрасно, значительно и жутко, словно я стоял подобно героям фантастической «Плутонии» на пороге детства человечества.

Заночевать я решил в развалинах землянки, где хранилась бочка с живицей. Песок на полу был мягок, но не прогрет солнцем, и, проснувшись среди ночи от холода, я вышел из землянки.

Глубокая, мертвая, затягивающая, как омут, стояла тишина. Одиночество, которым я так наслаждался весь день, точно мохнатая лапа, вдруг стиснуло мне сердце и неодолимо повлекло к жилью, к огню, к людям.

«Да полно, есть ли тут жив человек!» — пробовал я разумным доводом унять бессознательный порыв к бегству.

И не выдержал, пошел наугад вокруг озера, боясь, что круг замкнется, а я не встречу ни кочующих рыбаков, ни лесорубов, ни сборщиков живицы.

Но вот впереди забилась, захрипела на цепи собака. Немного погодя на тусклом фоне озера обозначилась остроконечная стреха избы, и, постучавшись у ее дверей, я, как в середину книги, вступил в незнакомую людскую жизнь.

Это было жилье лесного объездчика Феди.

ЛЕСНОЙ ПОСЕЛОК

...Шагаю седыми хрусткими мхами, солнечными просеками, смолистыми борами. День ли, ночь ли — я все равно иду, если есть желание, а нет — живу там, где нахожу воду, чтобы размочить сухарь.

Однажды почью, прикинув по карте расстояние до лесного поселка, я запонтал небольшой костерок и зашагал, чувствуя дорогу ногой, как лошадь. Впереди меня бесшумно носились ночные птицы; лес тихо перешептывался; в его темных глубинах то трещала ветка, то падала шишка, то булькала вода.

Уже за полночь я вошел в [illegible]. На ярко освещенной танцевальной площадке [illegible] молодежь, у магазина разгружалась машина с продуктами, и бегали невесть домо почему бодрствующие [illegible] мальчишки. Они отконвоировали меня к коменданту. На [illegible] седобородый дед в гимнастерке и подштанниках, [illegible] и, отказавшись смотреть мои документы, [illegible]

— Ступай, сударь, в общежитие и [illegible]. Там свободных коек полно.

В общежитии, длинном [illegible] здании барачного типа, действительно [illegible]. Покой не давался мне. Я ворочался на скрипучей [illegible], считал до пятисот — все было напрасно. Кто-то [illegible] в углу и, наконец, сиповато спросил:

— Не спится, товарищ?

— Да...

— Пойдем со мной на озеро удить, хочешь?

Я согласился. В углу зашевелилась белая фигура, облачилась в черное и на минуту пропала, как невидимка, пока не прорезалась снова на сером фоне окна. По осанке, по голосу, по шарканью ног угадывался человек немолодой, кряжистый. Он взял удочки, лежавшие вдоль плинтуса, котелок, и мы вышли.

Мой спутник хмуро глядел из-под косматых бровей, и пепельные жесткие усы топорщились у него как-то очень нелюдимо.

Огромное озеро, похожее на все местные лесные озера, чистое, обрамленное соснами, плескалось у самого поселка. Дул утренний ветер, наволакивая серые ненастные облака. Мы закинули удочки. Ловить было неинтересно, поплавок прыгал на волнах, с воды наносило холодный туман, липнувший к лицу, как мокрая паутина.

— Мне тоже не спится,— сказал лесоруб после долгого молчания.— Все думаю, какой у меня зять будет.

— Ну, что тебе о зяте думать? Дочь найдет,— сказал я.

— Оттого и думаю, что уже нашла. Сегодня в деревню пойду на свадьбу. Бабы там одни; наверно, окрутил их зять.

— Может, и не окрутил. Не торопись обижать человека.

— И то правда,— засмеялся лесоруб.— Давно дома не был, вот и кажется, что там поруха да разор. А ты почему не спишь?

— Тоже давно дома не был.

— Да... Вот так и живем,— задумчиво сказал лесоруб.— Пойдем-ка завтракать. У меня вчерашняя уха есть.

И объединенные в душе общей тоской по дому, мы пошли прочь от серого ветреного озера.

Днем попутная машина увезла меня дальше, в глубь лесов.

В кузове набралось еще человек десять коммунистов, ехавших на общее партийное собрание лесокомбината. Никогда я не переносил такой жестокой тряски под мелкий дождичек, как на дорогах дружных лесов. Машина виляла между соснами, прыгала на ухабах; по головам нас хлестали мокрые ветви, и мы, держась друг за друга, всей массой валились на борт, на кабину, на дно кузова.

Наконец парторг постучал по крышке кабины. Машина, взвизгнув тормозами, встала как вкопанная, нас кинуло на кабину, а на подножке во весь рост выпрямился шофер, стройный, тонколичный, в берете набекрень, гроза поселковых девчат, и незлобно спросил:

— В чем дело?

— За третьим рейсом, что ли, спешишь, Никита?

Никита чуть улыбнулся, оглядел нас и сказал:

— За финалками.

ЛИСТОПАД

С рекой, лесом, полем нужно быть один на один. Тогда это творческий союз, а не пикник или прогулка.

На фоне темного ельника стояла одна-единственная березка — вся желтая и сквозная, и ветер уже рвал с нее первые листья, кидал на суровые ели, точно награждая их золотыми медалями за стойкость перед будущими холодами.

Слышал, как в августе пел соловей. Может быть, и какая-нибудь черемуха цвела для него во второй раз? Бывает ведь и так.

Ветхие старцы из окрестных деревень говорили, что они не упомнят, когда еще стояла в июне такая гнусная погода, а в августе, у самого сентября, было так благодатно.

Особенно горячился по этому поводу дед Севастьян Подкорытин. Он был старик научный и очень напирал на циклоны и атомные взрывы. Радио играло в его жизни огромную роль. Он был неграмотен, глух, и только мощные радионаушники, которые он всегда волочил за собой на длинношем проводе, связывали его с большими событиями мира.

На озере и всю дорогу в машине Ваня страшно матерился, а если ему выговаривали за это, отвечал самодовольно:

— Что? Не нравится крепкое слово?

Когда же проезжали по бревенчатому мосточку, вдруг сказал:

— Как на ксилофоне проиграли.

Вот это-то, пожалуй, и было единственное крепкое слово за весь день.

Егерь Фигуровский посадил у себя яблоневый сад. Созидательная миссия собственника на этом и кончилась бы, хотя никто не молвил бы о нем худого слова — ведь как-никак, а и он украсил крохотную часть земли. Но Фигуровский привез саженцев еще и соседу. Да так с тех пор и возит из совхоза ежегодно по тысяче саженцев. И маленький поселок над Клязьмой шумит яблоневыми садами истинного украшателя земли.

Любуюсь августовским небом и думаю: для метеора, быть может, тысячи лет мчавшегося холодной глыбой через мрак Вселенной, встреча с Землей губительна. Но как ярко вспыхнет он напоследок в ее атмосфере, и не стоит ли этот миг возгорания тысяч лет скитаний во мраке!

Я пишу — это значит, я роняю свои листья. Но пока я корнями в земле, бояться нечего: мой сад опять зазеленеет.

НЕРЛЬ

С нежным, как бы чуть бурлящим именем этой реки связано у меня одно из самых высоких наслаждений прекрасным, какое мне когда-либо доводилось испытывать. Недалеко от ее слияния с Клязьмой возле села Боголюбова стоит древний храм Покрова — чудо русского архитектурного мастерства. Мне всегда кажется, что создан он без помощи рук, одним лишь вдохновением, равным народейской силе сказочных волшебников. Есть в нем что-то непостижимое, действующее не на глаз, а на душу, начинающую как-то торжественно, возвышенно и грустно томиться при виде этой белокаменной поэмы древних времен. Увидевший этот храм хоть раз уже не может сказать, что в жизни его не было счастливых минут.

Недавно я получил из Ясной Поляны письмо от В. Ф. Булгакова, где есть такие слова:

«...Не завидуете ли вы мне, что я живу в Ясной Поляне?

Я, в свою очередь, завидую Вам, что Вы живете в древнем Владимире, поблизости от прекрасных Успенского и Дмитриевского соборов, поблизости от храма — мечты и белого лебедя — церкви Покрова на Нерли.

Сорок лет тому назад я посетил Владимир, пешком сходил в Суздаль, ночевал на каменных плитах в сторожке Спасо-Евфимиевского монастыря, посетил тюрьму для сектантов, в которую Победоносцев собирался засадить Льва Толстого, и испытал чувство необыкновенного обаяния, любуясь на заброшенный в русские поля архитектурный шедевр: церковь на Нерли.

Много, много раз потом в течение долгой жизни, в разных условиях, во дворцах и тюрьмах, восставал в моем воображении и памяти чудесный храм, и всегда это видение сопровождалось высоким, отрешенным от всего житейского и блаженным чувством.

Так могут действовать только самые высокие произведения искусства.

Приветствую Вас и старый Владимир! Если будет случай, приветствуйте, пожалуйста, от меня храм на Нерли!»

Я всегда с вниманием и уважением отношусь к таким просьбам, которых немало, и, бывая на Нерли, не забываю поклониться стенам прославленного храма от имени тех, кто просит об этом. А самого меня всегда возвысит

над житейскими невзгодами поющая гармония его очертаний.

Благословенна русская река, несущая на своих водах этого дивного «белого лебедя».

СЧАСТЛИВАЯ

Есть в летнем полдне среднерусской полосы с его неровными ветерками, со стрекотом кузнечиков в траве, с каленым зноем, с водянистым небом из голубого и золотистого света кучевыми облаками по горизонту что-то отрешающее от повседневных забот и мирской суеты.

Я лежал с тяжелой сторожи у стога сена. Их было много на длинном узком лугу, зажатом между двумя дубовыми гривами, а далеко по дрожащей воздуха угадывалась Клязьма, и мглисто-синяя грядой чуть ниже облаков выделялся ее правый берег. Не грязью его и в широких распадинах пестрели деревенские крыши изб, желто-белесо сверкали на солнце церковные главы и темными кущами застыли в безветрии деревенские ивы, тополя и липы.

В пойме, левее этой отчетливой полосой, было прямотаки пустынно безлюдно. Те, кто топтал и наездил в лугах эти сдва уже заметные тропинки и колеи, зарастающие мягкой отавой, занялись на том берегу делами другой страды; в луговых болотцах тоже давно отгремели выстрелы первых дней охотничьего сезона; рыболовы держались водоемов ближе к клязьминскому низовью. Кто еще мог появиться здесь? Грибы и орехи не уродились в этом году, смородина отошла, клюква еще не поспела... Я чувствовал, что был один, может быть, на много километров вокруг, и оттого не сразу понял, что слышу человеческий голос, а не какой-то иной звук лугов и леса. Всегда присутствует в дремлющем воздухе полдня этот тонкий вибрирующий звук, слитый воедино из шороха листвы, посвиста птиц, возни мелкого зверья, плеска воды и, кто знает, какого еще трепетания невидимой нами жизни. Но то, что я услышал, вскоре стало выделяться из него, приближалось и, наконец, отчетливо оформилось в мелодию колыбельной песни, слов которой я еще не мог разобрать.

Множество раз сравнивался женский голос с журчанием ручья, пением жаворонка, звоном колокольчика, и я уж не знаю, с чем бы сравнить мне этот немудрящий тоненький голосок, вся прелесть которого была в какой-то прозрачной девической, даже детской чистоте. Он пел за

гривой, где пролегала горная тележная дорога, выходящая на луг, и я отполз чуть в сторону, чтобы не спугнуть его своим присутствием. Скоро можно было разобрать и слова песни. Не слышал я их раньше и, увы, не запомнил. Да и вряд ли это была какая-нибудь записанная собирателями песня, а не импровизация, вылившая в первых навернувшихся и полусвязанных между собой словах ласковый лепет матери над младенцем.

— Устали мы с тобой,— послышался ее голос совсем близко.— Вон и носик у тебя весь в капельках. Гуля ты, мой гуля!..

Как и я, женщина была уверена, что она одна здесь, и разговаривала громко, не таясь. Она, видимо, присела у соседнего стога или на краю гривы в тени дубов, сопровождая каждое свое действие смехом и ласковым воркованием.

— Подожди-ка, мы пеленочки-то раскинем. Посучи ножками, посучи. Жарко гуленьке, жарко малому... Ох,— сказала она вдруг совсем будничным, даже чуть с хрипотцой голосом,— сколько стогов-то наметали! Возить не перевозить.— И опять певуче зажурчала: — Ну, что гуленька куксится? Что милый куксится? Дать гуле молока?

Некоторое время ее не было слышно, но потом, теперь уже совсем тихо и опять с какой-то детской прозрачностью в звучании голоса, она запела:

— С гулей к папке пойдем, папка скажет: дура, малого взяла, по лугам в жару пошла. А нам дома тошно, а нам дома скушно. Печь мы истопили, на крыльце сидели. Под крыльцом-то куры квохчут, тихо стонут. Курам тоже жарко... Гулин папка глупый, с нами распростился, в пойму закатился. Там болота пашет, пни, кусты корчует. Комары его грызут, покоюшка не дают...

Так ли точно слово в слово пела она — не ручаюсь, но мне ясно представились и томительный жаркий деревенский полдень с этим стонущим квохтаньем разморенных кур под крыльцом, и молодая женщина с первенцем на руках, влекомая какой-то счастливой тоской через эти залитые солнцем луга к мужу, который, по-видимому, работал сейчас на осушке заречных болот, и даже их предстоящая встреча с ворчливой перебранкой, скрывающей глубокую радость и горделивое любование друг другом...

Размеры ее счастья, видимо, смутили ее самое, и женщина попробовала испугать себя.

— А если нас молния убьет? — вдруг спросила она, вне-

злно оборвав пение, и я представил, как округлились при этом ее глаза.

С минуту она молчала. Но потом послышался ее счастливый, даже какой-то пьяный от счастья смех.

— Выдумает же, глупая! Молния! Небо ясное, тучек нет, листочки не шелохнутся. Пойдем потихоньку, гуленька.

Я выждал некоторое время и выглянул из-за стога. По дороге между стогами удалялась высокая тоненькая женщина в белом, мелкими цветочками сарафане и такой же косынке, неся на руках что-то такое крохотное, что почти не было видно даже за ее узкой спиной.

Если бы в эту минуту лучные стога стали бы расступаться перед ней, а сквозящие солнцем дубы склонили свои вершины, я, пожалуй, не увидел бы в этом чуда.

ДЯДЯ ЛЕНЯ

Случалось мне встречать бывалых людей, и смотришь — и свету он повидал и жил чуть не до ста лет, а знает всего лишь, что раньше «карасин» был копейка, а теперь рубль. У другого — любая история, даже про тот же «карасин», непременно с пескоркой. Не просто, значит, что дороже стал, а надо при этом собеседника поддеть, чтобы не очень нос задирал.

Была такая история и у бакенщика дяди Лени, только не про керосин, а про пиво. Разопрет после ухи какой-нибудь начальственный гость из тех, что в изобилии набегают на бакен к свежей рыбе, и скажет: хорошо бы холодного пива потянуть и почему это, дескать, даже в городе его не стало вдоволь? А дядя Леня серьезно ответит:

— Солод перестали сеять.

Тот думает, и впрямь не слыхать, чтобы сеяли где-нибудь. И смотрит без улыбки дураком.

Была история и про Удалого — востроухую подвижную собачонку с хвостом кренделем. Сначала и истории-то не было, а просто каждый день за обедом начинался разговор с детьми:

— Дурак твой Удалой, папа. Опять в деревню убежал.

— Молод еще, учить надо.

На другой день опять:

— А все-таки, папа, твой Удалой дурак.

— Молод. Учить надо.

И давно уже минула скороспелая собачья молодость, а дядя Леня все выгораживает пса:

— Молод еще, учить надо.

Но при этом глаза его смеются: вот, мол, в чем секрет вечной молодости.

Эти смеющиеся глаза, эту искорку в поведении сохранил дядя Леня до конца дней своих.

Шел я налитыми овсами в погожий августовский день. И когда достиг деревни Калиты, увидел в тени на лавочке дядю Леню. Сидел он сгорбившись, с усами, повисшими по углам рта, под соломенной шляпой, как маленький грибок. Узнал и он меня. И глаза его засмеялись.

— Деревня-то Калиты, что ли? — спросил я.

— Калиты.

— Бударин Алексей Ефимович тут живет?

— Тут.

— Дома он?

— Да вон к девкам побег.

...Через полгода я хоронил его на деревенском кладбище среди сверкающих снегов и белых заиндевевших берез...

ПУЩЕ НЕВОЛИ

Есть что-то в первобытной охотничье-рыболовной страсти украшающее человеческую натуру, и потому люблю я встречать на берегах и в поймах человека с ружьем или удочкой.

О поречных тропах можно написать целое лирическое исследование. Они как бы отражают неутомонный, дотошный характер русского рыболова и охотника. Нашу рыбалку и охоту у меня никак не поворачивается язык назвать спортом. Это где-то там, у Хемингуэев, спорт, а у нас что-то такое «пуще неволи» — иначе не назовешь. Встретишь в пойме мужичка, заросшего трехдневной щетиной, в рваной робе, со стареньким ружьишком или самодельной березовой удочкой — ну какой тут спорт! Спортсмен рисуется мне непременно в шортах, кедах и с пластикатовым козырьком на лбу. И удочка у него — чудо химической промышленности — гнется в кольцо. Ловит он форель по лицензиям.

Начало охоты застало меня в Бельковской пойме, под Ковровом. Надо ли говорить, сколь трепетно ждали этот день охотники всего клязьминского побережья. Но как и следовало ожидать, он горько разочаровал их. Пойма точно вымерла; лишь изредка пролетит какой-нибудь шальной дрозд, в которого тут же посыплются килограммы дроби истомившихся по выстрелу охотников.

А помню я эту Бельковскую пойму полную утья, бекасов, дупелей. И видно, что это уж горькое знамение нашего века — оскудение пойм и загрязнение рек. Так и стоит в ушах грустная чеховская «Свирель»:

«Летошный год мало дичи было, в этом году еще меньше, а лет через пять, почитай, ее вовсе не будет. Я так примечаю, что скоро не то что дичи, а никакой птицы не останется... И рыба... Мне не веришь, спроси стариков; каждый тебе скажет, что рыба теперь совсем не та, что была. И в морях, и в озерах, и в реках рыбы из года в год все меньше и меньше...»

Поет, поет свирель, а охотники, чтобы как-то разрядить ружья и душевное напряжение, накопившееся за дни ожиданий и приготовлений, палят по картонкам, консервным банкам и бутылкам.

Один хвастается:

— Ударил по кряковому в подлиску, три минуты после сверху черные хлопья падали.

Возле избушки, обложенной дерном и ольшаником, сидят трое, прикладываются к четвертой поллитровку. Рассказывают:

— Утром выпали на зорьке чирки, а ружья у нас в руках ходят. Стреляли, стреляли, и не попали. Теперь ждем вечерней зорьки. Может быть, прилетят. Да только, кажись, опять не повезет.

У стога плавней вечерний рассказ.

— Ночевали мы на острове. Выпили. Мой товарищ пошел до ветру, и, видно, по пьяному в воду, стоит с закрытыми глазами, спит. Я его окликнул, он озирается, спрашивает: «Где мы ночуем-то?» — «Да вон,— говорю,— дым от костра, иди на него». А дым-то ветром отнесло, товарищ и пошел по воде. Метров на десять ушел. Слышу — воет. Привел его за рукав к костру, он ругается. Не туда, дескать, привел, не наш костер.

Так и развлекаются кто чем вместо охоты.

СТАРАЯ ПЛОТИНА

Было, говорят, и быльем поросло. Я стал мерить прошлое уже не годами, а десятилетиями и при случае имею право сказать, что такое-то-де было с десяток лет назад.

Была за Клязьмой на Увоге-речке деревенька, вся из серых бревен, под жидкой тенью ветел, со старой колоко-

ленькой над косогором, и приезжал я туда как-то летом по одному торжественному случаю. Там строилась на Уводи колхозная гидростанция. Уже высился среди цветущего буйства лугов ее сруб, весь, как янтарем, пронятый смолью; уже свивалась в тугие бурлящие струи вода в узком горле перемычки; уже мотался вокруг какой-то дед в подшитых валенках и вдохновенно пророчествовал, что рыбы теперь тут нагрудит, как в котле; и председатель колхоза то и дело перезванивался по телефону с учреждением, название которого произносилось с грациозным итальянским полнозвучием: «Сельэлектро».

В этот день должны были закрыть перемычку. Из города на воскресник приехали комсомольцы. Сверкая золотом труб, бухал марши ый оркестр всех городских заводов. Некошеная пестрая пойма еще ярче расцветала кофточками, косынками, майками. Пирамиды известкового камня на зеленой тра[illegible] слепили глаза своей белизной.

Соразмерна ли торжественность решительного момента значению события? Мне кажется, нет. И перекрывается ли петлистая камышовая Уводь или мощный многоводный Енисей, в одинаковой радости вздрагивают сердца тех, кто причастен к этому делу. Когда в горловину перемычки, грохоча и всплескивая, посыпались камни с первых носилок и оркестр с новой силой грянул что-то бравурное, даже у меня, стороннего наблюдателя, предательски перехватило горло крутой спазмой. Не то ли самое испытывал я и на Куйбышевской гидростанции, когда увидел, как после многих бесплодных попыток в землю, словно горячая игла в масло, полез под нажимом вибромолота стальной шпунт...

Ах, что за чудесный это был день! Встревоженные чибисы с писком носились над поймой. Ветер трепал прибрежный ивняк и комкал все звуки — удары копра, голоса людей, рев труб, плеск и грохот камней — в какой-то монолитный гул труда и ликования. Нельзя было удержаться от соблазна схватить неровный, словно кусок колотого сахара, камень, взвалить его на плечо и, пробежав по шатким мосткам, сбросить во вспененную воду. И странно, совсем забыв тогда о главной цели своего приезда сюда, то есть о сборе так называемого литературного материала, я вскоре как-то очень легко, со светлым чувством уверенности и радости написал свой первый напечатанный рассказ «Однажды летом».

Мог ли я спустя десять лет не воспользоваться случаем и не побывать на маленькой гидростанции, где лежал в

перемычке и мой посильный камень? Я вспомнил о ее близости как-то вдруг, и наш лагерь на Клязьме, отладив все минимальные удобства походного быта, уже готовился к вечерней заре, когда знакомая колоколенка без креста, выступавшая из пойменных зарослей на противоположном берегу, словно позвала меня.

Днем в самую жару прошел неожиданно холодный, даже какой-то обжигающий дождь и оставил в воздухе резкую свежесть осени, как бы напоминая о том, что август уже перевалил за свою середину. Я переехал через Клязьму и долами, полными студеной сырости, напрямик зашагал к Уводи. Но в пойме не ходят напрямик. Мокрый по плечи, весь в паутине, выбрался я, наконец, из ольховой крепи на дорогу, не одолев и половины пути, а солнце уже вызолотило небосклон, погружаясь в холодный туман заречных болот. Пришлось прибавить шагу. По совести говоря, мне не хотелось тратить на гидростанцию, которую я помнил праздничной залитой щедрым солнцем поля, в такой неприветливый вечер, но, кто знает, когда бы еще выпал случай побывать там?

Заросли уже расступились перед дорогой. Впереди открылся холмистый простор, синеющий вершинами увалов, по которым кое-где еще сохранились нежатые поля ржи. Колокольня встала передо мной во весь рост на открытом холме, и по ней стекала вниз подвижный от тумана, оранжево-желтый отблеск заката. Там под холмом стояла гидростанция.

...Но ее там не было. Полусгнившие бревна с вывороченными скобами торчали из суглинистого берега, вода стремительно бежала по размытому оползлому каменнику между позеленевшими сваями, омывая, как туши каких-то погибших животных, два крутобоких ржавых сопла турбины. Луг, который остался в моей памяти таким распестренным и гомонливым, был теперь пустынен и дик. Застойную воду в заводях и баклушах сплошь покрывала сочная ряска чуть не с копейку величиной, стебли осоки сухо терлись друг о друга, а одинокая фигура рыболова — парнишки лет пятнадцати с озябшим носом — только еще выразительней подчеркивала запустение и одичание окрестных мест. Он закидывал леску на кривом березовом удилище прямо в водоворот у разрушенной плотины, где медленно вертело и вспучивало густую кашицу из ряски, и часто выхватывал то крупного ельца, то плотицу, выскакивавших из воды с каким-то влажным пробочным чмоком.

— А что, станцию-то давно сломали? — спросил я.

Он переложил удилище из руки в руку и повернулся ко мне.

— Давно. Уж и забыли.

— Чем же она вам мешала?

— Морока с ней,— усмехнулся он.— Больше чинили, чем пользовались. А свет на одну избу-читальню давала.

— Ну, а теперь как же?

— Теперь у нас будка.

— Чего? — не понял я.

— Будка,— нетерпеливо ответил он, опять выхватывая из-под ряски толстостенную плотву, и в то же время указывал мне свободной рукой в сторону села, куда, по-видимому, к трансформаторной будке, перевернутыми ижицами сбегались длинноногие деревянные столбы с подпорками.

Мне все стало ясным. Стареем и разрушаемся мы, а жизнь, разрушая старое, набирает свежие силы и молодеет. Сожалеть ли и грустить по этому поводу? Конечно же, нет. Но когда я шел по сумеречным долам и уже совсем темным гривам обратно к берегу Клязьмы, именно с чувством грусти и сознанием невозвратимости вспоминался мне тот счастливый мой день, ярко и празднично закатившийся в прошлое. Ведь не всегда доводы разума властны над нашими чувствами.

ВКУС ЖЕЛТОЙ ВОДЫ

До сих пор сохранилась у меня потертая на сгибах, мягкая, как тряпочка, карта. Она была новой, когда те трое мальчишек принесли свою кровавую клятву. Диковатой прелестью нехоженых мест веяло на них от зеленого пятна на карте по левобережью Клязьмы. Бескрайний, уходящий за обрез карты разлив лесов с голубыми клякcами озер, с синей жилкой реки Лух, с одинокой ниточкой проселка, на которой редко-редко где был подвешен крючок населенного пункта, дохнул на них своим смолистым запахом. «Лухское полесье», «Карстовые леса», «Нерльско-Клязьминская низменность» — все эти названия звучали для мальчишек, как загадочный шум лесов, как баюкающий плеск озерной волны, как задумчивый шорох ржаного поля. А Лух! Про эту речку мальчишки узнали, что протекает она среди торфяных болот, что русло ее поросло травой и тростником и что цвет воды в ней желтоватый.

Этот желтоватый цвет окончательно сразил мальчишек. В глазах у них заблестела какая-то сумасшедшинка, говорившая, что теперь они не остановятся ни перед чем, чтобы отправиться в свое путешествие.

Но жизнь, как уже было сказано, рассудила по-своему...

На Лух я вышел в среднем его течении у поселка Фролищева Пустынь. Там стараниями секретаря партийной организации лесокомбината я поселился в пустующей квартире из трех комнат с кухней, чуланами и хозяйственными пристройками.

Из стен здесь во множестве торчали гвозди, дававшие возможность заключить, что мой предшественник был страстным любителем картинок, фотографий и всего, что можно повесить на стену. Теперь эти гвозди продолжали отлично служить мне, в резонирующем просторе располагая на ночь по стенам [illegible] «Юный-спорт» до штанов.

Жил я в этой квартире в свое удовольствие. Как в сказке, выходила ко мне [illegible] мышка, а я за неимением каши давал ей сахар, а она за это награждала меня, как Машу, тем, что всякая работа у меня спорилась.

Дни мои проходили в скитаниях по берегам Луха. Вода в нем оказалась действительно желтой, даже с коричневым торфяным оттенком, а [illegible] отливали, подобно линиям, темной бронзой.

Свои желтые воды Лух нес среди дубовых рощ и сосновых лесов, между светлыми песчаными берегами, через болота и непролазные кручи.

Путь к устью, куда мне хотелось попасть, был один — водой. Он манил меня, когда я, стоя на мосту, глядел, как вода, омывая песчаный остров, уносится за изгиб реки, в зеленое царство лесов.

«Ну, что ж, — думал я тогда. — Быть может, этот бег воды был первой силой, которую использовал человек в своем движении к культуре и техническому прогрессу. Почему бы не вернуться и мне к простейшему способу ее подчинения и не построить себе плот?»

С этой целью я обошел берег, собрав кучу древесного хлама. И чего тут только не было: бревна, кусок забора, намокшие доски, поленья!

Совершенно невозможно было голыми руками создать из этого материала водоплавающий снаряд.

В магазине хозяйственных товаров из инструмента нашелся топорик без топорища, а из связывающих матери-

длов — электрический шнур. Безнадежно обстояло дело с гвоздями. И тогда я вспомнил про свою квартиру и сколько там торчит из каждой стены гвоздей.

Целый день я, ссаживая руки, раскачивал их и вытаскивал, пока, наконец, не осталось ни одного.

Велик, наверное, был ужас первого человека, когда вода подхватила и понесла его. Но это падение человека с берега в стихию было той причиной, которая вызвала к жизни современное пароходство. Теперь того первобытного ужаса перед стихией нет: от него человек защищен всем накоплением за века опытом, поэтому я только посмеялся, когда вода подхватила и понесла меня. За свой опыт я заплатил дешевле, и он не станет причиной пароходства, но теперь-то я сам буду строить плоты по-иному.

То сооружение, которое от толчка колом вынесло меня на середину реки, стало медленно оседать подо мной в глубину. Погрузившись сантиметров на тридцать, оно спокойно поплыло по течению, и я теперь представляю, как был изумлен спросонья какой-нибудь рыболов, что увидел меня идущим по воде, как посуху.

Моему челну, кроме сапог, грозило потопление. Размахнувшись, я забросил на берег все это, а сам...

Было очень рано, только-только, первая птица только-только звенькнула в кустах раньше, когда я возвращался в свою квартиру. И хорошо, что никто не видел меня, потому что не стоило бы приятно встретить насмешливый взгляд и, может быть, услышать ядовитое соболезнование.

Когда я снял с себя одежду, чтобы просушить ее, то сам не выдержал и громко расхохотался: ни одного гвоздя в квартире не было...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В доме, где была вентиляционная отдушина, давно уже поселились незнакомые люди. Если они полезут в отдушину, то непременно найдут там бумажный квиток, и в нем кровавую клятву трех мальчишек. Теперь к ней можно прибавить, что одного из них унесла война, другой нелепо и обидно погиб, разбившись при аварии мотоцикла, а третий через много лет вспомнил свою клятву и отведал воды из многих рек и озер своей Родины.

Если брать в расчет весь его путь, то не была ли это живая вода?

С. К. НИКИТИН

(Биографическая справка)

Сергей Константинович Никитин, русский советский писатель (10 окт. 1926 — 18 дек. 1973) родился в г. Коврове Владимирской области. Здесь он окончил среднюю школу, учился в техникуме железнодорожного транспорта. С 1944 по 1947 год С. К. Никитин учился в Институте международных отношений, в 1948—1952 годах — Литературном институте им. А. М. Горького. Учебу в институте он заканчивал заочно, работая в Ковровской районной газете с 1948 года. Почти одновременно он начал печататься в областной газете «Призыв».

С августа 1951 по март 1952 года С. К. Никитин работал литературным сотрудником газеты «Комсомольская искра», много ездил по городам и селам области. К этому же времени относится знакомство молодого писателя с Э. Казакевичем, который жил в деревне Глубоково Владимирской области. Писатель принял живое участие в творческой судьбе С. К. Никитина. В 1952 году в областном издательстве под редакцией Э. Казакевича вышел его первый сборник «Возвращение», который явился дипломной работой молодого прозаика в Литературном институте, и автор его получил высший балл.

В 1955 году С. К. Никитин был принят в Союз писателей РСФСР. К этому времени он был автором еще одного сборника «Большой путь».

В 1956 году С. К. Никитин стал членом КПСС. На литературном конкурсе, посвященном Всесоюзному фестивалю молодежи, его рассказ «В бессонную ночь» был удостоен золотой медали.

Одна за другой выходят его книги — во Владимире и Ярославле, в центральных издательствах. О его творчестве тепло отзывается литературная критика.

Владимирские литераторы трижды избирали С. К. Никитина ответственным секретарем областного отделения Союза писателей РСФСР.

С. К. Никитина характеризует мягкая творческая манера письма, глубокий интерес к нашей современности, своеобразный взгляд на мир и умение по-своему поведать о нем читателю.

Большинство его произведений посвящено жизни колхозной де-

ревни. Здесь писатель нашел для себя плодотворную почву, обогатившую его творчество. Чаще всего обращался он в своем творчестве к образам тех людей, которых встречал во время своих поездок и по родной Владимирской земле, и по городам и селам страны.

В 1972 году С. К. Никитин написал пьесу «Личная жизнь» для Владимирского театра драмы, которая тепло была встречена зрителем.

В 1973 году писателю за цикл рассказов «Медосбор», в который вошли рассказы «Линия жизни», «Выздоровление», «Мой старый друг», «Война и мир», была присуждена премия журнала «Огонек».

Центральными и местными издательствами выпущено около 30 сборников повестей и рассказов С. К. Никитина. Наиболее известные среди них «Голубая планета», «Горькая ягода», «Живая вода», «Медосбор», «Снежные поля». Многие повести и рассказы писателя переведены и изданы на языках народов СССР и за рубежом.

ОСНОВНЫЕ КНИГИ С. К. НИКИТИНА

Семь слонов. Рассказы.— Владимир, 1954.
Костер на ветру. Рассказы.— Молодая гвардия, 1960.
Голубая планета. Рассказы.— Владимир, 1962.
Падучая звезда. Повесть и рассказы.— Ярославль, 1964.
Горькая ягода. Повести и рассказы.— Молодая гвардия, 1965.
Весенним утром. Повести и рассказы.— Московский рабочий, 1966.
Падучая звезда. Рассказы и повести.— Советская Россия, 1967.
Живая вода. Повести и рассказы.— Современник, 1973.
Медосбор. Рассказы.— Ярославль, 1974.
Снежные поля. Рассказы.— Советская Россия, 1976.
Рисунок акварелью. Рассказы.— Советская Россия, 1981.

Содержание

С любовью к земле и людям. *Вл. Солоухин* . . 3

Рассказы

Даша 6
Осенний день на Мшарах 11
Чудесный рожок 17
Семь слонов 29
Дальние родственники 40
Бубенчик 49
Пропасть 66
Старики 74
Гости 82
Весенним утром 90
В бессонную ночь 97
По ягоды 107
Костер на ветру 114
Запах сена 127
Крах 146
Каникулы 165
Огуречный агроном 173
Осень, осень... 183
Дом под липами 188
Мужчины 204
Мой знакомый леший 209
Красивая 214
Осенние листья 219
Оброк 224
Голубая планета 230
Горькая ягода 234
Продолжатель 251
Грачи 258
Головная боль 264
Как разжечь сырые дрова 270
Снежные поля 278
Первые заморозки 285
Терновник 290

Сапоги 297
Последнее лето 302
Листопад в больничном парке 308
За лесами, за долами... 312
Весна, старый писатель, маленький мальчик и рыжая собака 318

Повести

Падучая звезда 322
Собственный дом 374
Живая вода 405

Сергей Константинович
Никитин

ИЗБРАННОЕ

Редактор *Н. И. Нетесина*
Художественный редактор *Г. В. Шотина*
Технические редакторы *Т. С. Маринина* и *В. А. Преображенская*
Корректоры *Н. В. Бокша, З. И. Шехмейстер*

ИБ № 3761

Сдано в набор 02.11.84. Подп. в печать 26.04.85. А01782. Формат 84×108/32. Бумага типографская № 1. На вкл. мелованная. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 23,63 (в т. ч. вкл. 0,11). Усл. кр.-отт. 23,63. Уч.-изд. л. 24,61 (в т. ч. вкл. 0,03). Тираж 100.000 экз. Заказ № 1458. Цена 2 р. Изд. инд. ЛХ-457.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 144003, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.